

Роберт Най

Странствие



„Судьбы“



Robert Nye

The Voyage



Of The Destiny

**London
1982**

Роберт Най

Странствие



„Судьбы“

Роман

Перевод с английского

Москва „Радуга“
1986

ББК 84.4Вл
Н20

Предисловие В. Муравьева
Перевод Ю. Здоровова
Редактор Н. Кристалльная

Най. Роберт

Н20 Странствие "Судьбы": Роман. /Пер. с англ. Ю. Здоровова. Предисл. В. Муравьева. – М.: Радуга, 1986. – 352 с.

Книга видного современного английского писателя посвящена Уолтеру Рэли, одной из самых колоритных фигур английского Возрождения. Мореплаватель, организатор заморских экспедиций, поэт, драматург, историк, один из руководителей разгрома испанской Непобедимой армады – все это причудливо соединялось в одном человеке мятежного духа и недюжинного таланта.

Н 4703000000–072 44–86
030 (05)–86

ББК 84.4Вл
И (Англ)

© by Robert Nye 1982

© Предисловие и перевод на русский язык издательство "Радуга", 1986

Последнее слово последнего елизаветинца

Ко времени написания этой книги – а вышла она в 1982 году – автор ее Роберт Най (р. в 1939 г.) уже обрел славу комических дел мастера современной английской словесности. Менее всего он был обязан этой славой своим стихотворениям, которых с 1961 года накопилось добрых семь сборников. Нового стихотворца заметили почти сразу (в 1963 г.), удостоили одной из главных поэтических премий Великобритании – и постепенно потеряли интерес к его экспериментам и имитациям, искусному освоению чужих приемов и нарочитому отсутствию собственной тематики. Проба голоса несколько затянулась. Виден был человек способный, литературно одаренный, но дарования его оставались как-то не при деле.

Между тем он упражнял их на разные лады: написал, например, восемь пьес для сцены и для телевидения – забавных, задиристых, исполненных веселой нелепицы (часто под видом мрачного абсурда) и заведомо ненастоящих, пьес-подвохов, пьес-розыгрышей. Подвохом и розыгрышем явственно отдают его многочисленные статьи, рецензии, эссе, а иногда и историко-литературные этюды: поместить иные из них в отчетливый "смеховой контекст", то есть в какой-нибудь сборник малой прозы того же Ная, – и они заиграют пародийными оттенками.

А сборников таких Наю опять же не занимать стать¹, и некоторые из них даже назывались детскими книгами, подобно тому как сходят за них в нынешней Англии жутковатые фантазмагории записного, прямо-таки стандартного сюрреалиста Рояльда Дая. Разница, впрочем, существенная: Дая одной рукой создает моду на "ужасы для детей", другой эксплуатирует ее, а Най эту моду изобличает и осмеивает, обнажая нехитрые (а то и хитрые) стилистические механизмы подобных изделий. Дая упомянуть здесь стоит, во-первых, потому, что он более или менее знаком советскому читателю: его рассказы с сюрреалистическим сдвигом публиковались в наших журналах самой массовой циркуляции под видом "научной фантастики"; во-вторых, затем, чтобы исключить сближение этих двух имен (а оно случалось в английской критике) и с порога отместить подозрение Ная в сюрреализме, которое – в той же критике – то наклеивается как ярлык, то присваивается как звание.

Нет, Роберт Най не чета Рояльду Дая и вообще в сюрреалисты не годится: они – народ серьезный, они, как и все модернисты, занимаются подрывом и растаскиванием реальности, "доказательством того, что жить невозможно", проповедью страха перед жизнью, потерянности и "заброшенности", недоверия к человеку и его назначению. А Най искал и ищет способов утверждения реальности с помощью смеха, нашедшейся проверки всяческой литературы во имя "всяческой жизни". Его творческое кредо – комический оптимизм, и дело это нешуточное; стоит вспомнить слова русского поэта и критика Аполлона Григорьева в его статье "О правде и искренности в искусстве": "Комизм есть отношение высшего к низшему, отношение к неправде со смехом во имя оскорбляемой ею и твердо сознаваемой смеющимся правды..." – и еще: "Утрата же возможности относиться с комизмом к неправде жизни есть признак утраты самих идеалов".

У Роберта Ная противник-неправда – это словесный иллюзионизм,

¹Рецензию на самый недавний, может быть, самый характерный можно прочесть в журнале "Современная художественная литература за рубежом", 1985, № 2.

изображение, подменяющее и фальсифицирующее действительность. Он не тычет пальцем и не возглашает: он передразнивает и компрометирует, конфузит — что, пожалуй, иногда действеннее иных обличений. Можно даже сказать, что он обнаруживает и устанавливает подлинные изобразительные возможности того или иного литературного стиля, корректирует его, лишая претензии на самодовлеющую истинность, будь то "новое слово о жизни" или новейший, освященный структурализмом, вариант "искусства для искусства". В этом, собственно, и состоит назначение пародии, когда и поскольку она не привязана накрепко к пародируемому явлению, а имеет самостоятельную цель и ценность. У Най — имеет. Чрезвычайно широкий захват его пародийности объясняется масштабом его собственных претензий — увы, далеко не всегда оправдываемых на практике, но изначально многообещающих и по сути реалистических, — раблезианских претензий на создание комической литературной энциклопедии путем перевода литературных явлений на народно-смеховую основу. Отсюда его отношение к литературе как к фольклору. Есть и соответствующая декларация: "Главный романист для меня — Рабле, мастер как в области формы, так и в области содержания".

Пятнадцать лет (1961—1976) Най пробывал как бы стихотворцем с дополнительной репутацией насмешника; потом объявил: "Я с опозданием заметил очевидный факт. Прозаические жанры — и особенно роман — исподволь захватывали ту область, которую поэзия от века полагала своим исключительным достоянием. После Джойса роман все теснее и теснее сближался с поэзией".

Эти спорные, но по-своему любопытные положения, во всяком случае, означают, что стихотворения и мелкая проза (рассказы и полурассказы, миниатюры, наброски, очерки, опыты, эскизы и т.д.) не отвечали задаче Роберта Най, им самим более или менее поставленной, — задаче широко-масштабной проверки, уяснения соответствия словесного образа действительности ее реальному облику. Такое соответствие всегда наличествует: пусть условное, зыбкое, даже парадоксальное, но все же так или иначе определенное и довольно-таки обязывающее. Вернее сказать, творческое соответствие; и раскрытие его требует большого прозаического пространства, персонажей и происшествий, событийности и сюжета — хотя бы затем, чтобы преодолеть инерцию пародийного стиля (а Най-рассказчик обычно у нее в плену). Нужен еще и повествовательный разгон, сюжетная целеустремленность. В трех романах, благодаря которым Най сделался заметным английским писателем: "Фальстаф" (1976), "Мерлин" (1978) и "Фауст" (1980), — разгон, как можно видеть по их заглавиям, набирался за счет тех накопленных художественной энергии, которыми изобилует классика.

"Фальстаф", например: здесь созданная Шекспиром драматическая вселенная объясняется, оценивается и заново оживает в своем комическом великолепии стараниями шекспировского персонажа, пишущего автобиографию, где все — буквально все! — пьесы великого драматурга предстают в переиначенном виде и оказываются анекдотами из жизни толстопузого рыцаря-выпивохы, пройдохы, хвастуна и бабника сэра Джона Фальстафа. В роли истолкователя творчества своего создателя (он-то, конечно, отмежевывается от "Уилла Шекспира", но и это как нельзя более в его характере) Фальстаф неподражаем — и, конечно, из всех героев Шекспира только он и годится на такую роль. И надо сказать, что Най, с одной стороны, показывает чудеса комической изобретательности, а с другой — остается верен шекспировскому образу. Такая "карнавализация", веселый хоровод, в котором кружатся и самые возвышенные герои драм и трагедий, ничуть не умаляет созданий Шекспира, так же как не может их "развенчать" никакое сниженное восприятие, которое, кстати, и само является объектом пародии.

А что сэр Джон Фальстаф — представитель реальности, и даже реальности исторической, тоже вовсе не случайно и не произвольно. Недаром Л. Н. Толстой, ниспровергая Шекспира, только одного сэра Джона и пощадил:

"Фальстаф действительно вполне естественное и характерное лицо... изображенное Шекспиром... Оно из всех лиц Шекспира одно говорит свойственным его характеру языком"¹. Вот оно, это лицо, и использовано у Най как "естественное и характерное" — но не для ниспровержения, а ради комического апофеоза Шекспира, одного из величайших мастеров комизма в мировой литературе. Ная можно упрекнуть разве что в нарочитом преизбытке "раблеизма", особенно по части скабрзности, тем более что самому-то Рабле она была вовсе не свойственна.

Подобным же преизбытком грешит и "Фауст" — записки "ученика чародея", поначалу примерно того самого Вагнера, которого мы встречаем на первых страницах трагедии Гёте. Это гротескно-комическая история походов, нечто вроде плутовского романа, причем Най как бы возвращает гётевских героев в атмосферу и к событиям народной легенды о докторе-чернокнижнике, продавшем душу дьяволу ради обладания красивой из красавиц — Еленой Троянской. Вот тут, пожалуй, действительно можно говорить о "развенчании" — а вернее, об обратном преобразении... даже не гётевского Фауста, а программного, почти что байронического героя, выросшего из трагедии Гёте и олицетворяющего идеологический стереотип "фаустовского начала" в человеке, так называемого "человекобожия". Этот стереотип, заметим, во всей своей опасной прелести был изображен в романе Томаса Манна "Доктор Фаустус", причем Манн тоже сдвигал гётевский сюжет в сторону народной легенды; да и повествователем у него был приятель-ученик новоявленного Фауста. Разница очевидная: Манн воспроизводил стереотип человекобога-сверхчеловека в рамках строгого социально-философского анализа; Най делает его игрушкой комической стихии, рассматривает с самой что ни на есть демократической точки зрения. А задачи сходные; и очень отчетливо ощущается обычная тема Най — взаимопроникновение образа и реальности — и обычная его уверенность в том, что человек есть существо, наделенное даром смеха, спасающего от "сверхчеловеческих" соблазнов, если только он смеется в полную силу. Существование всего, пожалуй, художественная установка на оживление и приближение издавна понятного и знакомого, стирание с него патины привычного восприятия — и ведь действительно, первоначальные краски восстанавливаются, а взгляд наш становится пристальней. Обнаруживается кое-что, ранее не замеченное, а краски даже удивляют своей почти жестокой яркостью. Дело в том, что художественные образы, образы литературы рассматриваются и истолковываются не как отражение (это само собой), а как явление реальности, причем реальности, окрашенной комически: скорее человеческой, нежели божественной комедии.

Не самый удачный эксперимент Най в этом роде — роман "Мерлин", где легенды и мифы об Англии короля Артура лишаются рыцарского и чародейского ореола и оказываются довольно странным скоплением довольно скверных, большей частью эротических побасенок. Преображение неприятное, шокирующее, может быть, даже и ненужное, но очень в духе времени.

Интересную попытку реанимации артуровского цикла сделала недавно английская писательница Мэри Стюарт (ее роман "Полые холмы", средний в трилогии, опубликован в русском переводе — М., "Радуга", 1982); и как бы в ответ ей Роберт Най создает бурлеск на ту же тему, разрушая герико-богатырские сказания. И то, и другое особенно понятно в наши дни, когда в связи с полным и окончательным развалом Британской империи под вопросом стоит само понятие английской государственности. Артуровские легенды — одна из ее привычных мифологических санкций, что прекрасно понимал бард викторианской эпохи лорд Альфред Теннисон, автор свода "Королевских идиллий", предложенных в заключительном посвящении

¹Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 22-х томах. М., "Художественная литература", 1983, т.15, с.288, 289.

королеве Виктории в качестве опоры трона. Вот Мэри Стюарт и пытается заново пристроить мифы к делу, представить их чем-то вроде "архетипа" построения английского государства; Най же, напротив, занимается деидеологизацией легенд.

Занимаясь этим, он, конечно же, не мог не припомнить, что теннисовский свод легенд был с вящим умыслом адресован повелительнице Великобритании; не мог не припомнить, что подобного рода создание, грандиозная поэтическая аллегория, впитавшая среди прочего и артуровский цикл, — "Королева фей" Эдмунда Спенсера была преподнесена королеве Елизавете I (у Спенсера — "Глорриане") по совету ее тогдашнего фаворита сэра Уолтера Рэли (1552? — 1618). Возможно, именно таким образом старый знакомый Роберта Ная (он составитель, редактор и комментатор "Избранных стихотворений" Уолтера Рэли) впервые предстал перед его мысленным взором как будущий герой романа.

Все перечисленные романы Ная имеют исторический колорит, и даже очень пышный, почти избыточный. Везде чувствуется не просто беллетрист, но ученый, знаток, историк и филолог. Об этом от противного свидетельствует и самый его вкус к анахронизмам — Най не был бы Наем, если бы заодно не пародировал и собственную добросовестность, и внимание к деталям. И анахронизмы его по-раблезиански уместны, покуда автор вершит карнавальное действо, по сути своей упраздняющее историю, использующее ее для переодеваний.

От такого действия, казалось бы, особенно далеко до исторического повествования и изображения реальных лиц прошлого. Скорее, можно было бы ожидать разрастания в роман тех прозаических опытов Ная, где выявляется условность современного, нормального, обыденного. Не исключено, что это еще впереди; но пока что комических дел мастер вдруг отступил в историю и вынырнул из нее в облике одного из "титанов Возрождения", мореплавателя, открывателя и колонизатора, воина и флотоводца, естествоиспытателя, историка, поэта и драматурга... словом, вышепоименованного сэра Уолтера Рэли.

"В облике" — потому что Най, как обычно, исчез; но прежде он угадывался за маской персонажа-повествователя или за широкой стилизацией. Повествователь-то всегда был подставной — а тут рассказ ведет сэр Уолтер собственной персоной. Прием крайне редкий для исторического жанра; как правило, повествование передоверяют (если передоверяют) лицу более или менее второстепенному (и желательнее неисторическому), вроде Петруши Гринева ("Капитанская дочка"), Френсиса Освальдистона ("Роб Рой") или Хаджи Рахима ("Чингисхан"). Трудновато представить себе исторический роман в форме записок "полудержавного властелина" Александра Даниловича Меншикова или светлейшего князя Григория Александровича Потемкина (а Уолтер Рэли — фигура как раз такого калибра). Собственно, почему бы и нет? — однако чуть ли не уникальные примеры подобного рода дают разве что лжемемуары императора Адриана М. Юрснар или знаменитые романы 1930-х гг. английского поэта, прозаика, ученого Роберта Грейвза "Я, Клавдий" и "Божественный Клавдий". Уж не его ли лавры соблазнили Роберта Ная? Но у Грейвза — дела античные, жизнеописание императора Клавдия, дяди Калигулы и отчима Нерона. А тут личность общеизвестная, из своей истории, знакомая со школьной скамьи, с хрестоматийными стихотворениями (его собственными и о нем), с затверженным жизнеописанием.

Вот он и есть, отправной пункт Ная: сэр Уолтер Рэли существует как стереотипный образ в читательском сознании, про него "все известно" — куда более, нежели про сэра Джона Фальстафа; все известно и вроде бы все понятно. Но нет: оказывается, понятно все только со стороны.

А герой романа «Странствие "Судьбы"» чувствует себя плохим актером, наобум доигрывающим свою легендарную и чем-то фальшивую роль в бессмысленно затянувшейся драме; и чем она кровавее, тем бессмысленнее, на трагедию явно не тянет. Но доиграть свою роль он должен; и, хотя

роковая развязка в общем предreshена, от него, и только от него, зависит тон и значение этой развязки. У него, кстати, есть недрут поопаснее номинальных распорядителей его участи, автор комедии "Напрасные усилия любви", где сэр Уолтер Рэли, по собственному признанию, выведен под именем дона Адриано де Армадо, напыщенного, велеречивого, задиристого и трусоватого фанфарона-волокуты. Карикатура, конечно, но опасная тем сходством с действительностью, которое так умел улавливать Шекспир.

Так что герою Ная, чтобы не впасть в ничтожество, надо лепить свой собственный образ вопреки шекспировской карикатуре, наперекор полуза-тертой и все же гибельной, давящей легенде о себе. А может, в унисон с ней? Да нет, вряд ли. Английский историк Маколей недаром говорил, что "изображения хрестоматийно-летописные вредны для истории". А сэр Уолтер Рэли, согласно невидимому Роберту Наю, должен найти разгадку и если не оправдание, то хотя бы достойное и связное объяснение своей жизни именно в Истории. Для этого надо жизнь перечесть, то есть вспомнить по-настоящему, и очень здесь подходят пушкинские строки:

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю...

И нет отрады мне...

В романе Ная воспоминание представлено как творческий процесс самопознания, деятельный союз памяти, воображения и нравственного чувства, воссоздающих реальность и преодолевающих стереотип.

Что же это за стереотип, "хрестоматийно-летописный"? Особенность романа Ная, как уже говорилось, в том, что герой его априори отлично знаком английскому читателю. Дело не в частности, разумеется. Читатель может помнить или не помнить точные годы его жизни, но безусловно знает, что он был фаворитом Елизаветы, а казнили его при Якове I. Не обязательно припомнят, что он семнадцать лет от роду сражался во Франции на стороне гугенотов, что он был свидетелем Варфоломеевской ночи; зато всем известны его путешествия к берегам Южной и Северной Америки и неудачные попытки основать колонии на месте будущего штата Виргиния (однако имя это, данное им местности в честь королевы-девственницы, прижилось и сохранилось), его участие в разгроме Непобедимой армады, захваты испанских кораблей, разгромы поселений и городов... Памятно, вероятно, и то, что по восшествии Якова на престол Рэли был обвинен в государственной измене (он якобы "предался Испании": трудно было придумать что-нибудь нелепее), приговорен к смертной казни и заточен в Тауэр, где провел тринадцать лет и написал первый том задуманной "Истории мира в пяти книгах". Известно еще, что ему принадлежит сомнительная честь ввоза и распространения в Англии табачного зелья. Был он смел и предприимчив, богат и расточителен, высокомерен и властен, к религии безразличен, как и другие сподвижники Елизаветы, как и она сама.

Может быть, помнится, а может, и не очень, что в 1616 году король освободил его из Тауэра под залог обещания снарядить за свой счет экспедицию в Гвиану и привезти оттуда горы золота: ведь именно там лежит путь в волшебный край Эльдорадо, как о том полунамеком сообщалось в его пышно расцвеченном воображением "Открытии Гвианы", сочинении 1596 года.

Может, и не помнится, это уже частности. Перейдем из действительно-сти в роман. В начале 1618 года сэр Уолтер Рэли, "великий искатель приключений", "знаменитый вдохновитель походов", пребывает на борту своего флагманского корабля со зловещим названием "Судьба": он стоит на якоре возле острова Тринидад, в шести милях от берега Гвианы.

С этого момента и начинается роман Ная — то бишь записки (впере-

мешку — дневники, мемуары, сочинения, послания, исповедь) Рэли, обращенные к оставленному в Англии младшему сыну. Открывает их обещание не преувеличивать и не приукрашивать повесть о себе и своих свершениях: очень уместное и дальновидное обещание, потому что смысл записок в том, чтобы спасти свою честь и сохранить человеческое достоинство, а это возможно лишь ценою жестокой и бесстрашной правдивости. Дается она нелегко: речь в романе идет об Англии конца XVI — начала XVII в., о ее властителях и судиях — и о той роли, внешне завидной, а по сути жалкой, которую играл среди них сэр Уолтер. Лишь осознав и оценив ее по заслугам, сможет он продвинуться в постижении своей судьбы. Исповедь перед самим собой хоть и неравнозначна искуплению, но все же это акт мужества, необходимая предпосылка отречения души и последних решений.

«Странствие "Судьбы"» сюжетно похоже на "Смерть Вазир-Мухтара" Тынянова: и там, и тут представлено трагическое завершение судьбы человека, пережившего свое время и оказавшегося в чуждой и противоположной ему роли при новых хозяевах жизни. И там, и тут герой идет на смерть с открытыми глазами. Есть даже стилистическое сходство: "кусковая композиция", психологически мотивированная отрывистость повествования. И рассказ у Тынянова ведется почти что от лица Грибоедова (как уже отмечалось, прием характерный и очень редкий). "Смерть Вазир-Мухтара" начинается фразой: "Еще ничего не было решено". На самом-то деле все решено и подписано. Так и в «Странствии „Судьбы“»: сэр Уолтер Рэли сам себе вынес приговор, когда напросился в золотоискатели к королю Якову, который отпустил его в экспедицию с черным злорадством, оповестив испанцев о составе, вооружении и маршруте флотилии и поставив заведомо невыполнимое условие: никаких стычек с подданными короля Филиппа III — это на испанской-то земле! Издевательски точно обозначает гротескную ситуацию посол Испании Гондомар: "Призрак, вставший с постели мертвой королевы-девственницы, отправляется на поиски золота!" Увы, дело именно так и обстоит, и самому Рэли суждено понять, почему; какова связь между поисками золота и постелью королевы-девственницы. Но об этом ниже.

А приговор он вынес не только себе, но и многим своим спутникам. Своему старшему сыну Уоту, который не верил в Эльдorado и в отчаянии, стыдясь отцовского позора и убийственно подлой тщеты всего предприятия, кинулся на испанские копы, чтобы умереть в бою. Своему самому преданному другу капитану Кеймису, покончившему самоубийством по его милости и чуть ли не приказу. Сотням погибших матросов и солдат... Ради чего? "Золото, — говорит ему жена, — твоя навязчивая идея... Я думаю, что ты давным-давно помешался на нем... Добывать золото для этой свиньи короля. Какая в этом честь? Какая слава?"

Те, кто не гибнут, становятся пиратами, изменяют Англии, предают своего адмирала. И осуществляют таким образом его собственные полупотопленные замыслы: ведь у него были на уме и нападение на испанский Серебряный флот с грузом сокровищ, и переход к французам. Поистине "знаменитый вдохновитель походов"! "Я отдал свою жизнь и пожертвовал старшим сыном ради сказки, грезы, которая была к тому же не моей..."

Перипетии последнего, рокового странствия королевского золотоискателя подкашивают и внушают воспоминания, задают их ритм. Уолтер Рэли припоминает, как в юности постигло его хищное ипохондрическое медвяной отравой века рыжекудрой королевы Бесс. "Шекспир... стал его поэтом. Я... его рабом". Став рабом своего времени, он сделался его героем и наконец "дошел до степеней известных": был допущен сначала в парадные чертоги, а потом и в опочивальню королевы; был свидетелем, а затем и участником самозабвенных плясок пятидесятилетней монархини, безлюбной и самовлюбленной обольстительницы, которая "ловит людские души". Лишь теперь, при описании танцевальных оргий, он, содрогаясь, понимает, что то были пляски смерти. Елизавета уже станцевала в могилу и теперь затаскивает его за собой, как увлекала в опочивальню. Вот уже, кажется,

нет ни сил, ни воли сопротивляться: "Я снова последую за королевой, только на сей раз в танце смерти".

Прошлое пленяет и затягивает Рэли, и время от времени он принимает горделивую осанку легендарного героя дней былых "из стаи славной" – но жизнь тут же точно мстит ему за это все новыми и новыми жестокими, постыдными и кровопролитными неудачами. И все же он упорно сопротивляется беспристрастной самооценке, прибегая, например, к уничтожению паче гордости: "Эти строки пишет не сэр Уолтер Рэли. А сломленный человек, иссякший ум, призрак, бессмысленное эхо умирающего имени". Чем упорнее его сопротивление, тем сильнее напор обстоятельств, тем пронзительнее голос совести – и великолепные воспоминания вдруг проваливаются в омерзительные кошмары, символический сплав лиц, образов, событий. Образ Елизаветы обрастает золотыми ассоциациями. Отношения их предстают механической и бесстыдной пародией на драматическую "маску" в духе Бена Джонсона (он и упоминается в этой связи) – "королева и рыцарь". И получают исторический подтекст: "призрак девушки", королева-девственница обручена со своей державой, с позолоченной идеей Империи, и связь с нею – рабское обожание этой идеи. Выстраивается цепочка символов: порочная девственность – бесплодие – насилие – золото – смерть. "Королева-смерть": Elizadeath вместо Elizabeth.

"Она освободила тебя, чтобы ты умер", – говорит сэру Уолтеру его неожиданный и непрошенный спутник, индеец Кристоаль Гуаякунда, косвенно-символически виновный в смерти Уота и решивший на свой лад заменить его; как бы ниспосланный, чтобы помочь Гуаттаралю (так называли Уолтера Рэли испанцы) обрести перед лицом смерти спокойное мужество и уверенность в себе. И Гуаттараль, "человек, который притворялся героем" (так он мыслит сам о себе), пишет:

Все в нас актерство – до последних поз!
И только умираем мы всерьез.

"И все-таки чему же научил меня индеец?
Как надо умирать".

И опять неверно, опять защитная, стоическая поза: вовсе не этому "учил" и научил его индеец. Кристоаль Гуаякунда – живой реликт легенды об Эльдorado, порожденной ритуалом его племени, племени чибчей. Никакого золота не было; но миф о нем привлек инков – они пришли и перебили чибчей; потом испанцы перебили инков; наконец явился за тем же мифическим золотом и сам Гуаттараль – и навстречу ему, словно образ из его снов и грез и их явственное опровержение, вышел последний Золотой Человек и излечил его от "золотой лихорадки". В беседах с ним сэру Уолтеру вопреки себе приобретает суровой и требовательной мудрости народно-поэтического сознания, связующего мифы и реальность; с его помощью он рассчитывает "привести свой корабль и жизнь в гавань разума и смысла".

Уж это, может быть, и слишком; итог немного другой: готовность к последним испытаниям. Перестав "притворяться героем" (а "мы такие, какими притворяемся"), он перестает быть Гуаттаралем и уже не завещает сыну свой образ, а до последнего борется за жизнь – и не ради себя, а ради тех, кого он любит и кому нужен не в героической истопасы, а в человеческом облике. Не нужны им макиавеллистские плоды его жизненного опыта (он пытается писать "Наставления сыну и грядущим поколениям" и, снова опомнившись, издается над собой: "Блудный сын сэра Уолтера Рэли пытается играть роль отца"). Им от него требуются не свершения и не речения, а поступки, живое присутствие, живой пример.

Он поступает правильно, когда направляет единственный уцелевший от его флотилии фрегат "Судьба" "домой, к королю Якову и к плахе". И поступает мужественно, когда, вернувшись, твердо сносит удар за ударом, предательство за предательством, издевку за издевкой. Благодаря его

мужеству, находчивости, присутствию духа королю Якову не удается превратить финал жизни сэра Уолтера Рэли в шутовскую трагедию. Шутами остаются король Яков и "королевский постельничий и шталмейстер" Джордж Вильерс, герцог Букингемский, тот самый будущий воздыхатель Анны Австрийской, которого не без восторга расписывает Дюма в "Трех мушкетерах". Хотя, как ни странно, кое в чем эти образы схожи: в несущемся (у Дюма) "бешеным аллюром" по улицам Лондона и сшибающем "неосторожных прохожих" ("кругом раздавались крики, весьма похожие на проклятья") герцоге Букингеме легко угадывается надменный холуй Якова I, ставший любимчиком его сына Карла.

Король Яков и Букингем — два из трех сатирических образов романа (вообще сатира Наю несвойственна, и до книги об Уолтере Рэли его справедливо считали "чистым юмористом"; да и после нее он с успехом вернулся к юмору). Третий — лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон, барон Верулем, с его "каменным сердцем", "холодным умом" и паучей хваткой, карьерист и циник, искушенный в науке предательства, всегда готовый "протянуть руку попавшему в беду другу и возвести его на эшафот". Он единственный из елизаветинцев пришелся по душе королю Якову и не упускал случая прислужиться новому хозяину.

При умелом содействии этого "бывшего друга" сэра Уолтера Рэли и отправили на плаху без лишнего шума и хлопот — не за новые вины, которых почти что и нет, а согласно приговору пятнадцатилетней давности, формально не отмененному. Если он и несправедлив, то за давностью лет это несущественно. Пересматривать его поздно, зато можно смягчить.

Там было сказано "повесить, отсечь голову и четвертовать". И король явил свою милость: "Вместо сего мы желаем, чтобы сэру Уолтеру отрубили только голову". Ответная реплика осужденного — на высоте почти поэтической: "Сэр Уолтер Рэли, рыцарь, прекрасно слышал и хорошо понял, чего желает Его Величество".

Тут он — воин, поэт и насмешник — равен сам себе. Он заслужил признание индейца Кристобалья: "Я не увижу смерть Гуаттаралья... Я увижу больше того, за чем приехал. Я увижу смерть сэра Уолтера Рэли".

Предстоит еще побороть "последнюю и самую дьявольскую гордыню": обойтись без предсмертных жестов и поз, умереть просто и скромно и в своей речи с эшафота покаяться перед людьми и в чем можно оправдаться перед ними. Казнь описывает в эпическом тоне, как бы в противовес напряженному лиризму записок, их адресат — сын Кэрю. "Казалось, — пишет он, — христианин умирает, как римлянин, или, скорее, римлянин умирает, как христианин".

Тут, как и в эпилоге, написанном тем же Кэрю в 1660 году, после всех превратностей революции, гражданской войны и кромвелевской диктатуры, отчетливо слышна ирония действительного автора жизнеописания Уолтера Рэли: и не христианин сэр Уолтер, и не римлянин. Зато гулким предвестием революции звучит возмущенный возглас из толпы: "Этой голове цены не было!" Это уже посмертное признание, посмертная награда. Когда через тридцать лет почти на том же месте рубили голову королю Карлу, таких криков не раздавалось.

Итак, перед нами картина событий на протяжении едва не полувека — от религиозных войн во Франции и Варфоломеевской ночи до 1620-х гг. (черту подводит скупой рассказ Кэрю о позоре и смерти Фрэнсиса Бэкона и убийстве герцога Букингема). "Блеск и нищета" двух эпох истории Англии сквозь призму автобиографии "последнего елизаветинца". Повесть о неслиянности и неразрывности личной и общественной судьбы. И о главном достоинстве человека — человеческом достоинстве, утраченном и вновь обретенном; о том, как трудно понять и высказать правду о себе и как стремление к этой правде расправляет дух и возвышает над судьбой. В общем счете — роман-разоблачение английской колониальной героини, разоблачение тем более убедительное и впечатляющее, что проводится оно устами одного из основателей Британской империи. По-настоящему исто-

рический роман; а яркость и разнообразие красок палитры Роберта Ная, его гротески, служащие точной обрисовке чудовищного в самой жизни (уже говорилось о взаимопроникновении образа и реальности), его сочный и живой стиль доказывают, что комических дел мастер, пародист-искусник оказался мастером добротной исторической прозы, а ее нынешней литературе Англии, пожалуй что, очень не хватает.

В. Муравьев

13 февраля 1618

Когда Александр Великий дошел до пределов известного ему мира и разбил свой лагерь на берегах реки Инд, он повелел строителям соорудить гигантские шатры и заполнить их исполинской мебелью.

Потом оружейники, выполняя его волю, выковали мечи, равные по длине копьям; щиты, по крепости и размерам не уступавшие мельничным жерновам; топоры, похожие на бревна тарана, и шлемы величиной с огромные ульи.

Отплывая в Грецию, Александр приказал ничего не трогать в этом громадном призрачном лагере.

Он хотел отбрасывать большую тень. Хотел, чтобы люди верили, будто сам он был гигантом и командовал исполинами, что оставленный лагерь занимала армия чуть ли не богов.

Сын, я не гигант и (господь ведает) не бог.

В моих записках ты не найдешь исполинских стульев.

*

Я пишу эти строки на борту флагманского корабля "Судьба", что стоит на якоре в заливе Пунто-Гальо — индейцы зовут его Куриапаном — у юго-западной оконечности острова Тринидад. Наше местоположение — $9^{\circ}55'$ северной широты и 62° западной долготы. Это значит: около шести миль к востоку от побережья Гвианы. И в безмерности свирепого океана к западу от тебя, Кэрю.

*

Я веду дневник большую часть плавания; я начал его в прошлом августе в шестидесяти милях от мыса Сент-Винсент, на двенадцатый день после отплытия из гавани Кинсейла в Ирландии. Следовательно, уже пять с половиной месяцев я пишу о штормах и лихорадке, свежем ветре и несвежей пище, о несчастьях, неудачах и напастях, о сорванных парусах и разбитых мачтах, о моряках, которые покидали этот мир столь прихотливыми путями, сколь было угодно господу богу, и бежали с кораблей такими хитроумными способами, какие только могли придумать сами.

Не успели мы выйти из Кинсейла в Атлантический океан, как корабль дал течь; три матроса, посаженные в трюм, утонули; все сырое мясо ушло на заделку трещин в палубных обшивках.

Мне уже тогда следовало понять, что мое плавание обречено. Проклято, если угодно.

Пошло прахом с самого начала.

Слишком много дурных знаков и предзнаменований.

Нельзя было называть корабль "Судьбой". Высокопарно и напыщенно — а это искушает провидение. Ах, Елизавета, я вижу, как ты качаешь головой и грозишь пальчиком. Ты не любила, чтобы кораблям твоего флота давали торжественные абстрактные имена. Я помню, как ты заставила одного из капитанов сменить название корабля "Покаяние" на "Безделушку".

— Корабль водоизмещением пятьсот тонн, — сказал я мистру Петту. — По моим собственным чертежам.

— Вы их изготовили в Таузере, сэра Уолтера?

— Согласитесь, мистер Петт, что лучшего места помечтать о стройных кораблях и не придумаешь.

Файнис Петт — королевский корабел. Я заплатил ему пятьсот фунтов. И до сих пор должен еще семьсот. Да разве в те дни меня заботили такие мелочи? Путь к золоту Гвианы казался мне не труднее путешествия из столовой в спальню.

Итак, "Судьба" была построена на Дептфордской верфи и спущена на воду за девять дней до Рождества 1616 года. Черный лебедь, а не корабль. Быстрый, стройный, красивый. Все сделано из добротного английского дуба, обшарив корабль от носа до кормы, вы не найдете доски тоньше пяти дюймов. Может нести команду в двести человек. Орудийные порты расположены так, что все тридцать шесть пушек будут, если потребуется, палить в любой шторм.

— Зачем вашему кораблю такое грозное вооружение, сэра Уолтера?

— В пиратских морях не помешает, мистер Петт.

— Простите, сэра Уолтера? — Очки его сползают с носа. Колкие глаза блестят, блестит и лысая, похожая на луковицу голова.

— Вы задаете старой лисе чертовски наивный вопрос. Пиратство в наши дни — обычная вещь. Мы живем в недобрые времена.

Канаты, рангоут, тали, плотничьи ямы, швартовы, чаны со смолой и бочки с паклей, шлюпбалки, транцы и тимберсы.

Громадные тяжеловозы взбугрили мышцы и натянули веревки, толстые зубья спускового ворота несколько раз дернулись, пеньковые тросы запели от напряжения, и моя дорогая "Судьба", подрагивая и качаясь, медленно двинулась по хорошо смазанному желобу в темные воды Темзы.

Хорошо помню тот день; сильный восточный ветер, развеяв наши плащи, гнал снег по Дептфордской гавани, словно ключья дыма. Твоя мать, моя дорогая Бесс, стояла в своей бобровой шапке, закутавшись в меха. Уот с непокрытой головой и покрасневшимся лицом ел яблоко — ему мороз нипочем. Был там и мой друг Лоренс Кеймис, высокий, худой, косой на один глаз ученый муж. Надзирающий за мной кузен сэра Льюиса Стьюкли страдал от насморка, но долгу не изменял, он только время от

времени прикладывался к флажке с эликсиром моего собственного изготовления — порошок буквицы и серный бальзам, смешанный с розовым джемом и вином. На причале неподалеку от нас стояла жаровня. Я грел руки над шипящими угольями. А ты, Кэрю, скакал на одной ножке, плясал и веселился: тебя согревала детская непосредственность.

Смолисто пахнет такелаж. Полощется на ветру новая промокшая парусина. Мастеровые Петта зачищают реи и возятся со штурвалом.

Ветер развеивает плащ мистера Петта.

— Крепкий корабль, сэр Уолтер. Хорошо держится на якоре. Как гроб.

*

Ты знаешь, сын, приговоренный к смерти по обвинению (несправедливому) в государственной измене, я тринадцать лет просидел в Таузере. Я еще расскажу об этом подробнее. Ты также знаешь, что нынешняя моя свобода (какой бы она ни была) куплена ценой обещаний добыть золото. Он любит говорить и мечтать о золоте — наш король Яков, шестой в Шотландии и первый в Англии¹. Но не думай, будто я обманывал его, когда написал государственному секретарю Уинвуду и изложил план, к исполнению которого готов был приступить после освобождения из тюрьмы. Я уже бывал в этих краях. В 1595-м. По поручению леди, которую не пощадило неумолимое время. Королевы Елизаветы. На карте реки Ориноко я могу точно показать места, где есть золото. Не Эльдорадо. Не Маноа. Не какие-то мифические золотые города. Но богатые золотые прииски. Настоящие.

У твоего отца всегда были друзья — особенно в Девоншире и Корнуолле, в его родной, всегда верной ему Западной Англии. Там есть люди — богатые и бедные, высокого и низкого сословия, — которых зависть не ослепляла даже в те (теперь уже далекие) дни, когда колесо фортуны, пущенное рукой королевы Елизаветы, высоко вознесло меня и один фатоватый лондонский дурак — сэр Энтони Бэгот, если не ошибаюсь, — назвал твоего отца "самым ненавистным человеком в мире". Дивись, остолоп Бэгот, друзья этого некогда самого ненавистного человека вложили пятнадцать тысяч фунтов в его скромное путешествие. И моя жена Бесс (да хранит господь твою добрую мать, Кэрю) продала свои земли в Мичеме, в графстве Суррей, чтобы выручить для меня еще две с половиной тысячи. И сам я потребовал

¹Яков Стюарт (1566–1625) — король Шотландии Яков VI (1567–1625) и король Англии Яков I (1602–1625). — Здесь и далее примечания переводчика.

возврата отданных взаймы восьми тысяч фунтов, которые получил в качестве компенсации за мой дом в Шерборне, отнятый у меня королем и подаренный его тогдашнему фавориту Роберту Карру, графу Сомерсету. Еще пять тысяч я собрал там и сям. Итак, когда в конце марта 1617 года, подгоняемые свежим ветром и опасениями, как бы король Яков не передумал, мы поплыли по Темзе, в наше предприятие было вложено чуть больше тридцати тысяч фунтов. Проходя мимо Грейвзенда, мы узнали о смерти индейской принцессы Покахонты¹.

Похоронный бой индейских барабанов здесь, в Англии, в самом начале нашего пути.

Смерть.

Я по природе человек не суеверный. В свое время меня даже называли атеистом (хотя, по правде говоря, я тогда был не атеистом, а скептиком — не принимал и не отвергал ни одной религиозной доктрины, но критически проверял каждую). Но кем бы я себя ни считал, мне бы поостеречься тех барабанов, прислушаться к тому, что они говорили.

Смерть.

Мне бы следовало понять это, когда мы, не пройдя еще и половины пролива Святого Георга, потеряли одну из шхун у Плимута; ветер бесновался, такого шторма не было со времени сражения с Великой армадой.

Ловкие пальцы дьявола спутали все мои морские карты.

У штурвала моих кораблей стояла смерть.

Только на моем флагманском корабле умерло сорок два человека; среди них — генерал-лейтенант наших сухопутных сил Джон Пиготт, главный золотарь мистер Николас Фаулер, мой ученый друг Джек Тэлбот, просидевший со мной в Таузере одиннадцать лет.

Мы отправились в плавание на четырнадцать фрегатах и трех шхунах.

Арифметика смерти.

Сейчас у меня осталось десять кораблей, причем только пять достаточно легких, чтобы плавать по рекам.

Я смотрел, как они уплывали без меня. Моих сил хватает только на то, чтобы писать. Когда задувает горячий ветер с материка, пот заливает мне глаза и я не вижу слов, сползающих с моего пера. Все остальное время меня бьет озноб.

Но я продолжаю. Иду дальше. Ты уже, видимо, понял, что я избегаю самого главного. Что каждое предложение, написанное до сего момента, — это лавировка, помогающая мне сохранить движение, но уклониться от того, что я должен сказать. Всего

¹Покахонта (ок. 1595–1617) — дочь индейского вождя Поухатана. Ее брак с Джоном Рольфом знаменовал установление мира североамериканских индейцев с англичанами.

лишь способ (вся эта болтовня о деньгах!) спрятать поглубже мои истинные мысли и чувства. Пойми, это не продолжение моего дневника. С тем дневником покончено. Раз и навсегда. Хотя я и не дописал его. То, что я должен написать, лежит за гранью прошлой жизни.

Тот дневник я писал о себе и для себя. А теперь я пишу для тебя. Для тебя, Кэрю, сын мой. И то, что я пишу, в общем-то и не дневник. Что? Не знаю. Я сам хочу понять. Что-то близкое к истине. И больше дневника, и меньше. Никакой чепухи о богах и гигантах. Но своего рода исповедь. Рассказ о моем прошлом и настоящем. Кем я был и кем стал. Кем и каким. Для тебя, Кэрю, ты ведь меня совсем не знаешь. Мой бедный Кэрю, ты, может быть, никогда не прочтешь ни одной строчки этих записей. Мой несчастный сын, что был зачат и рожден в Таузере, а крещен в тюремной церкви святого Петра-мученика ровно тринадцать лет тому назад. Ты думал, я забыл? Нет, Кэрю, не забыл: сегодня день твоего рождения.

*

Уот умер. Твой брат. Мой старший сын. Вот что я должен был сказать сразу. Но не мог. А ведь именно это и заставило меня взяться за перо. Эти строки продиктованы и навеяны смертью.

Уот убит в стычке с испанцами возле форта Сан-Томе. Убит в ночь на третье января. Десять недель тому назад он отправился с Кеймисом, моим племянником Джорджем и остальными в глубь материка по Ориноко, и до сего дня от них не было никаких известий. Они уплыли на пяти кораблях малой осадки — только эти пять легких судов могли одолеть мелкие коварные протоки дельты Ориноко. У них было сто пятьдесят матросов и двести пятьдесят солдат. Капитаны этих кораблей — Уитни, Кинг, Смит, Уолластон и Холл. Мой племянник Джордж возглавляет сухопутный отряд. Я поручил своему старому другу Лоренсу Кеймису найти золотые прииски и устроить все необходимые работы.

Мне ли не знать, какие мерзавцы — речь не идет о нескольких офицерах — находятся под началом у Джорджа Рэли и Лоренса Кеймиса. Фраза о том, что это путешествие обречено с самого начала, не только дань мелодраме. Вот она, горькая правда: мое юридическое положение неоправданного "изменника", выпущенного из Тауэра только затем, чтобы добыть золото для короля Якова, привело ко мне на службу всякий сброд, который мало чем отличается от пиратов или наемников. Для меня не секрет, что большая часть моего отряда — преступники, которые нанялись на корабли, скрываясь от правосудия, ожидающего их в Англии. Даже лучшие из моих капитанов не доверяют друг дру-

гу. Они наотрез отказались плыть вверх по Ориноко, если я не останусь с остальными кораблями охранять устье реки. Для них я единственный, кто — они верят — не бросит их при появлении испанского флота.

Я заверил Кеймиса: "Ты найдешь меня в Пунто-Гальо живым или мертвым. Если здесь не будет моих кораблей, значит, ищи их пепел. В самом худшем случае я подожгу галеоны. Но что бы ни случилось, Уолтер Рэли не убежит".

И вот я здесь, больной, истрепанный лихорадкой, ем лимоны. Лимоны и апельсины, айву и гранаты. Фрукты мне дала при расставании жена губернатора Гомеры, одного из островов Канарского архипелага. Она англичанка, из рода Стаффордов. Без лимонов и других фруктов, которые мы сумели сохранить в больших кучах песка, я бы не выжил. Мой желудок никуда не годится. Больше месяца он не принимал никакой твердой пищи. К тому же — об этом я писал твоей матери в ноябре прошлого года, когда мы добрались до Кайенны, — две недели меня трепал жесточайший приступ калентуры, слава богу, что жив остался. Калентура — местная тропическая лихорадка, заболевший ею грезит: ему чудится, что перед ним не море, а зеленая лужайка, и он мечтает по ней прогуляться. Теперь все позади. Какая ирония судьбы: в письме, которое отправлено твоей матери с голландским судном, я радостно сообщал, что твой брат Уот — один из немногих, кого не свалила лихорадка, и что он переносит адскую жару как ни в чем не бывало.

Ну а я все еще так слаб, что могу ходить, только опираясь на чью-либо руку. Обычно это рука моего нового генерал-лейтенанта сэра Уорэма Сент-Леджера. Он тоже болен. У него водянка. Ему пришлось остаться со мной и тяжелыми кораблями.

Уот умер героически, что верно, то верно. Он умер, бросившись на испанских копейщиков с криком "*За мной, отважные сердца!*". Чего там говорить, глупая смерть. Он не должен был умирать. В этом не было никакой необходимости. По условиям полномочий, полученных от короля Якова, нам следовало избегать военных стычек с испанцами. Об этом позаботился Гондомар. Испанский посол. Как только до него дошла весть, что меня освободили из Тауэра (хотя и без помилования, приставив на первое время брата-надзирателя), он тут же поспешил к Якову поскулить, что-де вся Гвиана принадлежит Испании. В любом случае, сказал Гондомар, он убежден, что Рэли мечтает только об одном — стать пиратом и грабить города Испанской Америки. Поэтому из королевского указа, который был дарован мне 26 августа 1616 года, вымарали обычную фразу "наш преданный и любимый слуга" и недвусмысленно объявили, что я все еще нахожусь "в руках правосудия". Яков заверил Гондомара: за малейший ущерб, нанесенный подданным Испании, я поплачусь жизнью.

Смертельная западня? Не совсем так. Я намеревался взять

с собой французские корабли. Пока мы разрабатываем прииски, французы могли бы воевать с испанцами. Я послал двух французов, Фэжа и Белля, на переговоры с адмиралом Монморанси. У меня и сейчас хранится письмо от Монморанси, в котором он обещает мне убежище в любом из портов Франции, если это потребуется по возвращении. Но что случилось с четырьмя французскими кораблями, которые уже снарядили в Гавре и Дьеппе? Перед моим отплытием из Плимута Фэж и Белль взяли у меня деньги и письма для капитанов французских кораблей. Больше я их не видел. Я ожидал их в Кинсейле, потом на Канарских островах и, наконец, после мучительного перехода по Атлантике, у реки Кайенна. Французы не появились. И до сего дня французский отряд так и не прибыл сюда, к дельте Ориноко.

Кеймис, конечно, думает, что, захватив испанский форт в Сан-Томе, он совершил благое дело. Не знаю, откуда у него такие мысли. Из моих указаний ему и племяннику Джорджу это никак не следует.

Письмо Кеймиса о смерти Уота пришло сегодня, в твой день рождения, Кэрю. Оно написано восьмого января. Значит, мерзавец писал его шесть дней, а двое посыльных — лодчман-индеец и матрос Питер Эндрюс — везли еще пять недель. Сан-Томе лежит в двухстах милях от устья реки, поэтому посыльных я еще могу простить. Но никаких извинений от Кеймиса я принимать не намерен. Я с него спрошу за низкую трусость, видит бог, строго спрошу.

Нашел он прииски? Добыл золото?

Жалкий трус *ни слова* не написал об этом.

Ничего вразумительного. Вообще ничего.

Эндрюс может рассказать мне только то, что я уже знаю и чего знать не хочу. Что наш отряд захватил Сан-Томе. И что Уот убит.

*

Над кораблем кружат стервятники. Краска на бортах облупилась. Тропическая сырость. Влажная жара. В полдень в бурливых течениях пролива, разделяющего Тринидад и материк — на моих картах он называется Змеиная Пасть, — за солнцем тащится золотистый след.

Слитки золотой воды.

И сам я как морская вода. Она часто звала меня Море, наша королева. (Подсмеивалась над моим рокошущим девонширским произношением и, видимо, некоторой нетвердостью моего характера.)

Подводное Эльдорадо, Елизавета.

Ты знаешь, Кэрю, мой ныне единственный сын, я верю в

золотые слитки. Не в золотой город. Не в воображаемое великолепие, которым правит покрытый золотой пылью король, то есть не в легенду, что искали Диего де Ордас, Орельяно, Филип фон Гуттен и Гонсало Хименес де Кесада¹. Это сказки для детей. А я рассказываю моему мальчику быль. В долине Ориноко есть золото. Вот уже шестьдесят четыре года я играю на сцене этого мира. Я не бездельник. И не дурак. Да разве мог я пуститься в плавание на другую сторону земного шара и поставить на карту свою честь из-за глупости, фантазии или пустой надежды? Трагедия в том, что я не мог сам возглавить экспедицию, чтобы добыть этот проклятый металл.

Мой мальчик, я повторяюсь. Что поделаешь, привилегия стариков. И стариком я стал сегодня, всего за несколько часов. Теперь я достаточно стар, чтобы повторить еще раз: это путешествие было обречено на неудачу с самого начала. Проклято. Отвергнуто богом. Все долгое плавание море у форштевня "Судьбы" или кипело медью, или вдруг успокаивалось и лежало скисшим молоком. Над кораблем бесновались молнии. Огненные всполохи свисли над мачтами. Торнадо. Тайфуны. Пять дней мы плыли сквозь коричневатый горячий туман, словно в пасти льва. Два дня мы передвигались по кораблю при свете свечей и двух факелов, зажженных на носу и на корме, — туман был такой густой и плотный, что не видно было собственной вытянутой руки. Кое-кто из матросов решил, что мы приплыли на край света. Клянусь богом, молитвы их стали усерднее. И когда мы выбрались из этого ада, они запели псалом. Как мальчики церковного хора. Пока определялись по солнцу, они пели благодарственный псалом. Не висельники, а чистое золото.

Золотые слитки.

В Сан-Томе, в доме испанского губернатора, сообщает Кей-мис, нашли связку бумаг. Планы нашего путешествия, посланные Яковом испанскому королю через шпиона Гондомара. Список кораблей и моряков, написанный моею рукой. Чтобы предал собственный монарх... Я пешка в игре короля с испанцами. В крайнем случае конь.

"Проказник..." — перо написало по подсказке сердца, а разум имел в виду Уота. И верно, я однажды назвал его так в одном из стихотворений — ведь он, мой старший сын, и вправду был проказник, да еще какой неумный.

Уот, закончу фразу, умер.

А его отец?

В ближайшее время я не умру. Не слышу зова покончить счеты с жизнью. Сэр Уолтер Рэли уже умер. Обвиненный в измене, которую он не совершал, приговоренный к смертной казни, ко-

¹Ордас, Орельяно, фон Гуттен, Хименес де Кесада — конкистадоры XVI века.

торию не спешит привести в исполнение тот, кто больше всех желает его смерти, он по закону умер еще четырнадцать лет тому назад.

Эту книгу пишет мертвец.

Мертвец пишет своему посмертному сыну.

*

Хвастун? Болтун и гордец? Так, наверное, говорят обо мне мои враги.

Когда-то, Кэрю, на улицах Лондона распевали такую песенку:

*Наш Рэли оседлал судьбу,
Да не с того конца;
Свезет кобылка на горбу
Под гору гордеца¹.*

Может, ее до сих пор поют? Или еще будут? Пустое...

Гордец?

Без сомнения, гордыня — первый, наихудший и самый смертный из семи смертных грехов. И в свое время я был чертовски гордым. Но мое время прошло.

Что имели в виду мои завистники, когда говорили о гордыне? Что я незнатен, что мой отец был никто и что по происхождению у меня не было права на внимание мира и не было хватки, чтобы зацепиться за его скользкую поверхность. Я сам пробил себе дорогу, и некоторые не могут мне этого простить.

Иногда я и сам не мог этого себе простить. Бывало и такое. И об этом речь еще впереди. Но *гордыня*?

Если уж честно, то было однажды. Но кобылка не подвела.

Жизнь я начал бедным дворянином. Пятый, самый младший сын английского сквайра. Ни титула. Ни состояния. Прост и зауряден. Никаких отличий. И вместе с тем — отпрыск одной из старейших девонширских фамилий.

Мой отец владел небольшой фермой, несколькими пастбищами и полудюжиной рыбацких лодок. Клочком английской земли. И еще он был сам себе хозяин. Как и все Рэли.

Он был женат три раза. Моя матушка выходила замуж дважды. Кэтрин Гилберт, вдова Оута Гилберта. Урожденная Чемпернаун. Дочь Филипа Чемпернауна из Плимута.

Ты, Кэрю, не знал своих бабушку и дедушку. Я расскажу тебе две истории, из которых можно понять, что это были за люди. Две эти истории кое-что говорят о нашей крови. О том, что я унаследовал от них, а ты, вместе со многими чертами твоей

¹Перевод Г. Кружкова.

доброй матери, моей жены Бесс, (возможно) унаследовал от меня.

Сначала о моем отце.

Как-то в воскресенье он ехал на лошади из Хейс-Бартона, где была наша ферма — это неподалеку от Бадли-Солтертона, — в Эксетер и по дороге встретил старую женщину с четками в руках. Было это в 1549 году, за пять лет до моего рождения. Незадолго до отмены католических обрядов, богослужения на латинском языке и введения Книги общей молитвы¹. Мой отец проявлял к этим вопросам живейший интерес. Ты, конечно, понимаешь, теологом он не был, но, как человек, привыкший все решать за себя сам, он не без удовольствия наблюдал, как Англия выбирается из-под башмака папы римского.

— Сударыня, — сказал он, — вы подвергаете себя опасности.

— Какой опасности? — спросила женщина.

— Новые законы, — объясняет мой отец. — Глядя на ваши четки, кое-кто может подумать, что вы против новой веры. Я не осуждаю. Просто предупреждаю. Никаких четок. Никакой святой воды. Так говорят в Лондоне. За это будут наказывать.

— Наказывать? — удивилась женщина. — Каким образом?

— Думаю, смертной казнью, — ответил отец.

Он приподнял шляпу и поехал дальше.

Старушка бежит в ближайшую церковь и, размахивая руками, вопит:

— Мистер Рэли! Мистер Рэли! Он забросает грязью наши алтари и перережет нам глотки, если мы не отречемся от господ бога!

Толпа вырывается из церкви, как рой разъяренных ос, и гонится за моим отцом, который, ничего не подозревая, продолжает свой путь в Эксетер. Спасаясь от их дурацкой ярости, он всю ночь просидел на колокольне среди молний и грома.

Бедный отец. Но может быть, Кэрю, ты теперь чуть лучше понимаешь меня? Интересно, а я его понимал?

Позднее — мне уже было около трех лет, — когда Мария Тюдор восстановила всю эту католическую дребедень, в Эксетере судили как еретичку другую старую женщину. Совсем не похожую на первую. Звали ее Алиса Прест. Алиса Прест ничем не была знаменита. Это тебе не Кранмер, не Латимер или Ридли в юбке. Ты не найдешь ее ни в одной из книг протестантских мучеников. Но она отказалась вновь войти в узкие ворота католической веры.

Моя матушка услышала об этом судебном процессе. Она решила, что может спасти Алису Прест, и пошла к ней в тюрьму.

— Только прочитайте "Верую", дорогая, — умоляла матуш-

¹ Книга общей молитвы — официальный молитвенник и требник англиканской церкви.

ка. — И все. Этого достаточно, чтобы спасти вас.

— "Верую"?

— Только "Верую". Ведь согласитесь, уж в этом-то ничего грешного нет?

Алиса Прест понимающе кивает, улыбается и начинает читать молитву, а священник неподалеку прислушивается. Но, дойдя до стиха "*И вознесся он на небеса...*", она замолкает.

— Почему вы остановились?

— Потому что я верю в это.

— Так и подобает, — говорит моя матушка. — И я верю. Продолжайте же.

— Вы не понимаете, — отвечает Алиса Прест. — Я верю в это. Он вознесся на небеса. Иисус Христос вознесся. Я верю в это. Я верю, что благословенное тело господне на небесах, а не здесь, на земле. Его нет ни в чем, что сделано руками человеческими. Хлеб мессы не может быть его телом, разве вы не понимаете? Наш господь бог на небесах.

Матушка возвратилась домой к отцу.

— Я не смогла ее убедить, — сказала она ему. — А ведь она даже читать не умеет.

Алису Прест сожгли на костре.

Две маленькие истории.

О моих отце и матери.

Породивших меня и тебя...

Мой единственный сын, сейчас, закончив эти рассказы, из-за слез я уже не вижу бумаги. В них все сказано. Все, что я должен сказать о моей жизни и извлечь из нее. В них неистребимая способность всех Рэли вызывать непонимание или же самим понимать проблему настолько хорошо, что любое дело становится невозможным. Если меня, словно осы, не преследовали невежественные толпы, я стоял, отвернувшись от костров, на которых сгорали алисы преста этого мира. Я разрываюсь между этими двумя крайностями. На этой дыбе я вздернут. Не могу сказать, что это всегда меня мучило. Но в этом моя суть.

Хватит писать.

Довольно.

Но что Кеймис *делает* сейчас на Ориноко? Нашел он прииск или нет? Ведет ли уже добычу? Но разве золото воскресит Уота? Конечно, нет. Все же мне необходимо набить корабль золотом — я должен оправдать это путешествие перед королем Яковом. Да неужели мне так важно ублажить короля Якова? Плевал я на него. Ничего нет дороже доброго имени.

Доброе имя?

Мое имя — грязь под ногами.

Грязь, забившая рот моего сына.

Все. Бросаю писать. По существу, не начав. Больше нет сил.

3 марта

Кеймис вернулся.

Кеймис вернулся вчера вечером.

В этих широтах солнце садится мгновенно. Вот оно висит над горизонтом, громадный огненный шар, гигантская гинья, прибитая золотыми гвоздями к небесному своду. А в следующий миг его уже нет. Провалилось. Утащили. Будто черная рука смахнула. С заходом солнца наступает крошечная тьма. Без сумерек. Сумерек здесь не бывает.

Кеймис умер. Мой друг. Моя правая рука. Мой старый товарищ.

Кеймис застрелился — до самоубийства его довел я.

Сын, твой отец — убийца. Отнюдь не герой, как ты уже начинаешь понимать. Благородный сэр Уолтер Рэли вел себя как Ирод, как Каин, как паршивый актер в третьеразрядной пьесе театра "Глобус". Хуже. Всю вину за мою неудавшуюся жизнь я взвалил на Кеймиса.

Много дней разделяет первые строки и эту мрачную страницу. Все эти дни стояла дьявольская жара, меня мучила жесточайшая лихорадка, без поддержки моих спутников — сэра Уорэма Сент-Леджера и его преподобия мистера Сэмюэла Джоунза, корабельного священника, — я не мог ни ходить по палубам "Судьбы", ни стоять, вглядываясь в стелющийся над устьем реки туман. В любой из этих дней, а еще лучше — в любую из звездных ночей, которыми сменялись дни, я мог и, видимо, должен был покончить с жизнью. Но вот тебе героическая правда, Кэрю, — я струсил.

Когда в этом долгом плавании умер Эдвард Гастингс, наш корабельный врач обнаружил, что его печень, селезенка и мозг сгнили. Дьявол побери, моя печень, должно быть, уже гноится. Селезенка пропитана ядом. Но вместо того, чтобы раскроить себе череп, я ждал, пока Кеймис с отрядом приплывет сюда. И когда он поднялся на борт моего корабля, я выместил ему все мои страдания.

— Где золото? — спросил я. — Где мой сын?

Он что-то пробормотал, но я не стал слушать.

— Где золото? — повторял я. — Где мой сын?

Кеймис косил на левый глаз. От рождения. Я к этому привык. Но тогда мне казалось, что он избегает моего взгляда, что он обшаривает глазами углы каюты в поисках извинений, оправданий, чего угодно, что позволило бы ему спрятаться, ускользнуть от моего, как мне мерещилось, праведного гнева.

— Ты предал меня, — сказал я. — Ты не выполнил приказ.

Он силился что-то возразить. Я ему не позволил.

— Я приказал привезти золото с одного из двух месторожде-

ний, известных нам обоим. В моем поручении не было ни слова о захвате испанского гарнизона.

Он сказал:

— Они открыли огонь первыми.

— Тогда вы должны были отступить. Но почему ты отправился к прииску Карони?

Он тупо уставился в пол.

— Ты что, боялся отойти от реки? Так, что ли? Но, черт возьми, даже в этом случае у тебя была возможность миновать Сан-Томе без боя.

Кеймис не смотрел на меня.

— Ваш сын...

После паузы он продолжил:

— Ваш сын погиб как храбрец. Он в одиночку бросился на испанцев. В него вонзилась дюжина пик, и он упал. После этого об отступлении не могло быть и речи.

Я схватил его за горло. Заставил посмотреть мне в глаза.

— Не хочешь ли ты сказать, что все пошло насмарку из-за Уота? Из-за двадцатилетнего мальчишки? Который еще пороха не нюхал?

— Это был ваш сын, — странно ответил Кеймис.

— Что это значит?

— Спросите у капитана Паркера.

— Я тебя, а не капитана Паркера спрашиваю.

— Я уже писал, что ваш сын погиб, проявив исключительную отвагу.

— Но в этом не было никакой нужды, ему вообще не надо было погибать.

Кеймис не ответил. Он опять смотрел в сторону. Его левый глаз, словно краб, упорно искал угол.

— Так вот на что ты намекаешь, — сказал я. — Значит, в захвате испанской крепости ты обвиняешь моего запальчивого сына?

Я говорил с таким остервенением, что стал брызгать слюной. Капля моей слюны текла по щеке Кеймиса. И тут я заметил, что он плачет. Это почему-то взбесило меня еще больше.

— Идиот! — заорал я. — Ты поплыл не к тому прииску! Ты нарушил приказ! Ты не уберег моего сына!

— Вперед, — забормотал Кеймис. — Он шел только вперед. Ни о чем другом и слышать не хотел. Если бы не он, мы бы никогда не напали на испанский форт. Спросите у капитана Паркера. Он пытался удержать его. Мы все пытались удержать его. "Опрометчивое бесстрашие" — так сказал об этом Паркер.

Я отпустил шею Кеймиса. Вытер руки о дублет.

— Вы трус, сэр, — сказал я тихо. — Странно, знать вас столько лет и не разглядеть этого. Упрямый меднолобый трус, сэр. Вы не нашли приисков. Вы позволили убить моего сына. И сейчас я слышу от вас один детский лепет, пустую болтовню, жалкие потуги

сделать козлом отпущения моего убитого мальчика. Идите вон, сэр. Убирайтесь с моих глаз.

Кеймис ушел.

Я сидел, глядя, как догорает свеча.

В дверь каюты негромко постучали, с письмом в руках вошел бедняга Кеймис, чернила на бумаге еще не просохли.

— Я написал лорду Арунделю, — сказал он.

Я не ответил.

— Он вложил в вашу экспедицию больше средств, чем кто-либо другой, — продолжал Кеймис. — В этом письме я все объяснил. Прочитайте.

Я покачал головой.

— Вам бы лучше написать дьяволу, сэр. Больше шансов, что вас поймут.

— Я прошу вас, — сказал Кеймис.

— И смотреть не буду.

Кеймис отвернулся.

— Я вскоре вам все объясню, — сказал он глухим голосом. — Вы получите полное удовлетворение.

Он ушел. Я слышал удаляющиеся шаги. Потом хлопнула дверь каюты. Потом раздался треск выстрела.

— Кеймис! — закричал я.

Его каюта находилась рядом с моей. Слышимость сквозь деревянную переборку была хорошая.

— Все в порядке, — ответил Кеймис. — Я пальнул, чтобы пистолет прочистить.

Неправда. Он заперся в каюте и выстрелил в себя из карманного пистолета, но пуля лишь раздробила ребро; тогда Кеймис взял длинный нож и всадил его по рукоять в сердце.

*

Как в этом разобраться? Мои капитаны говорят о Кеймисе с безжалостным презрением. Кажется, он и не пытался найти золото. Всецело подчинился моему сыну.

Так что же, фиаско в Сан-Томе действительно на совести Уота? Впрочем, это неважно. Захват форта — серьезный тактический промах, ошибка, но даже в этом случае — овладев Сан-Томе — Кеймис действовал непростительно. Ничто не мешало ему остаться в крепости небольшой гарнизон, а самому идти к прииску Карони, что всего в нескольких милях от форта. Ясно, что испанцы, защищая прииск, отступили именно в этом направлении и он убоился новой стычки. Но тогда зачем он поднимался так далеко вверх по течению реки? Неужели правда, что он испугался покинуть Ориноко и идти сушей до прииска Путижмы на горе Иконури?

Вот я и проговорился — открыл местоположение приисков. Ну а почему нет? Здоровье мое поправляется, и я собираюсь сам возглавить экспедицию на Ориноко и добыть золото. Если план удастся, если я смогу вернуться домой пусть даже с пригоршней золотоносной руды, то по крайней мере будет спасено мое доброе имя. А если нет? Тогда удовлетворюсь и тем, что мои кости будут лежать перед алтарем церкви Сан-Томе рядом с прахом Уота.

Два слитка.

Кеймис и вправду привез с собой два золотых слитка, которые нашел в форте. А также документы, которые можно понять так, что прииск Карони существует. И еще индейца, бывшего слугу Паломеке, губернатора форта. Интересный индеец. Хорошо говорит по-испански. Его зовут Кристобаль Гуаякунда.

Но не думаю, что кости мои упокоятся здесь. Им, мне кажется, уготовано лежать в другом месте. А мои беспокойные плоть, кровь и дух ты, Кэрю, найдешь в этих строках, на этих страницах, в этой искренней книге.

А что до слога... *А что до слога, думаю, что он на сей стезе никем не превзойден*¹. Эти строки написаны очень давно, в одном из первых моих стихотворений — под впечатлением книги "Стальное зеркало". Зеркало Гаскойна² — не простое, оно обнажало правду. Нутро человека, его истинное лицо, а не внешнее обличье. Именно к этому я и стремлюсь. Но слог? Каков он, мой слог? И есть ли вообще слог отдельного человека? А может, существует общий слог правды, в котором сливаются отдельные голоса?

Я пишу каждую фразу так, будто она последняя. Это не самая плохая манера письма. И это слог. Мой слог. К тому же, конечно, и суровая необходимость моего положения. Кстати, я всегда писал лучше под угрозой казни. Тень топора заостряла мою мысль.

Если бы только добыть пару пригоршней золота...

Уот умер.

Уота завернули в саван из презренного золота. Будь оно проклято. К дьяволу мысли о золоте. Если бы не золото, сын был бы жив сейчас.

Да что же я говорю? Что это плавание не только неудача, но и безумие? Что мне не стоило покидать Тауэр? Золото, золото, золото. Когда появилась эта навязчивая идея? Что-то связывает ее с королевой. Да, с тобой, Елизавета, твой пальчик манит меня. Кажется, что ты там, в верховьях реки, маящийся золотой призрак, восставшая из праха Глориана. И вместо меня с тобой мой сын. Ты всегда любила молодых, венценосная сука. *Любви не мил*

¹Перевод Г. Кружкова.

²Гаскойн, Джордж (1530?–1577) — английский поэт.

*опавший сад, постыл увядший плод*¹. Мой сын, моя самая вдохновенная поэзия, моя жертва. Море — так ты называла меня. Для каждой жертвы-любовника у тебя находилось прозвище. Море, золото и кровь — такой была моя жизнь. Твое Море почти иссякло, мертвое Величество.

Я всегда начинал с конца.

Я буду писать эту книгу, которую, как признался, писать не могу. Буду, вопреки Уоту, вопреки Кеймису, даже вопреки себе.

На самый худой конец — пусть ее никогда не увидят твои глаза, не коснутся твои руки, не поймет твое сердце, Кэрю, — она поможет мне не сойти с ума, сохранить разум, чтобы довести мой проклятый корабль, мою "Судьбу", до родной Англии или до какого-нибудь другого последнего пристанища.

У меня маленькая радость: Кеймис привез из Сан-Томе много табака. Я прикуриваю мою серебряную трубку от уголька, вытащенного щипцами из огня. Между собой и миром необходимо иметь завесу из табачного дыма.

*

Золотая лихорадка? Так думал змей. Я имею в виду Фрэнсиса Бэкона, барона Верулема, лорд-канцлера Англии. Перед отплытием из Лондона я обратился к нему по совету государственного секретаря Уинвуда. Вот запись нашей беседы. Золото напомнило мне о ней, но я привожу ее здесь по причине, которая станет ясна позднее.

Мы гуляли с ним вечером, в один из первых дней марта. Возможно, что было это ровно год тому назад. Точную дату я не помню. Но все, что мы говорили друг другу, сохранилось в памяти так, будто это было вчера.

Отобедав у Бэкона, мы гуляли по парку судебного инна Грея². За обедом я много говорил о предстоящем плавании, Бэкон же отвечал односложно или вовсе молчал — он либо методично разрезал мясо на мелкие кусочки, которые потом по своему обыкновению тщательно пережевывал, либо, подперев узкое бледное лицо узкой бледной рукой, смотрел на меня своими удивительными глазами. У Бэкона светло-карие, умные и живые глаза. Первый заметил их сходство со змеиными мой друг Уильям Гарвей, открывший кровообращение.

Мы шли по парку — два пожилых джентльмена, один хромой (я), другой (Бэкон) похожий на ходячие ножницы в высокой черной шляпе, — как вдруг он резко повернулся ко мне и сказал:

¹Перевод Г. Кружкова.

²Здание одной из гильдий юристов в Лондоне.

— Сэр, ваша Гвиана подобна Атлантиде — идее Платона.

— Между ними есть различие, — ответил я. — Атлантида — это *только* идея Платона. Гвиана же и идея, и реальность. Совершенный вымысел Платона и большая, богатая и прекрасная империя несовершенств. Золотая мечта и место на карте.

Мне показалось, что ему не понравился мой ответ, хотя угадать истинные чувства Бэкона (если предположить, что он испытывал нечто столь опасное, в чем я отнюдь не уверен) всегда было трудно.

Я продолжал развивать свою мысль:

— Король Яков никогда бы не дал полномочий на поиски золота в Атлантиде.

— Я имел в виду, — заметил Бэкон, — только ясность вашей мысли.

— Благодарю вас. Но Гвиана существовала бы и без того, чтобы я о ней думал.

— А золото? — спросил Бэкон на удивление спокойным и невыразительным голосом.

— Что вы имеете в виду?

— Вы верите, что Гвиана богата золотом?

— Да, — ответил я.

— На чем вы основываетесь?

— На собственном опыте и опыте других.

Я давно заметил, что у Бэкона всегда сухие губы. Он облизывает их и делает гримасу, будто вкус ему не нравится. Скорчив гримасу, он сказал:

— Но пока никто не видел золотой город Эльдorado. А может, это озеро? Или золотой человек? — Он притронулся носовым платком к своему длинному носу. — Признаюсь, мне никогда не удавалось составить правдоподобную картину из различных сказок, которые я слышал, — продолжал он надменно. — Их объединяет только то, что все они воистину невероятны и, вероятно, неистинны.

Мне захотелось подразнить его. В конце концов, в мире встречаются вещи, которые не увидишь в окрестностях Лондона. Я сказал:

— Опыт иногда может быть невероятным, но никогда не бывает неистинным, согласны? Ну так слушайте. Летом 1594 года один из моих капитанов, Джордж Попэм, захватил испанский корабль. Среди бумаг захваченного корабля были отчеты *двадцати* испанских экспедиций, искавших Эльдorado.

Бэкон заметил:

— Из этого лишь следует, что Эльдorado не нашли двадцать раз.

Я пропустил его сарказм мимо ушей. Помню, что я неотрывно смотрел на дерево с яркой листвой, стоявшее в конце аллеи, по которой мы шли, и терпеливо продолжал рассказ, будто говорил с ребенком:

— Весной следующего года я сам приплыл в Гвиану во главе отряда из пяти кораблей. Мы взяли в плен испанского губернатора Антонио де Беррио. Он произвел на меня впечатление честного человека и бывалого, не склонного к фантазиям воина. Беррио не утверждал, что он нашел золотой город, но был убежден в его существовании. У него хранились показания под присягой некоего Хуана Мартина де Альбухара. Испанский мавр по происхождению, он единственный, кто остался в живых из участников последней эльдорадской экспедиции. Попав в плен к индейцам карибам, он принял их веру. Мавр подтвердил под присягой, что индейцы показали ему дорогу в глубь страны и позволили семь месяцев провести в Эльдорадо, которое он описывает как крупный город, построенный на берегу громадного, окруженного горами озера. Городом правит индейский император Инга, с ног до головы покрытый золотой пылью...

Бэкон прервал меня, укоризненно погрозив указательным пальцем.

— Вы поверили в такое свидетельство? В рассказ одного человека о рассказе другого?

— Милорд, я видел показания Альбухара собственными глазами. Кроме того, с помощью Беррио я нарисовал карту тех мест, учитывая все имеющиеся материалы: бумаги, захваченные на испанском корабле, отчеты экспедиций самого Беррио и показания мавра.

— Но Эльдорадо вы, конечно, не нашли, — сказал Бэкон. — Не удалось вам обнаружить и озера.

— Озеро, если оно существует, — начал я осторожно, — должно быть больше похоже на внутреннее море, чем на то, что мы, англичане, называем этим словом. По отзывам, длина его больше шестисот миль, вода в нем соленая. Думаю, что это что-то вроде Каспийского моря.

Бэкон дотронулся до полей своей высокой шляпы, потом устало провел бледной рукой по лбу, усыпанному, несмотря на вечернюю прохладу, капельками пота.

— *Если оно существует... По отзывам...* — повторил он презрительно. — Трудно поверить, сэр, что Его Величество освободил вас из Тауэра для поиска чего-то столь призрачного.

Я остановился. На траве, у ног, стал чертить тростью круги. Затем усмехнулся.

— Его Величество освободил меня не для этого, — сказал я. — И сие вам известно.

Щеки Бэкона пошли красными пятнами. Скорчив удивленную мину, он безуспешно пытался скрыть свое смущение.

— Тогда зачем вся эта бессмыслица об Эльдорадо? — зарычал он.

— Вы сами заговорили об этом, — заметил я мягко. — В 1595 году мне пришлось изрядно поплавать по Ориноко. Стари-

на Беррио был уверен, что именно эта река ведет к Эльдorado. Я не обнаружил ничего, что бы подтвердило его мнение. С другой стороны, не нашел и того, что позволило бы его полностью отвергнуть. На следующий год я послал туда верного мне человека, Лоренса Кеймиса. А через год — капитана Леонарда Берри. Ни тот, ни другой не нашли озера, правда, — пусть это и не так уж важно — оба выяснили, что индейцы называют это озеро Парима, а Эльдorado — Маноа.

— Не понимаю, кому интересно, как называются несуществующие места, — раздраженно заметил Бэкон.

Я пожал плечами и продолжал:

— И только экспедиция сэра Томаса Роу, которую он принял шесть лет тому назад, окончательно убедила меня в том, что даже если Маноа не вымысел, его не стоит искать. Во всяком случае, пожилому человеку. Я пожертвовал шестьсот фунтов из двух с половиной тысяч, которые ушли на экспедицию Роу, и потому получил его подробнейшие отчеты. Задача Роу состояла в том, чтобы тщательно обследовать все побережье Гвианы и добыть доказательства, что озеро и город существуют. Он прошел триста миль вверх по течению Амазонки, а затем поплыл вдоль побережья материка на север к Ориноко. Больше года он плывал на легких каноэ по различным рекам в глубь континента. На реке Виалоко он, например, преодолел более дюжины порогов, продвигаясь в том направлении, в котором, как уверяли его индейцы, находится Эльдorado. Роу вернулся домой с известной басней. Он почти нашел золотой город. Следовательно, не нашел.

Мы дошли до конца длинной аллеи и стояли теперь в тени лавра — дерева с ярко-зеленой листвой. Я сорвал листок и начал мять его в руке. После продолжительного молчания Бэкон наконец произнес:

— Итак?

— Итак, в Эльдorado я не стремлюсь, — ответил я. — У меня нет честолюбивых надежд увидеть Ингу. Я только хочу собрать немного золотой пыли.

— Вы все еще верите, что там *есть* золото? — спросил Бэкон.

— Я знаю это.

— Где же?

— В предгорьях, — сказал я, — если так можно выразиться.

— В предгорьях? — повторил Бэкон. — В предгорьях чего?

— В предгорьях Маноа, — сказал я.

Лорд-канцлер глубоко вздохнул.

— У вас в голове все перепуталось, — посетовал он. — Не удивлюсь, если кто-то подумает, что вы заболели золотой лихорадкой. То вы отрицаете существование Эльдorado, а потом тут же говорите о подходах к нему. — Он снял шляпу и стал обмахивать ею свое бледное лицо. Когда он снова заговорил, его взгляд блуждал где-то вдаль. — Насколько я понимаю, — сказал он, — вы за-

верили короля, что знаете местоположение нескольких золотых приисков. Это верно?

— Да.

— Где они?

— В долине Ориноко.

— Но там испанцы, — сказал он протестуяще. — У них там несколько поселений.

— Верно.

— А ведь вы дали королю слово... — начал Бэкон.

— Что я не скрещу мечей ни с одним испанцем и не убью ни одного из них, — закончил я за него.

— Но это невозможно! — воскликнул Бэкон.

— Посмотрим.

Я стяхнул на землю остатки растертого листа. Замешательство лорд-канцлера меня забавляло.

— *Яркий свет упал с небес*, — начал я. — Вы помните это стихотворение, написанное Нэшем¹ во время чумы?

Бэкон покачал головой и снова надел шляпу.

— *Болен я, вот-вот умру*, — продолжал я нараспев. — *Господи, помилуй нас!* — Меня веселила растерянность Бэкона. — Я цитирую, милорд. Скверная привычка.

Бэкон не смотрел на меня.

Тогда я сказал:

— Теперь мой черед задавать вопросы. Мне очень нужен ваш совет как лорд-канцлера. Дружеский, конечно...

— Разумеется, — сказал Бэкон, все еще не глядя мне в глаза.

— Прекрасно. Вопрос простой. Каково мое положение с юридической точки зрения?

— С юридической? — Бэкон затрясся в притворном смехе. — Господин моря, сэр, в определенном смысле равен королю!

Я хлестнул тростью по траве.

— Не отмахивайтесь от старых друзей новыми афоризмами, милорд. Как я уже говорил вам за обедом, из текста моих полномочий, данных мне королем Яковом, в той части, где он называет меня своим слугой, исключены обычные слова "преданный и любимый". А это означает только то, что Его Величество все еще гневается на меня. Буду откровенен с вами, милорд. Вы знаете, что я не могу появляться при дворе. Не следует ли мне попытаться купить официальное помилование у короля Якова до моего отплытия?

Бэкон поморгал глазами.

— Не стоит, — сказал он ровным голосом. — Вы сами мне сказали, что деньги — лучший попутный ветер в вашем путешествии. Так что берегите каждое пенни собранных средств на корабли и их снаряжение. Помилование — пустая формальность.

Я продолжал настаивать:

¹Нэш, Томас (1567–1601) — английский поэт-сатирик.

— Но помилование укрепило бы мое положение.

— Мне представляется, что вам уже даровано полное помилование за все прошлые грехи — король дал вам звание адмирала и поручил командование экспедицией. Это поручение обеспечивает вам свободу плавания и юридическое право распоряжаться судьбой всего вверенного вам отряда. Тем самым оно снимает с вас все прошлые обвинения.

— Но почему же тогда король не добавил в документ фразу о помиловании?

Бэкон облизал свои тонкие губы.

— Я не могу говорить за короля, — сказал он. — Однако повторяю, что, по моему мнению, суть королевского поручения — а оно наделяет вас властью над жизнью и смертью людей — равнозначна помилованию.

Меня это не успокаивало.

— В частности, отменяет ли оно смертный приговор и обвинение в государственной измене?

Бэкон закрыл глаза. Потом сказал:

— Назначение вас адмиралом является, на мой взгляд, высшей формой помилования, на какую вы можете рассчитывать по английским законам.

— Милорд, я считаю вас своим другом и неглупым человеком. Верно ли я понял, что вы не видите для меня необходимости покупать помилование?

Бэкон вздохнул.

— Сэр, я в достаточной степени ваш друг и достаточно неглуп, чтобы ответить вам, что я никогда не слышал этого вопроса.

— Даже несмотря на то, что я задал его два раза?

— Неужели? — Бэкон открыл глаза и, облизав свои губы, нахмурился. — Вот вам доказательство моей дружбы и здравомыслия. Я уже забыл первый.

— Не вернуться ли нам? — предложил я. — Что-то моя большая нога расшалилась.

Обратно мы шли быстрее — стало прохладнее, к тому же большую часть пути мы молчали. Только однажды Бэкон остановился, чтобы понюхать рано распустившуюся белую розу. Наклоняясь над ней, он сказал:

— Я не забуду честь, которую вы мне оказали, обратившись за советом. В мире мало настоящих друзей, особенно среди людей, равных по положению. — Он отпустил розу так резко, что белые лепестки осыпались на темнеющую землю. — А что вы будете делать, — спросил он небрежно, — если после всех усилий и затрат не найдете золотых приисков в Гвиане?

Я засмеялся.

— О, тогда мы нападём на испанский Серебряный флот. Вы знаете, что каждый год он доставляет из Гаваны в Кадис восемь миллионов серебром.

— *Что* вы сделаете? — переспросил Бэкон.

— Серебряный флот, — ответил я. — Мы захватим Серебряный флот.

— Следовательно, вы станете пиратами.

— Ну какими же пиратами, — сказал я, все еще смеясь. — Кто же видел пиратов, захвативших миллионы?

Мы уже подошли к судебному инну Грея, и я стал прощаться с лорд-канцлером, поблагодарив его за обед и добрые советы, как вдруг Бэкон непроизвольно, как мне показалось, сказал:

— Вы знаете, я не очень хорошо знал покойную королеву. Во всяком случае, хуже, чем хотел бы.

После столь неловкого признания он неловко замолчал. Я ответил:

— Возможно, ни один из нас не знал ее достаточно хорошо. Возможно, ни один из нас не знал ее так хорошо, как хотел бы. Я часто думал об этом. Спокойной ночи, милорд.

*

Золото и кровь. Милости и пиратские набеги. Я солгал, Елизавета. Я знал тебя настолько хорошо, насколько мне хотелось. Даже лучше. А может, надо было хуже?

Закончив писать, я вышел на палубу подышать свежим воздухом.

Земля вдали, казалось, плавится на солнце.

Я задал вопрос капитану Паркеру, как советовал мне Кей-мис. Капитан Паркер сказал, что Уот рвался в бой. Он сказал, что Уот был очень похож на меня в молодости. Он сказал, что Уот завидовал моей репутации, стыдился ее и хотел доказать себе, что он чего-то стоит. Он наговорил еще много другой чепухи, но я ее забыл.

3

4 марта

— Гуаттараль, — говорит индеец.

Я снова и снова объясняю ему, что так произносятся мое имя испанцы. Что он не должен повторять это за ними. Что меня зовут сэра Уолтер Рэли.

В тот день мне не удалось переучить его.

— Дон Гуаттараль, — упорствовал он. — Ты пират. Великий пират.

— Я не пират, — говорил я. — Твои испанские хозяева зовут меня пиратом, но я не пират.

— Так кто же ты? — спросил он. — Если ты не пират, то кто?

Мне трудно было ответить на этот вопрос. Видишь ли, он спрашивал очень серьезно. Странную смесь ума и наивности являет собой этот Кристоаль Гуаякунда.

Мы стояли на палубе корабля. Индеец с заметным удовольствием осматривал инструменты и приспособления. И впечатление на него производит вовсе не их новизна. Удивления он не проявляет, прикасаясь ко всему уверенно.

— Я похож на пирата? — спросил я.

Он пожал плечами. — А как выглядят пираты? Я еще ни одного не видел.

— Ты скажи, как я выгляжу.

— Старик.

— Продолжай.

— Старый усталый человек, который должен ходить с палкой.

Это верно. Для него мое лицо, должно быть, выглядит странно. Мне знакомы древние легенды индейцев, в которых рассказывается о бородатых бледнолицых богах, приходящих с востока. Но лицо, смотрящее на меня сейчас из треснувшего зеркала, которым я пользуюсь для бритья, ни напугать, ни поразить не может. Лицо призрака, а не человека. И уж наверняка не лицо какого бы то ни было бога. Бледное, изможденное, перекошенное, кожа так туго обтягивает скулы, что отчетливо видны кости, вместо глаз — горящие уголья. Посеребренная борода торчит клочьями — я стрижу ее трясущимися руками.

— Давай скажем, что этот старик с палкой своего рода джентльмен, — предложил я.

— Что это такое?

— Истинный джентльмен и истинный солдат, — процитировал я собственную вычурную характеристику, которую дал себе на суде в 1603 году, когда меня обвинили в государственной измене.

Разговаривали мы, конечно, на испанском, поскольку этот язык знали оба. Но слова *"истинный джентльмен и истинный солдат"* я произнес по-английски, и индеец пытался повторить их за мной.

Говорил он коряво и смешно, я не узнавал слов родного языка. В его неумелом повторении они становились похожими на совсем другие, которые, может быть, были ближе к истине.

— Ну а ты, — спросил я, — что ты за человек?

Он испытывал свою силу, пытаясь погнуть вал кабестана. Услышав вопрос, он бросил это занятие и выпрямился во весь рост — кстати, не очень высокий, на мой взгляд, едва ли на дюйм больше пяти футов; из-за плотной комплекции он казался еще ниже.

— Кристоаль Гуаякунда, — ответил он. — Мужчина. По-вашему: индеец. Житель страны, которую испанцы называют Новое

Королевство или Гранада. Родился в долине Согамосо. Из племени чибчей.

На солнце кожа его отливала медью.

— Вот что я за человек, — добавил он.

— Нет, ты рассказал мне, кто ты такой. И я точно так же мог бы сказать, что я — Уолтер Рэли, мужчина, по-вашему: бледнолицый, житель Англии, родился в Девоншире, из племени саксов. Но и это не ответ на мой вопрос.

Индеец неторопливо кивнул. У него большая круглая голова, глаза светятся умом и сообразительностью.

— Хорошо, — сказал он. — Я был слугой дона Паломеке де Акунья.

— А я был слугой великой королевы. Начальником ее личной охраны.

— Да, — сказал индеец. — Я знаю.

— Вот как? Кто тебе сказал?

Индеец ответил:

— Это все знают. Когда я только приехал в Сан-Томе и стал служить у Паломеке, мне сказали, что ты плавал по реке Ориноко много лет тому назад. Мне сказали, что ты собрал все племена вместе и сказал им, что тебя послала твоя королева освободить их от испанцев. Они говорили о тебе как о божестве. Они говорили, что ты — слуга великой правительницы севера, королевы-девушки, под началом у которой касиков больше, чем деревьев на острове Тринидад.

— Касик. Как давно я не слышал этого слова.

— Так испанцы называют вождей наших племен.

— Я знаю. Что еще говорят люди на Ориноко?

— Что однажды ты вернешься, — ответил индеец. — Что ты дал слово.

— И, как видишь, сдержал.

— Конечно, — сказал индеец как о чем-то само собой разумеющемся. — Мужчины не часто дают слово. Но когда дают, то держат его.

В его тоне не было иронии. Каждую фразу он обдумывал и произносил уверенно и убежденно. Меня поражала его по-своему благородная манера держаться. Мне не терпелось расспросить индейца о его прошлой жизни, но я сдержался. Сейчас главное было расположить его к себе.

— Я уже не служу великой королеве. Королева Елизавета умерла.

— Смерть ничего не меняет, — заметил индеец. — Ты по-прежнему принадлежишь ей.

Эта фраза изумила меня. Сколько в ней правды! Я молчал, не зная, что сказать. Меня тряс лихорадочный озноб. Обе руки я положил на набалдашник трости. Накатил приступ мучительного кашля. Трость с грохотом затанцевала по палубе.

Приступ кашля прошел.

— Я приехал сюда как слуга другого касика севера, короля Якова.

Индеец посмотрел на меня равнодушно.

— Но этот король Яков много лет держал тебя в башне. Ты был его пленником. Мне рассказал дон Паломеке.

— Да, — ответил я торопливо, не желая тратить время на объяснение того, что обвинение в измене было выдвинуто против меня на основании ложных показаний моих врагов. — Скажи мне, а кто ты *сейчас*?

Индеец свел свои большие руки вместе, будто показывая, что запястья их скованы.

— Пленник Гуаттаралья.

Ответ мне не понравился.

— Кеймис говорил, что ты присоединился к нам по доброй воле.

— Человек, который смотрел в сторону? Он умер.

— Да.

— Его убил Гуаттараль.

— Нет.

— Я видел, как сегодня утром его тело сбросили в мешке в реку.

Меня передернуло при воспоминании о похоронном обряде, в котором индеец, скорее всего, ничего не понял. Его преподобие мистер Сэмюэл Джоунз милостиво закрыл глаза на то, что Кеймис, как самоубийца, не мог быть погребен по христианскому обряду. Лоренс Кеймис стоит у меня перед глазами — и виной тому усечение погребальной церемонии до простого вышвыривания тела в мешке за борт. Сейчас оно уже, без сомнения, стало добычей акул. *Когда-то эти жемчуга его глазами были...*¹ Жемчужина с косящим взглядом.

Я быстро ответил:

— Это не река. Это морской пролив. Море. Очень большое море. Атлантический океан.

Индеец смотрел на меня растерянно. Я догадался, что понятие любого водного пространства шире реки или озера неведомо ему. Где бы он ни жил до того, как попал в плен к испанцам и стал слугой губернатора Сан-Томе, наверняка это было далеко от океана. Рост и телосложение говорили о том, что его племя живет в горах. Я попытался вернуть разговор к прежней теме.

— Ты не пленник, — убеждал я. — Ты приплыл сюда по реке, потому что сам этого хотел. Почему?

Индеец оперся широкими плечами о шпиль кабестана. Он не ответил на мой вопрос. Молчание длилось. Наконец он заговорил, причем так, будто обдумал услышанное, взвесил все и решил,

¹Шекспир. Буря, акт I, сцена II.

что продолжать беседу стоит. При этом он обращался не столько ко мне, сколько к полному тропических ароматов ветерку, дувшему с материка над устьем реки.

— Гуаттараль не убивал человека, который смотрит в сторону?

— Нет. Кеймис убил себя сам.

— Почему? — тихо спросил индеец.

— Кеймис убил себя, потому что не хотел больше жить. Потому что потерял честь. Ты понимаешь? Честь?

Индеец посмотрел мне в глаза.

— Я понимаю честь. Я знаю честь. Мой народ — гордый народ. До прихода инков у нас были свои земли.

— Где они? Земли твоего племени?

Индеец на мгновение задумался. Правда, молчание, судя по всему, было вызвано размышлением, а не неуверенностью. Взор его затуманился. Он ответил:

— Вокруг озера Гуатавита.

Не знаю почему, но это слово бросило меня в дрожь. Видит бог, лихорадка здесь ни при чем.

— Гуатавита?

— Да.

— Я ничего не слышал об этом озере. Должно быть, далеко отсюда?

— Да.

— По ту сторону гор? На западе?

— Да.

Конечно, мне хотелось спросить его, есть ли там золото. Но момент был неподходящий. Я видел это по тому, как потемнели его глаза, как подернулись они пеленой, будто теперь смотрели внутрь, на какой-то мысленный образ, а не на меня, собеседника. Я понимал, что смогу разузнать о золоте в землях его племени, только если завоюю его доверие. Не скрою, у меня мелькнула мысль, что пыткой вырвать у него такие сведения не удастся. Испанцы во время поисков Эльдорадо распяли не одного индейца. Таким образом они ничего не добились.

Я ограничился тем, что спросил:

— Как же ты попал в Сан-Томе?

Индеец не ответил. Он низко опустил голову, и впервые за время нашего недолгого знакомства я заметил, что ему, кажется, стыдно.

— Дон Паломеке, — продолжал я, — что он за человек?

Индеец плюнул.

Но отвечать не стал.

Заговорил я:

— Я понимаю, Паломеке был плохим хозяином. Но теперь-то тебе лучше? Ты ведь рад, что мои солдаты убили его? Должно быть, поэтому ты и приплыл с Кеймисом?

Индеец носит на голове странный островерхий колпак. Похоже, он связан из серых волокон какого-то дерева — видимо, кабуи. Он снял колпак и пригладил волосы. Черные, как вороново крыло, волосы индейца свисают до плеч.

— Гуаттараль ошибается, — сказал он спокойно. — Его солдаты не убивали Паломеке.

От удивления я потерял дар речи.

— Паломеке убили его собственные люди, — продолжал индеец. — В испанском форте были люди, которые хотели, чтобы Гуаттараль взял форт, не проливая крови. Эти люди ненавидели дона Диего. Они бы открыли ворота людям Гуаттарала без боя. Но сын Гуаттарала побегал вперед и закричал...

Я пошел прочь. Больше не хотел этого слышать. Когда я был уже на верхних ступенях трапа, у моей каюты, что-то заставило меня обернуться. Индеец надел островерхий колпак. Он смотрел на солнце; глаза его были широко открыты. Мне еще не пришлось видеть людей, которые бы не слепли от этого.

*

Больше терпеть я не мог. В тот же вечер я пригласил на ужин в мою каюту племянника Джорджа. Он командовал сухопутным отрядом, побывавшим на Ориноко. Я его поставил во главе отряда, поскольку он старше Уота, смел и предприимчив. А если не кривить душой, то надо признать, что Джордж горлопан и тупица с замашками недоросля. Его геройства хватает только на то, чтобы пускать пыль в глаза.

Когда я напрямик сказал Джорджу, что всю ответственность за захват Сан-Томе Кеймис возложил на Уота, он сначала все отрицал. Потом я спросил, правда ли, что губернатор убит самими испанцами. Тут он завопил и начал стучать кулаками по столу. Я настаивал на ответе. Он вдруг угрожающе стих, затем неожиданно расплакался и выложил все начистоту.

Оказывается, что он и Кеймис попали под каблук Уота тотчас же, как потеряли нас из виду. Именно Уот настоял на том, чтобы плыть так далеко в глубь материка по Ориноко.

Преодолевая сильное встречное течение, они медленно продвигались вперед. Капитаны Уолластон и Уитни предпочли тащить корабли волоком по песчаной отмели (Джордж считает, что с умыслом). Они соединились с остальными только после захвата Сан-Томе. Кеймис не закрывал рта от с недавнего его беспокойства, но толку от его болтовни было мало. Джордж поделился с Уотом сомнениями в удачном исходе всего предприятия, и тот замучил его насмешками и обвинениями в трусости. А что касается солдат и матросов — пока впереди маячит добыча, эти голово-резы скрепя сердце будут выполнять приказы любого.

Когда они подплывали к Сан-Томе, Кеймис взял себя в руки и за спиной Уота сговорился с Джорджем. Они выслали вперед лазутчиков. Вернувшись, лазутчики рассказали, что почти все в Сан-Томе люто ненавидят Паломеке, который правит фортом как тиран. Многие готовы изменить ему и сдать форт без боя, тем более что у них всего сорок боеспособных солдат, а у нас (даже без тех, что остались с Уолластоном и Уитни) больше двух сотен. Предводителем испанских заговорщиков был некий Херонимо де Градос. По его замыслу, мы должны были только изобразить атаку, а захватывать крепость нам не придется — испанцы сами убьют Паломеке.

Второго января на исходе дня наш отряд бросил якоря у ручья Аруко в трех милях от крепости. Солдаты сошли на берег. Затем корабли поплыли дальше и бросили якоря как раз напротив Сан-Томе. По кораблям тут же пальнули из двух мортир — без сомнения, по приказу Паломеке, — но промахнулись; не исключено, что об этом позаботился Градос. Тем временем наши солдаты шли в боевом порядке по берегу реки к Сан-Томе и были уже в какой-то полумиле от него. Джордж приказал сделать привал. Он и Кеймис были уверены, что заговорщики внутри крепости откроют ворота.

Настала ночь. Напряжение росло. Джорджу было все труднее держать солдат в повиновении. Еще труднее, по его словам, было удерживать от опрометчивых поступков Уота. Джордж говорит, что в этот момент он рассказал Уоту о договоре с Херонимо де Градосом. Уот встретил эту новость недоверчиво. Однако согласился ждать, когда испанцы откроют ворота или подадут англичанам какой-нибудь сигнал для начала мнимой атаки.

Время шло, но ничего не происходило.

Мой племянник утверждает, что тут Уот начал пить. Вполне допускаю. Хотя Уот, как и я, не имел такой привычки, могу поверить, что в такую минуту, перед лицом грядущих испытаний в глубине неведомой земли, он потерял самообладание и потянулся к бутылке с вином. Его сжигало нетерпение, и разве мог он быть уверен, что испанские заговорщики не обманут Кеймиса и его кузена? В такое время и в таких обстоятельствах я в его возрасте тоже, возможно, стал бы искать утешения в вине. Кому, как не мне, знать, что в трезвости человека удерживает ужас. Ужас перед самим собой. Когда не меньший ужас угрожает извне, пьянство может показаться удобным средством справиться с тем и другим одновременно. Я говорю это, потому что в свое время напивался до чертиков и дожил до дней, когда стал об этом сожалеть. Вот уже много лет я пью воду, когда другие пьют вино, и остаюсь трезвым, когда другие уже не держатся на ногах. И все же, как я уже говорил, я слишком хорошо понимаю моего бедного сына, чтобы осуждать его, даже если мой племянник сказал правду и Уот действительно подкреплял свой дух вином.

Трезвый был Уот или пьяный, только около часу в субботу третьего января он не выдержал. Потерял голову. Он бросился один с обнаженным мечом прямо на испанцев, спокойно смотревших при свете звезд на расположившихся поодаль англичан. На бегу он кричал (Джордж говорит, что запомнил все слово в слово):

— Вперед, храбрецы! Вот где наш прииск! Только дураки ищут золотые прииски!

По словам моего племянника, Уот умер не от того, что его проткнули дюжиной пик, как утверждал Кеймис. Его зарубил испанский капитан Ариас Ньето. Наши солдаты, эти подонки, совсем потеряли голову и рванулись в атаку. Кеймис и мой племянник сделали все, чтобы соблюсти договор с мятежником Градосом и его людьми. Когда солдатня вышла из повиновения, они стали кричать Градосу, чтобы тот, пока не поздно, обнаружил себя. И он это сделал, указав (как утверждает Джордж), куда и в кого не надо стрелять. Но солдаты, круша все без разбору, взломали ворота, ворвались в крепость и сожгли несколько домов дотла. Градос и его сообщники бежали. Мы потеряли их доверие, считает мой племянник, во-первых, из-за сумасбродной выходки Уота, а во-вторых, потому что солдаты стали неуправляемы.

Как бы то ни было, наш отряд был намного многочисленнее испанского и без труда овладел фортом. Буквально через несколько минут все было кончено.

Кеймис нашел тело Паломеке на площади. Между лопаток у него торчал топор, на голове сбоку зияла огромная рана. На убитом (удивительное дело!) не было никакой одежды, его мундир так потом и не нашли. На рассвете тело Паломеке опознала индианка. А также испанский священник, которого зовут Франсиско де Леуро; он калека и поэтому не мог убежать с остальными. Сомневаться в том, что это был Паломеке, больше не приходилось. Бывший губернатор был крупный мужчина, гораздо выше и толще любого другого в форте. Джордж говорит, что ни священник, ни оставшиеся индейцы и чернокожие рабы не выражали даже малейшего горя при виде тела покойного. Кажется, губернатора ненавидели и боялись почти все жители Сан-Томе. За несколько недель до нашего прихода его пытался убить капитан Франсиско де Салас. К сожалению, ни Салас, ни Градос нам больше не верят. Кеймис и мой племянник захватили форт, в котором остались священник, слуги-индейцы и черные рабы.

Наши негодяи уже пытались изнасиловать несколько молодых индианок. Джордж говорит, что ему удалось остановить их только угрозой расстрела.

Индейца Кристобалья Кеймис нашел в одной из комнат дома губернатора; его оставили охранять ларец, в котором держали документы о попытках испанцев найти золото в этом районе, а также письма из Мадрида, предупреждающие о нашем прибытии;

там же находились составленные мною списки кораблей и экипажей, которые я вручил королю Якову, а тот тут же передал Гондомару, испанскому послу в Лондоне. В ларце были и два маленьких золотых слитка, составивших всю добычу Кеймиса.

Мой племянник старался приуменьшить значение случившегося. "Обычная стычка", — говорил он, напоминая мне, что с нашей стороны, кроме Уота, было еще только двое убитых — капитан Козмор и мистер Харрингтон. (Капитан Торнхерст тяжело ранен, но постепенно поправляется.) У испанцев, твердит Джордж, тоже всего две потери, если не считать Паломеке: капитан Ариас Ньето, который убил моего сына, и офицер, которого индейцы опознали как Хуана Руиса Монхе. Эти двое, кажется, единственные испанцы, сохранившие верность губернатору и сложившие свои головы, защищая форт.

(Итак, шесть убитых. Но меня такая арифметика не успокаивает. Даже если ненавистный Паломеке убит своими, остаются еще два убитых нами испанца. Что на два испанца больше, чем требуется. Не говоря уже о том, что среди убитых англичан был Уот...)

Я спросил Джорджа, что, по его мнению, случилось с Градосом и другими убежавшими. Он ответил, что, скорее всего, они отступили к водопаду Карони. Если это так, тогда понятно, почему Кеймису не удалось обнаружить там прииск. Градос, считает мой племянник, заботился не об англичанах, а о самом себе. Он, возможно, всего лишь использовал нас, чтобы избавиться от Паломеке. Джордж предполагает, что Градос мог думать так: когда по реке Ориноко подойдут испанские подкрепления, важно, чтобы у них не возникло подозрений, будто *он* (Градос) был хоть в малейшей степени повинен в убийстве губернатора. Вот почему он, дескать, и не мог, даже если и хотел, снова пойти на переговоры с нами. У моего племянника полководческий ум, что лишний раз подтверждает и это рассуждение.

За двадцать девять дней, что наши солдаты находились в Сан-Томе, произошло еще несколько "стычек". История тех дней, во всяком случае в пересказе Джорджа, совершенно позорна. Кеймис ходил по крепости, пытаясь выведать о приисках у тех индейцев и чернокожих, что говорили по-испански. Из этой затеи ничего хоть сколько-нибудь полезного он не извлек. Он терзался, понимая, что должен написать мне, но не мог собраться с духом и послать мне страшное известие. Не один раз он признавался Джорджу, что находится на грани самоубийства, что не может глаз сомкнуть от страха и все такое прочее. Мой племянник отнесся к его жалобам без всякого сочувствия. Все капитаны, говорит он, включая его самого, ожидали от Кеймиса *действий*. В частности, они ждали, что Кеймис поведет их к прииску. Но Кеймис отказывался, ссылаясь на то, что найти его в джунглях непросто. Он как-то сказал Джорджу, что, если он выйдет из крепости во главе колонны солдат и потеряет в джунглях дорогу, эти молодцы сов-

сем озвереют. Чтобы избежать такого риска, Кеймис совершил однажды ночью вылазку с небольшим отрядом — видимо, в район водопада Карони. Он возвратился с куском породы и показал его Джорджу и раненому капитану Торнхерсту. Руду отдали золотарю. Она оказалась пустой, и больше о ней не вспоминали.

Уота похоронили со всеми воинскими почестями в церкви Сан-Томе. Капитана Козмора и мистера Харрингтона также погребли по всем правилам.

Что до Паломеке и двух других испанцев, Кеймис распорядился, чтобы их похоронили индианки. Но земля оказалась слишком твердой. Три трупа связали веревкой и бросили на площади в назидание оставшимся жителям форта. Ночью, рассказал мой племянник, кто-то отрезал голову Паломеке. Это развлекло наших солдат. Они пинали ее ногами, пока она не развалилась на куски.

Кеймис не жалел времени на допросы индейцев и чернокожих. Он был одержим идеей найти золото в месторождении, уже открытом испанцами. В одной из бумаг, обнаруженных в доме губернатора, говорилось о *baranca*¹ на берегу Ориноко, где могло быть золото. Кто-то из индейцев (но, очевидно, не слуга губернатора Кристобаль Гуаякунда, который не отвечал на вопросы Кеймиса) сказал ему, что эта *baranca* находится в шести-семи милях выше по течению реки, в месте впадения Карони в Ориноко. Кеймис послал на разведку две лодки с отрядом, состоявшим из офицеров, солдат и матросов. Командовал отрядом мой племянник. Он сообщает, что они добрались только до узкого пролива между берегом реки и островом, который индейцы называют Сейба. Там их обстреляли. Двое наших людей были убиты, шестеро — ранены, отряд в беспорядке отступил в Сан-Томе. По мнению Джорджа, это была ловушка, подстроенная Градосом и другими беглецами с помощью индейцев, оставшихся в форте.

Кеймис погрузился в отчаяние, оцепенел. Мой племянник гордится, что в тот момент он предпринял вылазку, которая, впрочем, не имела никакого отношения к поискам золота. На трех больших лодках он отправился вверх по течению реки. Поход был хорошо продуман с военной точки зрения: одна лодка шла по фарватеру, две другие держались соответственно у левого и правого берегов. Остров Сейбу они миновали без происшествий. Глубина реки тщательно промерялась на всем пути, при встрече с индейскими племенами они призывали их восстать против испанских хозяев и готовиться к приходу великой английской армии. Они доплыли до Гуарико, за три недели пройден в общей сложности, если верить Джорджу, триста миль.

Когда Джордж вернулся в Сан-Томе, Кеймис уже открыто признавал, что золота найти не удалось. По словам моего племян-

¹Пропась, глубокий овраг (*исп.*).

ника, когда всем стало ясно, что дело кончилось ничем, именно Кеймис приказал сжечь форт. (Увечный испанский священник сгинул в этом пожаре.) Уолластон и Уитни, покинув удобную песчаную отмель, присоединились к остальным. Они глумились над Кеймисом. О моральном духе солдат и матросов говорить не приходится — его не было вовсе. Испанцы весьма успешно добывали продовольствие и тащили все, что плохо лежало, — в результате нашему отряду становилось все труднее обеспечивать себя пищей. Пуще всего, говорит Джордж, Кеймиса ужасала мысль о том, что испанские подкрепления могут отрезать ему единственный путь отступления — по Ориноко. Поэтому, как только город сожгли, на корабли погрузили скромную добычу — главным образом табак и содержимое ларца, найденного в губернаторском доме, — и, подняв паруса и по настоянию Кеймиса белые флаги перемерия, отправились в обратный путь к морю.

Я спросил племянника, что, по его мнению, заставило индейца Кристобала присоединиться к нам. Он ответил, что не знает.

Пока они плыли вниз по реке, Кеймис почти все время сидел, завернувшись в плащ и надвинув шляпу на лоб, не произнося ни слова. Лишь однажды он нарушил молчание: неожиданно встал и начал "что-то лепетать о горе Иконури" (это слова моего племянника).

Гора Иконури находится в пятнадцати милях от берега Ориноко и расположена на двадцать пять миль ниже Сан-Томе по течению реки. В 1595 году, во время моего первого путешествия в эти места вместе с Кеймисом, индейский касик Путижма сказал мне, что эта гора богата золотом. Тогда же на северном берегу реки Карони, недалеко от водопада, я отковырял кинжалом от скалы кусок кварца. Возвратившись в Лондон, я отдал этот кусок ювелиру, который обнаружил в нем высокое содержание чистого золота.

В 1596 году я снова послал Кеймиса на Ориноко. Он сообщил, что испанцы заинтересовались районом реки Карони и в нескольких милях от ее устья построили форт (Сан-Томе), который защищает все подходы к этой местности по воде. Правда, сказал он мне, дружелюбно настроенные индейцы предупредили его о трудностях, которые ждут добытчиков золота в районе водопада Карони. Дело не только в испанцах, но и в особой твердости тамошней породы — плавикового шпата.

Хотя касика Путижму он не нашел, другие индейцы показали ему дорогу к горе Иконури и заверили его, что там есть золото, так много золота, что его можно найти, не *копая*. Кеймис привез мне крупинки золота, найденные в песке мелкой речушки Макавини, которая течет по склону горы.

Когда Кеймис отправился на Ориноко около трех месяцев назад, я ему вполне определенно приказал идти сначала к горе Иконури и уж только потом, если не будет другого выхода,

попытаться найти второе месторождение.

Что ж, мне поверить в то, что он не выполнил моих приказаний из-за Уота и начал "лепетать" об Иконури только на обратном пути, когда все уже потеряли в него веру?

Почему мой сын вообще не верил в существование золотых приисков?

На первый вопрос может ответить только Кеймис.

На второй — только Уот.

*

Ночная вахта. Ультрамариновая темень моря. Глазищи звезд. В этом тропическом безумии я должен писать хладнокровно и спокойно. Из прошлого я обязан извлечь смысл настоящего.

Мой мальчик, мое мальчишеское детство.

Ты, наверное, думаешь, Кэрю, что твой отец всегда мечтал о море? Что в детстве он жадно, затаив дыхание, слушал матросские байки о плаваниях, о загадочных зеленых пространствах, о сиренах и тритонах, о галеонах и барках?

Ничего подобного.

Я не люблю моря. Никогда не любил.

Вот сушая правда: твой отец плохой моряк. Сколько я себя помню, стоило земле скрыться за горизонтом, у меня тут же начинались тяжелейшие приступы отвратительной, изнуряющей морской болезни. Чтобы добраться от Саутуорка до Вестминстера, сэра Уолтера Рэли, великий мореплаватель, лучше сделает большой крюк пешком через Лондонский мост, чем переправится через Темзу на лодке. Это замечали многие.

Понимай как знаешь. Я убежден, только дураки любят море ради моря. Море жестоко или ничтожно. Море — ничто, пустота, которой следует избегать за ее неутолимый голод, за неистребимое желание восполнить и затушевать собственную ущербность, запихивая тонущих людей в свою утробу. Тупая и безграничная стихия. Соленая прорва.

Дрейк и другие? Фробишер? Хокинс?¹ Славные ребята. Но дураки. Пусть они и им подобные любят море. Это не для меня.

Когда бы мой корабль ни приближался к земле, я всегда испытываю ни с чем не сравнимый подъем духа, сердце начинает радостно биться, мысли светлеют, даже аппетит улучшается. Кроме того, я нахожу море *скучным*. Мне слишком быстро все надоедает.

Елизавету короновали, когда мне было четыре года. Странная мысль. Но порой на ум приходит и не такое.

¹ Дрейк, Фробишер, Хокинс — английские мореплаватели XVI века.

6 марта

Портовые крысы! Они не хотят возвращаться на Ориноко. Я все перепробовал. Приказывал. Упрашивал. Я даже пытался подкупить капитанов посмелее. Результат один: решительный отказ. Ни один не желает плыть со мной на Ориноко — и это несмотря на то, что золото — я открыл им секрет — можно найти и не поднимаясь до Сан-Томе.

А причина очевидна — они боятся. Они отказались вернуться на Ориноко из страха, что испанский флот уже плывет через Атлантику в погоне за нами. Они напомнили мне о предостережениях, которые мы слышали от индейцев, когда впервые после перехода сошли на берег у реки Кайенна в ноябре прошлого года. Теперь ясно, что сообщение о нашем походе разослали из Мадрида во все испанские поселения на Американском континенте. Бумаги из лаца губернатора, найденные Кеймисом в крепости Сан-Томе, подтвердили худшие из опасений этих позеленевших от страха трусов. С кем я связался!

У них одно на уме: как бы убраться из Пунто-Гальо до того, как испанская армада обрушится на нас. Я созвал военный совет. Капитан за капитаном вставали и говорили, что нам следует уносить ноги подобру-поздорову. Мои доводы о золоте на горе Иконури — я сначала нарисовал диаграмму, а потом показал им карту — не произвели на них никакого впечатления. И уж совсем я взбесился, когда некоторые из них заявили во всеулышание, что вообще не верят в существование этих приисков. По их словам, я просто болен. Да, был. И сейчас болею. (Хотя, слава всевышнему, мне уже не приходится менять промокшую потом рубашку три раза в день.) Напрасно я убеждал, что лихорадка пройдет, а золото останется — и не у нас. Что человек преходящ, а золото вечно. Даже Сэмюэл Кинг, самый стойкий и надежный из моих капитанов, высказался в том смысле, что-де нам следует на время уйти от Тринидада и обдумать все спокойно у Подветренных островов.

Значит, золото останется нетронутым. Девственным. Как ты, Елизавета.

Я пишу эти строки в море, севернее Гренады, самого южного из Наветренных островов, в ста сорока милях к юго-западу от Барбадоса, проплыв от Пунто-Гальо через залив Парии и пролив Драконова Пасть восемьдесят пять миль на север от Тринидада. Теперь наше местоположение — 13° северной широты и 61° западной долготы.

Гренада: открыта Колумбом в 1498 году и названа им остров Зачатия.

Девственное золото.

Остров зачатия.

Но о самом скверном я еще не сказал... Сегодня, шестого марта, когда мы бойко шли, подгоняемые свежим добрым ветром, мимо острова Гренада, капитан Уитни и капитан Уолластон сбежали со своими кораблями. Удрали. Предали. Ясно, что они давно замыслили стать пиратами. Мне бы следовало догадаться еще тогда, когда я узнал, что они тащили свои корабли на Ориноко волоком.

Больно. Горько, как во рту от полыни. И особенно тяжок удар, что нанес Уитни. Когда мы готовились к отплытию из Плимута, он пришел ко мне и сказал, что из-за нехватки денег не может нанять достаточно людей и снарядить должным образом свой корабль, и я так его ценил, что *продал свое серебро*, лишь бы оплатить расходы и обеспечить его участие в нашем походе.

Я доверял Томасу Уитни.

Я доверял Ричарду Уолластону.

А Уитни и Уолластон, став пиратами, плюнули мне в мое доверчивое лицо.

Арифметика предательства.

У меня осталось только восемь кораблей.

*

Мальчишкой я очень любил списки. Первое, что я написал в жизни, когда мне было лет шесть, — это список лодок и участков земли в Сидмуте, сданных отцом в аренду за десятину. Позднее я восхищался списками кораблей и городов у Гомера. Списками рыцарей у Мэлори. Библейскими списками "кто кого родил" в Ветхом завете.

А вот список моих оставшихся кораблей и их капитанов:

(1) "Судьба", 500 тонн, после смерти Уота капитаном стал я.

(2) "Гром", 150 тонн, капитан сэр Уорэм Сент-Леджер.

(3) "Ясон", 240 тонн, капитан Чарльз Паркер.

(4) "Летучая Иоанна", 120 тонн, капитан Джон Чадли.

(5) "Поединок", 160 тонн, капитан Сэмюэл Кинг.

(6) "Саутгемптон", 80 тонн, капитан Роджер Норт.

(7) "Звезда", 240 тонн, капитан сэр Джон Ферн.

(8) "Паж", шхуна, 25 тонн, капитан Джеймс Баркер.

А что касается команд этих кораблей, моей душе противно считать их или даже просто упоминать. Негодяй на негодые. Те, что уплыли с Уитни и Уолластоном, наверняка кончат свои дни на виселице в Картагене. Те, что остались — и солдаты и матросы, — тоже мерзавцы, только и ждут удобного момента перерезать глотки своим капитанам, если те, конечно, не дадут им знать, что при первой возможности сами готовы превратиться в корсаров.

Я команду флотилией висельников.

Кэрю, я начал книгу с издевки над Александром. Настало время взять свои слова обратно. Пора признаться в собственных сомнениях.

Если, куда бы ни заносила меня судьба, я не оставлю после себя гигантских стульев, то только потому, что в глубине души не уверен, что вообще достоин памяти о себе.

В молодости я носил серебряные доспехи. Ты спросишь, почему? Да у меня просто не было уверенности, что сердце мое из того же благородного металла. Чтобы скрыть сомнения, я нуждался в серебре, великолепии, внешнем блеске. Я любил шеголять в плаще, на котором было много слегка приметанных жемчужин, и, когда я пробирался сквозь толпу на королевских приемах, жемчужины отрывались и раскатывались по полу. Тогда я останавливался и с презрением оглядывался через плечо на мелких людишек, нагибавшихся за ними. Но лучшие жемчужины пришивались к плащу намертво.

Я пытаюсь дать тебе понять, насколько я уязвим, сын. Никогда не верь тем, кто говорит обо мне только хвалебные речи, превнося меня как героя. Если и случалось, что я вел себя героически — а такое случалось, — то причина в том, что меня всегда пугала бездна собственного страха. Неуверенность в себе я изживал поступком. И всегда выглядел очень решительным. Но никогда не был. К действию меня побуждал страх смятения. Если же смятение тем не менее охватывало меня, я опять-таки преодолевал его решительными действиями.

Расскажу тебе случай из моей жизни.

В те времена, когда я только что познакомился с королевой, однажды в ее дворце я бриллиантом нацарапал на оконном стекле строку:

И манит высь, да боязно разбиться...

Была зима. За окном лежал великолепный заснеженный сад с замерзшими фонтанами. Как я и ожидал, Елизавета прочла эти слова, взяла бриллиант с обитого бархатом подоконника, где я бросил его небрежно, словно кусочек мела, и приписала внизу, закончив мысль:

Коль духом слаб, не стоит возноситься.

Ты, наверное, скажешь, что я все-таки вознесся. Да, я вознесся, а потом пал. И снова вознесся, и снова пал. Но возносился я прежде всего *потому*, что боялся высоты.

И сколько было таких "героев"?

Больше, чем ты думаешь, сын.

Как мне противно, отвратительно и ненавистно само понятие "герой"!

Александр со своими большими стульями был дурак.

А я еще больший дурак — мне совсем не на чем сидеть; раз-

ве что на этом прогнившем корабле в этом вонючем море: золота нет, голова раскалывается, жизнь пошла прахом.

5

12 марта

Выйдя из полосы северо-восточных пассатов, мы бросили якорь в бухте Невиса, одного из Подветренных островов. Мелкий, неширокий — всего две мили — пролив, отделяет Невис от чуть более крупного острова Сент-Киттс. Остров почти круглый и с моря похож на идеальный конус. Он напоминает мне странный колпак, который индеец Кристобаль Гуаякунда почти не снимает с головы.

На берегу я нашел целебный источник, регулярно в нем купаюсь. Вода, должно быть, поднимается по длинному темному пути с большой глубины. Там, внизу, в крошечной тьме, она, наверное, кипит, источая серный запах, но здесь, на берегу, в расчищенном мною и выложенном перламутровыми камешками источнике, она прохладна и приятна. Моей ноге нравится.

Сын, не хватает слов описать красоту этих островов. Этого нового мира. Новых небес. Нового золотистого света и пьянящего воздуха.

Даже слезы не застилают мне райского видения.

Злые слезы, что прожигают страницу, на которой я пишу эти строки.

Кажется, я уже вижу одни только видения.

*

Райское видение... Какая мощь в словах! И как прихотлива память! Написанная фраза разрушила рай земной перед глазами. Вместо райских птичек я слышу церковные колокола. Голубые небеса над моей головой сменяются черным полночным пологом, нависшим над Лондоном; небесная твердь вспыхивает, озаряется всполохами огня. Ракеты и петарды, огненные колеса и шутихи, море иллюминационных огней, вертушки и хлопущие, марионетки и дьяволята, цветы вращающиеся и башни качающиеся, ослепительный дождь, мириады зеленых и золотых звезд. Фейерверки запустились с целого флота длинных барж, пришвартованных наискосок от дворца Уайтхолл, где только что под вежливые аплодисменты закончилось представление крещенской маски Бена Джонсона. Он назвал ее "Райское видение". Но я ставлю все бо-

гатство Ломбард-стрит¹ против апельсина, что большая часть аудитории, как обычно, получила удовольствие прежде всего от блестящих сценических эффектов Иниго Джонса² и грохочущей музыки Николаса Ланьера — и то и другое было призвано подчеркнуть танцевальные таланты Джорджа Вильерса.

Вильерс, фаворит короля, выделял такие па своими странными красивыми ногами, что приковал к себе всеобщее внимание.

Если, конечно, это уже не сделала Покахонта, несчастная принцесса индейского племени поухатанов, недавно прибывшая из Виргинии со своим мужем Джоном Рольфом и сидящая теперь на почетном месте рядом с королем.

Ночь на шестое января 1617 года. Прошел всего лишь год, но теперь она так далека от меня, что, кажется, за это время я успел слетать на луну и вернуться обратно.

В ту ночь Уот был там. Он всегда бегал за Беном Джонсоном. Уот и рассказал мне, как король пожирал глазами Уттаматамакина, величественного врачевателя бедной Покахонты, — кожаный лоскут едва прикрывал ягодицы бронзовокожего, провонявшего медвежьим жиром индейца. От него же я знаю, как в зале Банкетинг-Хауса, отделанном золотыми и серебряными листьями, пьяная королева Анна танцевала с Вильерсом, только что ставшим первым герцогом Букингемским; Уот клялся, что слышал, как королева воскликнула:

— Мой милый пес, ты же знаешь, что я жду от жизни только *развлечений*.

Вильерс продолжал танцевать молча. Королева Анна заговорила снова:

— Обещай мне, что постарайшься помочь. За какой-нибудь месяц его паршивый корабль стал самой модной достопримечательностью Лондона. Там толчется больше народа, чем в центре города. Я умоляла его на коленях, но старая свинья решительно запретил мне появляться там. Он даже имени его не произносит, а называет только *этот человек*.

Старой свиньей она величала своего мужа Якова, милостью божьей первого короля в Англии с таким именем, хотя и шестого в Шотландии.

А этот человек был я.

А может, Уот выдумал эту историю? Да нет, звучит вполне правдоподобно. Вильерс, если верить Уоту, прямо не ответил. Он волчком закружился прочь от королевы, раскрутив, как крыло, свой тяжелый золотистый плащ, потом поклонился, задев правой рукой за кружевные розы, украшавшие его длинную туфлю, и вернулся назад.

¹ Ломбард-стрит — улица ростовщиков и банкиров в Лондоне.

² Джонс, Иниго (1573–1652) — знаменитый английский архитектор, разрабатывал также сценическую технику и декорации.

Уот слышал, как он сказал:

— Его ненависть к Рэли поразительна. Как вы думаете, это из-за табака?

В это время, рассказывал Уот, высоко на помосте король Яков смотрел на Уттаматамакина, индеец в венце из сушеных змей и горностаевых шкурок сверкал на короля глазами, а Покахонта харкала в кулачок кровью.

Уот любил рассказывать занимательные истории. Любая из них могла оказаться вымыслом.

Но одно я знаю наверняка: самой впечатляющей деталью этого расточительного огненного шутовства был стоящий на задних лапах геральдический лев, сооруженный по случаю пятидесятилетнего пребывания на шотландском троне Якова Стюарта. (Яков унаследовал шотландскую корону, когда ему был один год и один месяц.) Я говорю это, не опасаясь опровержений очевидцев, поскольку лев этот еще был виден с Лондонского моста, когда двое джентльменов, идя навстречу друг другу с разных его сторон, как бы невзначай встретились посередине и остановились полюбоваться зрелищем. Я был одним из этих джентльменов. Другим был сэр Ральф Уинвуд, государственный секретарь Его Величества и мой добрый друг, главное действующее лицо хитрой интриги, закончившейся моим освобождением из Тауэра за десять месяцев до этой встречи.

Я сказал:

— Больше всего меня занимает неверие Шотландца в золото Гвианы. Если он уверен в неудаче, зачем мне вообще разрешают отправиться в плавание?

— У вас положение, — отвечал Уинвуд, — вас многие ценят. Он использует вас в своей игре с Испанией.

— Это опасно.

— Очень опасно. Для вас.

— Для страны, — сказал я. — В конечном итоге это может привести к войне. Не верю, что наш фейерверочный лев ищет ее.

— Вы, конечно, правы. Война — настоящая война — совсем не входит в его планы. Но сейчас ему выгодно поиграть с огнем. С вашей помощью он хочет расстроить брак наследника с испанской инфантой. Шотландца загнали в угол, и такая перспектива стала реальной. И остается по сей день. Но если вы взорвете пару бочек пороха под испанцами в Гвиане, то женитьба принца Карла на инфанте будет невозможна.

— Вы думаете, в этом истинная цель Шотландца?

— Кто знает его *истинные* цели? — проворчал Уинвуд. — Уж во всяком случае, не его государственный секретарь. Не удивлюсь, если он сам их не знает. Король любит рассматривать вопрос с разных сторон. Он обожает споры. Но с ответами он явно не в ладу. Он ненавидит решения. Они напоминают ему о казни матери.

— Значит, я не более чем пешка в его шахматной партии с испанцами...

Уинвуд улыбнулся.

— Ну уж и пешка. Ваши ходы, сэр, всегда были непростыми — не только вперед, но и в стороны. Так что справедливее назвать вас по меньшей мере конем.

— Пусть будет конь. Но вы считаете, что король всего лишь использует меня в своей игре?

— Да, — подтвердил Уинвуд. — Я думал, вы знаете об этом. Надо смотреть правде в глаза. Шотландец останется в выигрыше, как бы ни сложилось ваше путешествие. Вы же все проиграете.

— Кроме золота, — ответил я.

— Золото ничего не меняет. Он в него не верит.

— А вы?

Уинвуд смотрел на темные воды Темзы.

— Я ждал этого вопроса. Не буду от вас скрывать, что и для меня золото — не главное.

— А что же?

— Империя. — Уинвуд помедлил. — Ваше имя все еще живет среди индейцев. Каждый год я слышу о голландских кораблях, которые приплывают торговать на Ориноко. Где бы они ни бросили якорь, индейцы поднимаются на борт в надежде, что, раз корабль не испанский, значит, на нем вы. Достаточно вашего слова, и они восстанут против Испании.

— И тогда?

— И тогда править будем мы. Точнее, управлять. Торговать с индейцами и обучать их. А это принесет большую выгоду Англии и громадный ущерб Испании. Даже если там нет золота, там есть табак.

— Что касается индейцев, я во многом согласен с вами. Испанский король правит Новым Светом, держа в одной руке меч, а в другой крест. Мы можем овладеть всем континентом с помощью пары честных слов и дюжины выполненных обещаний. — Над Тауэром, словно бриллианты, засверкали огни фейерверка. — И тем не менее, — продолжал я, — у меня более скромная и конкретная цель. Там есть золото. И на большее, чем привезти часть его в Англию, я не замахиваюсь.

Уинвуд удивленно поднял брови.

— Не воюя с Испанией?

— Я искренне надеюсь на это.

— Чтобы и здесь не было неясностей, сэр, скажу, что я с самого начала поддерживал ваше предприятие, поскольку уверен, что рано или поздно, так или иначе оно приведет к войне с Испанией. Если мы хотим закрепиться в Южной Америке, такая война неизбежна. Эта война необходима и для того, чтобы сохранить равновесие сил в Европе и отбить охоту у папы римского пытаться когда-либо вернуть Англию под свой каблук. Как вы можете

думать, что ваши действия не вызовут осложнений? Испанцы непреклонны: они считают земли на Ориноко своей территорией. Столкновений не избежать.

— Не сомневаюсь. Но начну их не я. Я буду миролюбивее принцессы Покахонты.

Уинвуд сделал три поспешных шага в сторону. Бросив взгляд через его плечо, я увидел, что на Лондонский мост со стороны Саутурка спешит мой кузен сэра Льюис Стьюкли. С ним был Робин, мой паж, которому удалось на короткое время отвлечь внимание кузена от моей персоны с помощью козла на поводке.

— Как с деньгами? — спросил Уинвуд.

— Теперь все в порядке, — ответил я. — Я должен только Петту. Он подождет. Но вы можете помочь мне в одном важном деле.

— Говорите.

— Убедите Шотландца, что я больше не нуждаюсь в опекуне.

— Ваш кузен опасен?

Я рассмеялся.

— Нисколько. Он идиот. Но у меня есть рыбка, которую я не могу пожарить, пока Стьюкли все время толчется в кухне.

— Сделаю все возможное, — пообещал Ральф Уинвуд.

Городской глашатай миновал двух почтенных джентльменов, расходившихся в разные стороны.

— Доброй вам ночи, — прокричал он, позванивая колокольцем. — Доброй ночи.

Обгоревшая палка последней ракеты упала на Лондонский мост мне под ноги.

Когда секретарь Уинвуд обещал сделать все возможное, у него это всегда получалось чертовски здорово. К концу января меня освободили от назойливого присутствия моего кузена сэра Льюиса Стьюкли. К концу февраля через капитана Фэжа я установил контакт с адмиралом Монморанси, который разрешил мне искать убежища в любом французском порту, если у меня возникнет к тому желание. И седьмого марта я имел честь принимать на борту "Судьбы", стоявшей на Темзе, его превосходительство графа де Марец, французского посла в Лондоне, заверившего меня, что его патрон Ришелье благосклонно относится к моей рискованной затее.

Но французские корабли вопреки обещанию не присоединились к моему отряду. А королеве Анне так и не разрешили нанести вошедший в моду визит.

*

Сегодня вечером я собрал оставшихся капитанов отужинать в моей каюте. Пока мы ели хорошо прожаренное, но все же малосъедобное мясо дельфина, я изложил им свое понимание наше-

го положения, которое, как я объяснил, оставляет нам три возможных способа действия.

— Во-первых, — сказал я, — мы можем отправиться к Виргинии или Ньюфаундленду. Оба места достаточно удобны, чтобы пополнить запасы, почистить и подремонтировать наши корабли, после чего мы можем вернуться в Гвиану и, добыв золото, которое не нашел Кеймис, оправдать это плавание.

Все молчали. Мне было ясно, что ни один из них уже не верит в золото Гвианы. Слово взял Джон Чадли.

— Это равносильно самоубийству. Теперь мы знаем, что жителей Сан-Томе заблаговременно предупредили о нашем появлении. В документах, найденных в доме губернатора, говорится также о войсках, которые посланы против нас из Новой Гранады и испанских владений к северу от Ориноко. Будем считать, нам повезло, что испанцы ленивы. Сейчас их, наверное, уже тьма на Ориноко.

— Что уж говорить об испанском флоте, вызванном из Бразилии, — сказал сэр Уорэм Сент-Леджер.

Остальные капитаны поддержали этих двоих. Мне их суждения показались трусливыми, но я сдержался и спокойно продолжал:

— Хорошо, тогда как вам понравится, если сначала мы все-таки пойдем к Виргинии или Ньюфаундленду, а подновив корабли, ляжем в дрейф неподалеку от Азорских островов. — Я выдержал паузу, наслаждаясь их растерянностью. — Там мы спокойно подождем, пока испанские сливы сами упадут нам в карман. Я имею в виду, джентльмены, одно-два отставших судна из плывущего домой Серебряного флота.

Воздух, пропитанный запахом дельфиньего мяса, звенел от наступившей тишины.

Наконец Чарльз Паркер сказал:

— Не верю. Никогда не думал, что доживу до дня, когда сэр Уолтер Рэли хладнокровно объявит о своем решении стать пиратом.

Остальные молча уткнулись в тарелки.

Я взял апельсин и начал счищать кожуру кинжалом.

— По-вашему, Дрейк был пират?

Никто не ответил.

— Дрейк захватил лучший испанский карак, — продолжал я. — "Какафуэго". На нем было двадцать шесть тонн чистого серебра. Это почти полмиллиона английских фунтов. Пиратство? Сэр Джон Ферн откашлялся.

— Нет, — тихо сказал он. — Скорее, каперство.

Я кивнул. Потом дочистил апельсин.

— Каперские свидетельства, — промямлил Паркер. — Только со свидетельством можно заниматься каперством. Тогда это законно.

— У Дрейка не было свидетельства от королевы, — заметил я. — Но он никогда не был пиратом. Он плавал под английским

флагом, серебро привез в Англию, и королева взяла свою долю. — Я разломил апельсин на дольки и две из них отправил в рот. Прожевав их и не дождавшись возражений, я продолжал: — Различие между пиратством и каперством — тонкая штука, но для меня тут все ясно. Пиратство — это грабеж в личных целях. Каперство — оправданная война на море частных торговых судов против торгового флота неприятеля.

— Но Англия не воюет с Испанией, — заметил капитан Норт. Я проглотил еще одну дольку апельсина.

— Испания воюет с нами. В том, что касается Нового Света, Испания не соблюдает мирный договор 1604 года. Она чинит препятствия мирным голландским и английским судам, купцам и поселенцам в этих краях. Испания вероломно нарушила мир по отношению к нашей экспедиции. Вы только подумайте, джентльмены. Испанский шпион Гондомар сообщил своим хозяевам в Мадриде даже точное водоизмещение наших судов. А у них не хватило благородства хотя бы предупредить нас, когда мы были еще в Англии, что, ежели мы поплывем вверх по течению Ориноко, они откроют огонь. Вместо этого они решили — как нам только что рассказал мистер Чадли — подтянуть войска сушей и напасть на нас врасплох. Кроме того — как нам напомнил сэръ Уорэм Сент-Леджер, — они выслали флот, чтобы отрезать нам путь к отступлению. Так что мир нарушила Испания.

— Убив трех человек? — вставил Джеймс Баркер.

Я повернулся к нему, раздавив апельсин произвольно сжавшимися в кулак пальцами.

— Убив двоих мужчин и мальчишку. Мальчишка этот был моим родственником.

Лицо Баркера залилось краской.

Заговорил Сэмюэл Кинг:

— Адмирал прав. Первыми нарушили мир испанцы. Мы можем атаковать Серебряный флот под английским флагом и привезти добычу королю Якову, и никто не осмелится назвать нас пиратами. — Он замолчал в нерешительности. Когда он снова заговорил, в его голосе зазвучали виноватые нотки. — Но Серебряный флот никогда не плавает без внушительного эскорта. У нас осталось только семь фрегатов и шхуна. Наши шансы на успех ничтожны.

Я кивнул.

— Верно. Но так же было, когда мы выступили против испанской Армады.

Когда я напомнил им о разгроме Армады, повисла тягостная, гнетущая тишина. Я видел, что перспектива нападения на Серебряный флот вселяла ужас в их сердца.

— Вы начали с того, что у нас есть *три* возможности, — пробормотал наконец Чадли. — Какова же третья?

— Вернуться домой.

— Мы можем идти в один из французских портов, — сказал Джон Ферн. — Монморанси обещал вам...

— Вернуться домой, — повторил я.

Я встал. Разжал руки. Апельсиновый сок стекал на свежую белую скатерть, словно кровь.

— Подумайте об этом, джентльмены.

*

Я устал, Кэрю. Но хочу кое-что рассказать тебе об Уоте. Чтобы ты лучше помнил брата. Чтобы сохранил его образ. Не буду ни идеализировать, ни приукрашивать. Ему бы это не понравилось. Твоему старшему брату. Моему сыну, второй моей юности.

Две истории.

Первую ты уже, видимо, знаешь. Но я ее повторю. Ты не слышал ее продолжения, поскольку Уот рассказал мне ее только в июне прошлого года, когда в ожидании попутного ветра мы стояли в Кинсейле.

Но сначала то, что тебе, быть может, уже известно. Пять лет назад, когда я еще сидел в Тауэре, Уот поехал в Париж со своим воспитателем Беном Джонсоном. Джонсон всегда был большой любитель выпить. И Уоту не составляло труда напоить его так, что тот не знал и не заботился о времяпрепровождении своего воспитанника. Однажды, напив Джонсона до чертиков, твой брат уложил его тучное тело на телегу и нанял несколько работников протаскать ее по улицам Парижа. Уот шел рядом и останавливал телегу на каждом углу и уж непременно около церквей. Остановившись, он кричал: "Сюда, сюда! Подходите полюбоваться на новое распятие! Джонсон в роли Иисуса! Поэт-лауреат в своей лучшей драме! Сюда! Подходите!"

Слава богу, что ни один тамошний блюститель закона не понимал английского языка. За такое святотатство во Франции, насколько я понимаю, можно было угодить на костер. Так или иначе, шутка обошлась, в темницу он не попал. Когда эта история достигла ушей твоей матери, она только посмеялась, сказав, что в молодости я сам был таким же. Меня же слухи о проделках Уота, когда они дошли до меня в Тауэре, не на шутку огорчили. Правда, теперь я отношусь к ним спокойно: ни гнева, ни одобрения. Уот есть Уот. Но все же прошу дозволения усомниться, что я был когда-либо таким, впрочем, возможно, Бесс знает меня лучше, чем я сам.

А теперь продолжение. Любопытное. Знай же, что в тот день, когда меня выпустили из Тауэра — это было 19 марта два года тому назад, — Уота не было среди встречавших меня в доме твоей матери на Брод-стрит. Когда я спросил у Бесс, где он, она тихо,

чтобы не услышал кузен Стьюкли (мой неусыпный страж), прошептала мне на ухо одно слово: "Бесится". Она так и сказала.

Меня это расстроило. Особенно неприятно было то, что твоя мать сочла уместным сравнить вызывающее отсутствие Уота с моим собственным поведением в молодости. Я, однако, ничего не сказал ему, когда он наконец появился в тот вечер. И впоследствии мы не вспоминали об этом случае, пока он сам однажды не заговорил о нем в Кинсейле.

После полудня мы сидели на вершине холма Старая Голова и смотрели на море. Закрывая рукой глаза от солнца, я всматривался в горизонт в ожидании Фэжа и обещанных французских кораблей. Уот сдувал пух с одуванчиков. Держался он неловко и выжидающе. И вдруг сказал:

— Ты, наверное, знаешь причину?

— Причину чего?

— Почему я не встречал тебя на Брод-стрит.

Говорил он взволнованно. Меня это тронуло. Я не мог заставить себя посмотреть на него и делал вид, что продолжаю изучать горизонт.

— Расскажи. Хотелось бы понять.

— Думаю, ты знаешь его лучше, чем я, — пробормотал Уот.

— Кого его?

— Бена Джонсона.

— Ты был в тот день с Беном Джонсоном?

— С утра до вечера.

— Пьянствовали? — спросил я. — По девкам шлялись?

Уот бросил стебелек одуванчика.

— Я не пью. Во всяком случае, не больше, чем ты. — Он помолчал немного, а потом продолжил: — А что касается второго предположения, смею надеяться, что и в этом мы похожи.

Помню, что я мрачно смотрел на искрящуюся водную гладь и молчал. Уот продолжал:

— Ты загадочен. Он понятен. Ты в некотором смысле бездонен. А его глубину я знаю с точностью до пинты!

— Каким бы ни был Бен Джонсон, он не плывет с нами в Новый Свет на поиски золота. Не хочу больше слышать о нем.

Но Уота тянуло исповедаться. Что-то заставило его рассказать мне, как он провел тот унылый мартовский день, день моего освобождения из Тауэра. И самое удивительное, его рассказ почти полностью повторял проделку в Париже — а ведь Уот знал, что она меня огорчила.

Пить, как рассказал Уот, они начали с утра. Ему доставляло видимое удовольствие вспоминать названия таверн, в которых они побывали: "Кабанья голова", "Птичник", "Роза", "Три журавля", "Русалка", "Митра", что рядом с "Русалкой", "Лошадиная голова" на углу Фрайди-стрит, "Нож и курица", "Нога и семь звезд", "Орел и дитя". Он называл эти таверны с чувством греш-

ника, перечисляющего на исповеди свои грехи. Уот унаследовал мою любовь к спискам. Названия тех таверн прочно запали ему в память. А теперь вот и мне. Будто я отпустил ему грехи на исповеди и взял их на свою душу.

(Я, пожалуй, сгущаю краски. Рассказ доставлял ему и удовольствие. Уже простое перечисление вывесок поднимало его настроение.)

Джонсон пил пиво, вино и бренди. Уот — только воду. К вечеру Джонсон был мертвецки пьян, а Уот трезв как стеклышко. Так всегда, заверил меня Уот, заканчивались их вылазки.

Странное развлечение! Но ведь и я был таким же. В свое время я проделывал с Беном Джонсоном то же самое. А до него с Кристофером Марло, который и как поэт был талантливее, и как личность — неукротимее.

В конце концов, продолжал рассказ Уот, во дворе таверны "Козел в сапогах" он нашел тачку. Дело в том, что бедный Бен уже не мог держаться на ногах. Итак, Уот везет по Истчипу тачку, на которой лежит расхристанный Джонсон — бывший воспитатель, заменивший ему отца. Уот говорит, что свои башмаки горчичного цвета Джонсон сбросил. В обеих руках у него было по бутылке канарского вина. Горлышко третьей бутылки он сжимал губами. Все еще вглядываясь в морскую даль, я живо представляю себе эту сцену. У Бена громадное брюхо и изуродованное лицо, очень похожее на карту Вест-Индии: фурункулы на нем — острова, оспины — морские течения. Волосы у него рыжие, борода — кирпично-красная.

Для тебя, Кэрю, нарисую и портрет Уота. Не сомневаюсь, что на нем был любимый белый плащ. Он всегда выглядел вызывающе щеголевато. Бородка его красиво загибалась вверх — как и моя много-много лет тому назад. В левом ухе он носил серьгу. Плечи Уота (помнишь, Кэрю, как-то я застал тебя копирующим его манеру перед зеркалом?) — казалось, он поднял плечи в недоуменном жесте и забыл их опустить.

Он рассказал дальше, как вез тачку с тяжелым грузом поэзии вниз по Милк-стрит, вверх по Вуд-стрит, вдоль Хоузьерлейн. И (вот что забавнее всего) мысленно останавливался на каждом углу, складывал ладони у рта и выкрикивал те же богохульства, что и когда-то в Париже. Всю эту чепуху о том, что Джонсон истинный образ распятия, какого не найдешь ни в одной из католических церквей.

Уот был проказник. Но не дурак. Он орал это только в воображении. Лондон — не Париж. Здесь бы поняли его святотатство.

Дойдя до церкви Сент-Мэри-ле-Боу, Уот решил отдохнуть. Он вкатил тачку на погост. Джонсон заснул. Бутылка выпала у него изо рта. По словам Уота, Бен громко захрапел.

Уот уселся на землю между ручек тачки, зевнул и опустил голову на руки. Потом достал из кармана серебряную трубку.

набил ее табаком из кисета, поднес к табаку трут и закурил. Он курил, картинно пуская кольца дыма.

(Тебе не кажется, Кэрю, что в этой истории есть что-то странное? Уот подражает мне, своему отцу, в одежде, манере держаться и привычках и в то же самое время держит перед глазами мой образ наизнанку — пьяного поэта, каким я никогда не бывал, брошенного ради издевки в тачку. И все это происходит в такой необычный день, когда он, казалось бы, мог встретить меня сыновьей любовью, посмотреть мне в глаза честно и прямо. Мне это тоже странно. Я едва ли понимаю его.)

Только Уот устроился поудобнее, как услышал рядом с собой высокий резкий голос. Он поднял голову и увидел маленького мальчика в черном бархатном костюмчике. Мальчик говорил нараспев:

— Табак вреден. Курение — скверная привычка.

Уот сказал, что тут его осенило: всю дорогу от конторы нотариуса на Брэд-стрит он смутно ощущал присутствие этого мальчика. У него были светлые, до плеч волосы. Уот заметил его впервые в окне нижнего этажа конторы нотариуса — нос прижат к стеклу, лицо расплылось белым пятном. С того момента мальчишка незаметно следовал за ними. А теперь вот настолько осмелел, что подошел совсем близко. Уот решил, что ему лет восемь-девять.

— Курить грешно, — сказал мальчик.

— Кто тебе сказал? — спросил Уот.

— Мой отец, — ответил мальчик.

Мальчик стоял прямо, широко расставив маленькие ноги, обутые в черные башмаки со скромными серебряными пряжками. Потом махнул рукой.

— Это *ваш* отец лежит в тачке?

— Нет, — ответил Уот. — Это не мой отец. Это Бен Джонсон.

Поэт-лауреат.

— Он не может быть поэтом, — заметил рассудительно мальчик. — Он слишком пьян.

— Поэты часто напиваются, — сказал Уот.

Мальчик топнул ногой.

— Нет, неправда. Поэты — люди непьющие.

Уот говорил, что глаза у мальчика были словно черные сливы.

В этот момент в тачке проснулся поэт-лауреат и тут же съехал вниз, чтобы показать мальчику большой палец левой руки. На пальце было выжжено клеймо. Бен спросил:

— Ты знаешь, где я заработал это клеймо, малыш?

— В тюрьме, — отвечал мальчик не задумываясь.

— Правильно, — заорал Джонсон. — Я сидел в тюрьме за убийство человека. Как тебе нравится? Я убил его на дуэли.

(Это правда, Кэрю. Человека, которого он убил, звали Габриэль Спенсер, он служил у Хенслоу в театре "Фортуна" в

Криплгейте. Однажды ночью Джонсон и Спенсер дрались насмерть в Хогсден-Филдсе.)

— Как тебе *это* нравится? — не унимался Бен.

— Дуэли запрещены законом, — сказал мальчик. — За что вы убили его?

— Он был актер, — закричал Джонсон.

— Сцена — рассадник людских пороков и слабостей, — поучал мальчик. — Но все равно не следовало убивать его.

— Он был *плохой* актер, — объяснил Джонсон. — *Очень* плохой актер. *Жуткий*. Он провалил мою пьесу. Он не помнил половины текста, а то, что помнил, умертвил. Вот я и убил его, поскольку он уже убил меня. Убийство при смягчающих обстоятельствах во имя девяти муз и ради спасения их матери. Ты знаешь, кто их мать, малыш?

— Мнемозина, — ответил мальчик.

— Что это означает? — спросил удивленный Джонсон.

— Память, — ответил мальчик, пожав плечами, будто такой простой вопрос не стоило и задавать.

Джонсон повернулся к Уоту.

— Прекрасный мальчик, — завопил он, — очень образованный малыш. Я мог бы сделать из него поэта, если бы он не страдал запорами.

Мальчик сказал:

— Вы вовсе не поэт. Вы преступник.

— Я поэт и преступник, — ответил Джонсон, вытирая нос клейменым пальцем. — Все настоящие поэты были преступниками. Поэзия и есть преступление.

— Это не так, — возразил мальчик. — Поэзия добродетельна. Поэты должны знать греческий и латинский, математику, музыку и космографию. Поэзия — это правда. Поэты — благородные натуры.

Джонсон смотрел на него в отчаянии.

— Мой отчим был каменщиком, — сказал он. И улыбнулся. — Моя жена — мегера, но зато честная женщина. — Его стошнило, после чего он свалился в тачку и снова заснул.

Мальчик стоял, уставившись на Бена Джонсона.

— Этот человек проклят. Он попадет в ад.

Уот спокойно заметил:

— Если он отправится в ад, я составлю ему компанию.

Мальчик повернулся и внимательно посмотрел на него.

— Да, — сказал он. — Я совершенно в этом уверен. Все богохульники попадают именно туда.

Мальчик ушел. Вскоре его черный бархатный костюмчик превратился в точку на фоне белых надгробий.

Спустились сумерки. Уот встал и помочился за надгробием. "Сюда!" — позвал он тихо раннюю сову. "Сюда! Полюбуйся на блудного сына, возвращающегося домой! Сюда, сюда!"

И только в это мгновение, признался Уот, до него дошел весь смысл сказанного мальчиком. Тот назвал его богохульником. Но ведь вслух Уот богохульствовал очень давно, в Париже. Возможно, конечно, что мальчик считал богохульством уже то, что Уот хотел составить компанию Джонсону в аду. Но Уот был уверен, что мальчик имел в виду иное.

Вторую историю я расскажу покороче. (Мои глаза болят от бессонницы, ночной воздух в каюте, где я пишу при свече, душен и горек.)

Это случилось вечером, накануне нашего отплытия из Лондона в Плимут для встречи с остальной частью отряда. Должно быть, двадцать восьмого марта прошлого года. Секретарь Уинвуд пригласил меня вместе с Уотом и другими капитанами к себе на обед. Уинвуд, как ты знаешь, с первых дней горячо поддерживал мое начинание. Но после освобождения из Тауэра мне запретили появляться при дворе, и Уинвуд должен был соблюдать осторожность, встречаясь со мной. Однако вечером накануне отплытия он отбросил все предосторожности и широко распахнул перед нами двери своего дома на Миллбанк.

Я хотел пойти один. У меня было предчувствие, что Уот поставит меня в неловкое положение.

— Человек ты несдержанный и вздорный, — сказал я ему. — Иногда мне становится стыдно, что я вожу компанию с таким медведем.

Но Уот стоял на своем.

— Меня пригласили к Уинвуду самого по себе. Я, как и другие капитаны, имею право пойти.

— Могу освободить тебя от прав и обязанностей. Оставайся в Лондоне, поплыву без тебя.

Уот рассвирепел.

— Не посмеешь!

Верно. Не посмел. Не мог. Что бы он ни говорил, что бы ни делал, он всегда оставался моим сыном, и я всегда прощал его. В тот вечер он дал мне возможность проявить сполна свое великодушие.

Уинвуд постарался, чтобы прощальный обед нам запомнился. В громадной гостиной, в центре круглого стола, в большой чаше с кларетом плавала модель "Судьбы", сделанная из дощечки, печеного теста с шафраном и яичными желтками и украшенная лавровыми листьями.

Государственный секретарь предложил гост за успешное плавание, и мы сели за стол, не снимая шляп. Уот сидел справа от меня, Кеймис — по левую руку.

Все шло нормально до середины трапезы. Уот вел себя тихо и вежливо, что бывает с ним нечасто. И вдруг ни с того ни с сего в нем проснулся злобный дьявол. Беседа на минуту смолкла. Среди наступившей тишины раздался его певучий, чистый и громкий голос:

— Джентльмены, сегодня утром я проснулся и не обнаружил в душе своей страха перед господом богом.

Уот добился своего. Все обернулись к нему. Он завладел вниманием стола.

— Вот я и пошел к этой шлюхе, — продолжал Уот, его голос звучал чисто и звонко. — Мне говорили, что это самая неистовая шлюха в Лондоне. Должен признаться, джентльмены, я распалился. Целовал ее. Обнимал. Повалил на кровать. И вдруг она спрашивает, как меня зовут. Она все время как-то странно смотрела на меня, словно уже видела раньше. Бог свидетель, как я желал ее, и ответ на такой вопрос показался мне ничтожной платой за предстоящие утехи. Я назвал себя. И в следующий миг, будь я проклят, она отталкивает меня и хватается за свои юбки.

”В чем дело?” — спрашиваю я.

”Я не могу, — говорит она, — это гадко, это не по-людски”.

”Что гадко, что не по-людски?” — спрашиваю я.

Она не отвечает. Трясет головой. Как только я приближаюсь к ней, она начинает драться. Спрашиваю, в чем дело, — молчит. Наконец я притиснул ее к стене.

”Нет, нет, — кричит она. — Я не могу. Вы не должны, это гадко, это не по-людски”.

”Почему? — ору я. — Почему, почему, почему?”

Она закрывает лицо руками. Она смеется. Тут же плачет. А потом шепчет:

”Час назад здесь был ваш отец”.

Оглушительная тишина.

Наконец послышался гадкий смешок Дика Уолластона. Засмеялись и остальные, натянуто, а Уолластон даже начал стучать кулаками по столу.

Я повернулся к Уоту и ударил его по лицу. Сильно ударил. Шляпа слетела с его головы.

Смех тут же прекратился. Все уставились на Уота. Они, конечно, ждали, что он в ответ ударит меня.

Нет, Кэрю, не ударил.

Ты знаешь, что он сделал? Он откинул голову, тряхнув каштановыми волосами. Потом засмеялся. Смеялся он недолго, но выразительно, со смыслом. Потом повернулся к тому, кто сидел справа от него (рад заметить, что это был будущий пират Уолластон), и ударил его изо всей силы.

— Пустите по кругу! — крикнул он. — В конце концов дойдет и до моего отца!

Уолластон, конечно, не сделал ничего подобного. Он полез искать свою улетевшую шляпу.

И тогда засмеялся я. За мной все остальные.

Я смеялся до слез.

13 марта

Но Уот не верил в золотые приски. Равнодушие Уинвуда и скепсис Бэкона не в счет. Но то, что в последних словах перед смертью Уот выразил неверие в золото, поражает меня, ставит в тупик, не дает мне покоя. Конечно, этим можно объяснить, почему он запугал бедного Кеймиса и Джорджа Рэли и принудил их плыть так далеко по Ориноко. В нем было что-то от самоубийцы. Он видел во мне соперника. Он рванулся к смерти, как человек, еще не изведавший любви, спешит к женщине.

А знал ли Уот женщин? Не очень удивлюсь, если не знал, несмотря на все его громкое и вульгарное бахвальство о победах над женскими сердцами. Ему хотелось, чтобы его считали мужчиной. Но вел он себя как мальчишка.

Я сказал, что он видел во мне соперника. Здесь много странного. Могу понять, как нелегко ему было мужать в тени отца, отмеченного славой в глазах света. Но соперничество Уота шло дальше и глубже простого желания повторить мои ратные подвиги. Это было что-то более личное: он примеривал себя к моей сути. В тот вечер, к примеру, когда мы шли на прием к Уинвуду, он назойливо и бестактно расспрашивал меня о моих отношениях с королевой. Казалось, ни о чем другом он и думать не мог. словно на дуэли, мне приходилось отбивать одно непристойное предположение за другим. Наконец он спросил напрямик. Бен Джонсон сказал ему, что у королевы Елизаветы был изъян, который делал ее лоно недоступным для мужчин, хотя, добавил Бен (Бен есть Бен), утехи ради она испробовала многих.

Уот хотел знать: был ли я одним из них?

Я ответил, что нет.

Это правда. И вместе с тем ложь.

*

Я предложил индейцу каюту Кеймиса. Где-то ему спать надо, и лучше уж пусть спит здесь, чем внизу, вместе с командой, в гамаке, подвешенном между стволами орудий. По правде говоря, истинные дикари — это мои матросы, а не Кристоаль Гуаякунда.

Все же сомневаюсь, что он оценил мое расположение. Даже когда обращаешься к нему на испанском языке, который Кристоаль знает очень хорошо, он говорит крайне неохотно. Он погружен в себя, хотя ни угрюмым, ни застенчивым его не назовешь. Его невозмутимость одновременно и занимает, и раздражает ме-

ня. Я ожидал, что, чем дальше мы будем уплывать от его родных мест, тем больше он будет подчиняться моему авторитету. Но вышло не так. Меня это тем более огорчает, что я все еще надеюсь выведать у него сведения о золоте.

Но сегодня вечером, например, когда я спустился вниз, имея намерение поговорить с ним о золоте, я нашел его у пушек — он внимательно рассматривал их цапфы и стволы, — и, прежде чем я завел разговор об интересующем меня предмете, мне пришлось назвать ему все наши артиллерийские орудия и приспособления, а он только молча указывал на них, требуя ответа.

В этом обучении для него не было никакого проку, но я перечислял: королевская двойная пушка, серпантина, петро, бастарда, полуфунтовая пушка, кулверина и василиск, фальконет и миньон, фалькон и так далее, и тому подобное. Конечно, можно было поручить "обучение" нашему главному оружейному мастеру Уильяму Гердену, но мне очень хотелось расположить индейца к себе.

Мои усилия пропали даром. Закончив перечисление ("антологию") пушек, которое я сопровождал скучными объяснениями об артиллерийской стрельбе и уходе за орудиями, я несколькими хитрыми маневрами подвел беседу к Гвиане как хранилищу всех редких металлов. Индеец хмыкнул и, сев на корточки, заметил:

— Гуаттараль просчитался.

— О чем ты говоришь? В чем я просчитался?

Индеец щелкнул по кольцу, вдетому в его нос.

— Я говорю о золоте.

— Но ведь там *есть* золото?

— Возможно. Это неважно.

Меня бесило его спокойствие.

— Это важно, — сказал я. — Я поставил честь на карту, утверждая, что в Гвиане есть золото. В поисках этого золота я потерял сына.

Он не ответил. Лишь погладил ствол бастарды.

— Так где же прииск? — спросил я.

— Я не знаю.

— Ты *должен* знать.

— Я не знаю, — повторил он.

— Послушай. Разве Паломеке не искал золото на горе, которую называют Иконури?

— Возможно.

— К черту *возможно!* Что это значит: *возможно?*

— Это значит, что, может быть, и искал. Я не знаю. Он ничего не нашел.

— Он не нашел там золота? Но тогда он нашел его в другом месте?

Индеец продолжал поглаживать пушку. Ответа не было.

Я не выдержал.

— Клянусь кровью Христовой! Я мог бы повесить тебя вниз головой над морем, пока ты не провопишь все, что знаешь, или пока твои мозги не вылетят из башки.

Индеец улыбнулся и пожал плечами. Взгляд его был непроницаем.

— Жизнь без смерти несовершенна, — сказал он ровным голосом.

Мне стало стыдно.

— У меня нет намерения ни убивать, ни пытаться тебя. Но ради бога, для чего же ты тогда приплыл с Кеймисом, если не собираешься показать мне дорогу к проклятому золоту?

Индеец ответил не сразу. Наконец он сказал:

— Потому что нужно.

— Кому нужно?

-- Мне.

— Что нужно?

— Быть с Гуаттаралем. Идти за ним повсюду. Видеть, как он живет и умирает.

Я ударил тростью по стволу бастарды.

— Дурак! — закричал я. — Я не собираюсь умирать!

Индеец посмотрел на меня не то с изумлением, не то с недоверием.

— Значит, ты будешь первым, кто не умрет.

*

Капитан Сэмюэл Кинг. Хочу тебе немного рассказать о нем. Если честно, то рассказывать-то особенно и нечего. Он мой единственный настоящий друг. И служит мне честно уже почти пятьдесят лет. Упрямый, смелый и искренний человек, Кэрю. Какое облегчение поговорить о Сэме Кинге после рассказа об индейце с его загадками.

Я познакомился с Кингом, когда во Франции шли религиозные войны. Кузен моей матушки Генри Чампернаун получил разрешение королевы Елизаветы набрать сотню добровольцев из дворян, чтобы сражаться на стороне гугенотов. Было это в 1569 году. За месяц до моего шестнадцатилетия.

Наш добровольческий отряд не мог ожидать пощады от папистов. Англия, разумеется, тогда не воевала с Францией, и те из нас, кому выпала злая доля оказаться в плену после проигранных гугенотами сражений при Жарнаке и Монконтуре, попали на виселицу; к телам повешенных прикрепляли таблички: это не англичанин, а проклятый протестант, который противился исполнению воли господней во Франции.

Думаю, что в то время я переболел обычной для юношей

приключенческой лихорадкой. Как замечательно, думал я, мчаться с мечом и копьем, верхом на добром коне.

Рядом со мной скакал Сэмюэл Кинг, который был всего на год старше, но на лице которого уже красовались настоящие усы. В семнадцать лет Сэм был уже взрослым мужчиной. Прирожденный воин, он и выглядел мужественно. На коне он держался великолепно: ноги прочно вдеты в стремя, носки опущены, шпоры позванивают. Человек неглупый и храбрый, он был мне настоящим братом по оружию, мы вместе постигали ратное ремесло. Сам он не ведал сомнений и говорил мне, что опасность всегда меньше страха перед ней. Сэм презирал смерть. Он говорил, что мертвые безобразны. Он говорил, что сам он достаточно безобразен и без того, чтобы его обгладывали черви. Но у него была своя философия. Человек умирает лишь раз, так пусть он умрет достойно. Мы часто беседовали ночью у костра, и я открывал в нем все новые стороны. Несмотря на разное происхождение и воспитание, мы часто сходились во мнениях. Конечно, то были незрелые и неглубокие мысли юношей, но что-то все-таки в них было. Сэм доказывал, что героями не рождаются, но если история даст человеку шанс, то героическое время может поднять его до своего уровня. И с католиками Сэм сражался не как фанатик веры, а просто потому, что считал своим другом каждого, кто готов был воевать за право поклоняться всевышнему по собственной совести. Он не утверждал, как некоторые, что папа — дьявол и враг его бессмертной души в этом и загробном мире. Но (как и я) был воспитан в отвращении к той разновидности римско-католической веры, которая привела Испанию к убеждению, что ей самим богом предназначено надеть железное ярмо на остальной мир.

Впрочем, в моем изображении Сэм и другие выглядят слишком серьезными. Бои во Франции были тяжелы и кровавы, но все-таки мы чаще смеялись, чем плакали.

О, запах шипящего на сковородке бекона в предрассветных сумерках перед битвой! А вид восходящего солнца, которое замечаешь из-за развевающейся гривы коня, несущегося галопом среди ядер и порохового дыма в самую гущу схватки! Барабанный бой! Трубы! Пики! Палатки в полях! Обнаженные мечи! Пистолеты и аркебузы!

Но я романтизирую. И идею войны, и ее практику. Марс — уродливый бог. Волк и дятел — его священные твари. Я видел, как волки выкапывали и обгладывали трупы. И слышал издевательский резкий смех дятла.

Упоение войной вскоре сменяется отвращением к ней.

В Лангедоке я был вместе с Сэмюэлом Кингом. Враги укрылись в пещерах. Пещеры имели только один узкий вход, вырубленный в середине высокой скалы. На цепях мы опустили в них тяжелые камни, обвязанные снопами горящей соломы. Большин-

ство людей в пещерах погибли от удушья, остальные выползали оттуда, как пчелы, которых выкуривают из улья.

Когда-то в Индии Александр Великий воспользовался такой тактикой. Но этого я тогда не знал. Думал, что мы первые.

Наша кампания оказалась безуспешной во всех отношениях. С самого начала мы сражались на стороне обреченных. От королевы пришло повеление рассредоточиться, разойтись и исчезнуть. Предводитель гугенотов попал в плен и погиб на плахе. Я помню его знамя, на нем красовалась отрубленная голова и девиз: «Finem de mihi Virtus». Так и вышло, доблесть венчала его дни. И даже Сэм не сказал ни слова об уродливой смерти.

Вскоре после этого в Париже в ночь на 24 августа 1572 года на моих глазах дворян-гугенотов вытаскивали из Лувра и убивали на дворцовой площади, а французский король Карл IX, стоя у окна своей спальни в ночном колпаке, кричал: "Убей! Убей! Убей!"

День св. Варфоломея. Убили десять тысяч протестантов. Говорят, испанский король Филипп II улыбнулся первый и последний раз в своей жизни.

На следующее утро я видел, как слуга сбросил адмирала Гаспара де Колиньи с верхнего этажа дома. Какой-то католический самаритянин в порыве милосердия отер кровь с его лица, потом пнул тело ногой и ушел. Позднее, уже днем, там играли дети. Они отрубили от тела Колиньи голову, руки и гениталии. А затем продали их любителям сувениров. Останки тела подвесили за ноги на Монфоконе¹.

Все это мы видели с Сэмюэлом Кингом во Франции. Я помню еще кое-кого из нашего отряда: Филипа Бадоксхайда, который готов был биться об заклад по любому поводу (однажды он держал пари на то, какая из двух дождевых капель быстрее сбежит по стеклу), и Фрэнсиса Беркли, залпом выпивавшего пинту эля. Но Бадоксхайда и Беркли вскоре убили в ирландских походах. Из того отряда остался в живых только Сэм Кинг. Мой старинный друг, мой товарищ, мой брат по оружию. Доверяй ему, сын.

И знай, что религиозных войн не бывает. Есть только войны гражданские. А гражданская война не улучшила еще ни одну нацию.

*

Снова я обратился к прошлому. Рассказывая тебе о прошлом, Кэрю, я убегаю от невыносимого настоящего. Мы все еще стоим на якоре в бухте Невиса. Сегодня утром я видел черепаху величиной со щит. Голубизна в проливе между Невисом и Сент-Китт-

¹Площадь в Париже, служившая местом казни.

сом сравнима с цветом правого глаза твоей матери. У берега видны многочисленные стайки мелких, но ярких рыбешек — полосатые и крапчатые, с длинными плавниками, они очень похожи на солдат. Видел я и громадного песчаного краба, пучеглазого, с большими неуклюжими клешнями — вылитый король Яков.

А что до местных птиц, то остров кишит фламинго. Стройные, розовые, длинноногие, они очень похожи на тех утонченных раздушенных денди в подвязках и кружевных воротниках, что наполняли дворцы Елизаветы, пока свежий ветер Великой армады не сдул их в уютные гнезда где-то в глубине страны. Но самые интересные для меня создания — это олуши и фрегаты, или, как их еще называют, птицы войны. Темно-серые олуши камнем падают в море на свою жертву. Птицы войны — отъявленные пираты. Вильчатый хвост, семифутовый размах крыльев; фрегат нападает на олушу, заставляя ее изрыгнуть съеденное: только так эти птицы и питаются.

Рассказы о прошлом и настоящем порождают иллюзию, что будущее возможно.

Но где? Когда? И как?

Пополнить запасы и вернуться в Гвиану? Напасть на Серебряный флот? Вернуться домой?

Сегодня вечером я сказал Паркеру, что письмо от Монморанси можно истолковать и как свидетельство, необходимое, по его мнению, для любого каперского предприятия. В конце концов, в нем говорится, что адмирал постарается убедить Людовика XIII разрешить мне и моим людям по возвращении искать убежища в любом французском порту "avec tous ses ports, navires, équipages, et bien par lui traités ou conquis"¹.

— "Ou conquis"², — повторил я. — Ну чем не каперское свидетельство?

Паркер сказал:

— Но вчера вечером вы упорно отказывались обратиться за помощью к Франции.

— Я не хотел этого делать с пустыми руками.

Паркер криво улыбнулся и присвистнул сквозь зубы.

— Понятно. Перспектива продать Франции корабль, набитый испанским серебром, делает приемлемым то, что вы до тех пор считали недостойным.

Я молчал. Думал о птице-фрегате.

Паркер продолжал:

— И вы поднимете французский флаг?

Это отрезвило меня.

Черная "Судьба" может стать моим гробом, синее море — саваном, но сэр Уолтер Рэли не умрет под чужим флагом.

¹"Со всеми их грузами, кораблями, экипажами и имуществом, полученным в результате сделок или завоеванным" (франц.).

²"Или завоеванным" (франц.).

16 марта

Чадли сбежал. Вместе с "Летучей Иоанной". Джон Чадли из Девона, кто первым из капитанов отверг мое предложение вернуться на Ориноко после пополнения запасов и ремонта кораблей. Я никогда не узнаю, что вынудило его бежать — страх ли перед тем, что мне в конце концов удастся убедить их вернуться за золотом, или что-либо другое. Но, проснувшись утром, я увидел, что в бухте не хватает одного корабля. Чадли ушел ночью вместе со всей командой. (Мы потеряли Уильяма Торна — хорошего, опытного штурмана, двадцать пять матросов и четырнадцать орудийных стволов.)

Кажется, побег он готовил втайне.

Во всяком случае, никто из оставшихся капитанов не скажет, что знает, куда он отправился.

Я предполагаю, что Чадли и "Летучая Иоанна" плывут сейчас к одному из пиратских островов — скорее всего, к Тортуге — для встречи с Уитни, Уолластоном и другими грязными пиратами.

Мы избавились от этих подонков.

Но их дезертирство не облегчает мою задачу.

Что делать дальше?

*

Если я нападу на Серебряный флот, война с Испанией неизбежна. Это ясно. И Уинвуд хочет этой войны. Для того он меня и вызволил из Тауэра. Я помню его рассказ о том, как неистовствовал Гондомар, когда шпионы донесли ему о моем освобождении. Испанский посол даже предпринял нечто совершенно безнадежное: попытался поговорить с королем Яковом в тот день, когда тот отправился на охоту.

Ты должен знать, Кэрю, что наш король предается радостям охоты четыре раза в неделю, с рассвета до заката. Еще два дня он смотрит петушиные бои. Воскресенье, естественно, проводит иначе. По воскресеньям он лежит в постели, утопая в перинах и подушках, в изголовье кровати горят тонкие восковые свечи, на ночном столике, инкрустированном черным деревом, стоит семисвечный канделябр, огромная кровать под пологом с трех сторон завешена гобеленами, в камине (зимой и летом) бушует пламя. Все эти детали я знаю со слов Уинвуда. По воскресеньям Яков размышляет при свечах и при горящем камине о ключевых фразах молитвы господней; или о божественном праве королей; или (я лъщу себе) о греховности курения табака. По воскресеньям, нежась в постели на мягких перинах, он даже отказывает

себе в удовольствии видеть своего фаворита Вильерса.

Меня выпустили из Тауэра в понедельник. В тот самый понедельник король был в Теобальдсе, что в графстве Хертфордшир, — в своей любимой резиденции.

Охота там превосходная. И заканчивается она всегда одинаково. Король Яков погружает голые ноги в распоротое брюхо оленя. Он шевелит пальцами в теплых кишках. Топчется на дымящихся внутренностях животного.

Весь тот понедельник Ральф Уинвуд — как он сам мне рассказал — старался занять короля самыми разными предметами, лишь бы отвлечь его от моего освобождения. Он боялся, как бы Яков не передумал и не отменил свое решение.

И вот, привстав в стременах, чтобы размять затекшие от долгой езды ноги, Уинвуд заметил — равнодушно наблюдая, как король плещется во внутренностях оленя, — что, возможно, Его Величеству следует почаще появляться на людях.

Уловка удалась — король, как и хотел Уинвуд, начал юродствовать.

— На людях? — закричал Яков. — Вы шутите?

— Отчего же, сир. Я говорю серьезно. Людям хочется лицезреть своего повелителя время от времени. Народ любит представления, к тому же это помогает держать его в повиновении.

Яков захихикал.

— Я покажу им представление, — взвизгнул он. — Я сниму штаны, и они будут лицезреть мой зад.

(Я цитирую рассказ Уинвуда дословно. Ты должен знать, сын, какие замечательные манеры у нашего короля.)

Яков имеет привычку вращать глазами. Тут он как раз и завертел глазищами.

— Стини! — заорал он.

По этому сигналу Джордж Вильерс, королевский постельничий и шталмейстер, соскочил с коня. Шустрый прыгун этот Джордж Вильерс. Он знал, что от него требуется. Нагнувшись, он зачерпнул в пригоршни крови и начал натирать этой кровью голые монаршие ноги. Забрызганные грязью королевские башмаки и тяжелые стеганные кинжалонепробиваемые бриджи валялись грудой рядом с его конем. Вильерс старался всюю, на его сердцевином лице застыла вымученная улыбка. Вскоре, продолжал рассказ Уинвуд, с тощих царственных ног побежали ручейки крови.

— Хорошо, — промолвил Яков. (Он произнес это слово на шотландский манер, но будь я проклят, если здесь, на этом карибском солнышке, я начну имитировать его шотландский акцент.) — Очень хорошо, Стини, — сказал Яков. Он потрепал темно-каштановые волосы молодого человека, стоявшего перед ним на коленях. — Ну, еще немножко. Еще чуточку, и все.

Вильерс исполнил волю короля. Уинвуд тем временем разглядывал изгородь.

На обратном пути к охотничьему домику Вильерс подмигнул Уинвуду.

— Это помогает ему от подагры.

— Не сомневаюсь, — ответил Уинвуд.

Появление гонца прервало ужин. Гонца был симпатичным юношей, только поэтому король не выгнал его с криками тотчас же. Вскрыв конверт и вытащив бумагу, король, по словам Уинвуда, раздраженно повернулся к нему.

— Гондомар, — сказал он.

Уинвуд постарался изобразить на лице удивление.

— Просит аудиенции, — продолжал Яков. — А может, испанскому послу захотелось взглянуть на королевский зад?

Вильерс натянуто рассмеялся и вытянул губы.

— Скорее полизать, — предположил он.

Уинвуда передернуло.

(Бог знает, суждено ли тебе, Кэрю, когда-нибудь прочесть эти строки. Если суждено, то к тому времени ты будешь уже достаточно хорошо знаком с пороками этого мира, чтобы не содрогнуться при чтении моего рассказа. Я пишу тебе не как младшему сыну, а как взрослому мужчине, каким ты станешь, когда меня уже не будет. Важно, чтобы ты понимал этого немыслимого шута — нашего короля, — который из сил выбивался, заваливая грязью английский трон.)

Король уже запустил пальцы в бородку Вильерса.

— Ну что, мой мальчик, пошлем его куда следует?

— Распутный он человечиска, — отвечал фаворит. — По дороге сюда он уже побывал там не раз.

Уинвуд встал.

— Если Ваше Величество позволит...

— А вот и не позволит, — сказал Яков. — Садитесь-ка, любезный.

Уинвуд сел. Он не отрывал глаз от тарелки.

Яков начал потягивать греческое вино из кубка. Это был его любимый напиток, и я видел, как он пьет его. (С королем мы встретились всего один раз. Я еще расскажу об этом.) Король Яков пьет так, как другие люди едят. Язык его не помещается во рту, и вино льется на клочковатую квадратную бороду.

Закончив пить — Вильерс (согласно Уинвуду) наклонился через стол вытереть ему губы, — Его Величество сказал:

— Ну что, повеселимся? Граф Гондомар интересуется недоказанным другом Уинвуда и поисками Эльдорадо. Ну так как?

(“Недоказанный друг” Уинвуда — это я. Яков обожает каламбуры. При нашей встрече он счел верхом остроумия сказать, что ему обо мне *говорзли*.)

Бедный Ральф откашлялся и начал излагать свое мнение, что-де желательно сбить Гондомара со следа, сказав, что экспедиция направляется в Виргинию.

— Я не *вас* спрашиваю, степенный вы наш, — буркнул Яков. — Стини, моя икона святого Стефана, что ты скажешь, Стиникин?

Вильерс поджал губы и обхватил голову руками, изображая задумавшегося человека. Потом пожал плечами, вынул из кармана золотую монету, подбросил ее вверх, посмотрел, что вышло, и произнес:

— Святой Стефан, которого тошнит от высокомерных людей, говорит, что маленькие испанские макаки ничуть не лучше оных. Святой Стефан говорит, что их следует проучить. Скажите, что вы примете сеньюру Гондомар — ну... в следующую пятницу. Они, эти католики, по пятницам поспокойнее. С рыбы не разгуляешься.

По словам Уинвуда, это худосочное остроумие привело короля Якова в неопишуемый восторг. Он наклонился через стол и потрепал своего любимца по щеке. Затем повернулся и с вежливым презрением посмотрел на Уинвуда.

— Разница между вами и моим Стини, — начал он, — разница между вами и милым Стини состоит в том...

Уинвуд говорит, что ему пришлось прикусить губу и сжать до боли кулаки. Уинвуд — мужчина статный, сильный. Могу представить, как он сидел там, опуская голову с видом обреченного на заклятие быка.

— Черт с ней, с разницей, — сказал Яков, снова плюхаясь на стул. — Самое важное все же то, что нас, мужчин, объединяет.

Уинвуд заговорил о желательности отказа испанскому послу в аудиенции.

Яков прервал его.

— Я ни *секунды* не сомневался, что сегодня не следует принимать Гондомара, — недовольно пробурчал он. Его водянистые голубые глаза, должно быть, злобно блестели. (Хотя я видел его лишь однажды, но очень хорошо запомнил этот взгляд.) Затем он обратился к гонцу, наблюдавшему за шутовской сценой без удивления: — Скажи нашему другу, послу нашего дорогого брата, испанского короля, что, приняв в течение дня много важных решений, мы чувствуем себя немного *dreich*. Скажи ему, что мы ценим его общество, но лишены возможности насладиться им теперь. Он может ждать нас в пятницу на арене для петушинных боев в Уайтхолле. В полдень. Минута в минуту.

Гонец поклонился и вышел.

— Что значит *dreich*? — лениво спросил Джордж Вильерс.

— Это когда устал до чертиков, а до дома еще скакать и скакать, — ответил король Яков.

*

Я только что узнал, что индеец не спит в каюте Кеймиса. Мой паж Робин говорит, что белье там нетронуту. Я нашел ин-

дейца на юте и спросил его, в чем дело. Он не ответил. Только показал на бушприт. Оказывается, ночами он лежит на нем, вытянувшись во весь рост. В плавании, конечно, там не поотдыхаешь. Разве что по ночам он совсем не спит или же задумал утонуть. Я начинаю сомневаться, в своем ли уме этот Кристоаль Гуаякунда.

*

Сегодня у меня была интересная, хотя и огорчительная беседа с Сэмюэлом Кингом, который прибыл на флагманский корабль, когда пробило семь склянок, чтобы сказать мне, что, даже если под собственным флагом мы сумеем вопреки всему захватить какой-нибудь отставший от Серебряного флота корабль, это может поставить под удар тех из наших друзей в Англии, кто больше всего в нас верит. Мою жену Бесс, государственного секретаря Уинвуда, лорда Арунделя, лорда Донкастера — *они* пострадают, *их* могут наказать вместе с нами.

Его доводы показались мне разумными, но я на них возразил, что, если захват судна приведет к открытой войне с Испанией, которой Уинвуд вполне определенно добивается, мы не навлечем позора ни на себя, ни на наших друзей, оставшихся дома.

В ответ Сэм Кинг сказал только одно слово:

— Гондомар.

Мне не надо было объяснять, что он имел в виду. Дон Диего Сармьенто, граф Гондомар, постоянный посол в Лондоне короля Испании Филиппа III, — человек умный и коварный. Он заткнул за пояс английских политиков, и, хотя король и может иногда выиграть у него маленькую схватку — как, например, в день моего освобождения из Тауэра, когда он отказал ему в аудиенции, — Яков тоже у него в руках.

Гондомар опасен. Гондомар — загадка. К примеру, он читает мысли Уинвуда как открытую книгу. Вполне возможно, что жалобы его о моем плавании были пустым притворством. Что он *хотел* битвы в Сан-Томе — и, если новость уже дошла до него, сейчас разочарован тем, что это была всего лишь стычка. Что он *надеется* на захват мною Серебряного флота в случае неудачи с золотом. (Я достаточно искушен в интригах и не сомневаюсь, что каждое слово моей беседы со змеем Бэконом в парке судебного инна Грея тут же было передано королю, а им пересказано Гондомару.) Возможно, Филипп Испанский ищет благовидный предлог для объявления войны Англии, разумеется с благословения папы. А Гондомар получил задание создать повод для такой войны, прикрываясь бесконечной миротворческой болтовней о браке инфанты Марии и королевского сына — "малыша Карла", как его зовет испанский посол, хотя унылому наследнику престола уже почти шестнадцать.

Сегодня мне вдруг подумалось, что английский флот никуда не годится. Я видел доки в Дептфорде и Гринвиче. Паршивые старые корабли, продажные офицеры, флот, пропахший ворванью и тухлым мясом. А несколько новых изысканно украшенных кораблей, построенных после смерти королевы, слишком неуклюжи, чтобы выстоять против новой Армады. Шут вместо короля и несколько детских игрушек вместо флота.

— Вы можете попасть прямо в западню Гондомара, — прошептал Сэмюэл Кинг.

Я думаю, ты прав, Сэм.

Гондомар — это Макиавелли.

*

Кэрю, случалось ли тебе видеть петушьи бои? Бойцовые петухи, словно маленькие солдаты, набрасываются друг на друга, нанося кинжальные удары — их стальные шпоры остры как бритва. Каждую птицу стригут и готовят заблаговременно — крылья подрезают так, что они становятся похожи на дротики, хвост укорачивают на треть, длинные перья на шее и крестце вырывают. Гребни тоже срезаются; остаток гребня — прекрасная мишень для клюва противника.

Попробуй представить следующую картину. 23 марта почти два года тому назад. На арене, пристроенной к дворцу Уайтхолл Генрихом VIII, идет сражение. Одновременно бьются двенадцать петухов. Бой продолжается до тех пор, пока в живых останется только один.

Пять птиц уже мертвы. Еще одна, без глаза, прыгает как безумная. Большинство остальных обливаются кровью, но колют, режут, клюют и царапают друг друга — пронзительное буйство перьев, шпор и клювов.

(Мне пришло в голову, что я пишу очень странно, но на то есть причина. Восстанавливая сцены прошлого для тебя, Кэрю, я это делаю в какой-то мере и для себя — чтобы лучше понять их. И все же иногда, как ты заметил, я описываю события, в которых не участвовал, поступки, которые не видел собственными глазами, речи, которые не слышал своими ушами. Так пишут сочинители романов, выдумывая истории для развлечения праздных умов. Моя цель иная. Я пытаюсь добраться до истинной сути некоторых событий прошлого, повлиявших на мое теперешнее положение. Правда не зависит от слушателей, но говорящий правду тверже держится прямого курса, если его слушает любимый человек. А бывает ли более благодарный слушатель, чем сын рассказчика? Особенно если сын почти не знает отца. Как ты, Кэрю, — я ведь так долго был в Таузере. Но не сомневайся — домыслов здесь нет. Эту историю, а также сцену в Теобальдсе я пишу со

слов Ральфа Уинвуда. И быть может, ты заметил, я не делаю вида, будто знаю, что думал и чувствовал тот или другой человек; иными словами, во всеведении, которым так грешат наши смелые сочинители, меня не упрекнешь. Я говорю тебе то, что мне сказал Уинвуд. Если Уинвуд говорил мне, что *он* думал и что *он* чувствовал, я это повторяю. В остальном я описываю внешние события и чужие высказывания так, как их сохранила моя память. В этих отрывках стального зеркала может и не быть.)

Так где мы остановились? Ах да, на королевской арене для петушиных боев. Когда из двенадцати петухов осталось семь. А наблюдало за ними четверо: король Яков, Джордж Вильерс, Ральф Уинвуд и граф Гондомар.

Яков любит мелкие пари. Поэтому, когда Вильерс сказал, что Ирландец выглядит свежее всех, он поймал его на слове и заставил сделать ставку. Вильерс поставил. Двадцать пять тройных соверенов.

Король поставил столько же на Доминика. Потом повернулся к Уинвуду. Ральф не любит петушиных боев, но выбирать надо, и он назвал Стальной Ключ.

— *Amor conciliatq; auro,* — сказал испанский посол.

Яков взвизгнул, глаза его загорелись, как у петуха, на которого он только что сделал ставку.

— *Auro conciliatq; amor,* — сказал он, — если уж вы беретесь цитировать Овидия. У вас все задом наперед. *Золото правит любовью.*

— Вы абсолютно правы, — сказал испанский посол и добавил: — Ваше Величество говорит на латыни как педант. Боюсь, что я говорю на ней только как джентльмен.

Уинвуд рассказывал мне, что история эта повторялась регулярно. Он не мог понять, почему король Яков так и не раскусил простую уловку испанца. Чтобы польстить тщеславию короля Якова, граф Гондомар намеренно искажал цитату из какого-нибудь латинского поэта. Яков тут же его поправлял. Испанец, умело используя то, что его поправили, ухитрялся задеть или оскорбить нашего короля сразу после признания его правоты. И так было почти каждый раз, когда они встречались. И Его Величество всегда глотал наживку.

В пятницу граф Гондомар искал повода расквитаться с королем.

— Что касается золота... — продолжал он.

— Ваш петух? — прервал его Яков.

— Красное Перо, — тут же отозвался Гондомар, не потрудившись даже посмотреть на дерущихся птиц. — Что касается золота, то я буду весьма признателен Вашему Величеству, если мы не станем тратить время на разговоры о том, что пират Рэли намеревается плыть в Виргинию. Как и в 1595 году, его цель — Гвиана. И искать он будет золото.

— Ваш Овидий банален, — сказал король Яков, зевая. — Сила денег — трюизм, известный всем эпохам. Филипп Македонский говорил, что, имея осла, навьюченного серебром, он завоеует любой город, подкупив несколько его защитников. Ага, Стальной Ключ готов!

Уинвуд смотрел в сторону — ему были равно неприятны и жесткий ироничный взгляд Гондомара, и кровавое зрелище неминуемой гибели выбранного им по принуждению петуха.

У Гондомара тучное тело и худое лицо.

— Эльдорадо. Золотой город. — Он невесело засмеялся, как рассказывал Уинвуд. — Тьфу! Безумие. Призрак, вставший с постели мертвой королевы-девственницы, отправляется на поиски золота!

Уинвуд сказал мне, что здесь король Яков произнес длинную, заранее подготовленную речь. Смысл ее сводился к тому, что он тоже не любит меня. Он ни разу не назвал меня по имени. Только *этот человек*. *Этот человек* мог быть фаворитом Елизаветы, сказал Яков, но, уж конечно, не может быть моим. Его освободили из Тауэра, это верно, но не простили, и ему запрещено появляться при дворе; все, что ему позволено, — это готовиться к путешествию, да и то под надзором. Более того, *этот человек*, образно говоря, *уже умер*, он труп, мертвец по закону, его обвинили в государственной измене в 1603 году.

— В первый год нашего правления в Англии, — напомнил Яков всем присутствующим.

Остальную часть речи Его Величества я могу привести *verbatim*¹. Я ее уже слышал ранее. Только тогда ее произносил сэр Джон Попэм, лорд главный судья в черной шапочке².

Король, как заметил Уинвуд, говорил с увлечением.

— *Этот человек* приговорен к смерти, ему должны вспороть живот, вынуть сердце и кишки, отсечь половые органы и бросить их в костер у него на глазах, потом отрубить голову, а тело разрубить на четыре части, с которыми мы поступим по нашему соизволению.

Король не сводил глаз с дерущихся петухов. Потом сказал:

— Этот приговор никто не отменял.

Все молчали.

Заговорил Гондомар:

— Точнее говоря, его так и не привели в исполнение. Я никогда не мог понять почему.

— Милосердие Его Величества, — замурлыкал Вильерс. — Безграничное. Загадочное. Испанцу не понять.

Яков захихикал, указывая на арену.

— Увы, бедный Стини. Конец твоему Ирландцу.

¹ Дословно (лат.).

² В такой шапочке судьи произносили смертный приговор.

Петух Вильерса упал, в клюнья разорванный шпорами многих оставшихся в живых противников. Королевский петушатник перегнулся через барьер и с помощью сачка на длинной палке убрал тельце с покрытого циновками пола.

Уинвуд говорил мне, что словесная дуэль на этом не закончилась. Гондомар завел привычную речь о многочисленных благах, которые сулит Англии брак между принцем Карлом и испанской инфантой. Такой союз может в конце концов привести к примирению английской церкви с Римом. А может быть, и к созданию церковной унии под совместным руководством Его Величества короля Якова и Его Святейшества папы. Он говорил также о приданом инфанты *et cetera*¹.

Король Яков, парируя удар, забормотал что-то о весьма успешных переговорах, касающихся *французского* брака "малыша Карла", и, прежде чем Гондомар успел возразить, Вильерс начал жаловаться, что все это они уже слышали не раз.

— Тсс! — выдохнул Яков. — Смотрите.

Все повернулось к арене. Там осталось только два петуха: Доминик (которого выбрал король) и петух Гондомара — Красное Перо. Красное Перо лежал на спине. Доминик ходил вокруг, примериваясь, как нанести решающий удар.

По словам Уинвуда, от удовольствия король начал издавать какие-то булькающие звуки.

И вдруг все изменилось. Красное Перо перевернулся в луже собственной крови, встал, по перьям и мертвым птицам выбрался на середину арены и в слепой ярости последнего рывка бросился на Доминика. Отвага его, питаемая отчаянием, была несокрушима. Он вонзал шпоры в королевскую птицу и бил ее в гребень.

Доминик упал. Он был еще жив, но воля к сопротивлению оставила его. Королевский петушатник длинным шестом подтолкнул его и заставил встать на ноги. Но обессиленный Доминик уже не мог сражаться. Он потерял слишком много крови и теперь стоял в центре арены, беспомощно дрожа. Красное Перо рванулся вперед и прикончил его.

— Птицы и звери — счастливые существа, — заметил король Яков. — Им не грозит ад.

— Они уже в аду, — вставил Вильерс.

Яков не любил, когда философские понятия подменяли религиозными.

— Мы болтаем об аде как глупцы, — сказал он. — Спроси у графа Гондомара. Он, должно быть, хорошо осведомлен о таких вещах.

— Как животное? — захихикал Вильерс.

Испанский посол отвесил глубокий поклон.

¹И так далее (*лат.*).

- Как дьявол, — громко сказал он.
— Стини, — сказал Яков, — он умнее нас. Отдай ему выигрыш.

*

Моя память несется от одного воспоминания к другому, но душевная боль замедляет повествование.

После трех лет, проведенных во Франции, где я постиг основы ратного дела, я вернулся в Англию, в Оксфорд, где за три года не постиг ничего.

Поправка: кое-что я все-таки постиг — научился делать долги. Скромная военная добыча быстро улетучилась. Клянчить деньги у отца мне не позволяла гордость. И ко времени последней зимы в Ориэл-Колледже я остался совсем без денег.

Та зима была особенно сурова. Мне удалось упросить моего товарища, мистера Чайлда, студента из Вустера, дать мне на время его плащ — чтоб было в чем выйти на улицу.

Когда пришла весна, я так и сделал. Вышел из Оксфорда в плаще мистера Чайлда и больше туда не вернулся. Я пошел в сторону Лондона.

8

17 марта

Итак, Лондон. Лондон 1575 года.

Серая Темза. Серое небо. Узкие улочки так забиты людьми, что невозможно пройти от Друри-лейн до Брайдуэлла, не набив шишек. Лондон: двести тысяч людей, стиснутых и сдавленных в одной гигантской навозной куче, на которой растут редкие цветы. Рассадник чумы и проказы. Гнездо феникса. Город, похожий на преисподнюю или рай.

Город пах. Он пах пивом и пряностями, деньгами и навозом. Темза была сточной канавой. Вестминстер — монаршей выгребной ямой. Смешай серу с грязью, и ты поймешь, как пах Лондон, когда я пришел туда в семнадцатый год правления Елизаветы.

Город пел. Его песнь слагали лоточники и поэты, церковные колокола и копыта лошадей. Уличные торговцы орали на каждом углу, пытаясь сбить прохожим все что угодно — от тошнотворных пирожков с угрем до календарей, в которых предсказывалась точная дата светопреставления. Кучера вопили и щелкали кнутами, освобождая дорогу для своих грохочущих карет на железных колесах. Каждый джентльмен появлялся на улице только в сопровождении оравы голосистых и задиристых слуг — этих молодцов нанимали на службу за луженые глотки и крепкие мускулы.

Надо всем этим гамом царили, конечно, колокола. Я выгучил все их голоса и перезвоны сразу, как приехал в Лондон, когда жил в судебном инне Лайонза, а потом в Среднем Темпле. Колокола собора святого Павла и Вестминстерского аббатства, церкви Всех Святых близ Тауэра и святого Варфоломея в Смитфилде, Голландской церкви Остинских братьев, церкви святого Иакова на площади Кларкенуэлл и святого Джайлза в Крипплгейте, колокола Холборнской часовни, церкви святого Данстана на Флит-стрит (там есть висячие часы с двумя колоколами, по которым каждые четверть часа бьют дубинками деревянные человечки), церкви святого Андрея у столба (на ее площади в майский праздник устанавливают разукрашенный столб — майское дерево), церкви святого Олава на Харт-стрит, церкви святой Елены, церкви святого Иоанна Иерусалимского у Финсберийских полей, церкви Спасителя на той стороне реки в Саутурке и, конечно, громадный басистый колокол церкви самого Темпла.

Какая светлая гармония, какое неистовое буйство колоколов!

Утром в день моего двадцать первого дня рождения (прости старика за мелкое тщеславие), завернувшись в плащ мистера Чайлда, я стоял у подножия грандиозной лестницы, ведущей к Уайтхолльскому дворцу королевы, и воображал, что все лондонские колокола звонят в мою честь.

Лондон пах, и Лондон пел. Как огромный улей. Улей торговли и интриг, религии и политики, суесловия и сквернословия, удовольствий, богатства, сплетен, слухов, надувательства, разума, плоти, мечтаний, лохмотьев и драгоценностей — густого навара жизни и смерти. Город населяли пчелы: трудолюбивые и ленивые, строители и воители, собиратели и пожиратели (да и трутней там было немало). В любое время грандиозного спектакля их было множество — суетливый гудящий рой джентльменов и хулиганов, леди и шлюх, скромных лавочников-кокни и богатых заморских купцов. И медом этого улья были не деньги, а что-то более странное — что-то обычное, но и особенное, прочное, но неуловимое. На балах и дипломатических приемах, в спектаклях и процессиях, когда травили медведя в Парижском парке Банксайда и выставляли на Лондонском мосту отрубленные головы предателей — за всем и везде чувствовался этот мед. Он был темен и светел, холоден и горяч. Он заполнял все соты — от борделей Чипсайда до часовен Ламбетского дворца¹. Он пьянил. Отравлял. Вдохновлял. Он возбуждал толпы, собиравшиеся для встречи кораблей, что возвращались из великих морских плаваний, и слетавшиеся каждое утро поглазеть, как прилюдно раздевают и секут проституток. Толпы могли быть и разными. Но мед наверняка был тот же самый. Никто не мог взять его, съесть, выпить

¹Ламбетский дворец — с XIII века лондонская резиденция архиепископов Кентерберийских.

или уничтожить полностью, но каждый в той или иной степени ощущал его вкус на кончике языка. Ни один чужестранный властитель не смог бы завоевать его на всю жизнь с помощью самой могучей армии, но зато самый нищий бродяга, дрожа от холода в канаве, мог предаваться сладостным воспоминаниям о том, как наслаждался им целую ночь. Шекспир (позднее и на расстоянии) стал его поэтом. Я (раньше и ближе не придумаешь) — его рабом. Это был сладчайший мед из когда-либо веселивших человеческий разум, и в то же время он нанес такую рану моему сердцу, что я едва не отправился на тот свет. Он повелевал рассудком и страстями. был чист и девствен. Что-то связывало его с владениями королевы. И все в нем было от нее.

*

— Королева-смерть, — говорит индеец.

Сегодня утром он ходил со мной к источнику. Пока солнце еще не раскалило остров, там очень хорошо. Я опустил в воду мою больную ногу. Прекрасное лекарство, холодное и сильное. Нога болит меньше, лихорадка почти прошла.

Сейчас вечер, пятый день мы стоим в бухте Невиса. Настроение на оставшихся у меня кораблях мерзкое, препоганейшее. Капитаны избегают меня. Их люди валяются в тени и играют в кости. Вчера вечером на шхуне "Паж" нашли двух матросов с перерезанными глотками. Кажется, их заподозрили в жульничестве. Тот факт, что убийца или убийцы не посчитали нужным скрыть преступление, выбросив тела за борт, красноречиво говорит о царящей анархии. Когда спросили об этом самого Баркера, он лишь пожал плечами и отвернулся.

Отчаяние и нерешительность овладели и мной.

Гнетущее и расслабляющее отчаяние. Полная неспособность решиться на что-либо.

Что делать? Куда плыть? И зачем?

Зачем вообще все?

Главный вопрос, на который нет ответа. Мое прошлое, настоящее и любое воображаемое будущее одинаково бессмысленны.

Погода лишь усугубляет отчаяние. Жаркие дни, душные ночи, ни ветерка. Все застыло в неподвижности. Все, кроме птиц, которые неизменно пролетают над "Судьбой" на рассвете и на закате. Орлы? Стервятники? Возможно, не те и не другие, а просто, воображая их, я даю волю своим недобрым предчувствиям. Большие птицы, с громадными крыльями, далекие и недоступные, летят на север, летят на юг, проносятся мимо, словно мои невеселые думы.

Но как бы то ни было, сегодня я отправился к серному источнику вместе с индейцем. У меня и в мыслях не было брать его с

собой. Он сам увязался за мной. Его, без сомнения, занимало, куда я хожу каждое утро. С нами пошел и Сэм Кинг, который не доверяет дикарю. Солнце всходило над конусообразным карибским островом, а трое людей карабкались по белым скалам. Первый был стар и хром, при ходьбе опирался на палку. Второй — молод и ловок, при желании он мог бы легко, как серна, прыгать с уступа на уступ, но умышленно сдерживал себя, ожидая, пока первый из них проковыляет столько, чтобы расстояние между ними оставалось почтительным. Третий, крепкий и плотный, с обветренным лицом, но тоже старый, не моложе первого, не сводил глаз с индейца. Сэм не отставал, но, когда они подошли ко мне у источника, я заметил, что это стоило ему немалых усилий. Рубашка его пропиталась потом, дышал он гяжело, с присвистом — такой звук издают кузнечные мехи.

Прекрасная целебная вода.

Вода и я — есть между нами что-то общее.

Я опустил большую ногу в источник. Потом наблюдал, как солнце испаряет серную воду, каплями сбегающую по белым разводам шрамов. Эти рваные шрамы я получил в Кадисе. Мне еще повезло, что я вообще не потерял ногу. Корабельный хирург уже собрался было отпилить ее по колено, и, будь уверен, оттяпал бы не моргнув глазом, но, на мое счастье, вокруг свистело столько испанских ядер, что он испугался и отложил это занятие на более позднее время. Ну а на завтра мне стало лучше, нога постепенно поправилась, хотя с тех пор никогда не давала мне покоя — ведь сырость Тауэра помочь ей, естественно, не могла.

Утреннее солнце вскоре раскалилось, и вода на коже испарялась с шипением настолько быстро, что моя нога не успевала ощутить спасительной прохлады.

Индеец и Сэм Кинг молча наблюдали за моим омовением. Сидя на корточках, индеец жевал лист. Я давно обратил внимание на эту его привычку, хотя раньше и не писал о ней. Он всегда носит эти листья с собой в мешочке. Их, кажется, сушат под прессом, с лицевой стороны они гладкие и светло-зеленые, а с тыльной стороны покрыты серовато-зеленым пушком. Тщательно выбрав лист, индеец медленно пережевывает его, пока тот не превращается в шарообразную массу, которая почти все время оттопыривает его щеку. Я заметил, что он никогда ее не выплевывает. Значит, в конце концов проглатывает. Вот чем он занимался сегодня у минерального источника.

А на обратном пути индеец начал кричать. Что-то темное, недоброе овладело им. Он приложил ладони ко рту, и эхо его голоса металось меж скал. Сначала это были бессмысленные звуки, зловещее гиканье, длинные трели — похоже, какие-то охотничьи сигналы на языке его племени. А затем из этой мешанины воплей совершенно ясно и отчетливо возникли слова.

— Королева... смерть, — кричал он. — Королева... смерть.

Сэм Кинг, испуганный неожиданными криками, готов был ударить его. Я удержал Сэма. Решил спокойно объяснить индейцу.

— Елизавета. Великую королеву севера звали Елизавета.

Индец постарался выговорить ее имя, но у него ничего не получилось. Он снова закричал:

— Королева... смерть.

Белые скалы острова звенели от этих слов.

Королева-смерть...

Что ж, возможно, индец и прав. Своими безумными криками он высказал то, что я только начинаю понимать. Не зная меня, он говорит великую правду моей жизни.

*

Итак, я пришел в Лондон в 1575 году и поселился сначала в судебном инне Лайонза, а потом в Среднем Темпле. Законов я не изучал. Я изучал улей. Я пытался понять, как добиться того, чтобы жужжание моего имени слышали в нем. Молодой трутень. Я решил добиться благосклонности владычицы роя — королевы.

Ты, Кэрю, только представь себе это. Когда я впервые увидел Елизавету, ей было сорок два года. Значит, она была ровно вдвое старше меня.

Кого я увидел?

Женщину среднего роста, которая из-за привычки держаться прямо казалась высокой. Женщину с жидкими рыжеватыми волосами и близорукими золотистыми глазами, над которыми, как у птицы, нависали тяжелые веки. Женщину с длинным тонким, слегка горбатым носом, острыми скулами, маленьким не улыбающимся ртом и болезненно-желтоватой, оживляемой румянами кожей. Женщину с хорошей фигурой и резким голосом. Женщину с красивыми руками — длинные тонкие пальцы были предметом гордости королевы Елизаветы, и она умела привлечь к ним внимание мужчин.

Да, я видел это.

И в то же время я видел женщину, носившую на одном из этих пальцев кольцо, которое — она заявляла об этом во всеуслышание — было символом ее брака с королевством. Женщину, которая говорила, что не желает для себя лучшей памяти и большей славы, чем надпись на могильном мраморе: *Здесь покоится Елизавета, что правила и умерла девственницей.* И вместе с тем женщину, которая в танцах высоко задирала ножки и о любовных связях которой говорила вся Европа.

Да, я видел это.

И видел нечто иное. Светлее и темнее смертного облика. Придающее смысл любому противоречию. Стоящее над личностью. И даже над женщиной. Оно несло вперед, как Александр Вели-

кий, охотилось, как Диана, ходило, как Венера, легкий ветерок овеивал его светлые волосы и чистое чело, походкой и грацией оно напоминало нимфу. Иногда в тени оно восседало богиней. Порой оно пело как ангел. *Я вдруг увидел королеву фей...*¹

А еще она ругалась. Яростно и смачно — как ее отец в свои лучшие года. Король Генрих VIII. Минотавр. Великолепное чудовище. Защитник веры и убийца собственных жен.

И ко всему этому было в ней кое-что еще. Что-то колдовское. Что-то от танцующей раскосой проклятой Анны Болейн², которая имела на изящной левой ручке лишний пальчик и чью красивую головку отрубили за сожительство с родным братом.

Так. Все так. Нелепо, но так. Но я упивался этим любовным медом, даже когда голодал в своих скромных комнатах и брал карты у Ричарда Хэклута³, юриста из Среднего Темпла, дяди одного из моих оксфордских друзей. Я дни напролет просиживал над этими картами, мечтая о плаваниях, открытиях, битвах и победах, жизни джентльмена и солдата. Но я еще буду и придворным. Я буду ухаживать за королевой. Я стану ее фаворитом.

Как? Я сам не знал. Никому не известен. Один-одинешенек. Двадцать второй год, никакого наследства, нищий дворянин из Западной Англии.

Может, ты думаешь, что я вообразил себя героем волшебной сказки? Младший сын бедного, но честного человека выдерживает все тяготы и испытания, разгадывает все загадки и потом женится на принцессе и... зажили они в счастье и радости?

Нет. Я был не столь тщеславен и глуп.

Прошу тебя только запомнить, что впервые я увидел королеву Елизавету задолго до того, как она стала подозревать о моем существовании. Я увидел, что королева, королева-девственница, ведет утомительную и безрезультатную игру с поклонниками королевских кровей из чужеземных стран, а ее ближайший двор состоит почти из одних мужчин, и только из англичан. Красивые молодые люди и мудрые старики. Двор обожает королеву, а королева обожает оскорблять его. Королева необходима двору, а двор необходим королеве — ей нужно кого-то пинать.

Потребуется время. Усилия. Я был молод, и мысль, что это мне может стоить жизни, не вызывала у меня страха. Королева стала моей судьбой, как только я увидел ее. Я стоял на берегу реки у Чаринг-кросс. Она, Елизавета, проплывала на золоченой

¹Цитата из поэмы Э. Спенсера "Королева фей".

²Болейн, Анна (ок. 1507–1536) — вторая жена английского короля Генриха VIII. Казнена по обвинению в супружеской неверности.

³Хэклут, Ричард (1552?–1616) — английский географ, автор трехтомного труда "Открытия английской нации" (1598–1600).

барке в Ламбет, к архиепископу Кентерберийскому. В тот день Темза отливала серебром, и королева была на ней слитком золота. А кем был я? Всего-навсего ищущий славы молодой человек в плаще с чужого плеча. Я крикнул: "Боже, храни королеву!" Она даже не повернула головы.

*

Полночь. Ко мне только что пришел племянник Джордж и рассказал невероятную историю об индейце.

Оказывается, наутро после захвата Сан-Томе, когда Кеймис пытался выяснять у него местоположение испанских золотых приисков, этот Кристоаль Гуаяконда умышленно навлек на себя смерть — он не только не хотел говорить о приисках, но преднамеренно и бессмысленно лгал. Он искал смерти, сказав, что он наполовину испанец. Солдаты поверили ему и уже собрались его казнить, но двое чернокожих рабов, служивших испанцам, а теперь перешедших на нашу сторону, заявили, что никакой он не метис, а чистокровный индеец, что он был личным слугой губернатора Паломеке и так далее. А Кеймис все грозил ему виселицей, если он не расскажет о приисках. Он приказал накинуть индейцу веревку на шею и посадить его верхом на коня, которого поставили под деревом на городской площади. Когда наконец стало ясно, что индеец не заговорит, Кеймис приказал (по-английски) отпустить его. И в этот момент Кристоаль предпринял попытку самоубийства. Вонзив коню пятки в бока, он на мгновение, пока Кеймис не обрезал веревку, повис на дереве. Все подумали, что индеец сломал себе шею, но не тут-то было. Открыв глаза и увидев их изумление, он рассмеялся им в лицо.

Эту историю сегодня вечером рассказал моему племяннику один из солдат—очевидцев этого случая.

Впоследствии, говорит Джордж, индеец держался замкнуто. Он не пытался убежать, но и не вызывался сообщить Кеймису что-либо полезное. И когда наш отряд покидал Сан-Томе, его появление на берегу реки и просьба взять его с собой явились для всех полнейшей неожиданностью. Джордж говорит, он не доверял (и не доверяет) индейцу и не хотел брать его с собой, но Кеймис раздраженно кивнул, и в ту же секунду — никто не успел рта раскрыть — индеец был уже в лодке.

Я спросил племянника, что он думает обо всем этом.

— Не знаю, — ответил он. — Но мне это не нравится. Зачем человеку пытаться покончить с собой, а затем идти за врагами, которые чуть не убили его?

— Может, он спятил? — предположил я.

— Скорее это мы спятили, — заметил Джордж, — если держим его на корабле.

18 марта

Рассвет. Быстрый тропический рассвет после бессонной ночи. А случилось вот что...

Когда Джордж ушел, я сидел, обдумывая услышанное. Выкурил несколько трубок. Чтобы привести мысли в порядок, все записал.

Но это не избавило сознание от страшной кровавой сцены, стоявшей у меня перед глазами. Я нарисовал ее в воображении, соединив рассказ племянника о плавании по Ориноко с его же историей об индейце. Я снова и снова мысленно возвращался к ней: большое тучное тело испанского губернатора лежит — совершенно голое — на площади Сан-Томе, череп разбит, *а между лопатками торчит топор.*

Наконец я не выдержал. С надеждой заснуть пришлось расстаться. Я вышел из каюты и стал бродить по палубе. Я искал индейца.

Я нашел его там, где, как говорили, он проводил все ночи, — на бушприте между опорами фок-мачты. Индеец спал. В лунном свете он казался таинственным носовым украшением — островерхий серый колпак надвинут на уши, медная кожа блестит, ноги упрятаны в ванты.

Я долго смотрел на него. Подошел я бесшумно и сейчас не проронил ни звука. Не хотел тревожить его сон.

И только я повернулся, чтобы молча вернуться в каюту, как индеец засмеялся. Долгим приглушенным смехом — с издевкой, сардонически, хрипло. Вдруг до меня дошло, что я впервые слышу его смех — в нем было что-то тревожное и угрожающее: по спине пробежал холодок. Я понял также, что он не спал. Хотя глаза его были закрыты, он все время знал, что я рядом.

Индеец, ухватившись за булины, сел и кизнул головой в мою сторону.

— Гуаттараль?

Он произнес это слово с вопросительной интонацией. Хотел узнать, что мне от него нужно. Ну что ж, на сей раз мы поговорим начистоту.

— Ты как-то говорил мне, что у дона Паломеке в форте было много врагов.

— Да.

— Ты говорил мне также, что его убили не мои люди, — продолжал я. — Ты утверждал, что он был убит кем-то из своих.

— Так оно и было.

Я посмотрел ему в глаза.

— Откуда у тебя такая уверенность?

Он молча пожал плечами.

— Паломеке убили ударом топора в спину, — сказал я. — Кто бы ни бросил в него этот топор, он же, скорее всего, и разможил ему череп. Тот же человек снял с него одежду — труп нашли голым.

Индеец достал лист из мешочка. Он медленно, словно наслаждаясь ощущением, провел по нему пальцами. Потом резким движением большого и указательного пальцев оторвал черенок.

— Кто убил Паломеке? — спросил я.

Индеец смачивал лист губами.

— Ты знаешь кто, — ответил он.

— Ты убил его!

— Я этого не говорил.

— Ты убил его. Вот почему ты хотел умереть, разве не так? Вот почему ты лгал, назвав себя метисом. Ты хотел, чтобы Кеймис убил тебя за убийство твоего господина!

Индеец начал жевать свой лист. Тот исчезал у него во рту, как мышинный хвост, ползущий в пасть жующей кошки. Его черные как уголь глаза уставились на меня в лунном свете.

— Почему? Почему ты его убил? И зачем было раздевать его донага?

Индеец не отвечал.

— Честь, — продолжал я. — Может, это как-то связано с честью? Но что же честного в том, чтобы нанести удар в спину, как бы ты ни ненавидел его, каким бы плохим господином он ни был?

Индеец молча жевал.

— Откуда ты взялся? — говорил я уже раздраженно. — Кто ты такой? Чем ты занимался? Зачем ты увязался за Кеймисом? Зачем ты здесь со мной? Чего ты хочешь? Куда ты собрался?

Индеец улыбнулся спокойно, без иронии.

— Гуаттараль задает много вопросов, — заметил он.

— Будь ты проклят! Дай честный ответ хотя бы на *один* из них!

Индеец кивнул, не переставая жевать.

— Хорошо, — сказал он. — Куда я собрался? Я собрался туда, куда пойдет Гуаттараль.

— Ну уж нет, — заорал я. — Мне трусливых убийц на корабле не надо!

Индеец встал на бушприте. Он пошел по нему вниз с удивительной ловкостью, ставя босые ноги немного наискосок, длинными пальцами ног обхватывая круглый ствол, словно обезьяна; дойдя до площадочки у основания бушприта, он остановился, глубоко вздохнул и выпрямился во весь рост. Как я уже отмечал, он невысок. И все же вид его оставляет впечатление силы и достоинства.

— Кристобаль Гуаякунда — не трус, — сказал он тихо.

— Ударить человека в спину — это трусость.

— А если человек убегает?

— Значит, Паломеке убежал?

- Да.
- Почему?

— Потому что я вызвал его на бой. Слушай внимательно. Паломеке любил делать больно другим. Он получал от этого удовольствие. Раздевшись донага, он любил сечь меня кожаной плеткой. В ту ночь я вызвал его на бой. Я думал, что приплыл Гуаттараль. Я ошибся. Это были только сын Гуаттаралья и человек, который смотрел в сторону. Но я думал, если Гуаттараль приплыл, то он обязательно освободит меня. Поэтому в ту ночь я взял топор. Паломеке был трус. Он побежал.

— От тебя?

Индеец пожал плечами.

— От меня или от тех, кого он увидел за моей спиной.

— Ты хочешь сказать, что у тебя были сообщники? Кто они?

— Мои золотые отцы.

Должно быть, я нахмурился. Потом понял, что индеец выражается фигурально. Подразумевая, что духи его предков восстали вместе с ним против порабитителя. Индеец спокойно продолжал:

— Я не бросал топор. Я догнал его. В темноте прыгнул ему на спину. И убил его ударом в голову. Он упал в пыль. И только тогда я воткнул ему в спину топор.

— Зачем ты это сделал?

— Чтобы убить его наверняка. И чтобы показать презрение. Я ударил его топором по голове за себя. А в спину я ударил его за моих золотых отцов. Мы гордый и древний народ. У нас были свои земли до прихода инков.

— Ты мне уже говорил об этом, — напомнил я ему. — Вы, чибчи, возможно, самое древнее племя Нового Света. И испанцы пришли, конечно, позднее инков. И дон Паломеке, вполне допускаю, был чудовищно жесток. Но может ли все это оправдать убийство человека, который в то время был твоим господином?

Индеец долгое время жевал молча. Потом заговорил шепотом:

— Верно, Паломеке был мой господин. Он взял меня в плен в горах и надел мне на шею железный воротник. Три дня и три ночи я бежал за его конем по дороге в Сан-Томе. Если бы я споткнулся или упал от усталости, я бы тут же умер. Я не чувствовал... и не чувствую... никакой вины, убив его. Я виноват в том, что не убил его раньше.

— Так скажи мне, ради бога, почему ты хотел умереть?

Индеец не ответил мне прямо. Он посмотрел на лунную дорожку в море. Челюсти его работали не переставая, он жевал свой лист с выражением, как мне казалось, нечеловеческой муки на лице.

После длительного раздумья он ответил:

— Когда я убил дона Паломеке, я закричал. Я стоял над ним и кричал. Я кричал великим криком Золотого Человека. Этот крик не остается без ответа. Тот, кто слышит его, тот ищет крови.

— Что-то я тебя не понимаю. Ты говоришь загадками.

— Я объясню, — сказал индеец. — Я объясню, и ты поймешь. Я стоял над телом Паломеке и кричал. Крик не остался без ответа. Этот крик заставил другого человека побежать в ночь. Сына Гуаттаралья убил мой крик.

*

Я, должно быть, сошел с ума. Мой племянник Джордж прав: я, должно быть, сошел с ума. Сидеть в каюте и подробно записывать безумный бред... Провести полночи, беседуя по-испански неизвестно о какой ерунде с сумасшедшим дикарем...

Но:

С кем еще я могу говорить?

С самим Джорджем? Глупо.

С Сэмом Кингом? Мой друг Сэм — хороший и терпеливый слушатель, но мы так долго знаем друг друга, что уже едва ли нуждаемся в беседе. Кроме того, наша дружба всегда покоилась на молчаливом понимании нескольких важных истин, в которые мы оба верим, к тому же красноречие — далеко не самая яркая добродетель Сэма.

С его преподобием мистером Сэмюэлом Джоунзом, нашим корабельным священником? Говорено предостаточно!

Должен признаться, что больше никого нет.

Никого, кроме призраков прошлого и тебя, Кэрю.

А иногда это очень похоже на разговор с самим собой.

*

Я только что проснулся — сон был крепок, но облегчения не принес. Разбудила меня полуденная жара. Каюта напоминает раскаленную печь.

Вот краткий пересказ остального безумия прошлой ночи.

Индеец вообразил, что между убийством Паломеке и смертью Уота существует какая-то, видимо мистическая, связь. Убедить его в нелепости такого предположения я не смог. Он так считает, и тут уж ничего не поделаешь. И по этой причине он, очевидно, пытался покончить с собой, а затем — когда ничего не вышло — решил отправиться с Кеймисом в Пунто-Галью и поступить ко мне на службу. В то же время он не устает повторять, что путешествует со мной, чтобы "видеть, как Гуаттаралья умрет". Было бы неверно утверждать, что он сообщает об этом с радостью. Кажется, он убежден, что судьба связала его жизнь с моей смертью. Все это достаточно странно.

А так ли уж странно?

Я не знаю.

Я, должно быть, сошел с ума. Или очень, очень устал.

10

19 марта

Вчера вечером, когда я в конце концов заснул по-человечески, мне приснился жуткий сон: я был во сне оленем, а за мной гнались охотники во главе с королем Яковом.

Сам король, привязанный к седлу веревками, несясь впереди на сером коне. За ним скакали Вильерс и Уинвуд. Они сдерживали лошадей, чтобы держаться от короля на почтительном расстоянии. Граф Гондомар в сопровождении двух испанских кардиналов и пяти испанских священников замыкал отряд преследователей.

Вниз по склону, по долине и в реку бежал я что есть мочи. И вниз по склону, по долине и в реку, разбрасывая гальку и вздымая тучи искристых брызг конскими копытами, неслась за мной королевская охота.

Вдалеке лесничий протрубил в рог, давая знать, что зверь загнан в болото.

Короткая скачка галопом вдоль излучины реки — и кавалькада настигла меня. Я стоял в болоте по колено в воде, приобретавшей янтарный оттенок от крови, что вытекала из моих ран. У меня, как и положено оленю, были рога. Я мотал головой из стороны в сторону, пытаюсь последним отчаянным усилием отогнать королевских псов. Собаки с налитыми кровью глазами плавали вокруг, отгалкивая друг друга в неистовом напряжении.

Яков повернулся к Вильерсу.

— Ты видишь, Стини? Я ведь говорил тебе, что охота на человека куда интереснее охоты на оленя.

И тут вдруг я понял, что я — человек, что я этот человек, враг короля, и что рогов у меня нет. Что я беззащитен.

Король Яков крикнул:

— Взять, Джуэл! Взять, Брэн! Взять, Рингвуд! Взять, Баскар!

Вожак вцепился мне в горло. Зубы их вонзились в мою плоть. Остро. Глубоко. Как всегда, жертву прикончил любимец короля, могучий Джуэл. Я упал, разбрызгивая кровь и воду.

Во сне, уже мертвый, я сохранял отвратительное и очень болезненное подобие сознания. Поэтому я чувствовал, как Вильерс и Ральф Уинвуд тащили меня за ноги из болота и как Гондомар и его свита священнослужителей вспарывали мой живот кинжалами с ручками в виде распятия.

Затем лесничие сняли шляпы и протрубили сигнал, оповещаю-

щий всех о смерти зверя, а король Яков залез по колено в мой распоротый труп.

Я, должно быть, кричал во сне, потому что мой паж Робин прибежал в испуге и разбудил меня.

*

Мы, конечно, все еще у Невиса. Кстати, сегодня ровно неделя, как мы бросили здесь свои якоря.

Должен прямо сказать, что такая задержка не входила в мои планы. В самом деле, когда в первый вечер по прибытии сюда я собрал моих капитанов, у меня быстро сложилось ясное представление о том, как мы можем действовать дальше. Альтернативы казались хорошо продуманными, а то, что капитаны отнеслись к ним без особого восторга, меня несколько не смущало. Любая из этих возможностей, без сомнения, открыта для нас и сейчас. И угрожающее молчание моих капитанов ничего изменить не может. Все же что-то удерживает меня от окончательного решения. Что-то держит меня в отупляющей нерешительности.

Что?

Уот... Да, может, это как-то связано с тобой. С красной непаханой землей, под которой ты сейчас лежишь, она забила твой рот — и не будет больше ни шлюх, ни битв, ни вина, не будет шуток, розыгрышей и смеха, и не мериться тебе больше силами и характером со мной, твоим блудным отцом.

Нет. Не так.

Прости меня, сын.

Не в тебе причина. И не в сложившемся положении. Игра случая здесь ни при чем. Да и звезды, на которые любят ссылаться, — тоже.

Все дело во мне. Это моя ошибка, мой недостаток, мой изъян, и проявляется он не впервые. Привет, старый незванный приятель.

Сэр Уолтер Рэли, великий искатель приключений, не спешит на поиски новых. Сэр Уолтер Рэли, знаменитый вдохновитель походов, не способен сдвинуться с места.

*

Ко мне только что подходил индеец. Утром я обнаружил, что вино в трюме прокисло — уксус, да и только. Поэтому я приказал вымыть им палубы. И корабль, естественно, пропах его резким запахом. Впрочем, вполне здоровым.

Индеец наблюдал, как матросы драят палубы. Потом сказал: — Теперь Гуаттараль понимает.

На вопрос это не похоже. Я промолчал.

— Ты готовишь корабль, — продолжал индеец, — к долгому плаванию.

Меня раздражает его манера говорить. Слишком уж напыщенная.

— Ни в какое плавание я не собираюсь, — ответил я грубо. — И ни к чему не готовлюсь. Вино прокисло. Я решил вымыть им палубы.

Улыбаясь, он пошел прочь.

— Твой корабль пахнет пеплом, — сказал он напоследок.

Я устал от его общества. Не испытывал никакого желания начинать с ним новую беседу, полную недомолвок и загадок. Но, вспомнив свой сон и те возможности, из которых мне предстояло сделать выбор, я мысленно соотнес его слова о долгом плавании и пепле с идеей смерти.

Мне наконец стало ясно, что выбор у меня всего один:

Жизнь или смерть.

Только и всего.

Возвратиться за золотом в Гвиану или даже попытаться захватить Серебряный флот — это жизнь.

Плыть домой к королю Якову и к плахе — это быстрая неминуемая смерть.

Так почему же я медлю?

*

Сегодня я намеревался записать еще несколько эпизодов моей давней жизни в Лондоне. Как я обожал королеву издали, словно Глориану. Как мой сводный брат Хэмфри Гилберт, покровительствуемый Робертом Дадли, графом Лестером, получил право на исследование побережья Северной Америки и на устройство там, если удастся, колонии. Как мы отправились туда на семи кораблях в ноябре 1578 года — я командовал "Соколом", кораблем королевы, старой дырявой посудиною водоизмещением сто тонн, но для начала и это было неплохо. Как все повернули обратно, а я сумел добраться только до островов Зеленого Мыса у побережья Африки. Как по возвращении я все еще рвался в бой и у теннисного корта в Уайтхолле по глупости дрался на дуэли с сэром Томасом Перротом и был заключен на неделю в тюрьму Флит. Как я затем сам добился покровительства Лестера и в долгое жаркое лето 1580 года был послан с ротой пехотинцев в Ирландию, к лорду Грею Уилтону, для участия в подавлении восстания...

Но все это сейчас кажется неинтересным. Я еще вернусь к рассказу о моей молодости в том месте, где я остановился: в страшном Манстере, в Ирландии, во время восстания Десмонда, — но не сегодня. Состояние гнетущей нерешительности притупляет мой вкус к прошлому и настоящему.

Только что, когда я отложил перо и смотрел, как чернила сохнут на бумаге — вид собственного корявого почерка вызывал у меня отвращение, — в дверь каюты постучал индеец.

Ни о сегодняшней беседе во время мытья палуб, ни о фантастической истории, которую он рассказал мне прошлой ночью, индеец не вспоминал. Зайти в каюту отказался. На сей раз он принес мне подарок.

Один из своих драгоценных зеленых листьев.

— Съешь это, — сказал он. — Жуй очень медленно. Сок глотай. Ничего не выплевывай.

Я внимательно осмотрел лист, который он положил на мою ладонь с каким-то благоговением. Единственная его особенность — рисунок в центре, в точности повторяющий внешний контур. Я понюхал его. Ничего примечательного. Потом я спросил:

— Как он называется?

— *Кока*. — (Я пишу так, как он произносит.)

— Где он растет?

— В долине Согамосо.

— В диком виде?

— Да.

— И вы, чибчи, все едите его?

Индеец кивнул.

— Все едят его. И съедают весь.

Я перевернул лист на ладони, вспомнив об одолевающих меня сомнениях.

— Он что, дает мудрость?

Индеец пожал плечами. Мой вопрос показался ему наивным.

— Мудрость здесь, — сказал он, положив руку с растопыренными пальцами на сердце.

— А не здесь? — постучал я пальцем по лбу.

Индеец не ответил. Он продолжал прижимать руку к груди.

— Съешь этот лист, — сказал он.

— Съем, — пообещал я. — Но что он дает?

— Это ты сам увидишь. Но съешь его. Хороший лист.

— Лучше чем табак?

— Его ни с чем нельзя сравнить. Его едят боги.

Он сказал это с совершеннейшей серьезностью. Я еще раз пригласил его войти в каюту. Предложил откусать лист вместе. Он отказался. Обычай требует, объяснил он, чтобы свой первый лист человек съел в одиночестве.

Еще он дал мне маленький сосуд, сделанный из тыквы. По его словам, он называется *искупуру*, испанского слова для него (как и для *коки*) он не знает. Сосуд, сказал индеец, наполнен похожим на известь веществом, приготовленным из пепла. Он назвал его *лпнта* или *лакта*. Он научил меня, как, пережевывая лист, опускать палочку в сосуд и прикладывать ее к языку.

— Но ты-то так не делаешь, — заметил я.

— Нет.

— Почему?

— Мне не надо.

— А мне зачем?

Индеец пожал плечами.

— Может быть, тебе тоже не надо. Но лист очень сильный. И лучше, пока сам не узнаешь его действия, не есть лист без *липты*.

Он пожелал мне доброй ночи, резко взмахнув рукой — это было похоже на благословение и проклятие одновременно. Я смотрел, как он идет по палубе. У каюты Уота он остановился.

— Гуаттараль пришел за золотом, — сказал он почти с нежностью. — То, что я дал ему, лучше золота. Это пища самого Золотого Человека.

Он ушел прежде, чем я сообразил, что ответить.

*

Сейчас, когда я пишу эти строки, я жую лист *коки*. На вкус он резкий, горький, во рту остается ощущение чего-то несвежего, но после того, как разбавишь его капелькой *липты*, он уже не так противен. Рот мой одеревенел. Десны — когда проводишь по ним языком — сухие и оставляют привкус солонины. Больше ничего особенного я не заметил. Если это пища богов, то можно считать доказанным, что я всего лишь смертный человек. Впрочем, мне это доказывать не надо.

*

Час спустя.

Чувствую, что спать сегодня не буду, вот, пожалуй, и все. Только что прогулялся по палубе. Прошедшее, настоящее и еще не наступившее сосредоточились для моего сознания в морском проливе, отделяющем Невис от соседнего Сент-Киттса. Они встретились там и растворились в его соленой воде. Вода в проливе загорелась холодным белым огнем, затем морозно заискрилась; над морем лился испепеляющий свет луны.

Пересечь это водное пространство — одна-две мили, не больше, — казалось делом несбыточным и для "Судьбы", и для ее капитана.

21 марта

А все-таки я пересек пролив. Моя "Судьба" стоит теперь на якоре у Сент-Киттса.

Неужели подействовал лист? Не думаю, хотя, как учил меня индеец, я съел его весь и проглотил горький сок до последней капли.

Какой-то эффект был, но описать его трудно. Верно, я не спал целые сутки. И испытал ощущение, которое могу описать как постепенное обострение зрения, прояснение разума — если угодно, очищение мозга. И в конце концов обнаружил в себе жажду действия. Но лист здесь ни при чем. Она уже жила во мне.

Короче говоря, лист не вдохновил меня ни на что новое. То, что я намерен сделать, я сделал бы в любом случае.

И еще: не хочется верить, что химические свойства какого-то растения могут так изменить мое поведение. С другой стороны, ничего неприятного я не почувствовал, желудок мой переварил его безболезненно.

Ничего не имею против продолжения опытов с поеданием *коки*. Но срочности нет, нужды или нетерпения не испытываю. Готов ждать, пока индеец сам мне его снова предложит.

*

Сент-Киттс. Формой этот остров напоминает продолговатую буханку хлеба. Центральная часть изрезана горами, тянущимися через остров с северо-запада на юго-восток. Самая высокая вершина, как обозначено на картах, называется горой Страдания!

Здесь растут деревья высотой до неба и ананасы с колючей и шипастой кожурой, но сладкой мякотью; больших-ящериц-игуан, что водятся на острове, мы жарим между двумя деревяшками и получаем очень вкусное белое мясо.

Сент-Киттс открыт Колумбом в 1493 году, во время его второго плавания. Маленький печальный генуэзец, одержимый страстью плыть за заходящим солнцем. Однажды из этих открытых тобой земель тебя отправили домой в кандалах; по приказу испанских тиранов, которым ты верно служил на каждой из трех тысяч миль неизведанного океана, тебя, большого и слабого, держали в тюрьме. Говорят, что ты хранил эти кандалы как память до самой смерти. Их положили в могилу вместе с тобой и твоим сыном в соборе Санто-Доминго на Эспаньоле¹. Не сомневаюсь, твои кости истлеют быстрее.

¹ Современное название острова — Гаити.

Сегодня утром я написал длинное письмо моему другу, государственному секретарю Ральфу Уинвуду. Завтра мне предстоит испытание потруднее — написать письмо жене. Эти письма я собираюсь отправить в Англию вместе со шхуной "Паж" под командованием капитана Джеймса Баркера; мой племянник Джордж поплывет с ними и присмотрит за порядком. Джордж — глупец (я уже писал об этом), но храбрости ему не занимать. Именно глупость гарантирует его согласие на это путешествие. А для того, чтобы остаться в живых, потребуется все его мужество. Команда "Пажа" — свора негодяев, пьяниц и богохульников, настоящее отребье и без того не самых порядочных людей, оставшихся от нашей экспедиции. Следом за "Пажом" я отправлю домой фрегат "Гром". Заботам сэра Уорэма Сент-Леджера, большого капитана корабля, будут поручены такие же больные и изможденные люди, как и он сам. Я собираюсь извлечь нашу экспедицию от тех, кто больше других страдает от лихорадки.

Ральфу Уинвуду я подробно описал наше плавание и принятые нами действия. Прежде всего я отметил, что если обычно на переход от островов Зеленого Мыса до Америки уходит от пятнадцати до двадцати дней, то, на наше несчастье, либо ветра не было совсем, либо, когда наконец задул попутный, начались такие штормы и грозы, что мы едва доплыли до континента за шесть недель. Я написал ему о жестокой жаре, во время которой мы остались без питьевой воды (бочки с водой смыло за борт ураганом); о гибели в долгом плавании многих достойнейших людей; о том, что, когда мы в конце концов добрались до Ориноко, я был все еще между жизнью и смертью — ходить я не мог, с места на место меня переносили в кресле. Я написал ему о том, что случилось в походе по Ориноко. Как испанцы ждали нас, предупрежденные о нашем прибытии. Как мы нашли у них списки людей и грузов, написанные моей рукой, а также подробное описание вооружения каждого корабля. Что это были те самые списки, которые я отдал королю Якову по недвусмысленному повелению Его Величества. Что Его Величество изволил ценить меня столь мало, что передал их испанскому послу, который в свою очередь переслал их королю Испании. Для сведения Уинвуда я приложил письмо, посланное королем Испании дону Диего де Паломеке вместе с моими списками 19 марта прошлого года, то есть еще до моего отплытия из Лондона. Я предложил Ральфу сделать собственные выводы и оказать мне любую посильную помощь. Я написал ему о смерти Уота и самоубийстве Кеймиса. Извинился за то, что возвращаюсь домой без обещанного золота.

Возвращаюсь домой.

Домой — это еще не значит на верную смерть.

А если даже и так, то я все-таки плыву туда — и никуда больше.

А сейчас — сидя в тени пальмы на берегу ручья и опустив больную ногу в его прохладную воду — одной рукой я держу кокосовый орех, а другой — с удовольствием и признательностью — пишу о встречах с Ральфом Уинвудом в первые недели после моего освобождения (без помилования, с передачей под надзор) из Тауэра.

Ральф всегда был моим другом, но в то время должен был вести себя очень осмотрительно. Мне особенно запомнилась одна из наших встреч. Я опаздывал. Стьюкли не отходил от меня ни на шаг. Уинвуда я нашел в Вестминстерском аббатстве, в капелле Генриха VII. Какая там сырость, как пахнет родной Англией, как это далеко отсюда! Криков птиц в ярком оперении там уж точно не услышишь.

Он стоял у гробницы, в которой королева Елизавета лежит рядом со своей старшей сестрой, королевой Марией. Это наверняка единственное, что их объединяет. Одна, протестантка, оставшаяся девой на всю жизнь, вздергивала католиков на дыбу. Другая, католичка, вышла замуж за испанского принца и сжигала на костре протестантов.

Ральф сквозь свои толстые короткие пальцы украдкой поглядывал на надпись, которая гласит, что *"сестры Елизавета и Мария, правившие одним королевством, покоятся здесь в ожидании воскрешения"*.

Я сказал:

— К тому дню кости обеих, несомненно, истлеют.

Уинвуд, словно углубившись в молитву, спрятал лицо в ладони. Я с трудом опустился рядом с ним на колени. Для моей больной ноги это всегда испытание. Потом сказал:

— *Отче наш, иже еси на небесех...* С Петтом все идет нормально. Но кораблей мне надо больше.

— Естественно. Сколько еще?

— Дюжину.

— На это потребуется много денег, — прошептал Уинвуд.

— *Хлеб наш насущный даждь нам днесь*, — произнес я.

Всегда молись на людях громко, сын. Самое верное средство сбить с толку соглядатаев или усыпить их бдительность: тогда то, что ты говоришь тихо, услышат только бог и твои лучшие друзья.

Уинвуд прошептал в свои ладони:

— Вы можете найти финансовую поддержку в Сити?

— Сити предпочитает китов и пряности.

— Объясните, — раздраженно сказал Уинвуд. — Для загадок у нас нет времени.

Я объяснил:

— Старому призраку из окружения королевы фей Сити предпочитает Московитскую и Ост-Индскую компании. Ему нена-

видно все, что попахивает каперством. *Да приидет царствие твое...*

— Каперство вышло из моды, — согласился Уинвуд. — Что же вы будете делать?

— У меня есть старомодные друзья, — сказал я и добавил: — *Аминь*.

— *Аминь*, — громко сказал Ральф и продолжал тихо: — Какую сумму готовы внести ваши друзья?

— В лучшем случае я могу надеяться на пятнадцать тысяч фунтов.

— А ваше поместье Шерборн?

— Поместье и деньги, вырученные Бесс от продажи земли, увеличат сумму до двадцати пяти тысяч.

— Этого мало?

— Мало.

Уинвуд наклонился и из-под руки бросил быстрый взгляд за спину. Я сделал то же самое. Мы оба увидели знакомую фигуру сэра Льюиса Стьюкли, нагнувшегося, чтобы прочесть надпись на стене. Ральф оценил расстояние и решил, что мой цербер не услышит наш шепот. Он быстро произнес:

— Я сделаю все, что смогу. Вы понимаете, что, как государственный секретарь, я не могу помогать вам *открыто*.

— Конечно, — сказал я. — *Во имя отца, и сына, и святого духа...*

— *Аминь*, — громко пропел Уинвуд.

Я встал, откашлялся и заковылял к выходу, не оглядываясь.

*

Я доверяю Ральфу Уинвуду как мало кому из политиков. Нортгемптонширский дворянин, на девять лет моложе меня, в свое время посол королевы Елизаветы во Франции, смертельный враг всего испанского, вот уже четыре года государственный секретарь короля Якова, толстый, неуклюжий, грубоватый, он не блещет талантами, но тверд и надежен, как добрый английский дуб. Не будь Ральфа Уинвуда, я все еще сидел бы в Таузэре и работал над незавершенной (да и вообще незавершимой) "Историей мира". Сомневаться в этом не приходится. Представляю, как Ральф читает мое письмо в Уайтхолле — ходит взад-вперед, словно медведь в клетке, пытаюсь найти способ представить мое дело королю с выгодной стороны. Нелегкая это задача, ему не позавидуешь. Но если это не под силу Ральфу Уинвуду, то, значит, этого не сделает никто. А если Ральф Уинвуд не сделает этого, я погиб.

Снова на борту "Судьбы".

Сегодня я наконец чувствую, что период мучительных изматывающих сомнений, затянувшийся на десять дней, подходит к концу.

Я пересек узкий пролив и добрался до Сент-Киттса. (Первый шаг на долгом пути сделан.)

Я написал подробный правдивый отчет обо всех наших злоключениях и постарался обеспечить его доставку моему единственному настоящему другу при дворе короля Якова. (Я только что вручил его, запечатав своей печатью, моему племяннику Джорджу, который поклялся жизнью, что передаст его Ральфу Уинвуду из рук в руки.)

Я решил (в душе), что буду делать дальше: поплыву к Ньюфаундленду, а потом домой.

Я объявил (во всеуслышание), что больные поплывут домой раньше основного отряда.

Завтра я напишу моей жене Бесс.

12

22 марта

Я сказал ей, что не мог писать, поскольку не знал, как утешить ее. Я сказал, что, видит бог, только теперь я понял, что значит настоящее горе. *Успокой свое сердце (дорогая Бесс), писал я, я буду горевать за нас обоих. Да благословит и утешит тебя господь, да поможет он тебе в смиреннии пережить смерть твоего доблестного сына.*

Что касается известий о Кеймисе и золоте, то я сослался на письмо секретарю Уинвуду, зная, что она всегда сможет получить у Ральфа его копию. *Голова раскальвается на части*, продолжал я, *писать, особенно о страданиях, мучительно трудно.* Я тем не менее обещал, если буду жив, написать ей еще одно письмо с Ньюфаундленда.

Это никуда не годится.

Письмо уже было запечатано, когда я понял, что оно никуда не годится.

А что годится?! Но это письмо совсем никуда не годится. В глубине души я понимал, что должен рассказать Бесс о всех обрушившихся на нас несчастьях.

Пришлось вскрыть печати и написать постскрипtum — в три раза длиннее самого письма, — в котором я описал и смерть нашего бедного Уота, и то, как Кеймис подвел меня с золотом, и его неуклюжие попытки оправдаться, и его самоубийство в собст-

венной каюте. Я написал ей также о письмах и списках, найденных Кеймисом в Сан-Томе. О том, как король Яков предал меня и выдал врагам. Как Уитни и Уолластон стали пиратами. И обо всем остальном, утомительном и невыносимом.

Оба письма уплыли с Джорджем Рэли. Шхуна "Паж", на которой полно крыс, готовых оклеветать меня по возвращении в Лондон, уплыла. Но мои друзья узнают правду из писем, что я написал Бесс и Ральфу. А остальное меня не волнует.

Когда я пишу эти строки, "Гром" снимается с якоря. Над островом собираются грозовые облака. Гора Страдания исчезла в пелене внезапно налетевшего дождя.

*

Сегодня вечером я снова собрал оставшихся капитанов отужинать на борту "Судьбы". Напротив меня, за столом, накрытым добротной белой скатертью, сидело только четверо: Сэмюэл Кинг, Роджер Норт, Чарльз Паркер и сэр Джон Ферн.

Я объявил им свое решение: плывем к Ньюфаундленду, а от туда домой. Я объяснил, что этот путь предпочтителен по нескольким причинам. Во-первых, как известно из писем, найденных в Сан-Томе, где-то наподалеку находится испанский флот, посланный, чтобы захватить меня в плен. Если мы поплывем в Виргинию или сразу в Англию, мы рискуем повстречаться с ним — а сил и решимости для такой встречи у нас маловато. Во-вторых, стоянка у Ньюфаундленда позволит нам хорошо подремонтировать корабли и пополнить наши запасы. За провиант мы сможем расплатиться гвианским табаком. В-третьих, отказавшись от мысли напасть на Серебряный флот, я намерен держаться подальше от его обычного курса: хочу обезопасить нас от подозрений в попытках его захвата. Испанские корабли с драгоценным грузом отправляются весной из Гаваны, через пролив, отделяющий Багамские острова от Флориды, выходят в океан, затем плывут на восток, мимо Азорских островов, в Кадис. Мы избежим встречи с ними, уплыв на север к Ньюфаундленду, откуда путь до Англии самый короткий.

Когда я кончил говорить, наступила тишина.

Затем Сэм Кинг сказал:

— Я согласен с этим планом.

И снова тишина. Долгая тишина. Мне почудилось, что я слышу шелест лунного света на крыше моей каюты. То был, конечно, тихий нестройный шум дождя. Я прислушивался к нему, ибо трое других капитанов ничего не говорили.

Ничего.

Ничего.

Совсем ничего.

Я сидел, наблюдая, как свеча отбрасывает на их лица изменчивые блики. Паркер улыбался недоброй улыбкой. Норт поглаживал усы ногтем большого пальца. Ферн мусолил в руках кусочек недоеденного хлеба.

— Итак, джентльмены, — произнес я наконец, — ваше мнение?

Они избегали смотреть мне в глаза, каждый пробормотал пару отрывистых неискренних слов одобрения. Затем, один за другим, они пожелали мне доброй ночи и вышли.

— Ну и что это, по-твоему, значит? — спросил я Сэма.

Он пожал плечами.

— Неприятности, — сказал он.

“Неприятности” — слишком слабое слово, но я ценю выдержку Сэма.

Я закурил трубку, и мы заговорили о другом.

*

Я все время вспоминаю ночь перед отплытием “Судьбы” из Лондона. В ту ночь я видел сон, и Бесс тоже что-то приснилось. Мы спали вместе в ее доме на Брод-стрит.

Во сне я снова переживал первое путешествие в Гвиану и хорошо помню, как бежал на вершину холма и, добравшись до нее, увидел реку, в миле от меня разделяющуюся на три рукава, и двенадцать водопадов; каждый следующий водопад возвышался над предыдущим, как церковная башенка над церковью, так что склон второго холма был гигантской водяной лестницей, вода падала с такой силой, что я чувствовал уколы водяной пыли на своем лице, а выше второго холма вздымались башни города, который, казалось, горел и дымился брызгами падающей воды.

Во сне я повернулся к Кеймису и сказал, что дальше идти не могу. Я обливался потом и дрожал от озноба. Хотя это происходило в 1595 году, у меня уже была рана, полученная в Кадисе в 1596-м. Меня трепала лихорадка. Раненая нога невыносимо ныла. Проводник-индеец показал рукой: “За водопадами лежит прекрасная земля”. Кеймис сразу же пошел вперед. Отступать было некуда. Я заковылял за ним следом, индеец продолжал манить нас рукой; наконец, миновав громы и молнии водопадов, мы пришли в обетованную землю.

Мне еще не приходилось видеть такой прекрасной страны и любоваться такими восхитительными видами. Долины перемежались холмами, между которыми извивалась река, изумрудные поля незаметно переходили одно в другое — ни кустов, ни терни, только густая трава, твердый песчаный грунт был удобен и для пешего, и для конного, вокруг бродили олени, к вечеру с деревьев полились чарующие птичьи мелодии, по берегам реки

расхаживали журавли и цапли — белые, кармазинные и розовые, свежий восточный ветерок навевал прохладу, и каждый камень, за которым я нагибался, своим ярким блеском обещал золото или серебро.

У меня с собой не было ни ножа, ни мотыги, чтобы отколоть кусочек скалы, твердой как кремь, и, когда я попытался пост. рести ее пальцами, ногти потрескались и руки стали кровоточить. Многие поднимали и несли с собой камни в уверенности, что в них блестит золото. Уиддон и доктор принесли мне камни, похожие на сапфиры. Но даже во сне я понимал, что это не сапфиры.

Проводник-индеец, сын вождя Топиавари, показал на два высших перед нами горных пика. Он сказал, что их называют Пикатоа и Инаитак. Высота каждого около семи тысяч футов. За ними, сказал индеец, лежит озеро Парима. А на берегу озера стоит город. Город! Маноа! Богаче и красивее, сказал индеец, городов, которые Кортес нашел в Мексике, а Писарро — в Перу; в Маноа больше храмов с золотыми статуями и гробниц с сокровищами.

Вдруг Кеймис закричал: "Испанцы идут!" У нас был только один путь к отступлению. Но он меня устраивал, поскольку пролегал мимо горы Иконури, а во сне я помнил, что в районе горы Иконури находится прииск Путижмы и, как говорили, золото там можно добывать, просто вырывая с корнем траву из земли, отсутствие лопат и других орудий не помеха.

Но начались дожди, которые мочили нас по десять раз на дню, река вздыбилась и вышла из берегов. Я снова был с ламим Топиавари, и Топиавари отпустил со мной в Англию еще одного из своих сыновей, а я в свою очередь оставил ему Фрэнсиса Спарроу, слугу одного из моих капитанов, а также пятнадцатилетнего Годвина — чтобы изучал их язык. Мы возвращались назад вдоль реки среди громов и молний, под потоками непрерывающегося ливня; ко всему безучастные, мы останавливались только для того, чтобы посмотреть на далекую сверкающую гору. "Прииск Путижмы", — сказал Топиавари, указывая рукой. У меня не хватило сил пройти весь путь с Кеймисом и остальными. Я решил отдохнуть у индейского вождя, обещавшего мне ранее свою помощь. Вождя я нашел пьяным, пьяной была и вся его деревня.

Горшки с огненной водой переходили из рук в руки, дождь все лил, пьяницы лежали, обнявшись, в грязи. Я подкрепился мясом броненосца и возвратился на свой корабль, где...

Меня разбудил крик Бесс. Я встал, зажег свечу и снова лег в постель. Бесс прижимала руки к лицу.

Я обнял ее, и она сказала:

— Не хочу, чтобы ты уезжал.

Я промолчал. Погладил ее волосы. Мне на шею закапали ее слезы.

— Вся наша жизнь состоит из встреч и расставаний, — сказала она. — Всю жизнь ты уезжаешь или возвращаешься. Но это конец. Я знаю. На этот раз ты не вернешься.

— Бесс, Бесс, — сказал я. — Я обязательно вернусь. Более того, я вернусь с золотом. Ты будешь носить туфли с пряжками из чистого золота и золотые гребни в волосах.

Бесс резко отвернулась.

— Я ненавижу его. Презираю. Золото — твоя навязчивая идея. Иногда я думаю, что ты давным-давно помешался на нем.

Я отдернул одеяло и начал ласкать ее, приговаривая:

— Утром ты увидишь все совсем в другом свете.

— Нет. И утром я буду думать так же. Добывать золото для этой свиньи короля. Какая в этом честь? Какая слава?

— Ты бы предпочла, чтобы я и дальше гнил в Таузэре?

— Не говори глупостей, — быстро ответила она. — Но теперь ты свободен. У тебя есть прекрасный корабль. О, Уот, мы можем уплыть отсюда.

— И куда же мы поплывем, Бесс?

— Куда угодно. Куда глаза глядят. *Куда* — неважно.

— В Гвиану? Ты поплывешь со мной в Гвиану?

Бесс вздрогнула. Она отбросила мою руку.

— Никогда. Меня трясет от одного названия. Это ад. Фальшивый рай, ждущий тебя, чтобы высосать остатки твоего разума. — Она села в кровати, тяжело дыша. — Теперь я вспомнила сон.

— Тот кошмар, что разбудил тебя?

— Я была у того озера в горах, и там был мужчина — индейский император, — он катался в золотой пыли, пыль приставала к нему, потому что он был вымазан чем-то клейким. Потом его на носилках отнесли к озеру и сбросили в воду. И только тут я заметила свою ошибку — это был вовсе не мужчина. Это была королева Елизавета. Она лежала в озере голая, на спине, и из нее, словно кровь, вытекало золото. И ты, Уот, был там. Ты подплыл к ней и принялся, как змея, лизать кровь, пить ее. А я закричала: "Не пей ее! Она отравлена!" И здесь я проснулась.

Сон Бесс взволновал меня, я обнял ее.

После, загасив свечу и пролежав долгое время, обшаривая темноту воспаленными от бессонницы глазами, я прошептал:

— Бесс, я расскажу тебе то, что знают немногие. О королеве. Я это еще никому не говорил. Но сейчас я должен тебе рассказать.

Я протянул руку и дотронулся до ее щеки. Бесс прижалась к ней лицом. Она поцеловала ее, но все это было во сне. Она тихо посапывала. Она не слышала ни слова из того, что я ей сказал.

Я лежал без сна до рассвета, потом услышал, как открывается входная дверь и тихо скрипят ступеньки лестницы, по которой на цыпочках крадется Уот.

Здесь темнота иная. Дождь кончился в полночь. Карибская ночь, необъятная, бархатная. Лежать в лондонской постели рядом с Бесс — это все равно что лежать в гробу, перетянута медными обручами. А ночь около Сент-Киттса... сколько в ней неги, страсти, зловещих загадок. Море, темное и теплое, плещется о борт "Судьбы", у которого мечутся серебряные акулы, лунная дорожка бежит по морю, словно прочерченная ногтем Всевышнего. Если я приоткрыл той ночью в Лондоне один потайной ящик моей души, то внутри у него был еще один, поменьше, а внутри этого — третий, и так далее. Но заснуть мне было не суждено — самого маленького и совершенно пустого ящичка не существовало. А здесь, сегодня, я тоже не могу заснуть, но виной тому безбрежность ночной тьмы. Я только что прошелся по палубе. Ночное небо бездонно. Звезды на нем напоминают далекие взрывы. Полная луна кажется совсем близкой.

Что я собирался рассказать о Елизавете?

Ничего. Не сейчас.

Если бы мои кости могли видеть сны в могиле!

13

23 марта

Я изучаю карты и таблицы.

От Сент-Киттса до Ньюфаундленда около двух с половиной тысяч миль. При благоприятном ветре, если в среднем проходить восемьдесят миль в сутки, до Ньюфаундленда можно добраться за тридцать один день.

Вполне реально.

В хороший день с попутным ветром можно проплыть полторы сотни миль, а то и больше. В плохой день не пройдешь и пятидесяти. Так что восемьдесят миль в сутки — посильная задача в этих широтах и в это время года. Если нам удастся ее выполнить, то через месяц (одним-двумя днями раньше или позже) мы бросим якорь в гавани Сент-Джонса на Ньюфаундленде.

Кроме того, я выбрал направление, на которое своим добрым оком взирает Полярная звезда. Мой квадрант снабжен зеркалом для наблюдения за звездами, и на борту "Судьбы" есть пассажирский инструмент, так что по высоте Полярной звезды я могу вычислить необходимую поправку для точного определения широты. Следовательно, при необходимости и хорошей погоде мы сможем плыть ночью с той же скоростью, что и днем.

Ньюфаундленд. Это слово преследует меня как наваждение.

Оно придает старым мозгам новые силы. Я с нетерпением жду прибытия туда. Ледяные соборы и искристые моря. Их холод наконец-то избавит меня от лихорадки.

*

Лето 1580 года в Ирландии. Мне было двадцать шесть лет, я носил звание капитана и получал четыре шиллинга в день. У меня был заместитель Майкл Батлер и четыре младших офицера. Под моим началом находился отряд в сто человек. Пятеро из них были покойники. Обычное дело в те времена. Командир, как правило, имел в списке отряда несколько мертвецов и присваивал их жалованье без зазрения совести. Считалось приличным иметь не более полудюжины покойников. Мои пять мертвых душ приносили мне еще три шиллинга и четыре пенса. Общая дневная плата составляла семь шиллингов и четыре пенса. После нескольких лет безденежья и постоянных недоразумений с кредиторами это, поверь мне, Кэрю, были для меня немалые деньги. Я не роптал на судьбу.

Роптал я на Корк. Корк в то длинное жаркое лето моего первого года в Ирландии смердел невыносимо. Он состоял из одной длинной улицы и множества навозных куч. Ирландцы носили желтые рубашки и беспробудно пили. Ирландские лошадки невелики, и ирландцы пашут, привязывая плуг к хвостам пяти-шести лошадей.

В сентябре до Корка дошли слухи, что на западном побережье Манстера высадились испанцы и что неподалеку находится большой испанский флот. Мы вышли навстречу захватчикам, обнаружили, что их около шестисот, вступили в бой и захватили на престольную пелену папского нунция. Враг отступил и занял форт Смервик. Не имея артиллерии, мы отошли в Раткил.

Вторгшаяся армия была небольшой, но тут же на помощь папским псам поднялась вся Ирландия.

Сам лорд-наместник Грей прибыл из Дублина с подкреплением. Мы узнали, что ирландцы разоряли и сжигали собственные деревни, оставшиеся за спиной Грея, продвигавшегося на юг. Он возглавил английскую армию и двинул ее на Смервик.

Я промедлил и отстал.

Ирландцы не воюют, а почти все время нападают исподтишка, как разбойники. Они любят затаиться за каменной стеной и стрельнуть противнику в спину или же подкараулить его в засаде и засыпать дротиками. Настоящих солдат у них почти нет. В Ирландии большую часть времени мы воевали с армией призраков, с людьми, которые не носят военной формы, чтобы обозначить свое кровавое ремесло, с трусами, что были крестьянами днем и головорезами ночью. У ирландцев для этих тайных убийц есть

специальное слово. *Керны* — так они их называют.

Как я заметил, у ирландских кернов была привычка пробираться по канавам и оврагам в расположение английских лагерей. Они ждали, пока наши солдаты уйдут, а потом подбирали все, что там оставалось.

Поэтому, когда лорд Грей поспешил с нашими основными силами к форту Смервик, я решил сыграть с ирландцами их же собственную злую шутку. Я спрятал моих людей среди развалин лагеря в Раткиле. Мы лежали, прижавшись в темноте друг к другу.

Вскоре из ночной тьмы вынырнула банда ирландских кернов. Мы подождали, пока они займут лагерь и удобно в нем расположатся. Тогда я выхватил меч, мы выскочили из засады и через несколько минут взяли большинство из них в плен.

Один из кернов был обвешан ивовыми жгутами, скрученными в петли, — ирландцы ими взнуздывают лошадей. Я спросил, зачем ему столько.

— Чтобы вешать английских негодяев, — ответил он.

— Ах, вот как? Тогда они сгодятся и на то, чтобы повесить ирландского керна.

Я приказал повесить его на собственной веревке, остальные тоже получили по заслугам. Затем во главе отряда отправился догонять лорда Грея.

Никогда не видел такой пустынной земли. Бесконечные холмы с редкими скалистыми гребнями, кое-где виднеется пропадающая колея, низкие холмы, карликовые деревья — и никаких признаков человеческого жилья.

Когда я прибыл в английский лагерь у форта Смервик, то нашел лорда Грея в большом затруднении. Он не мог атаковать испанцев в их логове, не располагая хорошей артиллерией, а артиллерию трудно перевозить по бездорожью. Поэтому нам пришлось ждать, пока посланные гонцы добрались до Лондона и сообщили нашу просьбу прислать к побережью Манстера несколько кораблей королевского флота. Каждый день, ожидая корабли, мы вглядывались в лес, росший за нашими позициями, опасаясь, как бы на подмогу испанцам не подоспели восставшие ирландцы под водительством Десмонда.

Десмонд так и не появился. Зато появились корабли. Как только корабельная артиллерия оказалась на берегу, судьба форта была решена.

И что примечательно, вскоре это поняли и испанцы. Один пушечный залп — и они предложили лорду-наместнику переговоры. Лорд-наместник отклонил предложение. Второй залп — и они пообещали оставить форт, если их отпустят на свободу со всем снаряжением. И это было отклонено. Затем последовало срочное послание, в котором они предлагали сдать форт, если их главарей отпустят домой, в Испанию. Но и на сей раз отказ лорда Грея

не заставил себя ждать. Безоговорочная сдача — или разгром.

Я слышал, как в частной беседе лорд Грей обронил, что его верховные дозоры видели Десмонда в четырех днях пешего пути от форта. Если восставшие придут до падения форта, то они отрежут нам путь к отступлению, а наши корабли не только не смогут спасти нас, но и сами не устоят против объединенной силы испанцев и Десмонда.

Но именно в это время возможность нашего поражения стала чисто теоретической. Засевшие в форте испанцы решили, что спасения нет. Они вывесили белый флаг и все как один вскричали: "Misericordia! Misericordia!"¹ Выслав парламентаров, они отдали нам на милость и себя, и форт. Полная победа.

То, что случилось потом, сын, гордости у меня не вызывает.

Когда командующий испанскими войсками сдался лорду Грею и форт пал, меня послали туда вместе с другим английским солдатом, капитаном Макуортом, во главе двух наших рот. Сделать за Грея грязную работу. Что было мне не по душе.

Короче говоря, мы устроили резню. Большинство испанцев мы предали мечу, убив пятьсот семь человек. Кроме того, мы повесили семнадцать ирландцев и несколько предателей-англичан.

Я не согласен с теми, кто называл наши действия "варварской бойней". На самом деле я и капитан Макуорт лишь выполняли приказ. поголовное истребление пленных противника было в те времена обычной военной практикой в Ирландии. (Можно сожалеть, что мы опустились до уровня испанцев или ирландцев, которые сделали бы с нами то же самое, будь победа на их стороне; но это уже другой вопрос.) Если что и вызывает возражение, так это действия королевы по получении доклада Грея: к главарям испанских захватчиков она отнеслась лучше, чем к рядовым, пощадив часть из них за денежный выкуп. Это было несправедливо. У этих жирных крыс не было никаких полномочий от испанского короля, и их следовало отправить вслед за мышатами. А что до остального, то согласен: смерть всегда неприглядна, а мы к тому же хладнокровно убивали безоружных людей. Но то же самое делают, когда вешают убийцу. А все они были наемными убийцами и папистскими выкормышами.

*

Я не любил лорда Грея, он платил мне тем же.

Грей был прижимистым покровителем моего друга Джорджа Гаскойна, поэта и солдата. Еще один мой друг, тоже поэт, Эдмунд Спенсер, стал секретарем Грея в Ирландии. Гаскойн был неистовым гулякой, Спенсер — тишайшим человеком; и к тому, и к

¹Пощадите! (исп.)

другому Грей относился прескверно, он не уважал их талант и использовал нужду обоих ради собственной карьеры. В этом, надо сказать, сколько-нибудь заметно он не преуспел.

Прирожденный нытик, грубая и жестокая скотина, он постоянно жаловался на судьбу и умолял королеву вернуть его из Ирландии ко двору.

Все знали, что он раздаст своим фаворитам земли, конфискованные у англо-ирландских предателей. Что было хуже и гораздо менее известно: он заражал своих фаворитов меланхолией и презрением к этой темной стране, они ненавидели свои должности, пренебрегали службой и считали Ирландию богом проклятым местом. Содружество с Ирландией превращалось в со-страдание.

Когда позднее королева и Тайный Совет поинтересовались моим мнением о характере лорда-наместника и его политике, я указал на известные мне недостатки, и Грей как-то узнал об этом. Он начал говорить во всеулышание, что по опыту и уму превосходит меня во всех отношениях.

— Хочу, чтобы все знали, — говорил он, — я не люблю ни осанки капитана Рэли, ни его общества.

Я могу сказать о Грее то же самое.

Грей сутулился. Его общество было едва ли приятнее общества прокаженных.

*

Надоедливая ироничная болтовня королевы. Иногда ее пронзительный тюдоровский голос напоминал мне монотонный звук, издаваемый клювом дятла, который долбит, и долбит, и долбит кору дерева.

”Да прекрати ты свою трескотню, старая ведьма!” — ворчал я про себя, выведенный из терпения.

Что заставило меня вспомнить это?

Наверное, лист *коки*. Сегодня днем индеец принес мне еще один, и я жую его, когда пишу эти строки. Это растение обладает способностью приближать прошлое, и прошлое теперь торчит занозой в мозгу. *Кока* обостряет и восприятие настоящего. Минуту назад я отрезал себе кусок хлеба. Отрезать кусок хлеба... Что может быть проще и обыденнее? И тем не менее на мгновение я застыл в этом мгновении. Нож сиял в руке, отваливающийся ломоть хлеба выглядел чудом, и неожиданно у меня возникло ощущение, что я режу хлеб ножом и в то же самое время стою в углу каюты и наблюдаю за происходящим, словно я еще и зритель — блестящее лезвие взрезает коричневую корку. Надо спросить индейца о химических свойствах листа. Надо также выяснить, велик ли у него запас. *Кока*, несомненно, в тысячу раз сильнее табака.

Помню я и запах Елизаветы. Говорят, что перед смертью она дни и ночи напролет сидела на куче подушек посреди своих покоев и отказывалась лечь в кровать. А потом пустилась в пляс. И упала на пол. С нее сняли множество дурно пахнущих нижних юбок... Я помню...

Кто говорит "я" во фразе *Я помню*?

Память имеет к этому больше отношения, чем первое лицо единственного числа. Жизнь памяти шире, глубже, темнее и богаче. Лучше следовать за движениями памяти, чем цепляться на стремнине за порожистый камень личной подлинности. Хотя и движения памяти не становятся полноводным потоком. Что уж говорить о нити мгновений, продернутой сквозь ушко иголки, которая есть ты сам.

Но я забыл, что я собирался сказать вначале.

А где *было* начало?

В Виндзоре.

И Елизавета так и не услышала моих жалоб о ее голосе.

Приведу для равновесия слова другого человека о королеве. *Когда она улыбалась, всякий, кому выпало счастье, мог нежиться в лучах ее улыбки; но тотчас набегали тучи, и небесный гром поражал всех.*

Итак, сэр Джон Харрингтон, ее крестник, изобретатель ватерклозета и переводчик Ариосто. (Он называл его Гарри Осто.)

Муха ищет выход из моей каюты. Она носится по комнате: жалкий гнев. А я должен все делать правильно. Но что на свете "правильно"? Мои морские карты и таблицы, мои календари? Слишком примитивный тип правильности. А может, запах трупов в форте Смервик? Это посложнее, если вообще правильно. И все-таки я только выполнял приказы и был верен долгу. Но на трупах были мухи, тучи мух... а что, если и послушание грех? Черт возьми, когда ирландские керны захватили Югхал, они не ограничились тем, что убили всех своих братьев. Они выдавили глаза женщинам и расквасили носы детям. Итог еще долго подсчитывать, и то, что я сделал в тот проклятый летний день вместе с капитаном Макуортом, лишь начало счета.

И все же спасения нет. Нет спасения от прошлого. Нет спасения от настоящего. Нет спасения мухе. Нет спасения твоему отцу, Кэрю, от бесконечных безжалостных воспоминаний и повторений, всегда одних и тех же, всегда других, всегда нож и всегда зритель, всегда возвращаешься к точному описанию событий, а потом вдруг в отчаянии обнаруживаешь, что снова ничего в них не понял.

Елизавета бубнила, и Елизавета воняла.

Но Елизавета и танцевала.

Да. Елизавета танцевала лихо даже на краю могилы. Елизавета была истинной дочерью своего отца. Я помню историю, что она мне однажды рассказала. Это случилось в день, когда народ

приветствовал ее в Лондоне за неделю до коронации. Проезжая по Чипсайду, молодая Елизавета улыбнулась. Ослепительная улыбка, та самая, в лучах которой можно было нежиться. Многие обратили на это внимание, но лишь единицы (а может, и вообще никто) знали, что явилось тому причиной. Вот об этом она мне и сказала. Елизавета улыбнулась, потому что услышала в толпе голос какого-то старика: "Когда я смотрю на нее, я вспоминаю старого короля Гарри Восьмого".

*

Приписка, сделанная позднее. Не могу взять в толк, при чем здесь король Генрих VIII. Сейчас мне кажется, что все написанное под воздействием *коки* лишено смысла. Я оставил этот отрывок только как предупреждение самому себе. А что до остального: мои рассуждения о скорости плавания к Ньюфаундленду поражают тем, что не учитывают проклятия, которое, без сомнения, тяготеет над нами в этом плавании. Такие оценки предполагают нормальный ход вещей, а в сложившейся обстановке только дурак способен поверить в такое. Адский корабль. Инфернальное плавание. Как я осмелился вообразить, что мы можем рассчитывать на попутный ветер в наших парусах?

Да, и о мухе: я открыл дверь, и она улетела погибать в более вместительную каюту, которую мы зовем миром.

14

24 марта

Теперь у нас осталось только два корабля.

Признаюсь, это меня не очень удивило. Прошлой ночью сбежали "Ясон", "Саутгемптон" и "Звезда". Паркер, Норт и сэр Джон Ферн дезертировали вместе со своими солдатами и моряками.

Рядом с "Судьбой" у Сент-Киттса остался только "Поединок".

"Поединок" – лондонский фрегат водоизмещением 160 тонн с семнадцатью орудийными стволами. Штурманом на нем Томас Пай, а капитаном – мой верный друг Сэмюэл Кинг.

Среди моих людей прошел слух, что Паркер, Норт и Ферн не собираются присоединиться к тем, кто бежал раньше. Говорят, что участи пиратов они предпочли возвращение домой. Может, домой, а может, и нет. Они решили послушаться своего адмирала и пуститься по семи морям на свой страх и риск. Значит, они ничем не лучше мятежников. Больше я не скажу об этом ни слова.

Их бегство лишь укрепляет меня в моем намерении.

Мы плывем к Ньюфаундленду, а оттуда — домой.

— Когда? — пришел сегодня утром спросить у меня Сэмюэл Кинг.

— Завтра, — ответил я ему.

*

А вот сегодня вечером мне вспомнился предрассветный час в понедельник 19 марта два года тому назад, когда черная карета, запряженная парой черных лошадей, прогремыкала через мост над рвом Тауэра, остановилась ненадолго перед большими воротами Средней башни, которые на короткое время широко распахнулись, пропуская ее, и покатились вниз на север по Тауэр-Хиллу. Кучер шелкнул хлыстом. Одна из лошадей споткнулась. Карета закачалась из стороны в сторону, ее железные колеса выскли искры из обледенелого булыжника.

В карете ехало двое: сэр Льюис Стьюкли, вице-адмирал Девона, и кузен сэра Льюиса Стьюкли.

— К черту, — сказал я. — Прикажете кучеру остановиться. Я хочу вернуться домой, сохранив оставшиеся зубы и голову.

— Вы пойдете *пешком*? — спросил Стьюкли. Такая перспектива его явно пугала.

— Я предпочитаю ходить пешком, а если уж ездить, то верхом. Эти дьявольские кареты созданы для женщин и инвалидов.

Стьюкли вздохнул.

— Хорошо. Я возьму на себя такую ответственность.

— Это ваш долг, — сказал я. — Не забывайте, что вы теперь хранитель своего кузена.

Кучер сумел остановить карету, только когда мы уже выехали на Хаундсич-Майнориз. Я не мешкая выбрался наружу и заковылял вверх по улице. Прежде чем поспешить за мной, Стьюкли, должно быть, снял с кареты один из горящих факелов.

— Вы, видимо, дьявол или летучая мышь? — сказал он, догнав меня. — Вы, кажется, видите в темноте.

Думаю, что в ответ я только громко хмыкнул. Потом остановился и тяжело оперся на трость с серебряным набалдашником. Стьюкли глазел на меня. Что он видел в свете горящего факела? Лицо старика — бледное, изможденное, скривившееся от боли. И, конечно, крупные капли пота на высоком морщинистом лбу. Пот тек и по впалым щекам.

— Я помню мой Лондон, — ответил я. — К тому же в Тауэре привыкаешь обходиться без света.

Не обращая внимания на больную ногу, я снова быстро пошел вперед. Теперь Стьюкли не отставал от меня. Вдруг он взял меня за локоть.

— Сэр Уолтер, это опасно. Разрешите мне сбежать за каретой.

— Здесь не больше мили. Или даже меньше, если улицы не вытянули с тех пор, как я ходил по ним в последний раз.

От быстрой ходьбы рот и борода у меня покрылись пеной. Содрогаюсь, я вытер ее, остановился и посмотрел на кузена, освещенного пламенем факела. Пухлый, слегка раздраженный мальчишка, красивый, с прямым носом, но с безвольным подбородком и едва заметным пушком над верхней губой. На самом деле ему было лет сорок. Его отец умер в 1578 году. Томас Стьюкли. Искатель приключений и мятежник. Убит маврами в битве при Алькасаре. Судя по всему, в честном бою, хотя ходили слухи, что его убили *после* битвы свои же итальянские солдаты. Джордж Пил написал о нем пьесу. Очень слабую. Вряд ли кто вообще напишет пьесу о боязливом сыне Томаса Стьюкли.

— Чего вы, собственно, опасаетесь, кузен Льюис? — спросил я.

— Я думаю, что сейчас не лучшее время для прогулок, — робко ответил Стьюкли. — Встречаются, конечно, и честные люди...

— Вы правы, абсолютно правы, — оборвал я его. — И в мое время из честных людей не собрать было толпу. Но уверяю вас, для старого узника любое время прекрасно "для прогулок", как вы изволили выразиться. — Я засмеялся. — Кроме того, неужели вы думаете, что король Яков забывает о нас хотя бы на минуту?

Стьюкли нахмурился.

— Как это понимать?

— Я говорю о том, что вы неопытны. Слишком зелены и слишком близки ко мне как родственник, чтобы взвалить такую трудную работу только на ваши плечи. Я имею в виду, сэр, что вас, моего хранителя, тоже охраняют. Иными словами, забота короля о его верном подданном Уолтере Рэли настолько велика, что, если вы сейчас пойдете назад по Майнориз, вы столкнетесь с несколькими дюжими молодцами в длинных черных плащах. Не надо оглядываться. Продолжим наш путь.

Я пошел медленнее, и, как только солнце показалось над Олдгейтом, мы повстречали человека, по виду ремесленника: дублет из грубой ткани, широкие штаны, на голове плоская суконная шапка. Человек нес под мышкой небольшой деревянный ящик. Я кивнул ему, человек вежливо ответил на приветствие, прошел мимо, а потом вдруг вернулся.

— Может, я и ошибаюсь, — сказал он, — но вы очень похожи на сэра Уолтера Рэли.

— Благодарю вас, — ответил я.

— Так вы и есть Уолтер Рэли?

— Он самый, — признался я.

Человек поставил свой ящик на землю. Он это сделал так бережно, что мне подумалось: там, должно быть, яйца. Сняв шапку, он поклонился.

— Настал час справедливости, — сказал он. — Король Яков помиловал вас. Благодарение богу, сэр.

— Король Яков меня не помиловал, — сказал я. — Он лишь отпустил меня ненадолго из Тауэра размять больную ногу.

Незнакомец смутился.

— Вы смеетесь надо мной, сэр Уолтер? Конечно, я всего лишь простой человек.

— С этим вас можно поздравить. Простота — это совсем не просто. Как вас зовут?

— Барнаби Адамс, сэр.

— Чем вы занимаетесь, мистер Адамс?

— Я каменщик, сэр, кладу кирпич. Когда, конечно, есть что класть. А сейчас плохие времена. Очень плохие времена.

— Печальные новости.

— Для вас эти времена были еще хуже, — великодушно заметил каменщик. — Просидеть в Тауэре все эти годы. Но каждый знает: вы никогда не были предателем, сэр, или другом испанцев, как они говорили.

— *Английский лик с испанским сердцем.*

— Что это, сэр?

— Так назвал меня на суде королевский прокурор Коук, — объяснил я. — Эти слова запали мне в память. Что же еще-то он сказал? Ах да. *Паук из преисподней. И величайший из Люциферов.* Очень красиво.

— Коук! — Каменщик плюнул. — Говорят, сэр, что он и с женой-то своей справиться не может. Она самая известная шлюха в Лондоне, простите за грубость!

— Мистер Адамс, — сказал я, — простота подводит вас. Вы не должны думать, что я ненавижу сэра Эдварда Коука, коль скоро он ненавидит меня. Он всего лишь юрист. А что касается суда надо мной, то я считаю, что в первую очередь он не сумел воздать справедливость себе. Что до его семейных трудностей, то одно из преимуществ пребывания в тюрьме в том и состоит, что человек может сосредоточиться на другом. Особенно если, как я, он приговорен к смерти и приговор не отменен.

Каменщик, догадываясь, что его ругают, но не понимая, за что и почему, чтобы скрыть смущение, наклонился поднять свой ящик.

В это время Стьюкли загасил факел, ткнув его в лужу на дороге. Утренний свет и без того разогнал его страхи.

— Знаете, когда я вас видел в последний раз, сэр Уолтер? — сказал каменщик. — Это когда вы шли через Вестминстер у ее гроба. У гроба королевы. Вы были тогда начальником ее личной охраны. Черное перо на шляпе, черная повязка на рукаве. Я помню барабаны...

Я их тоже помнил. Но не испытывал желания пускаться в воспоминания с незнакомцем, как бы пристойно тот себя ни

вел. Поэтому я кашлянул и прервал его.

— Что у вас в ящике, мистер Адамс? — спросил я, постукивая по нему кончиком трости.

Каменщик отшатнулся, будто его ударили.

— Мой ребенок, сэр.

Я тупо уставился на него.

— *Ваш ребенок?*

Каменщик прикусил губу. Когда он снова заговорил, в его голосе слышались почти извиняющиеся нотки.

— Мой сынишка, сэр. Умер от лихорадки. Ему было только три недели, сэр.

— И вы несете его по Майнориз в ящике. Я не понимаю...

— Все дело в церковных сборах, сэр, — сказал каменщик. — За это надо платить. А мне нечем. За похороны и прочее.

— Что же вы собираетесь делать?

— То, что все делают, сэр, — ответил он. — Что делают бедняки. Несут сверток через Лондонский мост, выкапывают яму и тайно хоронят в Сент-Джорджес-Филдсе или в каком другом месте к югу от Саутурка.

Я покачал головой.

— По вашим собственным словам, вы каменщик. Сколько вы зарабатываете?

— По-разному, сэр. До шиллинга в день. Получается шесть шиллингов в неделю, когда есть работа. Но сейчас работы нет.

— Как велик церковный сбор за похороны? — спросил я его.

— Девятнадцать шиллингов и шесть пенсов, сэр.

Я потянулся за кошельком. Потом вспомнил, что у меня его нет. Сэр Уильям Уэйд, губернатор Тауэра, не предполагал, что его заключенному потребуются деньги во время короткой поездки в карете от Тауэра до дома его жены на Брод-стрит.

— Кузен Льюис?..

— Да, да, конечно, — сказал Стьюкли. Он достал монеты из своего кошелька и вложил их, придавливая, в ладонь каменщика.

Я отвернулся — меня затрясло в приступе кашля. Стьюкли подошел и обнял меня за плечи. Тело била дрожь, зубы стучали. Зрелище, надо полагать, было пугающее.

— Проклятая лихорадка, — пробормотал я. — Не беспокойтесь. Сейчас пройдет.

Когда приступ прошел, я кивнул каменщику.

— Будьте здоровы, мистер Адамс.

Чтобы избежать потока благословений, которые мужчина готов уже был призвать на мою голову, я быстро пошел прочь. Должен сказать, что, когда мы миновали Бишопсгейт и свернули на Брод-стрит, я ковылял уже с трудом.

— Это ужасно, — сказал я. — Ужасно и прискорбно.

Стьюкли промолчал. Вид у него был рассерженный и недовольный. Я спросил о причине. Тогда он рассказал мне, что, когда

мы расстались, каменщик пошел прежней дорогой к Саутурку и открытому полю, расстилающемуся за ним. Я шел не оборачиваясь и не заметил этого. Не мог я знать и того, что Стьюкли рассказал мне дальше. А именно то, что в строительном деле наблюдалось большое оживление: дома строились повсюду — к северу от Стрэнда, в Лонг-Акре, вокруг Сент-Джеймского парка, в Тотхил-Филдсе и даже в Айлингтоне.

— Значит, нас надули? — спросил я.

— Думаю, да, — ответил Стьюкли.

Я пожал плечами. Мне было все равно. Но я заметил, что мой кузен с жалостью посмотрел на меня.

И вот мы пришли к дому на Брод-стрит.

Бесс ждала нас.

Ты должен знать, Кэрю, что твоя мать — урожденная Бесс Трогмортон, дочь сэра Николаса Трогмортонна, друга детства короля Эдуарда VI, — на двенадцать лет моложе меня. Ты также должен знать, что, по правде говоря, твоя мать никогда не была красавицей, но ее милое лицо всегда радовало мой взгляд, и, думаю, ты тоже находишь его приятным, поскольку доброта, ум и веселый нрав делают его выразительным и таким же прекрасным, как ее золотое сердце. У моей дорогой Бесс есть одна очень редкая особенность. Один ее глаз голубой, а другой — черный. Я напоминаю тебе об этом, сын, чтобы из физического факта ты мог извлечь моральный урок. Глаза твоей матери созданы для любви и ненависти, для счастья и страдания, в равной мере для радости и печали. Моя дорогая Бесс познала все это за двадцать шесть лет своего замужества, — замужества, стоившего ей пяти месяцев заключения в Таузере и последующего пожизненного запрета появляться при дворе королевы. Ибо Бесс Трогмортон была фрейлиной королевы, когда я полюбил ее, а ревность Елизаветы жалости не знала.

Как я уже сказал, она ждала нас в своем доме на Брод-стрит. Мы молча обнялись и поцеловались. Я погладил ее седые волосы, которые помнил золотыми.

Она сказала:

— Ты весь дрожишь, муж. Выпей мятного ликеру, который я приготовила для тебя.

Я взял чашку и осушил ее.

— Ты шел пешком? — спросила она.

— Конечно, — ответил я.

— Идиот! — сказала она. — Милый идиот. Сумасшедший мартовский заяц в холодное мартовское утро. Неужели ты никогда не поумнеешь?

— Вряд ли. Слишком стар для этого, Бесс. Но лихорадка — это пустяки. Ей не устоять против твоих чудодейственных напитков.

Пока она помогала мне снять плащ, я снова поцеловал ее.

— Где наши дети? — спросил я.

Бесс сложила плащ и стояла, сжимая его в руках.

— Бедный Кэрю заснул. Ты только послушай. Он не спал почти всю ночь, бегая вверх и вниз по лестницам, открывая двери в надежде, что ты уже пришел, и повторяя приветственные речи, которые он для тебя приготовил. Потом хлопал дверью и говорил, что ты вообще не придешь. Никак не могла заставить его лечь в постель. В конце концов он так устал от возбуждения, что заснул на подоконнике в библиотеке. Я тихонько вошла и накрыла его пледом.

Да хранит тебя бог, сын!

— А юный Уот? — спросил я.

Бесс бросила быстрый взгляд на Стьюкли, а потом прошептала мне на ухо одно слово. Ты уже знаешь, что это было за слово. "Бесится".

Я, должно быть, нахмурился и недовольно сжал губы, потому что Бесс сказала:

— Не сердись, муж, — и приложила палец к моим губам, словно заставляя меня улыбнуться. — Он твоя точная копия, наш проказник, — продолжала она. — В его возрасте ты был таким же, и не вздумай отрицать.

Я ничего не отрицал, но и подтверждать тоже не стал. Думаю, что, наблюдая за Бесс, которая как ни в чем не бывало убирала мой плащ в шкаф, я смотрел строго и насупленно.

— Перестань, — сказала она, обернувшись. — Иди и разбуди Кэрю. Будем завтракать. Вместе с кузенком Льюисом.

Снова став леди Рэли, она протянула правую руку Стьюкли, который поклонился и поцеловал ее.

— Я прошу прощения, что нахожусь здесь, — промямлил он.

— Милости просим, — ответила Бесс. — Кому-то надо было взять это на себя. Очень мило с вашей стороны, что вы вызвались взвалить на себя такую обузу.

— Спасибо, кузина, — сказал Стьюкли.

Бесс снова обратилась ко мне.

— Завтрак, — повторила она. — Устрицы и анчоусы с теплыми белыми булочками. А потом ты выкуришь трубку табака. Мне его больше всего не хватало в доме. Запаха твоего старого индейского табака!

— Больше всего? — поддразнил я ее, стряхивая с себя мрачное настроение.

Мы обменялись улыбкой, понятной лишь нам двоим.

Сэр Льюис Стьюкли в смущении отошел к окну. Позднее он рассказал мне, что отвернулся просто из вежливости, но, посмотрев на Брод-стрит, увидел двух людей, вышедших из переулка и ставших напротив дома. Длинных черных плащей на них не было, да они в них и не нуждались. Слишком уж очевидна была их роль.

*

Вот как все началось. Самое последнее и самое значительное из моих путешествий. Это проклятое странствие. Эта погоня за золотом, которая стоила жизни моему сыну.

Я вышел из Тауэра, просидев тринадцать лет во мраке. Через год, полный надежд и гордых помыслов, я отплыл из Лондона во главе целого флота новых кораблей.

Теперь все кончено. Все. Я плыву домой умирать.

— Гуаттараль, — говорит индеец.

Индеец прав.

Эти строки пишет не сэр Уолтер Рэли. А сломленный человек, иссякший ум, призрак, бессмысленное эхо умирающего имени.

Гуаттараль плывет к Ньюфаундленду, а оттуда — домой.

15

25 марта

Мы отплыли с Сент-Киттса в шесть часов утра; вокруг носились белые птицы, небо было ясным, море — гладким, как свежескошенная лужайка, в меру сильный юго-восточный ветер надувал паруса. До десяти часов вечера мы прошли сто миль на северо-северо-запад. В десять часов ветер почти стих, и с тех пор мы проползли чуть больше пяти миль строго на север. Скоро полночь, ясно, полнолуние, черное небо кишит звездами, никаких признаков ветра.

И все же для первого дня неплохо.

*

Я отдал индейцу каюту Уота. Она пустовала, и, раз уж он отказался жить в каюте Кеймиса, другого выхода не было. Он воспринял такую честь не без удовольствия и сейчас отдыхает в своем новом обиталище. Теперь я по крайней мере спокоен, что среди ночи он не свалится за борт своего самодельного ложа на бушприте.

Я так и не знаю, почему индеец не спал в каюте Кеймиса. Подозреваю, что не в последнюю очередь это связано с самоубийством прежнего хозяина каюты, о котором он знает. Так или иначе, за весь день он не сказал ни слова, все время чем-то занят и озабочен, то молча замрет на палубе, наблюдая, как мы ставим паруса, то пойдет на корму поглядеть на "Поединок", идущий за нами в кильватере, но чаще всего стоит на

баке, пристально вглядываясь в расстилающееся перед нами море.

Что он ожидает там увидеть — для меня загадка.

Когда я сказал, что решил отдать ему каюту сына, он наклонил голову, как бы начиная в знак благодарности глубокий поклон, но затем снова резко вскинул ее и лишь слегка кивнул, словно мое решение было само собой разумеющимся.

*

Загадочная тропическая ночь!

В этом недружелюбном океане тепла дружелюбны только звезды.

В такую ночь человек должен многое забыть и простить. Я ничего не могу забыть.

И легко прощать не умел никогда.

*

В Ирландии я провел зиму и весь следующий год. Ничего особенного не происходило, но в той мерзости запустения и без дела было тяжело. На Рождество 1581 года меня вызвали домой. Из дикой, как окраины Московии, страны я сразу попал на роскошные святочные торжества королевы в Вестминстере.

Мне было двадцать семь лет. Чего я достиг? Мне пришлось быть капитаном на одном из кораблей Елизаветы, но плавание оказалось безуспешным. Мне довелось командовать отрядом добровольцев в армии Елизаветы, но та война славы нам не принесла. Возвращаясь из Ирландии к английскому двору, я не мог рассчитывать, что меня встретят фейерверками и барабанным боем. Однако одним махом я сумел возвыситься в глазах королевы. Каким образом? Сейчас расскажу. С помощью поэзии.

Я ее не писал. Она вообще не связана со словом. Чтобы понять, ты должен отказаться от мысли, что поэзия всегда и с необходимостью ограничена миром языка. Поэзия живет в людях и их поступках. Поэмой могут стать отношения мужчины и женщины. Такое понимание поэзии я соотношу с идеей абсолютной правильности. Обычно правильным мы называем то, что сказано лучшими словами в наилучшей последовательности, но речь может идти и о наилучших поступках в самой лучшей последовательности. Впрочем, скорее, *единственно* правильных поступках в *единственно* правильной последовательности. Вот что я понимаю под абсолютной правильностью, сын. Иногда у человека всего одна возможность, но, чтобы сделать единствен-

но правильный шаг, необходимо вдохновение.

И удача.

Я был удачлив.

*

В громадном медовом соте — Вестминстерском дворце королевы — через дорогу от Банкетного зала было Ристалище. На Рождество 1581 года там для развлечения гостя, которого Елизавета называла Лягушачьим Принцем, устроили травлю медведей. Лягушачьим Принцем был герцог Анжуйский, брат короля Франции и наследник престола, — никчемный человечиска с рябым лицом, вот уже шесть лет пытавшийся ухаживать за королевой. Елизавета не собиралась выходить замуж за Лягушачьего Принца, но ей не доставляло особых хлопот делать вид, что такой союз возможен. Ей не доставляло особого труда и услаждать герцога Анжуйского изысканными, но недорогими развлечениями. Вот почему медведей перевезли из Парижского парка, где их обычно держали, на арену у Банкетного зала.

Королева чаще всего смотрела такие представления со специальной галереи, на которую она попадала из Банкетного зала, миновав Холбейнские ворота и перейдя дорогу. Дорога была узкой и плохо вымощенной и в тот сочельник покрыта толстым слоем тающего льда и снега.

Я вез послание от лорда Грея графу Лестеру, и в тот момент, когда я приближался к Холбейнским воротам дворца, королева подошла к дороге с противоположной стороны. Вот так я оказался лицом к лицу с гордой изяшной женщиной, которая остановилась в замешательстве, не решаясь ступить в снежное месиво. Окружавшие ее лорды и леди тоже на мгновение застыли в нерешительности.

Я не колебался.

Я сотворил поэму.

Я сорвал с себя плащ, поклонился и разостлал его на дороге у ног королевы.

Елизавета захлопала в ладоши и рассмеялась. А потом ступила на плащ. Стоя на нем, она обернулась и спросила, как мое имя.

*

Учти, Кэрю, что в то время одежда составляла значительную часть моего состояния. Тот новый бархатный огненно-красный плащ я купил накануне специально для визита ко двору. Остальная часть скромных капитанских доходов пошла на другие пред-

меты моего наряда. Я расстилал перед королевой все, что имел. Чтобы избавить ее от минутного замешательства, я бросил к ее ногам мою жизнь и судьбу.

Так и сложилась поэма.

Елизавета шла по плащу очень осторожно. Перейдя дорогу, она велела мне поднять его. Она все прекрасно поняла. Леди и джентльменам из ее свиты пришлось преодолевать грязь кто как умел.

*

Больше ничего примечательного в тот день не произошло. Я доставил послание графу Лестеру, который не преминул заметить, что вид у меня такой, будто я только что вылез из ирландского болота. Меня это нисколько не задело. Я гордился грязью на плаще, словно это была кровь от полученных на войне ран.

Королева, не сомневаюсь, получила в тот день удовольствие от травли медведей. Но меня не забыла. Я ей запомнился. Не только красивой внешностью, молодостью или умом. А тем, что оказался в нужном месте в нужное время и сделал единственно правильный шаг. Это не так просто, Кэрю. Уж поверь мне.

И все же мне не стоит преувеличивать значение того шага. Елизавета сделала это за меня сама.

На следующий день, в Рождество, я был призван к Ее Величеству рассказать о военной кампании в Ирландии. По правде говоря, я успел только произнести свое имя. Когда я назвал его у Холбейнских ворот, она улыбнулась. Значения той мимолетной, едва заметной и загадочной улыбки я не понял. Теперь же она, откинув голову, рассмеялась во весь голос, и до меня дошло.

— *Уортор?* — переспросила она, передразнивая меня. — *Уортор Рори?*

Мой девонширский акцент забавлял ее с первого дня нашего знакомства. Она великодушно справилась о том, как мне удалось отчистить плащ. После долгой словесной игры с моим именем, которое она в конце концов переименовала на *Море*, — все это время она не отрывала взгляда от моего лица — я был отпущен с повелением явиться к лорду-гофмейстеру графу Суссексу в девять часов вечера того же дня.

Когда я прибыл к нему, мне сообщили, что королеве было угодно назначить меня оруженосцем Ее Величества. Это означало, что я присоединялся к небольшой группе молодых людей, охранявших каждый вечер Зал приемов и там же ночевавших. Зал приемов — это та часть Вестминстерского дворца, где ко-

ролева с советниками появлялась обычно в послеобеденное время, где двор королевы упражнялся в угодничестве и где давались аудиенции послам и другим официальным лицам. Позади Зала приемов были внутренние покои, где проходили трапезы королевы с полудюжиной ее фрейлин. За внутренними покоями — личные покои королевы, где она спала.

Грубый солдат, участник отвратительной войны, превратился в гвардейца личной охраны королевы. И все благодаря мигу, единственному вдохновенному жесту, которым я безмолвно объявил, что мечтаю сделать ее моей жизнью и моей судьбой. Когда я расстелил перед ней мой плащ, Кэрю, я расстелил перед ней мои мечты, и в ней достало женщины понять это.

Плащ мистера Чайлда был бы совершенно непригоден для этого случая.

*

В два часа ночи, когда пробило четыре склянки средней вахты, задул свежий ветер. Я оставил Роберта Барвика, хорошего штурмана, держать курс корабля на север до утра.

Громила и Верзила.

Клички медведей. Медведей, которые были на арене в то Рождество, когда Елизавета одарила меня своей первой милостью.

Особенно хорошо я помню Громилу: стоя на задних лапах в середине покрытого песком круга, громадный бурый медведь, прикованный цепью к столбу за заднюю ногу, отбивается от полудюжины английских догов. Собаки рычат, беснуются, впиваются зубами в своего неуклюжего противника, но медведь силен. Один мертвый дог уже валяется на песке. Вот в лучах декабрьского солнца снова сверкнули медвежьи клыки — и у другой собаки откушено ухо. Громила ревет, ревет собак когтями, так их бьет, разбрасывает и отшвыривает, что они, кувыркаясь в воздухе, летят за пределы круга. Медведь мотает головой, страшивая с морды кровь и слюну. Красные глаза, розоватые подушки лап, зловонное дыхание.

Герцог Анжуйский, Принц Лягушачий, хлопает в ладоши. Его руки похожи на белые перчатки, набитые мокрым песком. Лицо изрыто оспинами. Особенно нос, похожий на здоровенную клубничину.

Елизавета наблюдает за своим Лягушачьим Принцем, улыбаясь только губами — глаза ее остаются пронзительно-холодными. Длинные пальцы играют маленькой зеленой лягушкой из драгоценных камней, которую она носит на груди.

Новый оруженосец Ее Величества наблюдает за королевой.

Точно на север, мистер Барвик. На Polaris, Stella Maris¹, лучшую и ярчайшую звезду в созвездии Малой Медведицы. Точно на север, пока я сплю. Если, конечно, засну.

16

26 марта

Опишу ее такой, как увидел.

Я ее, конечно, видел и раньше. Но никогда так близко.

Раньше я видел Глориану. Теперь смотрел на Елизавету. Большой разницы не было. Разница мне открылась позднее.

Елизавета казалась высокой. Все дело было в привычке держаться прямо, не сутулясь. Длинная и гладкая, как слоно-вая кость, шея. Королева бледная и величественная. Красивая и высокомерная. Остатки крови Плантагенетов сказались и на внешности. Глаза, быстро менявшие цвет от золотистого к серо-му, когда она сердилась, сохранили скептическую резкость взгляда. И это несмотря на близорукость — попадая из темноты на свет, она терялась, беспомощно и недоуменно моргая. Во всем ее облике была какая-то стройность. На маленьких сухих губах часто блуждала та мимолетная иронически-загадочная улыбка, что я увидел впервые у Холбейнских ворот. В сорок восемь лет она была не раскрашенной восковой куклой в жестких воротни-ках, какой еще станет впоследствии, а призраком девушки с ры-жими, словно языки пламени, волосами, с удивительно красивы-ми руками (изящество которых она умела подчеркнуть), с быст-рым и цепким взглядом, всегда собранная и решительно-деловая.

Ангел небесный.

Дьявол во плоти.

Говорю я это не для красного словца. Королева была и ангелом, и дьяволом. Истинной женщиной. Ангел и дьявол бо-ролись друг с другом. И не только за ее душу. Но и за тело. В мире сама с собой она бывала только в танце. Танцы она любила истово. Тот, кто видел, как она танцует, видел в ней главное.

Английская Клеопатра.

Дева Альбиона.

Диана. Богиня луны. Геката. Фурия и дева. Жрица любви и девственности.

*В ней — свет и благо! А незрячий крот
Пускай к Цирцее низменной идет².*

Это строки из стихотворения, которое я когда-то написал в ее честь. Я оказался незрячим кротом, что в конце концов и привело меня к Цирцее.

¹Полярная звезда, звезда моряков (лат.).

²Перевод Г. Кружкова.

Все ночи я спал в Зале приемов. Я наблюдал за ее приходами и уходами. Я видел, как она флиртует с герцогом Анжуйским, а в его отсутствие смеется над Лягушачьим Принцем и его глупой влюбленностью. Я замечал, как она, прикрываясь рукой, незаметно зеваает, выслушивая своих советников. Особенно внимательно я следил за игрой, которую она вела с сэром Кристофером Хэттоном, вице-гофмейстером и начальником личной охраны Ее Величества. Она называла его "ягненок", "барашек" или "козлик". Я видел лукавые дразнящие взгляды, которыми они обменивались.

Красивый сорокалетний брюнет, Хэттон был ее самым частым партнером в танцах. Их танцы не были похожи на то, что мне довелось видеть ранее. Под звуки лютни и верджинела они танцуют при свете свечей в зале с многочисленными зеркалами; в их танце много подскоков, вращений, касаний рук, потом они вдруг останавливаются, начинают хлопать в ладоши и притопывать. Королева танцевала, словно убегая от Хэттона — так ребенок, играющий в салочки, петляет на бегу, стараясь запутать преследователя. В конце танца она бросает на него долгий взгляд; ее бледное лицо горит, золотистые глаза сверкают, сухие, слегка приоткрытые губы ловят воздух — и все это уже совсем не похоже на детскую игру.

Танцуя, они удаляются из Зала приемов во внутренние покои, Елизавета — впереди, Хэттон — за ней, а остальные оруженосцы стоят на месте и топают ногами в такт грохочущей музыке. Дверь во внутренние покои захлопывается, и на этом все кончается. Музыка смолкает, музыканты убирают инструменты, а мы, возбужденные и раздосадованные, тупо тарачимся друг на друга, но никогда ничего не говорим ни о возбуждении, ни о досаде.

А что касается закрывшейся двери — кто может подумать плохо об этом? Внутренние покои не пусты. В них постоянно находятся фрейлины королевы. Иногда я краем глаза видел ее там в окружении дам, одетых в белоснежные платья.

Если Елизавета пожелала увести Хэттона из Зала приемов во внутренние покои, то это ее право. О том, что происходило дальше, можно было только догадываться. Никто не решался рассуждать об этом вслух. Никто и не *догадался бы*, если судить по моему опыту, поскольку то, что происходило с Хэттоном, было, скорее всего, то же самое, что позднее происходило со мной, хотя я так и не удосужился у нее об этом спросить, а она сама мне так ничего и не сказала. Никто не смел дать волю распущенной фантазии. Разве доброе имя Елизаветы не было защищено от грязных и даже предательских подозрений тем, что в покоях королевы *всегда* находились фрейлины Ее Величества?

Все так. Все верно. Но этот рассказ умалчивает о двух важных обстоятельствах.

Во-первых, о возбуждении, которое вызывали танцы. И здесь я должен сказать, что в этих танцах — а они начинались в любое время дня, а чаще ночи, только когда на Елизавету находило соответствующее настроение, — участвовали, не считая королевы, исключительно мужчины, оруженосцы Ее Величества, расставленные в должном порядке вдоль зеркальных стен Зала приемов.

Во-вторых, не каждый танец заканчивался тем, что дверь закрывалась за двумя партнерами. Чаще дверь закрывалась только за одной Елизаветой. Приблизившись в танце к своим покойм, она изящным движением ножки, обутой в маленький золотой башмачок, захлопывала дверь перед носом Хэттона. И в этих случаях от возбуждения и досады страдал уже он. Но никогда не произносил ни слова. Лишь резко поворачивался кругом и, опустив голову, сжав кулаки и с трудом переводя дыхание, удалялся; часто лицо его кривилось в глупой усмешке, призванной показать, что ему все равно.

Но что определяло его судьбу в каждом случае — позволит ли ему капризная королева последовать за ней или же хлопнет дверь, — сказать было решительно нельзя.

И все же что-то мне говорило, что я у порога некоего открытия, в начале лабиринта великой тайны и что вместе с дюжиной оруженосцев Ее Величества посвящен, пусть неполно и однобоко, в нечто очень важное для нашей повелительницы Елизаветы.

*

Видимо, и без объяснений понятно, что эти странные загадочные танцы никогда не обсуждались при дворе и что никто и никогда о них даже не упоминал. Молчание было настолько глупым, что я не удивился бы, узнав, что кто-то принимал все происходящее за сон. Казалось, все подчиняется строгому неписаному закону. И молчаливо согласны в том, что, случись кому-то нарушить этот закон, неудовольствие королевы приведет нарушителя на плаху.

Я хранил молчание.

И никогда ранее до этих личных записок нигде и ничего об этом не писал.

Были, правда, смутные намеки в некоторых моих стихах — но позднее, и только в тех, что предназначались единственно для глаз королевы и, уверен, уже уничтожены.

В тех стихах я намекал и на тот, образно говоря, танец, который следовал за танцами.

Никто не говорил ни слова, никто не смел даже заикнуться

об этом, ибо рисковал головой. (Свидетельство тому – судьба лорда Эссекса.)

Но все это было позднее, когда я многое узнал сам, когда я занял место сэра Кристофера Хэттона.

Если смогу, я скоро расскажу об этом, хотя еще не решил, что следует открыть, да и следует ли вообще.

А пока, в то Рождество, в тот ослепительный Новый год, в то начало весны, я наблюдал.

Я наблюдал за королевой Елизаветой, а она наблюдала, как я наблюдаю за ней.

И музыка играла, и танцоры неслись в танце, и в сердце моем неистово билась горячая кровь.

*

Подули южные и юго-западные ветры. Сегодня мы проплыли еще девяносто миль, обойдя стороной испанский остров Порто-Рико, который Колумб окрестил Сан-Хуаном, а индейцы называют Боринквенном. Наше местоположение: 18° 50' северной широты и 66° западной долготы. Вечером я видел радугу в водяном смерче. Пугающее зрелище, но очень красивое. Радуга растаяла. Смерч остался. Когда я впервые его заметил, он был в полутора милях от корабля прямо по курсу. Затем он понесся по дуге и приблизился до полумили к нашему левому борту. Я не мог оторвать от него глаз. Если бы мы столкнулись с этим огромным смерчем, то, боюсь, шансов остаться в живых у нас было бы немного. "Поединку" удавалось держаться прямо за нашей кормой. Почти пятнадцать минут, пока в сгущающихся сумерках я не потерял его из виду, вертящийся столб воды все вкручивался в низкую черную тучу.

17

30 марта

Грот, фок, грот-марсель, фор-марсель, фор-брамсель, фор-бам-брамсель, грот-трюмсель, крьюс-бом-брамсель, лисель – мы плывем, подняв каждый клочок парусины, который может держать ветер и тащить корабль.

Какой восторг – стоять у штурвала!

Мне кажется, я чувствую, как напрягается и поет каждый брус корабля – от киля до салингов, от носа до кормы...

Потише, старый дурак. Уймись, мое сердце.

До чего же противоречива и неразумна наша плоть. Вот стою я, пьянея от счастья при малейшем повороте штурвала и

направляя зарывшийся в пену корабль к дому, где меня ждут беды и (может быть) смерть. Не так ли любуются стервятником, что на фоне солнца расправляет могучие крылья, готовый ринуться с высоты на падаль? Именно так, и сей грех мне ведом.

*

Выдержки из судового журнала.

27 марта. С шести до двенадцати ночи прошли сто сорок миль. Сильный южный ветер. Курс: северо-северо-запад. Пересекли двадцатую параллель северного полушария.

28 марта. Ночью ветер стих, но в девять утра снова задул, и до одиннадцати вечера мы сумели пройти сто двадцать миль прежним курсом.

29 марта. Последние сутки были пока самыми удачными. Сильный ровный южный ветер. Пройдено сто семьдесят миль. Курс: северо-северо-запад.

*

Сейчас полдень, 30 марта, ветер не ослабевает и несет нас по морю к дому. За последние двенадцать часов мы проплыли еще девяносто миль. За пять с четвертью дней, что минули с тех пор, когда мы снялись с якоря у Сент-Киттса, пройдено семьсот пятнадцать миль. Самая резвая скорость во всем плаваньи, которое началось в Плимуте почти год назад. Мистер Барвик высчитал, что в среднем за день мы покрываем расстояние в сто тридцать шесть миль и что подчас плывем со скоростью двенадцать узлов.

Это прекрасно — ничего не скажешь. Если дело пойдет так и дальше, то к Ньюфаундленду мы подойдем через тринадцать дней, а на весь путь затратим чуть больше восемнадцати суток. Хотя надеяться на это, видимо, глупо. И все же мне начинает казаться, что мое первоначальное предположение о целом месяце, необходимом на весь переход, чересчур пессимистично. Приняв все во внимание, вполне разумно заключить, что мы увидим гавань Сент-Джонса на Ньюфаундленде через три, а не четыре недели после прощания с Сент-Киттсом.

А сейчас, что бы ни сулило нам будущее — попутные или встречные ветры, — мы в одном дне пути от Сан-Сальвадора, небольшого острова, на который Колумб ступил в октябре 1492 года, считая, что нашел путь в Индию. Индейцы называют этот остров Гуанакхани.

Тем не менее вот уже три дня штурман нашего корабля Роберт Барвик, очень опытный моряк, говорит, что весной такие

сильные южные ветры необычны для этих широт. Он ссылается на календари: половина ожидаемых здесь ветров в течение года — восточные или северо-восточные; в марте и апреле их доля повышается до трех четвертей. Кое-кто из команды знает об этом. Я случайно услышал досужий разговор о том, что наше быстрое плавание "противоестественно" и "зловеще". Вчера в четырех-пяти милях к северу от корабля в море упал метеорит. Не сомневаюсь, это даст новую пищу для суеверной болтовни.

Нас плавно несет по морю, и работы у матросов немного. Курс постоянен, паруса установлены, надо лишь чуть выравнять корабль под ветер. Остальное от нас не зависит.

Небо над нами — бездонная чаша нежнейшей голубизны. Лишь у окоема я вижу молочно-белесые облака самых причудливых очертаний. По виду они напоминают сказочный лес. Так они изящны и таинственны.

Океан неторопливо и мерно дышит зыбью, лишь изредка над его ровной поверхностью появляются, словно брызги расплавленного металла, стайки летучих рыб.

Настроение мое заметно улучшилось. Оказывается, достаточно просто двигаться, просто плыть под парусами. Решение моих проблем ничуть не продвинулось вперед. Моя жизнь исковеркана. И все же я не впервые замечаю, что любое действие уже само по себе облегчает мучения, терзавшие мой мозг. Терзавшие? В прошедшем времени? Слишком оптимистично. Мое горе плывет со мной, во мне, и, решившись на что-то, я лишь немного уменьшил боль.

И ем я теперь лучше. Появился аппетит. Сегодня рано утром я съел на удивление обильный завтрак.

*

Как я уже говорил, со времени нашего отплытия с Сент-Китса индеец держится замкнуто и настороженно.

Сначала я объяснял его настроение неуверенностью, которую, вполне понятно, чувствует человек, впервые оказавшийся среди безбрежных водных просторов. Но все мои попытки подбодрить и успокоить его он встречал совершенно равнодушно.

Большую часть дня он стоит, облокотившись на фальшборт, и смотрит на море в каком-то сосредоточенном забытьи; кожа его лица, рук и ног мало чем отличается от темной корабельной древесины. Ночь он проводит в каюте Уота.

Обрати внимание, я не написал *спит*.

Не уверен, что индеец спит по ночам. Не поручусь и за то, что днем он просыпается. Почти все время он находится в каком-то странном состоянии — между бодрствованием и сном.

Сегодня днем, во время первой полувахты, я попытался вы-

вести его из оцепенения, заговорив о смерти Паломеке.

— Что ты скажешь, — спросил я, — если я признаюсь тебе, что не верю в рассказ о том, как ты убил своего испанского господина?

Наши взгляды встретились. Он не отвел глаз. Его массивные челюсти продолжали методично жевать лист *коки*.

Помолчав, он пожал плечами и сказал:

— То, во что верит Гуаттараль, неважно.

Его ответ рассердил меня.

— Что же тогда важно, по твоему разумению?

— То, что я знаю, — ответил он.

Я мысленно сравнил его жизнь, проведенную в далеких, богом забытых местах южноамериканского континента, с моей и рассмеялся.

— Ты очень самоуверен.

— Нет.

— Тогда объясни подробнее.

— Я говорю только, что важно знание. То, что я знаю. Что Гуаттараль знает. Важно то, что человек *знает*. А не то, что он думает, во что верит.

— Но ведь в жизни много такого, что принадлежит вере, а не знанию, — возразил я.

— Что, например? — спросил индеец.

— Например, бог, — ответил я.

Индеец молчал.

Он жевал. И смотрел вдаль.

— Ты веришь в бога? — спросил я.

Он сплюнул. Покачал головой.

— Нет? — удивился я.

Индеец перекатил комок во рту за другую щеку.

— Я не верю в богов. Я знаю.

— Знаешь?

— *Знаю*.

— Что знаешь?

— Знаю богов.

Меня ставит в тупик его смена акцентов. На сей раз я еще почувствовал и стыд. Как и королева Елизавета, я никогда не испытывал желания прорубать окна в человеческой душе, чтобы наблюдать за ее тайнами. Понимание индейцем божественного при всей своей странности весьма просто. Его убежденность в том, что он *знает* то, что знает, а не просто верит в сказанное, поражает меня своей моральной силой.

Теология и наука для него едины. Его мир совсем не похож на мой.

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Возьмем такой факт, как смерть Паломеке. Это совсем другое дело. Я могу только верить или не верить в то, что ты говоришь мне.

— Нет, — сказал он. — Ты знаешь.

— Что знаю?

— Ты знаешь правду, — сказал он. — Я убил Паломеке. Я убил и твоего сына. И ты простил меня. Ты отдал мне его каюту. Я долго смотрел на него. Молча. Он не поднимал глаз.

Возможно, я схожу с ума, но должен признать: он говорит правду. Я действительно знаю. Он действительно убил Паломеке. Он действительно (в каком-то смысле) убил Уота.

Я не "верю" в это. Не знаю, как можно верить в такие вещи. Я это знаю.

И я простил его.

Себя, однако, я не простил. Хотя, возможно, это лишь иной способ сказать, что, понимая правоту индейца, я не понимаю, каким образом и зачем получил это знание и что мне с ним делать. Не постигаю я и его истинного смысла.

*

Елизавета избавилась от своего Лягушачьего Принца.

Она проплыла с ним по реке до Грейвзенда. При расставании в Кентербери она сумела всплакнуть. Подозреваю, что в носовой платок она спрятала луковицу. Принц Анжуйский отправился с каким-то идиотским поручением в Нидерланды, его сопровождали граф Лестер и сотня английских дворян, одолженных принцу по этому случаю королевой Елизаветой. В этой сотне был и я.

Вильгельм Молчаливый¹ жил в Антверпене, оправдывая свое имя. Принца Анжуйского он видел насквозь. Раздосадованный принц отбыл в Париж. Королева потребовала от Лестера немедленного возвращения в Англию. По ее мнению, мы тратили слишком много денег.

Когда я возвратился из Антверпена, двор находился в Гринвиче.

В то время много говорили об Ирландии. Я высказал несколько критических замечаний о проводимой там политике. В частности, сказал, что нельзя задерживать плату нашим солдатам. Английские солдаты, не получая денег, начинали грабить местное население. Говорил я и об ошибках Грея. Лорд Барлей, советник королевы, заносил все на бумагу.

Елизавета нашла мою критику разумной.

Я завладел ее вниманием в мгновение ока. Сначала ее привлекало мое красноречие. А вскоре она уже искала моих советов по самым разным вопросам. Сэр Роберт Нонтон, протеже Эссекса, как-то презрительно заметил: я-де стал для королевы чем-то вроде оракула, что всех их, понятно, глубоко задевало.

¹ Имеется в виду Вильгельм I Оранский (1533–1584).

*

Сэр Кристофер Хэттон — "барашек" Елизаветы, ее "ягненок" и "козлик" — был уязвлен более других.

Танцы продолжались.

Но дверь во внутренние покои королевы захлопывалась перед его носом все чаще и чаще.

Думаю, Хэттон раньше меня понял, что его танцы с Елизаветой уже сочтены и что место рядом с ней суждено занять мне.

Благоволение королевы ко мне росло всю весну 1582 года. Фрэнсис Бэкон (уж ему ли не знать!) как-то сказал: "Всякий подъем к величию идет по винтовой лестнице".

Я был на ступенях. И поднимался.

Коль духом слаб...

Нет, осилил.

Что же я увидел из окна башни с винтовой лестницей? (Кроме собственных строк, нацарапанных бриллиантом на стекле.)

Я увидел блистательный, поклоняющийся идолу двор королевы.

Я увидел всевластие мужской силы.

Вид из окон мне нравился. Очень нравился.

*

Наступило лето. Хэттон отправился в добровольное изгнание. В октябре он послал к королеве в Виндзор своего друга сэра Томаса Хениджа. Королева в зеленом костюме для верховой езды, отороченном золотом, была уже в седле, готовая отправиться на охоту. Хенидж привез дары от Хэттона. Драгоценные камни, выложенные в виде книги, кинжал и маленький серебряный ковшик.

— Что это значит? — спросила королева.

Я объяснил ей символы.

— Сэр Кристофер клянется (на Библии), что убьет себя (кинжалом), если Ваше Величество не отдаст меня.

— Отдаст вас? Объясните.

— В этот миниатюрный ковшик, в этот наперсток, много *воды* не нальешь.

Королева рассмеялась.

— Я pošлю ему птицу, — сказала она.

— Птицу?

— Вроде той, что всевышний послал к ковчегу объявить свой завет об окончании потопа.

Значение символа было неясным. И послала она не голубя. Кроме того, не могла же она послать вместе с птицей и вещь радугу.

Что, видимо, хотя бы отчасти объясняло, почему Хэттон продолжал дуться.

Два месяца спустя он прислал королеве небольшой шарообразный сосуд. Не сомневаюсь, он хотел сказать, что всех водяных тварей, всяких там рыб, следует держать в заточении.

— О, — сказала Елизавета, — рыба в тюрьма.

И повернулась ко мне.

— Как я должна это понимать?

— А рыба там есть?

— Посмотрите.

Она протянула мне блестящий сосуд. Там плавало несколько мелких рыбешек.

— Не знаю, — начал я осторожно. — Может, этим хотят сказать, что баранина предпочтительнее.

Елизавета улыбнулась.

Она отослала Хениджа назад с поручением сказать сэру Кристоферу, что вода и все водяные твари привлекают ее меньше, чем тот считает. Она всегда предпочитала скорее мясную, чем рыбную пищу. По ее мнению, мясо питательнее.

Хэттон был удовлетворен.

Он вернулся ко двору.

И они снова пустились в пляс.

Но, вышагивая и задирая ножки в танце, Елизавета все внимательнее наблюдала за мной. Ее холодные глаза почти не отрывались от меня, красивые длинные руки вспархивали и трепетали. Ее взгляд пронзал меня. Как я мечтал поцеловать ее руку! В то время я сочинил об этом довольно-таки скверное стихотворение. Оно начиналось так:

*Глаза, что правят ихунами сердец,
И руки, что владеют сердцем глаза.*

Ужасная мешанина. Но все во мне тогда смешалось.
Я ждал.

*

Горизонт. Вокруг один горизонт.

Дельфины и черепахи, прыгая и кувыряясь, дурачатся в прозрачной воде. Следить за какой-либо одной тварью удается только несколько мгновений.

Ветер дробит гребни волн на мельчайшие капли, в которых солнечные лучи играют мириадами радуг. Нежно-голубая поверхность моря кое-где вобрала в себя золотистые и оранжево-розовые краски неба.

Когда я стою у штурвала, то чувствую, что держу в руках

весь корабль. Как держал бы, положим, яблоко.

Мой адмиральский флаг. Полощется на ветру.

Пять серебряных ромбовидных фигур на голубом поле.

Мой герб, запечатленный на флаге, струится со стены.

На нем девиз:

AMORE ET VIRTUTE.

Любовью и отвагой.

Я ощущаю себя частью корабля. Когда напрягаются мачты и надуваются паруса, я чувствую, как сжимается мое сердце.

И все же я презираю себя за столь вульгарные чувства. Не сомневайся, море — это пастбище дураков. И один из них — я.

18

6 апреля

Ветер гонит нас на север. Он теперь хозяин моей "Судьбы". Ветер гонит нас все быстрее и быстрее.

За прошедшую неделю мы прошли еще восемьсот миль. Сейчас мы находимся на широте мыса Гаттераса и острова Роанок. То есть на тридцать второй параллели.

От Ньюфаундленда нас теперь отделяет около тысячи миль.

Море вот уже два дня покрыто пятнами плывущих водорослей, предвещающих Гольфстрим. Погода меняется, воздух посвежел.

Остров Роанок. В 1585 году я послал туда семь кораблей под командованием моего кузена сэра Ричарда Гренвилла. Он основал там колонию и вернулся домой. С этого началось мое разочарование Новым Светом. Дружественных индейцев колонисты умудрились превратить во врагов, как говорится, в одночасье. Им еще повезло: Фрэнсис Дрейк, возвращавшийся из каперского похода в Карибское море, взял их на борт своих кораблей и за плату отвез в Англию.

Я потерял деньги, но не надежду. Впрочем, лучше б было наоборот. Два года спустя после неудачной попытки основать колонию на земле, названной мной Виргинией (в честь королевы-девственницы), я отправил в те же края сто пятьдесят пионеров. Среди них было семнадцать женщин. На звездообразных руинах старого форта был построен новый. Губернатором назначили Джона Уайта.

Какое-то время, будто в насмешку, казалось, что колония может укорениться и даже вырасти. Летом 1587 года на Американском континенте родился первый английский ребенок — дочь Элеонор и Ананиаса Дзаров. Они, конечно, назвали ее Виргинией. Но затем выдержка изменила поселенцам. Они послали Джона Уайта в Англию: им не хватало лопат, семян, топоров — словом.

тех небольших достижений цивилизации, которые должны были уберечь их от вымирания.

Уайт назад не спешил. Предприимчивостью он вообще не отличался — предпочитал рисовать акварелью растения и животных. У Бесс до сих пор хранятся несколько его зарисовок из жизни индейцев. Ты их, наверное, видел в доме на Брод-стрит.

Как бы то ни было, когда Джон Уайт наконец вернулся на Роанок, он обнаружил, что поселенцы покинули маленький форт.

Там не было никого.

И ничего.

У них был условленный сигнал на случай опасности. На бревне ограды форта следовало вырезать мальтийский крест и знак, говорящий о том, что случилось. Никакого креста найти не удалось. Единственное, что сумел обнаружить Уайт, — это дерево, на коре которого были выбиты буквы.

Вот они:

C R O

Что случилось с колонией Роанок? Может, поселенцы ушли жить к индейцам? Может, их всех истребили? А может, произошло что-нибудь еще?

Уайт ничего не выяснил. И я не возьмусь строить догадки.

В течение многих лет я тешил себя мыслью, что Виргиния Дзар жива. Я воображал, что когда-нибудь (возможно, столетия спустя) в глубине Американского континента найдут племя светловолосых и голубоглазых индейцев.

Но это все выдумки.

А урок следует извлечь практический. И состоит он в том, что от каждого из нас может в конце концов остаться только несколько загадочных букв на древесной коре, значение которых будет неизвестно тем, кто найдет и прочтет их в будущем.

Не такая ли судьба ждет и эти записки?

*

А вот и нечто определенное, без всяких предположений. Вчера весь день я мучился морской болезнью. Видимо, виной всему сильнейший ветер. Корабль то задирает нос, то взбрыкивает кормой и зарывается в волну. Мои внутренности взбунтовались. Рвало меня беспрерывно.

Сейчас мне вспомнилась старая шутка Сэма Кинга.

— Знаете, какое самое верное средство от морской болезни, адмирал?

— А что, есть такое?

— Есть, и притом единственное.

— Средство от морской болезни? Так быстрее же. Не томи, выкладывай...

— Надо посидеть под вязом, — сказал Сэм.

— За борт чертова комедианта! — заорал я.

Но приступ смеха на минуту остановил рвоту.

Давно это было, тогда мы плыли в Кадис.

Вчера весь день думал об этом, даже тужась над тазом в моей каюте. Боже милостивый, как страстно я мечтаю о ровной английской лужайке под ногами и прохладной тени вяза над головой! Отдал бы все золото Гвианы, только бы избавиться от мучений и оказаться на зеленом девонширском поле, бог с ним, с деревом, лишь бы чувствовать под собой твердь и не выворачиваться наизнанку.

Должен, однако, заметить, что индеец оказал мне немалую услугу.

То ли он сам услышал, что мне плохо, то ли ему сказал об этом мой паж Робин, но сегодня на рассвете он пришел ко мне в каюту с новой порцией листьев *коки*.

— Ешь, — сказал он.

Есть коку мне не хотелось, но он настоял.

А теперь вижу, что средство подействовало. Рвота прошла. Живот успокоился, стальной обруч уже не сжимает виски.

Прекрасный лист.

Я всегда питал слабость к хорошим лекарствам и эликсирам. Когда медики признали принца Генриха безнадежным — испробовав кровопускание и все остальное, — они согласились дать ему хинин, приготовленный мной по велению королевы Анны. (Она прислала своего гонца ко мне в Тауэр.) Хинин не спас жизнь принцу Генриху. Но вернул ему на время сознание и силы. Если бы ко мне обратились пораньше!

Уверен, что хинин излечил бы его от любой лихорадки.

Но не от яда.

Неужели принца Генриха отравили? Если да, то кто и как? Он был моей надеждой, надеждой всей Англии — благородный сын подлого отца, полная противоположность нашему гнусному королю Якову. Если бы он был жив, меня бы освободили из Тауэра еще до Рождества 1612 года. Если бы он был жив, я бы закончил свою "Историю мира", которую и писал-то прежде всего ему в назидание.

Но я забегая вперед.

Со временем я расскажу о жизни Генриха — и о его смерти тоже. А пока достаточно отметить, что для многих поколений моя "История мира" будет еще одним монументом человеческому отчаянию. Я сумел дойти лишь до римского завоевания Македонии.

Кока. Я снова расспрашивал о ней индейца. Это, пожалуй, единственный предмет, о котором он охотно говорит, хотя сказанное им подчас бессвязно или непостижимо.

— Как ты догадался, что лист излечит меня от морской болезни? — спросил я — ведь он никогда прежде не видел моря.

Он пожал плечами.

— Лист лечит многие болезни, — сказал он.

— Ты говорил мне, что им питается Золотой Человек?

— Да.

— Что это значит? Кто этот Золотой Человек?

Он отвечал, конечно, по-испански, как всегда в наших беседах, хотя и для него, и для меня язык этот не родной.

— Эль Дорадо, — ответил он.

— Старая басня, — сказал я ему. — Эль Дорадо означает *позолоченный*. Эту историю твои соплеменники рассказывали испанцам — наверняка чтобы завлечь их и поразить или же чтоб порадовать дураков, искавших богатства вроде найденных в Перу. Этот Эль Дорадо был индейским вождем, которого раз в год обмазывали живицей, обсыпали золотой пылью, а потом бросали в озеро. Разве не так?

Индеец пожал плечами. (До чего же мне осточертело это пожимание плечами! Он будто отмечает все, что бы я ни сказал...)

— Похоже, — сказал он. — Хороший лист.

С последним утверждением я был готов согласиться.

— Разумеется. Но хороший лист или плохой, это не имеет никакого отношения к вымыслам об Эль Дорадо.

— Хороший лист, — повторил индеец. — Он заставляет голову понять то, что знает сердце.

— *Кока*, — не унимался я. — Слово *кока*. Что оно значит?

— Дерево.

В тоне, каким он произнес это слово, послышалось что-то благоговейное.

— Какое дерево? — спросил я. — Дерево Познания? Дерево Жизни?

— Нет.

— Дерево Золотого Человека? — настаивал я. — Может, дерево Эль Дорадо?

Индеец покачал головой.

— Дерево, — повторил он.

Итак. Листья *коки*, кажется, являются одновременно и основой его философии или веры, и средством ее выражения. Одним словом, для него они играют *сакраментальную* роль.

Он сказал мне, что *кока* — священное дерево чибчей. Священным его считали и инки.

Я переспросил его несколько раз, что он имеет в виду, но он

не мог или не хотел объяснить. Создается впечатление, что я приблизился к какой-то тайне, чему-то необъяснимому вне собственного замкнутого смысла, к точке, в которой его мир и мой взаимоисключают друг друга и не могут быть соположены. Однако кое-что из его рассказа я все-таки понял: хотя его племя почитает дерево *кока*, оно ему не поклоняется. *Коку* приносят в жертву солнцу, сжигают в честь идолов, ею окуривают жертвенники. Он говорит, что жрецы племени должны жевать листья *коки* во время религиозных церемоний, чтобы, насколько я понял, умиловить богов. Места, где растет *кока*, почитаются как святилища.

Путем дальнейших расспросов я выяснил, что дерево известно им с глубокой древности, что съевший *коку* перед смертью попадает в рай, что листьями лечат раны и сломанные кости, малярию и другие лихорадки и что главное их назначение — поднимать духовные силы. Чибчи считают, что листья *коки* как ничто другое укрепляют дух против отчаяния и очень эффективны в борьбе с любыми напастями. Листья очищают кровь и омывают душу. И все же, говорит индеец, *кока* прежде всего пища, и если листья есть регулярно, то человек не испытывает потребности ни в какой другой (более низкой) пище. Он утверждает, что, питаясь только листьями, человек может идти без сна много дней подряд. *Кока* обостряет ум и придает телу силы. Он снова вспомнил, как бежал за лошадью Паломеке. Листья *коки*, говорит индеец, спасли ему жизнь.

От себя скажу, что это лекарство вылечило меня от проклятой морской болезни. А если вдуматься, то, видимо, и помогло мне преодолеть мучительное состояние нерешительности, владевшее мной все время, пока мы стояли на якоре в бухте Невиса. Из чего я заключаю, что *кока* — просто добротный эликсир, ничего волшебного в ней нет, но человеческую выносливость она повышает. И помогает утвердиться в том, что уже решено.

Сейчас вместо мук морской болезни я ощущаю ароматный вкус *коки* во рту и приятное спокойствие в желудке — у меня такое чувство, будто я только что с большим аппетитом съел сытный, но не очень обильный обед. Я также заметил, что пульс мой участился и что голова участвует в общем возбуждении организма. Время от времени я испытываю радостную отъединенность от внешнего мира, сопровождаемую неодолимой тягой к деятельности и движению, которую прогулка по палубе утолить не может. Несколько минут назад меня потянуло взобраться на мачту — и, к удивлению мистера Барвика и других офицеров корабля, я не отказал себе в этом удовольствии. Вскоре, однако, на меня снизошло спокойствие, приправленное чувством глубочайшего удовлетворения; сознание остается совершенно ясным и даже острее обычного.

*

В таком настроении я возвращаюсь к странствиям прошлых дней. Всю предыдущую неделю, закончившуюся жесточайшим приступом морской болезни, у меня не было желания копаться в прошлом. Сидеть, уставившись на перо и бумагу, мне было нужнее, чем писать. Или, скорее, мне было *все равно* — писать или не писать. В каком-то смысле я был парализован. Сейчас мне кажется, что таким состояниям я был подвержен всю жизнь. И с этой точки зрения Тауэр был для меня очень подходящим местом, совершенным символом моей внутренней тюрьмы. Без сомнения, за это я ненавидел его еще больше.

Сегодня вечером тем не менее я, похоже, начинаю понимать, что имеет в виду индеец, когда называет свой лист божественным. *Кока* дает покой и уверенность, а также обостренное ощущение настоящего, тоже спокойное и уверенное, и при этом понуждает память странствовать в прошлом и добираться до его сути, но отвращает все пустые или честолюбивые заботы о неисповедимом будущем.

В таком состоянии духа человек остается один на один с богом, что бы он под этим словом ни понимал.

В таком состоянии духа я снова погружаюсь в воспоминания.

*

Елизавета не была ни скупой, ни скаредной. Но больших денег на своих фаворитов она не тратила. Не могла. Доход ее составлял, видимо, около четверти миллиона фунтов в год, изредка больше. Сумма с первого взгляда огромная, но этого должно было хватить и на государственные расходы, и на ее личные нужды. Помню ее восторг, когда она получила двести пятьдесят тысяч фунтов от в общем-то во всех остальных смыслах бесполезного кругосветного плавания коротышки Дрейка.

Однако пусть королева и не могла дать денег, но она давала возможность преуспеть.

Я всегда предпочитал последнее.

В течение года, следовавшего за моей сообразительной жертвой плаща, меня вознаграждали нарядами. Ее Величеству доставляло удовольствие видеть меня красиво одетым. Каждый подарок сопровождался намеком на мой поступок. Помню, например, снежно-белый костюм, доставленный мне с ее запиской, в которой упоминалось "столь изысканное и своевременное предложение великолепного коврика".

К тому же она не упускала случая показать мне в танце свои маленькие ножки: королева часто сбрасывала мягкие

танцевальные туфельки и порхала по Залу приемов босиком.

Ножки ее поражали крохотным размером и изяществом.

Ступала она ими с грацией газели.

Когда Елизавета шла, казалось, она танцевала, а когда танцевала, казалось, она летает над полом.

Как ты видишь, она меня околдовывала все сильнее и сильнее.

*

Кокетство Елизаветы было поразительным для современного монарха.

Я часто видел, как она пощипывала рыжую бороду Роберта Дадли, графа Лестера — в те времена моего самого влиятельного покровителя. Даже на публичной церемонии, когда он был пожалован графской цепью, она на глазах у всех пощекотала ему шею, отчего, как ей потом доложили, шотландского посла прямо перекосило. Как-то рано утром, проезжая верхом по парку мимо покоев королевы в Виндзоре, Лестер заставил своего шута устроить такой гвалт, что королева не одетой подошла к окнам выяснить, что происходит. В другой раз летом, катаясь по Темзе, королева позволила Лестеру положить голову к ней на колени; испанский епископ Куадра, чтобы скрыть смущение, предложил их тут же обвенчать.

Когда Лестер действительно женился, он впал в немилость к королеве, но вскоре его жену, Эми Робсарт, нашли у подножия лестницы со сломанной шеей. Говорили, что, испытав неудовольствие королевы, граф пожалел о своем опрометчивом поступке. И столкнул Эми Робсарт с лестницы. Или заставил своих слуг столкнуть ее. Но это было недоказуемо.

Теперь Лестер был женат вторично, и расположение королевы к нему, естественно, не увеличилось. Но все же время от времени я слышал, как она по-прежнему обращалась к нему "мой милый Роберт". Многие утверждают, что, если королева когда-либо серьезно думала о замужестве, мужем своим она видела только Лестера. Я сомневаюсь в этом, и не только потому, что Лестер страдал бессилием и должен был возбуждать в себе похоть с помощью раствора жемчуга и янтаря.

Главное все же, что как бы королева ни любила какого-то мужчину, Англию она любила сильнее. Она считала себя обрученной со своим королевством. Она любила флиртовать, обещать, намекать, а в уединенных покоях — как я скоро должен буду рассказать — и того больше. Но когда дело доходило до самого большого доступного человеку подарка, то есть до замужества, Елизавета была прежде всего королевой, а потом уже женщиной. Коронационное кольцо она считала обручальным.

Ее единственным законным мужем могло быть только королевство.

Итак, Елизавета была мудрой и ветреной одновременно.

Именно мудрость позволяла ей быть ветреной. Именно потому, что она не принадлежала ни одному мужчине, она могла флиртовать с любым, кто ей нравился.

Я ей нравился в моих новых великолепных костюмах.

В этом есть что-то унижительное, но это правда, и я должен ее признать. В королеве было достаточно женского, чтобы оценить и мой ум, и мое тело. Я знал это, знал я и муки стыда, появляясь перед ней в дареных костюмах, сшитых так, чтобы подчеркнуть мои мужские достоинства. При дворе было немало тех, кто презирал меня из ревности. Я был в их глазах только игрушкой, любимчиком Елизаветы. Но я сносил их презрение, лишь выше поднимая голову.

Когда я говорю, что королева давала возможность преуспеть, то имею в виду те выгодные посты и ту собственность государства, которыми распорядилась, естественно, только она. Все знали, чем она любила одарять своих фаворитов; это были права, монополии и имения, которые отбирались у слишком уж приверженных земному прелатов церкви. Она даровала сэру Кристоферу Хэттону фригольд на имение Или в Холборне; ранее оно было лондонской резиденцией епископа Илийского.

Большую часть промозглого ноября 1582 года некогда драгоценный "барашек" королевы изнывал от тоски в том самом Или. Когда он все же появлялся при дворе, то самые злобные взгляды приберегал для меня. Бедный Хэттон! Он впал в такое отчаяние, что даже занялся литературой. Особых талантов он в этом не обнаружил. Впрочем, сумел-таки накропать четвертый акт трагедии "Танкред и Жизмунда"¹. Восторгов она не вызвала, королеву не впечатлила.

Первым признаком расположения королевы ко мне – не считая, понятно, целого гардероба экстравагантных плащей и изяшных дублетов – явилось назначение меня командиром большого отряда солдат, отправляемых в Ирландию.

Я поблагодарил ее за признание справедливыми моих замечаний о политике Англии в стране зеленой дикости и тут же выразил сожаление, что буду вынужден лишиться ее общества.

– Так не лишайтесь его, – сказала она с улыбкой.

– Я не понимаю вас, Ваше Величество.

– Назначьте заместителя, – сказала Елизавета.

Я повиновался. Таким образом, ратное дело приносило мне

¹"Танкред и Жизмунда" – пьеса Р. Уилмота и других (акт II написан Генри Нозлем, акт IV – Хэттоном), опубликованная в 1591 году. Сюжет пьесы основан на одной из новелл "Декамерона" Боккаччо.

кое-какие доходы, но не отвлекало от двора и не удаляло от королевы.

Назначение говорило о том, что Елизавета желает моего возвышения, но не хочет отпускать от себя.

Мне говорили, что лорд Грей в Ирландии сильно гневался. Хэттон в Лондоне бесился не меньше — это я уже видел сам. Я начал брать уроки у учителя танцев на Стрэнде.

*

Прозвища, которыми Елизавета награждала своих приближенных, обычно бывали меткими. С первого взгляда они казались просто ласковыми кличками, каламбурами или игрой слов, но часто в них скрывался и более глубокий смысл. У меня *действительно* есть что-то общее с морем, с водной стихией. Мой характер изменчив и непостоянен. Чтобы определить курс, мне нужны берега и пределы. Чтобы наполнить жизнь содержанием, мне необходима какая-то внешняя цель. Сейчас она у меня (наконец-то!) снова есть — мой корабль бежит к ней по волнам. Меня назовут сумасшедшим — ведь корабль плывет к дому, к моей смерти. Пусть говорят что угодно. Я скажу лишь, что все странствия заканчиваются в одной и той же гавани.

*

Несколько раз на прошлой неделе мое представление о самом себе было поколеблено странной ошибкой индейца. Это абсурдно — но его фантазии мгновенно переворачивают все с ног на голову. Он бывает очень bestолков, когда говорит о том, что выходит за пределы его собственного опыта.

— Королева-смерть, — сказал он как-то. — Она освободила Гуаттарала.

— Что?

— Королева севера. Она освободила тебя, чтобы ты умер. Я объяснил ему, что он ошибается. Что меня освободил король Яков.

— Нет, нет, — сказал он. — Твой враг. Королева-смерть.

Переубеждать его бесполезно. Он уже давно вбил себе это в голову.

*

Ветер стих, но водоросли плывут быстрее. Насколько я знаю, Гольфстрим течет здесь на северо-восток, а потом на восток со скоростью семьдесят миль в сутки. Это явление я наблюдал в

водной безбрежности, называемой Атлантическим океаном, и раньше.

Сейчас я во власти течения, неумолимо влекущего меня к смерти.

Север.

Сначала на север, потом на восток.

Тяжелые привычные слова!

Скоро мы будем плыть по более холодным и строгим морям.

Что-то во мне любит холод. Уважает. Приветствует встречу со льдом.

Как магнит: тянется к северу, холоду, строгим определениям.

*

Когда, мучимый лихорадкой, я приплыл в прошлом ноябре к побережью Гвианы, то сразу же послал своих людей найти моего старого слугу-индейца Леонарда, который провел со мной в Таузре целых три года.

Я попросил выяснить судьбу и другого слуги, индейца Гарри.

Гарри прислал ко мне брата и двух вождей.

Помню письмо, которое я отправил Бесс на следующее утро с капитаном Янсоном из Флашинга, торговавшим на побережье.

Я не тешу себя мыслью, что мог бы стать королем здешних индейцев, писал я. Но имя мое еще живо в их памяти. Они кормят меня свежим мясом и всем, что родит их земля. И готовы подчиняться мне во всем.

Дорогая Бесс, прости меня за ложь — я хотел успокоить тебя. Жестокая правда состоит в том, что я больше месяца вообще не мог есть никакого мяса. Леонард так и не появился. А Гарри, который все-таки пришел ко мне, почти совсем забыл английский язык.

19

13 апреля

В полночь 8 апреля, пять дней назад, все паруса сникли так неожиданно, словно гигант, надувавший их, скоростижно испустил дух. Мой флаг свисал с грот-мачты длинной мокрой тряпкой. Как я сам убедился, свеча, вынесенная на полуот, горела совершенно ровным пламенем.

Приказав убрать все паруса, я спустился в каюту. Спать я не мог. Меня охватило грозное предчувствие надвигающейся беды.

Опасения подтвердились. Шторм налетел незадолго до рассвета.

Мне не с чем сравнить неистовую силу первого удара. Выйдя из каюты, я почувствовал, что корабль дрожит всем своим существом. В последующий миг под оглушительный раскат грома расвирепевший океан вздыбился у правого борта и обрушил на нас зеленую башню воды: ревушим вспененным валом матросов сбивало с ног, смывало в трюм или за борт, а мощные орудия катало по палубам, словно детские игрушки.

Моя "Судьба" крутилась, как пробка в кипящем котле. Вопли, крики и стоны друг друга мы не слышали, слова уносило ураганом, как только они срывались с губ.

И тут нас ударила вторая волна — она накрыла корабль до грот-рей. От удара я потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что меня отнесло на корму, где и зажало между рулем и ахтерштевнем. Я с трудом поднялся на ноги. Небо распарывали зигзаги молний.

В этот момент я увидел индейца.

Первой моей мыслью было, что бедняга рехнулся. Высоко вверх он привязал себя белой веревкой к грот-мачте. На мгновение я решил, что это видение.

Нас бросило с гребня волны в кипящий водоворот. Грохот грома, визг талей, треск лопающихся канатов. Предрассветную мглу снова прорезала вспышка молний. Я увидел, что фигура на мачте — не видение. Это был сам Кристоаль Гуаякунда. Его лицо искажилось от крика, услышать который было, конечно, невозможно. Вот он взмахнул правой рукой, тыча куда-то пальцем. Он показывал мне за спину, в море, за корму корабля.

Налетела третья волна, не столь страшная, как предыдущие. "Судьба" нырнула, накренилась, но через минуту, оправившись от удара, выровнялась. Я почувствовал, что по лицу у меня льются струйки дождя. Этот добрый знак я приветствовал криком. Какое-то чутье подсказало мне, что свирепая ярость первых двух ударов не повторится и что дождь полил не зря.

Как бы подтверждая мои ожидания, гром пророкотал уже справа, молнии исчезли, а волны били в борт уже не с такой исполнинской силой, как раньше. Нет, шторм не стих, шквал был в канатах и вантах, как черт в аду, но корабль держался на волнах, потрепанный, но не сдавшийся, не сломленный, может быть, и вовсе неистребимый.

Дождь хлестал по лицу, а я благодарил бога. Эти падавшие с неба большие капли были для меня слаще любого вина. Над горизонтом показалось солнце. Желтое и мутное, едва видимое за черными тучами, но *солнце*.

Вспомнив об индейце, я взглянул наверх. Он все еще висел на мачте. Когда я разглядел его фигуру в тусклой пелене дождя, он снова показал рукой куда-то мне за спину. Он что-то кри-

чал. Ветер уносил звук его голоса прочь. Как только шквал на мгновение ослабел, он закричал снова. На сей раз я услышал его.

— Другой корабль! — кричал он. — Другой корабль!

Я повернулся, цепляясь за расщепленные брусья ахтерштевня. Моя нога болела, руку сильно поранило при первом ударе налетевшего урагана. Кровь сочилась сквозь рукав и текла из разодранной ладони. Но мне было не до этого. Я во все глаза смотрел туда, куда указывал индеец.

Там, в двухстах ярдах за нашей кормой, за пеленой брызг и дождя, в море медленно погружался "Поединок", мачты его были снесены, корпус разбит. Он был похож на умирающего лебедя. По кораблю в панике метались люди, одни карабкались на ют, еще возвышавшийся над водой, другие прыгали за борт, надеясь найти спасение в море.

"Поединок" погубила тяжелая корабельная артиллерия. Его пушки, сорванные с места потопом, который вызвали три первых громадных вала, покатались, круша все на своем пути, по кораблю и пробиты корпус в нескольких местах. "Поединок" затонул в считанные секунды. Вот он скрылся под водой, потом снова появился на поверхности — так птица со сломанными крыльями пытается взлететь в последнем предсмертном усилии. Потом корабль перевернулся килем вверх и уже навсегда исчез в пучине.

Я окинул взглядом предательские воды. И увидел людей. Гонимые ветром и волнами живые обломки кораблекрушения.

— Мистер Барвик! — закричал я. — Канаты! Канаты!

Матросы расхватили бык-гордени и гитовы и побросали их за борт. Они, конечно, упали далеко от тонущих. Между порывами шквалистого ветра до меня долетали безумные или молящие вопли гибнущих и ругань свесившихся за борт матросов.

На мгновение среди волн я различил двоих. Люди кричали и размахивали руками. Налетел громадный водяной вал, и я потерял их из виду. Когда волна откатилась, на плаву остался только один. Он совершенно выбился из сил. Полудохлая крыса, да и только. Но течение и волны по большой дуге постепенно подтаскивали его к нашему кораблю, и вот он уже почти рядом с самым дальним из брошенных нами концов. Он ухватился за него. Сорвался. Снова ухватился. Снова сорвался. Я увидел его остекленевший взгляд. Красные от соленой воды, невидящие глаза. Безумные. Дикие. Увидевшие смерть.

— Сэм! — заорал я. — Сэм! Ради всего святого! Сэм!

Мой старый друг Сэмюэл Кинг сделал последнее нечеловеческое усилие. Ухватился. Удержался. Осилил.

*

К полудню шторм утих. От него осталось только расплывчатое пятно на кромке мира — там, где встречаются море и небо. Солнце светило, дул издевательски-легкий ветерок. Мистер Барвик доложил, что поломка ахтерштевня несерьезная. Кроме того, по осадке моя "Судьба" теперь больше напоминает французский корабль, но беды в этом я не вижу, поскольку она сохраняет хорошую скорость под парусами, а высокий нос не позволяет ей зарываться во встречную волну. Штормом также разбило затворные механизмы у шести пушек, сорвало два артиллерийских квадранта, сломало несколько рей и повредило два цепных насоса. За борт смыло четверых: Яна Саффа, Томаса Бара, Дейви Хауэлла, Неда Энгера. (Да будет всевышний милостив к их душам. Такой смерти не заслуживают даже тараканы.) Из команды злосчастного "Поединка" мы спасли только Сэма Кинга.

*

Я спросил индейца, зачем он забрался в шторм на мачту и привязал себя к ней. Он ответил, что так он себя чувствовал в большей безопасности.

— Мы, чибчи, забираемся на деревья, спасаясь от диких зверей и испанцев, — сказал он мне.

Не знаю, верить ему или нет. Во всяком случае, наше счастливое спасение его особенно не впечатлило.

Что до меня, то раны оказались пустяковыми. Оно и лучше, ибо наш корабельный врач утонул.

*

С той штормовой ночи ветер не стихал ни на день, и только однажды небеса расщедрились на дождь. Но, слава богу, это был такой ливень, что, приказав моим людям расставить пустые посудины по палубам и, прежде всего, под намокшими парусами, я сумел собрать двадцать пять бочек драгоценной жидкой манны небесной.

Наше местоположение: 43° северной широты и около 57° западной долготы.

Последние сутки ветер пронизывает до костей. Холодный туман окутал меня, словно плащом. Такой плащ не бросишь под ноги Елизавете.

До Ньюфаундленда не больше двух дней пути. Но я не знаю, доберусь ли живым до гавани Сент-Джонса. Команда моего корабля замыслила последовать примеру Уолластона, Уитни и других. Со всей определенностью я выяснил это только вчера, хотя кое-какие слухи доходили до меня и раньше, сразу после шторма.

Голова моя как чан с кипящим вином.

Забраться в такую даль, столько поставить на карту, потерять сына, спасти друга — и столкнуться с предательством на собственном корабле!

Во главе заговорщиков стоит, насколько мне известно, вечно всем недовольный солдат Ричард Хед. Его сообщники хотят захватить корабль, поставить Хеда капитаном и податься в пираты. Их оценка происходящего покоится на убеждении, что я плыву к своей смерти, и большинство считает, что их казнят вместе со мной.

В первый раз о заговоре я узнал от моего пажа Робина. Он вбежал в каюту, словно за ним гнался сам дьявол — щеки горят, глаза выпучены.

— Сударь, — закричал он, — они хотят убить вас!

Признаюсь, я не придавал его словам особого значения. Он способный, но ленивый юноша, наяву грезит приключениями.

— Кто хочет убить меня?

— Все. Они говорят, что всадят вам в спину кинжал!

— Один кинжал всей командой? Должно быть, цинга доконала их.

Робин не улыбнулся.

— Берегитесь, сударь. Я слышал, как они договаривались внизу. Один из них сказал, что вы сошли с ума. Тот солдат, у которого черная заплатка на лбу. Он говорил другим, что их единственное спасение — избавиться от вас.

— Хорошо, я приму это во внимание, — пообещал я. — А теперь почисти занавеси.

Во время шторма залило морской водой зеленые шелковые занавеси, закрывающие мою резную дубовую кровать. Недовольно бормоча, Робин отправился отчищать их.

Я знаю этого Хеда — законченный негодяй. Заплатка на лбу якобы прикрывает рану, полученную в Турции. Не верю, что этот подонок хоть раз скрестил с турком мечи. Скорее всего, повязка скрывает язву, которую он подцепил в грязных притонах похоти.

О том, что узнал от Робина, я не сказал никому. Честно говоря, не очень этому поверил. Я знал, что большая часть моих людей не заслуживает доверия: чего ждать от наемников, бегущих от правосудия? Сейчас они устали и обозлены, им совсем не хочется возвращаться домой без добычи, на которую они рассчитывали,

и отвечать перед законом, который нарушили. Но одно дело — брюзжать и бранить власти, и совсем другое — убить своего законного командира. Я понаблюдал за Хедом, но не заметил в нем ничего, кроме угрюмости и брюзгливого недовольства. А в сложившихся условиях это нормально. Я решил, что Робин преувеличивает, что он ослышался или неправильно понял ворчливые жалобы и пустые угрозы.

Но вчера вечером ко мне пришел Сэм Кинг и рассказал то же самое.

— Хед подбивает их стать пиратами, — сказал он. -- Его поддерживает по крайней мере три четверти команды.

— Ты это сам слышал?

— Да.

— Тогда плохо, — признался я. — Уж если дошло до твоих ушей, значит, об этом знают все и, следовательно, намерения у них серьезные. Ты самый близкий мне человек на корабле. Хед не может не знать этого.

Сэм посасывал свисающий ус.

— Я думаю, у него тонкий расчет, — задумчиво произнес он.

— Ты хочешь сказать, что он намеренно распускает слухи о заговоре? Зачем?

— Чтобы напугать вас.

Я рассмеялся. Покачал головой.

— В таком случае нам не о чем беспокоиться. Меня не напугает целый корабль таких ричардов хедов. Он, может быть, воображает, что я добровольно передам ему командование кораблем? Этот идиот, должно быть, спятил.

Сэм смутился. Потом продолжал:

— Мне кажется, у него есть два плана. Первый — захватить корабль, когда мы придем на Ньюфаундленд. У него достаточно сообщников, чтобы ускользнуть незаметно после ремонта корабля и пополнения запасов.

— Оставив меня в Сент-Джонсе?

— Да.

— Мертвым или живым?

Сэм горько усмехнулся.

— С точки зрения Хедда, это не имеет значения. Его единственная трудность — привлечь на свою сторону мистера Барвика.

— Он, надеюсь, не с заговорщиками?

— Не думаю. Но поручиться не могу.

Я кивнул. Меня не удивило, что даже штурман моего собственного корабля может быть подкуплен или запуган негодьями. Если бы мы возвращались к королю, который верит в нас, то, несмотря на уготованную мне участь, команда могла бы надеяться сохранить свои головы. Но теперь даже самый тупой матрос "Судьбы" уже понял, что король Яков желал нашей неудачи с самого начала.

– Ты говорил о двух планах. Какой же второй?

Сэм вздохнул. Опустил глаза и начал вычерчивать мозолистым указательным пальцем круги на морской карте, разложенной у меня на столе.

– Лоренс Кеймис, – промямлил он.

– Кеймис? При чем здесь Кеймис?

– Хед надеется, что вы разделите его судьбу, – сказал Сэм. Я чуть не задохнулся.

– Этот жалкий мистер Хед сильно недооценивает меня. Уж не считает ли он, что я убью себя только из-за того, что он распустил слух о своем намерении украсть мой корабль и стать пиратом?

– Я слышал, – сказал Сэм, – как он убеждал других, что вы в любом случае покончите с собой. Он не понимает ваших действий.

Что-то в голосе Сэма заставило меня задуматься.

Наконец я тихо сказал:

– И ты тоже.

– Адмирал?

– Ты тоже не понимаешь моих действий, Сэм. А знаешь ли ты меня? И понимал ли ты меня когда-нибудь вообще?

Мой старый друг закрыл глаза. Я увидел, что он плачет.

– Я знаю вас со времени нашего похода во Францию. Лучшего человека я не встречал. Но я не понимаю вас. Да, сэр. Признаю. Не понимаю вас и думаю, что вы сами себя не понимаете. Вы плывете навстречу смерти. Вы возвращаетесь на плаху. – Он открыл глаза. В них блеснула решимость. – Я пойду за вами. До конца. И не потому, что вы спасли мне жизнь, когда потонул мой "Поединок". Вы это хорошо знаете. У меня нет выбора. Вы мой друг. Вы приняли решение, и я ему подчиняюсь. Но если бы у меня был выбор... если бы я мог влиять на ваши решения...

– Ты бы присоединился к мистеру Хеду?

Я пожалел об этих глупых словах еще до того, как они сорвались у меня с языка.

Ни один мускул не дрогнул на лице Сэма. Он спокойно смотрел на меня.

– Я бы спас вас от вашего собственного безрассудства, – хрипло прошептал он.

Я не мог смотреть в его честные глаза. Молча сидел, уставившись в свои морские карты. Потом вытащил кинжал и провел черту по океану.

– Это наш курс. Мистер Хед не остановит меня. И ты меня не остановишь. И сам я, судя по всему, себя не останавливаю. Я дал слово. И сдержу его. Кроме того, ты слишком быстро отчаиваешься. Это тревожит меня. Ты никогда не был паникером. Должно быть, мозги у тебя немного отсырели во время купания в шторм. Секретарь Уинвуд...

— Целый лес уинвудов не спасет вас от короля Якова! Он твердо решил погубить вас!

— Вы так думаете, капитан?

— Я это знаю, адмирал. И вы тоже.

Я воткнул острие кинжала в сердце Англии.

*

Сегодня я целый день размышляю о разговоре с Сэмом. Положа руку на сердце, его необычное красноречие удручает меня больше любой болтовни о пиратстве в кубрике. Хед с удовольствием проткнет меня кинжалом, пока я сплю, или же попытается довести меня до такого отчаяния, что я заколюсь сам. Хед, ни минуты не колеблясь, оставит меня в Сент-Джонсе на Ньюфаундленде, захватит мой корабль и опозорит его. Но о совете Сэма Кинга, как бы путано он его ни высказал, не думать труднее. Хед не хочет, чтобы я возвращался в Англию, потому что он мой враг и служит только своим интересам. Сэм служит мне верой и правдой всю жизнь, он мой друг, может быть, мой единственный настоящий друг. Он не хочет, чтобы я возвращался в Англию, потому что любит меня и потому что желает спасти мне жизнь и уберечь от гнева короля Якова.

Последнее время меня преследует странное видение.

Оно связано со смертью в океане моего сводного брата Хамфри Гилберта.

Хамфри был одним из трех сыновей моей матери от первого брака с Оуто Гилбертом. Он служил Елизавете еще до того, как она стала королевой. Его двоюродная бабушка Кейт Эшли была воспитательницей принцессы, а сам Хамфри с юного возраста (он старше меня лет на пятнадцать) был причислен к ее двору.

Бедный честолюбивый Хамфри. Он всегда переоценивал свои силы. С юности он был одержим одной идеей: прославиться колонизацией Нового Света, вписать свое имя в историю Америки. Но он был упрямым, вздорным и неуживчивым человеком — слишком грубым и неуравновешенным, чтобы заслужить расположение королевы.

Государственный секретарь Уолсингам не любил его. Он веч-но плел против него интриги, проваливая все его начинания. Он называл Хамфри "человеком, которого отвергло море".

Мне неприятно признаваться, но Уолсингам был прав. Хамфри боялся моря и был никудышным моряком. Так что же произошло? А произошло то, что я убедил королеву пренебречь мнением ее государственного секретаря. В самом начале моей карьеры придворного и моряка Хамфри представил меня Лестеру. Я возвратил долг весьма неразумным способом, упросив Елизавету — по его настоянию — согласиться, чтобы мой брат возгла-

вил плохо снаряженную, обреченную на неудачу экспедицию к Ньюфаундленду. Я даже раздобыл ему на счастье сувенир от Ее Величества — фигурку дамы с якорем.

Хамфри Гилберт плывал в водах, где я плыву сейчас. Земли он так и не увидел. Как говорят многие, от страха утонуть он плыл на самом маленьком из судов экспедиции. Судно — водоизмещением всего каких-то восемь тонн — называлось "Белка".

В жестокий шторм "Белка" начала тонуть. На глазах моряков ближайшего из кораблей.

Во время шторма Хамфри сидел на палубе с книгой в руках. Ветер рвал снасти, а он делал вид, что читает. Впрочем, может быть, он действительно читал. Перейти на более крупный корабль он отказывался. Всякий раз, когда они подходили к "Белке", он взмахом руки отсылал их прочь.

И, как рассказывают, все время кричал.

Кричал он, как говорили, следующее:

— По воде до небес не дальше, чем по суше.

Он выкрикивал эти слова раз за разом, пока ветер не заглушил его вопли.

Он утонул вместе со своей книгой, мой брат Хамфри. "Белка" пошла на дно со всей командой, туда же, читая, отправился и мой брат.

Может, он сошел с ума?

А я?

Он умер, читая книгу.

А не суждено ли мне умереть за сочинением оной?

По воде до небес не дальше, чем по суше...

20

15 апреля

Сегодня на рассвете слева по курсу появилось побережье Ньюфаундленда, по моей команде горнист протрубил сбор, и все выстроились на шканцах. Справа от меня, положив руку на рукоять меча, стоял Сэм Кинг, слева — мистер Барвик. Было прохладно. Чтобы не дрожать от холода, я попросил Робина приготовить мне две рубашки. Не хватало, чтобы они подумали, будто я боюсь.

Не теряя времени даром, я сразу перешел к делу:

— Джентльмены, наши планы изменились. Я решил плыть домой в Англию, не пополняя запасы и не ремонтируя корабль в Сент-Джонсе.

Все на мгновение затаили дыхание, раздалось несколько неодобрительных возгласов, потом наступила тишина. Взглянув

на негодьяев, сгрудившихся вокруг Ричарда Хеда, я заметил — они поняли, что я предупрежден об их намерении стать пиратами.

Сам Хед лениво опирался на бочку для дождевой воды. Маленьким кривым ножом он ковырял в зубах. Солнце, отражаясь от воды, бросало блики на черную повязку на лбу, отчего она казалась третьим мигающим злобным глазом.

— Есть ли вопросы, джентльмены? — поинтересовался я.

Большинство подлецов косилось на своего вожака. Хед молчал. Он продолжал ковырять в зубах блестящим лезвием.

Тишину нарушил наш оружейный мастер Уильям Герден. Он вышел вперед, сложив руки на могучей груди.

— Адмирал, — сказал он, — я не обсуждаю ваше решение. Но я хотел бы знать причину. Почему надо сразу плыть в Англию, когда вы обещали, что мы отдохнем в Сент-Джонсе?

Я кивнул.

— Я скажу почему, мистер Герден, хотя это и не доставляет мне удовольствия. У нас на борту есть джентльмены, столь мало заботящиеся о моем благополучии и собственной выгоде, что они готовы помешать моему возвращению в Англию. Они составили заговор с целью захватить мой корабль, как только я приведу его в гавань Сент-Джонса. Меня они собираются оставить на мели, то есть на Ньюфаундленде, а "Судьбу" превратить в пиратское судно. Но, по моему мнению, те, кто замыслил такое предприятие, не додумали его до конца. Меня освободили из Тауэра по велению короля. Я возвращусь в Англию и отдам себя на его милость. Любой из вас, кто препятствует мне, не только делается пиратом — он становится между мной и королем. Если этого человека не убью я, его, надо думать, убьет король Яков. — Я замолчал. Внимательно посмотрел на каждого из тех, кто окружал Ричарда Хеда. Увидел, что мои слова произвели на них впечатление. — Но не будем утруждать Его Величество кровопролитием, — продолжал я спокойно. — У меня же осталась только моя честь, и я постою за нее. Если кто-то из вас действительно хочет лишить меня права умереть благородной смертью, пусть выйдет вперед и постарается свершить свое подлое дело.

Я вынул меч из ножен.

Я ждал целых две минуты.

Никто не вышел.

Никто даже не пошевелился.

Они смотрели угрюмо, они смотрели обескураженно, они смотрели смущенно. Но они не двигались. Они стояли не шелохнувшись. Некоторые смотрели на Хеда. Но Хед закрыл глаза.

Высоко на вантах я заметил индейца. Он бесстрастно взирал на нас сверху. Не знаю, что из происходящего он понимал. Сейчас мне кажется, все и так было понятно. Чем дольше длилось молчание, тем шире становилась его ухмылка.

— Хорошо, — сказал я. — Очень хорошо. Кажется, среди нас нет настоящих бунтовщиков. Меня это радует, джентльмены; радуюсь и за вас и за себя. Нас и так слишком мало для перехода через Атлантику, не хватало еще лишиться нескольких дюжих мужчин, которых пришлось бы вздернуть на рее. Вы согласны?

Они закивали головами.

Но я спрашивал только одного из них.

— Вы согласны, мистер Хед?

Хед, нахмурившись, рассматривал острие ножа. На мгновение показалось, что сейчас он метнет его в меня. Губы его сжались. Лицо почернело.

— Мистер Хед!

Негодяй поднял глаза.

— Вы согласны, мистер Хед? Вы согласны, что никакого бунта нет?

Хед смотрел на меня не мигая. Он задыхался.

— Правильный ответ, — сказал я тихо, — да, сэр.

Хед ничего не ответил.

— Да, сэр, — повторил я. — Скажите "Да, сэр", если вас не затруднит, мистер Хед.

Хед плюнул на лезвие ножа. А затем:

— Да, сэр! — пробурчал он.

— Громче!

— Да, да, сэр! — заорал Хед.

Я кивнул. Вложил меч в ножны.

— А теперь, мистер Хед, выбросьте ваш нож за борт.

Внешне незначительный, но очень важный момент истины, Кэрю. Если Сэм Кинг прав — а у меня нет оснований ему не верить — и три четверти моей команды были готовы поддержать этого негодяя и предателя, то для него настал момент заявить о себе. Теперь все зависело от правильности моего суждения об этом человеке. Если черная повязка на лбу действительно скрывала — как то утверждал Хед — рану, полученную в бою с турками, то мне конец.

Сын, сейчас я совершенно уверен, что Ричард Хед никогда в своей жизни не скрещивал мечей ни с одним турком. Он даже не осмелился принять вызов престарелого английского джентльмена, которому холодным апрельским утром требуются две теплые рубашки, чтобы удержать свое съезжившееся тело от лихорадочной дрожи.

Потому что...

Потому что Ричард Хед помедлил, переминаясь с ноги на ногу, а потом забормотал:

— Но это подарок отца...

Первым засмеялся Сэм Кинг. За ним мистер Барвик. Затем его преподобие мистер Джоунз, мужчина нервный, который смеется ослиным смехом, да и то нечасто. Смех распространился,

как пожар в сухом лесу. Напряжение тяжелой сцены таяло, как струйки тумана с заиндевелых палуб под лучами восходящего солнца.

Я не засмеялся. Я даже не улыбнулся.

— За борт, мистер Хед. Либо вы, либо нож вашего отца. Мне все равно.

Ричард Хед закрыл глаза. Я заметил, как на его грязной шее дергается нерв. Его дружки замерли.

И тут с гримасой трусливого повинования негодяй размахнулся и швырнул нож за борт. Он дугой сверкнул в солнечных лучах и упал в воду. Тишина стояла такая, что я услышал едва различимый всплеск.

— Благодарю вас, — сказал я.

Несколько матросов захлопали в ладоши и затопали ногами. Совершенно опозоренный Хед низко опустил голову и отвернулся. Но самое главное было еще впереди.

Наш корабельный кок Саймон Тавернер, толстый коротышка с хитрыми глазками, первый заговорил об этом. Он неуклюже вышел вперед.

— Адмирал, — сказал он, — вы забыли одну вещь.

— Попридержи язык, — рявкнул капитан Кинг, к которому вернулась уверенность.

Сдерживая Сэма, я положил ему на плечо руку.

— Давайте послушаем новости камбуза. Нам еще потребуются соленая говядина и свинина мистера Тавернера. А также сушеный горох и бобы, не говоря уже о червивых галетах. У нас впереди еще тысяча восемьсот миль океана, и, преодолеем мы их или нет, во многом зависит от наших сытых желудков.

Кок откашлялся.

— Сэр Уолтер, я за вас. Не бунтовщик. Никогда не был. Но если я вернусь в Англию, меня ждет виселица.

— Это почему же? — спросил я.

— Убийство, сэр.

— Тогда все справедливо, мистер Тавернер.

Тавернер сплюнул.

— Я бил хозяина харчевни, только и всего.

— Вашим тухлым супом?

— Нет, сэр. Он отказался выдать мне мое жалованье. Началась драка. Я не хотел убивать этого старого мозгляка. Просто ударил его черпаком. Откуда мне было знать, что у него слабое сердце?

Я покачал головой.

— Печальный случай, мистер Тавернер. И хотя я теперь вижу, почему вы согласились плыть с нами, могу только указать вам на вашу недалекость. Следовало знать, что в конце концов мы вернемся. Будем считать, что вы просто отложили свое свидание с виселицей на более поздний срок.

Тавернер продолжал гнуть свое. Взгляд его выражал искреннее отчаяние.

— Я надеялся на помилование, сэр. И не я один. Клянусь богом. Нас много таких, которые подписали договор, потому что вы обещали королю, что привезете золото, а если будет золото, то король, думали мы, будет доволен и простит нам прошлые преступления. А теперь вы везете нас в Англию, а у нас нет и позолоченной пуговицы, чтобы купить королевское помилование. Честно скажу, адмирал, если бы мы сделали стоянку на Ньюфаундленде, я бы не пошел в пираты. Но я бы убежал, сэр, клянусь богом, убежал.

— Дезертирство, — прорычал Сэм Кинг. — Он хвастается тем, что стал бы дезертиром.

Я поднял руку. Искренность Тавернера тронула меня. Как бы я ни презирал его аргументы, они все же вызывали во мне достаточно сочувствия, чтобы послушать и других.

— Кого еще ждет виселица по возвращении в Англию? — спросил я.

Более дюжины матросов вышли вперед, потупив взор и неловко шаркая ногами. Я выслушал каждого. По большей части их преступления были незначительными. Я не склонен прощать никакие преступления, Кэрю. Но беру на себя смелость усомниться в разумности той суровости, которой отмечены некоторые английские законы. Следует ли лишать жизни того, кто стянул пятьдесят шиллингов? Украл трех коров? Сжег стог соседского сена? По мнению френсисов бэконов этого мира — следует, поскольку, дескать, закон есть закон и его нарушение оставляет дыру в ткани общества. А я скажу, что общество, требующее смертной казни для столь мелких мух, есть просто-напросто паучья сеть. Наказывать их стоит, но не смертью же. И недаром пауки-бэконы ходят по ней совершенно спокойно, хотя виноваты в гораздо более серьезных прегрешениях. Я собственными глазами видел, как власть имущие ради личной выгоды делали с законом все, что хотели.

Совсем как минуту назад Ричард Хед предстал перед всеми трусом и посмешищем, точно так же теперь грозная, взбунтовавшаяся команда моего корабля вдруг предстала перед моим взором всего лишь сворой жалких бездомных собак. Я могу пнуть ногой паршивого пса, оставить его без пищи, но будь я проклят, если мне в голову придет мысль повесить его.

— Послушайте, — сказал я. — Я предлагаю вернуться в Англию тем же путем, как мы плыли сюда. Нашей первой стоянкой будет Кинсейл в Ирландии. Те из вас, у кого есть причины ожидать виселицы, будут по прибытии туда свободны. Понятно? Я требую от вас верности только до Ирландии. Вы согласны?

Они согласились. Думаю, с благодарностью.

*

И плавание продолжается. Под тусклым небом, в крутом бейдевинде, корабль зарос грязью, вода в бочках быстро протухает. Хлеб заплесневел и зачерствел. Кости мои скрипят от холода. Меня покинули последние надежды. Оставив за собой Ньюфаундленд, мы изготовились переплыть Атлантику. Команда выполняет работу словно в забытьи. Я обещал сохранить их головы, но не свою. Мы плывем на восток, луна из-за облаков посмеивается над нами. С бунтом, кажется, покончено. Хед ковыряет в грязных зубах грязными ногтями. Сегодня ночью я могу спокойно размышлять только о своей смерти. Этого достаточно. Я всегда любил абсолюты.

*

А ведь сегодня твой день рождения, дорогая Бесс, а дни рождения я тоже люблю.

Рождение и смерть — два абсолюта. Дни рождения — милые частности.

Итак, ты вступаешь в пятьдесят третий год своей жизни. Где? Скорее всего, в твоём доме на Брод-стрит. Я пытаюсь представить тебя, сейчас ты, наверное, сидишь в столовой одна и при свете свечи задумчиво смотришь на изящные занавеси с цесарками — эту ткань мы купили у индийского купца. Съешь ли ты сегодня кусочек вкусного фруктового пирога? Одеда ли ты своё лиловое платье с золотой бахромой? (То самое, с большим вырезом, открывающим плечи; я бы много отдал, чтобы поцеловать сейчас веснушки на твоём плече!)

Служанка Алиса поставит на большой дубовый стол блюдо крыжовника со сливками. Не было ещё дня рождения, чтобы ты не лакомилась крыжовником со сливками — и когда я сидел в Таузере, и когда (как сейчас) я не мог делить трапезу с тобой потому, что между нами лежали необъятные просторы соленой воды. Корица, ядра и сушеная шелуха мускатного ореха, сахар, розовая вода и яйца — видишь, как хорошо я помню рецепт приправы. Спелые холодные ягоды крыжовника лежат кругами на густых сливках. Ты осторожно берешь ягоду, накалывая ее на серебряную булавку. Прекрасные мгновенья. Сначала ее вкушают твои губы, потом язык, зубы и горло. Помнишь ли, как в Темпл-Филдсе, в Уорике, в один из твоих дней рождения мы вдвоем съели целое блюдо крыжовника со сливками? Для королевы в тот день устроили потешные игры — показательной бой между двумя отрядами, засевавшими в фальшивых замках, — с громом пушечных залпов и треском аркебуз. Фейерверки, петарды, зажигательные ядра освещали тот апрельский вечер. Ее Величество

скучала и не скрывала этого. (Она не любила звуки выстрелов с того самого дня, когда сумасшедший по имени Эплитри стрелял по королевской барке, на которой она проплывала по Темзе в обществе французского посла; он чудом не попал в королеву и ранил одного из гребцов.) А что касается нас — мы провели тот день в Темпл-Филдсе, — то я запомнил не пышное зрелище. Я запомнил, как ты кормила крыжовником меня, а я — тебя. Мои раскрытые губы жаждали твоего прикосновения. Если я ослепну, мои губы всегда узнают твои пальцы.

Ты спускаешься по деревянной лестнице, твоя рука с голубыми жилками легко опирается на перила. В нашей спальне пылает камин. Ты садишься перед зеркалом и расплетаешь косу.

Может, не к месту и не ко времени, но уж точно под настроение вспомнил я нашу первую встречу. Это было в сочельник 1584 года, как раз накануне того дня, когда королева дала ясно понять Хэттону, что место фаворита занял я: она вынула свой носовой платок, смочила его языком и вытерла пятно сажи на моем лице (но об этом рассказ еще впереди). Тебе, сироте, дочери бывшего посла во Франции, было девятнадцать лет. Только что посвященная, а следовательно, самая молодая фрейлина Елизаветы, ты вошла в высокое общество весталок, которые обслуживали королеву в ее внутренних покоях. Отныне тебе предстояло мыть и одевать Ее Величество, услаждать ее слух игрой на цимбалах, клавицитериуме, лютне, виоле и ребеке. Впереди тебя ждали бесконечная игра в карты и ночные разговоры. Тебе надо было проигрывать королеве в карты, но тонко, ибо Елизавета никогда не любила выигрывать что-либо просто по праву сильного. Твоей речи полагалось быть остроумной и изящной, быстрой и гибкой, не очень серьезной, но и не постно-банальной. Королева требовала эlegantности во всем. Любые изъяны ума и тела — как женского, так и мужского — были не в чести при ее дворе.

Ты ела клубнику в вине. Часы били полночь. Один, два, три, четыре... Большие часы Уайтхолла с хрипловатым гулким эхом последнего удара. Улицы были белым-белы от снега, который валил не переставая. Я вошел во внутренние покои Ее Величества без доклада. Я ожидал застать там королеву, но ее не было. Мог, наверное, и догадаться, что в это время она молится в своей часовне. Рождество — мертвый сезон — всегда располагало Елизавету к тем крохам религиозности, которые она позволяла себе. Но я, пожалуй, несправедлив к ней. Она была христианским монархом. Без сомнения, Елизавета держала в узде свои религиозные порывы, ибо никогда не могла забыть пример своего отца. Генрих VIII, Защитник веры, был ненасытно религиозен. Похоть и предраассудки — это еще не нравственное поведение.

Вечер был холодный. Ветер задувал в трубы, гнал дым в комнаты, колыхал гобелены на стенах. Ты сидела среди горящих свечей, и язычки пламени, казалось, восторженно склонялись

перед твоей красотой. Да, Бесс, в ту ночь во внутренних покоях Ее Величества я пленился тобою — наивный испуганный взгляд, двумя пальцами ты держишь клубничину, красное вино капает на твое белое парчовое платье. Красота твоя была не в лице, не в позе и вообще не в чем-либо внешнем. То был огонь, что горел в тебе, ничего не сжигая. Стойкий огонь. Он никогда не затухал.

— Ее здесь нет, капитан Рэли, — сказала ты, улыбаясь и доедая ягоду. — Той, кого вы ищете, здесь нет.

Я поклонился. Начал мести шляпой дубовый пол.

— Она, оказывается, здесь, — ответил я тебе. — Просто еще минуту назад я не знал, что ищу ее.

Ты молчала. Облизывала испачканные вином пальцы и смотрела на меня. И в этот момент я разглядел твои глаза — голубое и черное. Сладко-горькая игра цветов. Два цвета в одном взгляде. Признаюсь, я был очарован — да разве можно это передать словами! Как загадочна наша плоть! Я ощутил покалывание в затылке. В комнате было холодно, но, клянусь, я покрылся потом. Не похоть была тому причиной. И не страх. Ты должна знать, что это. Я стараюсь быть верен этому всю жизнь.

На длинном низком столе стоял серебряный кувшин. А рядом на салфетке — серебряный кубок. Ты приготовила их для последней перед сном трапезы королевы. Елизавета любила выпить на сон грядущий теплого молока.

Я подошел к столу. Взял кувшин, кубок и салфетку. Встал подле тебя на колени. И прежде чем ты успела возразить, налил молоко в кубок и окунул туда твои испачканные пальцы.

Твои руки я вымыл в молоке.

Ты испугалась. Прошептала:

— А что, если Ее Величество...

— Вы принесете новый кувшин, — успокоил я тебя, — свежее молоко, чистый кубок и салфетку. — Я вытирал твои пальцы белой хрустящей салфеткой. Когда я закончил, пальцы твои были белее снега и мягче шелка. Я не выпускал твоих рук. Волосы твои пахли жимолостью.

— Ну вот, — сказал я. — Следы преступления смыты.

— Преступления, сэръ?

— Клубника принадлежит королеве.

— Нет, не королеве, это моя клубника.

— Прошу прощения. Но теперь клубника в вас, а вы принадлежите королеве.

Ты резко встала, высвободив руки.

— Я служу Ее Величеству, это верно. Но не принадлежу никому. — Твой голубой глаз, казалось, смеялся надо мной, а черный изучал меня холодно и внимательно. — А вы, капитан Рэли? Кому принадлежите вы?

— Себе самому. Кажется, мы подходим друг другу, сударыня.

— Вы так думаете? А мне кажется, что вы слишком вольно

обращаетесь с молоком королевы и фрейлинами Ее Величества.

Я положил руку на сердце.

— Клянусь Святой Клубничной Девой, — произнес я торжественно, — вы самая первая фрейлина, которую я вымыл в молоке королевы.

— Но последняя ли? — спросила ты шаловливо. — Я уверена, сэр, что, попробовав однажды, вы это возьмете себе за правило. Я почесал щеку, делая вид, что обдумываю сказанное.

— Это может оказаться приятным делом. Впрочем, все зависит...

— От чего зависит?

— От того, сударыня, как другие фрейлины едят свою клубнику.

Ты зарделась. В тот момент ты выглядела очень юной. Очень юной, легкоранимой, но не наивной.

Ты прошептала:

— Я должна переодеться.

Я посмотрел на винные пятна и кивнул.

— Прошу прощения. Я не хотел прервать ваш уединенный ужин. Как вас зовут?

— Елизавета. Елизавета Трогмортон.

Должно быть, я нахмурился. Мне не понравилось, что у вас с королевой одно имя.

— Ваши друзья зовут вас Бесс? — спросил я.

— У меня нет друзей, капитан Рэли.

Я улыбнулся.

— Тогда доброй ночи, Бесс.

Ты схватила кубок, кувшин и испачканную салфетку. И быстро вышла из комнаты. В замешательстве ты забыла почти пустую чашу, в которой еще плавало несколько ягод.

Когда звук твоих легких шагов затих в коридоре, я выудил из чаши кроваво-красную клубничину, подержал ее против света — она рдела как уголек, а нежная плоть таяла под пальцами, — подбросил вверх, поймал ртом и съел.

*

В ту ночь я не спал. И королеву больше не искал. До самого рассвета я сочинял шесть стихотворных строк. Когда я закончил, я понял, что стихотворение не закончено. Осталось незавершенным. Чтобы завершить его, надо было узнать тебя получше. Я понимал это, дорогая Бесс. И это радовало меня. Бог видит, как это меня радовало. Никогда еще я не испытывал такого страстного желания закончить стихотворение.

И все же вот эти шесть начальных строк. Ты увидишь, как они перемешали и переиначили подробности нашей первой встречи:

*Природа, вымыв руки молоком,
Не стала их обсушивать, но сразу
Смешала шелк и снег в блестящий ком,
Чтоб вылепить Амуру по заказу
Красавицу, какую только смел
В мечтах своих вообразить пострел¹.*

Под мечтами пострела я, естественно, имел в виду свои. Стихотворение в таком виде не бог весть что, хотя и после завершения много лучше оно не стало. Но разве это имеет значение!

*

Как нам удалось скрыть свою любовь от королевы? Вообще-то, в конце концов не удалось. Но с той клубничной ночи до дня, когда Елизавета узнала, что мы тайно поженились и ты ждешь от меня ребенка, прошло около семи лет. Семь долгих лет любви и притворства, когда мы должны были вести себя очень осторожно и на людях изображали взаимное равнодушие и позволяли себе лишь робкий взгляд или мимолетную улыбку.

Я думаю, что более всего нам помогала уверенность королевы в том, что я принадлежу только ей. Когда я впервые увидел тебя в сочельник 1584 года, я уже был ее фаворитом в том смысле, что занял место Хэттона и танцевал с ней из Зала приемов в личные покои. Ты это знала, Бесс. Не знала ты только, что за этим кроется. Я никогда тебе не говорил. Ни тебе, ни кому-либо другому. Давно уже умерла Елизавета, похоже на то, что вскоре, когда закончится это плавание, я должен буду отправиться за ней; я снова последую за королевой, только на сей раз в танце смерти, сквозь последние врата, в чертоги, где в вечном свете открываются даже самые страшные тайны.

Я много думал об этом: рассказать, что происходило между мной и королевой, или же уйти в могилу с печатью на устах? Сегодня вечером я решился. Лучше, чтобы ты узнала. Пусть это больно, дорогая жена, но неведение, я думаю, еще больнее. Не зная, ты не могла быть уверена, что я принадлежу только тебе — по крайней мере те семь лет, когда мы были вынуждены скрывать нашу любовь от всего света. Правда может оказаться и не такой горькой, как ты ее воображала, и тогда мое сердце возрадуется. Но она может и потрясти тебя, и ты проклянешь память обо мне, а также и память о Елизавете. Молю бога, чтобы этого не случилось. И прошу тебя, когда ты все узнаешь, помолись за меня. Помолись за бедную грешную душу Уолтера Рэли. Помолись и за бедную грешную душу королевы.

¹Перевод Г. Кружкова.

Ты, возможно, прочтешь эти строки, когда меня уже не будет в живых. Если так, прости мне и то минутное малодушие. Однажды ночью я пытался рассказать тебе всю правду. Помнишь? Ночь перед отплытием, когда тебе приснился кошмар? Ты заснула еще до того, как первые слова слетели с моих губ. Блаженный сон! Но как я мог знать, что видения во сне окажутся много страшнее действительности?

Кэрю не должен знать того, что я собираюсь написать. Пока. Возможно, никогда. Я оставляю это на твое усмотрение. На мой взгляд, лучше ему ничего не говорить. Правду я обязан рассказать только тебе. Но не люби я тебя так сильно и не будь я уверен в благородстве сердца твоего, клянусь, ничего не рассказал бы и тебе, Бесс.

Сегодня твой день рождения, а я не могу ничего подарить тебе... Что бы я дал тебе, родная, если бы мог?

Клубнику. Сладкую осеннюю клубнику весной. Клубнику нашей первой встречи, сдобренную самым сладким вином наших лучших дней. Ты сказала правду. Клубника всегда была твоей, Бесс. Елизавета Трогмортон, Елизавета Рэли. Она никогда не принадлежала королеве. Елизавете Тюдор.

Идиот, слышу я твой голос. Так ты собираешься дать мне то, что и так уже мое?

Ну а что же еще, дорогая?

Я бы отдал тебе себя. Снова. Я бы отдал тебе мое сердце.

*

Как в наше первое любовное свидание. Ты стояла у дерева в темноте сада. "Милый сэръ Уолтер! — кричала ты. — Милый сэръ Уолтер!" И когда страх и восторг достигли предела: "Миссер Воттер! Миссер Воттер!" Бесс, любовь моя.

21

23 апреля

Туман. Вот уже два дня корабль окутан серой вязкой пеленой. Судя по всему, мы прошли около шестисот миль на восток по Атлантике и теперь находимся в точке 39° 57' западной долготы и 51° северной широты. Между моей "Судьбой" и той судьбой, что ожидает меня в конце долгого пути домой, еще по крайней мере тысяча двести миль опасного океана. А вообще-то я рад этому мерзкому туману. Готов плыть в нем хоть вечно.

Ветер стих на шестой день после Ньюфаундленда. Корабль

заштилел, Гольфстрим несет нас тихо и печально вместе с водорослями, "Судьба" сейчас ничем не отличается от обычной щепки во власти течений. Туман во всем и повсюду. Вверху, внизу, впереди, за кормой, слева и справа; обвисшие паруса, кажется, сделаны из тумана, впрочем, и серое море — тоже. Такое однообразное унылое смешение стихий сродни моему настроению. Если я сейчас выйду на палубу и встану над каютой мистера Барвика, то носовую часть моего корабля я не увижу. Туман поглотил ее, избавил меня от необходимости даже думать о ней. В то же время я заметил, что туман на море увеличивает все предметы. Канаты стали толстыми, как змеи, водяные капли, срывающиеся с них, кажутся мне крупными глобулами яда. Сучки и щербины под ногами на палубе вырастают до размеров головок из потухшего костра.

Если самые отъявленные негодяи из моей команды серьезно намеревались довести до конца свои предательские планы, то в последние двое суток они должны были проявить себя. Слепой, послушно бредущий в полусне сквозь сумрачные, непроницаемые атлантические туманы, корабль мог стать легкой добычей злодеев. В любую из этих ночей они могли перерезать мне горло — хотя это и стоило бы им нескольких собственных глотков, ибо Сэм Кинг теперь дежурит у моей каюты. Если бы почему-то они хотели избежать убийства, то могли бы отправить меня дрейфовать в лодке вместе с немногими верными мне людьми. Ни того, ни другого они не сделали, и опасения отпали, испарились. Выступив против них в открытую, я показал им, что их Ричард Хед — жалкий трус, один из тех, кто смел за спинами других, но, встретив достойного противника, бежит прочь, как перепуганная крыса. Я стреляный воробей, достаточно повоювал с ричардами хедами этого печального мира. У Елизаветы в Уайтхолле крыс было предостаточно.

Мое обещание отпустить всех нарушителей закона в Кинсейле успокоило большинство из них. Они, я думаю, поняли, что я обещал им спасти их головы, если они помогут мне рискнуть моей собственной. Это честная сделка. Заключенная в ней ирония доставляет мне мрачную радость.

*

В каюте горит свеча — я пишу. Сейчас, ночью, туман снаружи почернел, над нами ни одной звезды, фонари на мачтах мерцают тускло, словно глаза стервятников, — бледно-синие пятна в пелене тумана. Тихо, спокойно, слышно только, как поскрипывают балки, перекликаются или кашляют вахтенные, а здесь, в каюте, шуршит перо по девственно-чистой бумаге.

Девственный.

Девственность.

Опять абсолюты.

Какие же удивительные человеческие странности могут скрываться за ними!

Греки верили, будто Астрея, богиня справедливости, что последней из богов покинула землю, вознеслась на небо и стала созвездием, которое люди до сих пор называют Девой. Сегодня ночью мою "Судьбу" не ведет ни одна звезда — ни дева, ни шлюха, — а моя рука пишет историю, какой не найдешь в греческой мифологии.

Я пишу во имя правды, ради моей жены и самого себя. Я пишу о королеве. О королеве и Уолтере Рэли.

*

В то лето над Лондоном появилась комета. Я имею в виду лето 1583 года. Мне тогда было двадцать девять лет. Королеве Елизавете — на двадцать лет больше. В мире происходило, разумеется, много значительных событий. В стычке убили графа Лесмонда; с его смертью закончилось и его восстание — Манстер превратился в пустыню, за шесть последних месяцев войны от голода погибло тридцать тысяч ирландцев. Говорили, что Галилей в Пизе, кидая ядра с падающей башни, открыл параболическую природу орбит. В Индию по суше отправилась английская экспедиция; она вернулась домой только девять лет спустя. В этот август Джона Уитгифта назначили епископом Кентерберийским; он обрушился на пуритан, разъезжал в сопровождении конного отряда — генерал, а не священнослужитель. Вот, видимо, о чем бы я должен был написать, пиши я сейчас историческую книгу. Но меня занимает не история. Я говорю о том, что происходило со мной.

Когда появилась комета, королева была в Ричмонде. Она призвала к себе своего астролога Джона Ди. К Ди я относился без предубеждения — безвредный был человек. Высокий и костлявый, носивший плащ с широкими рукавами и разрезом, больше подобающим артисту, он развлекал Ее Величество своим так называемым магическим кристаллом, с помощью которого в свое время выбрал для нее день коронации. Дождь в тот день не пролился, и это решило судьбу Ди.

Летом 1583 года в Ричмонде я впервые увидел доктора Джона Ди в компании другой, весьма зловещей, фигуры. Это был Эдвард Келли, который никогда не снимал с головы черной, плотно облегающей шапочки (говорили, что у него отрезаны оба уха). Два колдуна пришли со своим магическим кристаллом, и королева удостоила их аудиенции.

Что они ей сказали, я от королевы так и не узнал. Знаю только, что после встречи с ними лицо ее сияло. Она приказала

распахнуть окно и, раскинув руки, прошла через зал полюбоваться кометой.

— *Jacta est alea*, — произнесла она.

Jacta est alea...

Жребий брошен.

*

Из Ричмонда королева вместе со своим двором переехала в Виндзорский замок. В этом ничего необычного не было. Елизавету всегда пугали летние толпы и вонь Лондона. К тому же лето в тот год было исключительно жарким.

В Виндзоре большую часть времени королева наслаждалась зеленой прохладой реки. По ее прихоти я часто играл роль лодочника — целыми часами толкал шестом золоченый ялик с мечтающей королевой. Сейчас мне вспомнилась одна из таких прогулок в канун дня св. Иоанна Крестителя.

Елизавета лежала в лодке, под шелковым пологом, на маленьких, вытканых серебром и жемчугом подушках. К бахроме полога были прицеплены маленькие, как речные ракушки, колокольчики. В ответ на каждый взмах шестом колокольчики тонко звенели. Музыка эта раздражала меня невыносимо, о чем, я думаю, королева догадывалась. Она тихо напевала что-то себе под нос, не пытаясь прервать разговором монотонность нашего дремотного плавания, купала свои изящные белые руки в воде, лишь изредка поднимая их к свисающим ветвям плакучих ив. Вокруг жужжали опьяневшие от нектара пчелы. Ее они несколько не беспокоили. Казалось, ничто не беспокоило королеву. На ней было великолепное платье из золотой парчи с воздушным плюеным воротником, черная пелерина и большая широкополая белая шляпа, поля которой украшали левкой, приколотые бриллиантовыми булавками. Короче говоря, для такой прогулки она была одета чересчур тепло, и я удивлялся (про себя, конечно), как Ее Величеству удается сохранять холодное выражение лица в таком панцире. Сам я обливался потом. Мои мокрые ладони уже едва держали шест. Штаны прилипли к ногам. Дублет обвис. Но ведь трудился только я один. Елизавета была неподвижна, словно статуя Клеопатры, вырезанная из белого сандалового дерева. Из-под полуприкрытых век сверкали лукавые глаза. Думаю, ей всегда нравилось смотреть на разгоряченных мужчин.

Почти до конца нашей прогулки она не произнесла ни слова. Но когда показались ступени королевской пристани и над Темзой, приветствуя возвращение королевы, поплыли звуки виол, Елизавета неожиданно наклонилась вперед и плеснула водой на мое горящее лицо.

— Как прекрасна, — сказала она, — дневная рыбалка.

Я поклонился.

— Но у Вашего Величества нет улова.

Елизавета рассмеялась. Ее легкий переливчатый и дразнящий смех напомнил мне звон колокольчиков, развешанных на пологе.

— Вы думаете, капитан Рэли? Тогда вы не знаете, что говорит мой Барашек.

При упоминании Хэттона я, видимо, нахмурился, и королева снова рассмеялась.

— Не хотите ли услышать его очаровательный комплимент? В нем, пожалуй, немало истины.

Я заставил себя изобразить вежливую улыбку.

— Если Ваше Величество желает, то я, несомненно, порадуюсь любому замечанию сэра Кристофера о рыбацких достоинствах английской королевы.

На сей раз нахмурилась Елизавета. Потом едва заметно пожала плечами, как бы отмахиваясь от моей вежливой колкости, и стянула на груди концы собольей пелерины.

— Он сказал, что я ловлю людские души, капитан Рэли. И он сказал, моя наживка так соблазнительна, что не родился еще человек, который сумел бы избежать моих тенет.

Я кивнул. Вымучил еще одну улыбку. Комплимент Хэттона показался мне просто красивыми словесами, годными скорее для театра, чем для жизни, и у меня не было настроения соперничать с ним в этом жанре. Я уперся шестом в дно, проколов большой лист водяной лилии, и подогнал ялик к подножию лестницы.

Когда королева, опираясь на мою руку, сходила на берег, я услышал ее шепот:

— Чтобы поймать душу, никакого колдовства не требуется.

Я промолчал. Она говорила как бы про себя, давая понять, что хочет, чтобы я услышал ее мысль, но не ожидает ответа. Мне показалось, что я понял намек. Но все же, подумав о грубом противопоставлении души и тела, недооценил ее склонности к розыгрышам, ее ума и уклончивости.

— Вода, — сказала она. — Вот воистину трудная добычка. Вода бежит сквозь пальцы. Никогда не бываешь уверен, что завладел ею.

Первый раз ее намек на мое прозвище разозлил меня. Я опустился на колени и зачерпнул воды в пригоршни. Потом встал и протянул ей вещественное доказательство ее неправоты.

Елизавета медленно покачала головой.

— Пригоршня Темзы? Вы оскорбляете меня. Королеве надо больше.

— Больше, Ваше Величество?

— Мне нужна вся.

— Вся Темза? — глупо вскричал я. — Все реки? Все ручьи,

источники и родники?

Елизавета даже не улыбнулась. Глаза ее сверкали холодным блеском, словно золотые монеты на дне колодца. В них затаилась жадность: безумная бесстрастная похоть. Меня затрясло от этого взгляда.

Она сказала:

— Я хочу всю воду мира до последней капли. Все моря, безмерные глубины и пространства. Вы понимаете, капитан Рэли? Королева на меньшее, чем океан, не согласна.

Мы стояли и смотрели друг на друга в ярких бликах солнца, отражавшихся от воды. Я разжал руки, и пригоршня Темзы утекла сквозь пальцы.

— Нет ничего невозможного, — сказал я. — По крайней мере для королевы.

Тогда королева улыбнулась и протянула мне руку для поцелуя. Потом повернулась и пошла вверх по мраморным ступеням, объявив своим фрейлинам, что будет обедать в саду.

У меня появилась возможность переодеться и обдумать случившееся. Выжать пот из рубашки оказалось проще, чем забыть слова королевы.

*

В тот вечер в большом Виндзорском парке устраивали костер. Костер святого Иоанна в честь Елизаветы.

Придворные расположились за длинными столами, накрытыми в прохладе розария. После обеда, с наступлением сумерек, процессия факелоносцев потянулась к дубу Герна Охотника¹. Там был сложен большой костер — кругом громоздились кучи поленьев, утесника, папоротника, угля, стояли бочки с варом. Одета в белое королева первой поднесла к костру горящий фитиль. Затем свои факелы бросили в него оруженосцы Ее Величества. Заиграла музыка. Мы встали в круг и начали танцевать.

Королева выглядела божественно. Она резвилась и танцевала в свете костра, ее рыжие струящиеся волосы были увенчаны языками пламени. В ту лунную ночь Елизавета помолодела. Ее пальцы трепетали в моей руке.

Словно в лихорадке, она царапала ногтями мои ладони. Впивалась в мою плоть, потом, смеясь, убегала в танце прочь, снова приближалась ко мне, гладила и ласкала раны и снова больно царапала.

Не помню, сколько продолжался танец. Костер потух. Королева танцевала на пепле кострища. Скрипачи пилили смычками

¹Дух-охотник средневековых легенд, хранитель Виндзорского леса.

струны. Факелы чадили. Казалось, Елизавета впала в транс. Теперь она танцевала одна. Я шел в темноте и слизывал горячую кровь с моих израненных рук.

*

Мы возвратились в Лондон. В Вестминстерский дворец. Комета исчезла. Наши танцы с королевой продолжались. Теперь они устраивались в Зале приемов через день, мы танцевали из одного конца зала в другой, потом вдоль стен, то приближаясь к гвардейцам, то удаляясь от них, а те стояли на месте, притопывая ногами в такт все тех же однообразных ритмов, и все больше свирепели, задыхаясь, впадая в исступленное молчаливое бешенство; они хлопали в ладоши, королева шлепала меня по рукам, кружилась, вертелась, извивалась, юбки разлетались, мелькали босые ноги, ее рыжие волосы стегали меня по лицу, ногти сладко терзали ладони.

Дверь во внутренние покои не закрывалась. Всякий раз танец кончался тем, что Елизавета, танцуя, удалялась туда и, не оглядываясь, скрывалась в личных покоях. Дверь никогда не захлопывалась перед моим носом, но чутье подсказывало, что я не должен следовать за королевой, пока она не пригласит меня сама. В какой форме будет сделано приглашение, я не знал. Я танцевал. Ждал. Стоял на краю, на пороге.

Когда я наконец получил приглашение, оно оказалось самой простотой. Королева не выпустила мою руку. Мы протанцевали через дверь вместе, рядом, ни один из нас не вел другого. Затем она остановилась, посмотрела на меня и быстрым кивком дала понять, что закрыть дверь за нами надлежит мне. Я ее закрыл. С такой силой пнул ногой, что королева рассмеялась.

Внутренние покои были пусты. Никаких фрейлин. Не выпуская моей руки, она протанцевала в свои личные покои. Я закрыл за нами и вторую дверь. Но тихо, мягко. Королева сняла с шеи серебряную цепочку, на которой висел золотой ключ, и повернула его в замке.

Первый раз я протанцевал с королевой через эту дверь в ночь на пятнадцатое августа. У католиков это праздник Успения Пресвятой Девы Марии; в этот день они празднуют свою веру в то, что мертвое тело Божьей Матери, избежав тлена, вознеслось на небо, дабы соединиться с ее душой. Нисколько не сомневаюсь, что Елизавета знала об этом. Она любила такие шутки.

*

Бен Джонсон ошибался. У королевы не было ни преграды, ни изъяна, ни телесного недуга — ничто не мешало ей отдаваться обычным радостям любви. Я видел ее нагой в ту ночь и многие

ночи потом. Чтобы быть истинной красавицей, ей недоставало округлости и чуть большей выразительности форм, да и кожа ее потеряла былую бархатистость. Но упаси меня бог перечислять детали. Скажу, если угодно, что ко времени, когда я стал ее Эндимионом, эта смертная Селена пусть на йоту, но уже миновала свое полнолуние, пик неотразимости и апогей совершенства. И все же при виде ее у меня перехватило дыхание, охваченный страстью, я желал ее каждой клеточкой своего тела.

Спальня королевы была темной и низкой. Рядом с постелью горела единственная высокая свеча. Белые шелковые простыни, горностаевое покрывало, аккуратно свернутое в валик, зеленые гобелены по сторонам. Свеча отбрасывала на них причудливые блики, создавая впечатление загадочной пещеры из восточной сказки.

Елизавета не стала раздеваться. Она сразу повела себя, как хозяйка положения. Протянув руки, королева повелела мне снять с них кольца. Я был нетерпелив. На ее вкус, сделал это слишком торопливо. Свое неудовольствие она выказала, шлепнув меня по руке и надув губы. Я попытался поцеловать ее. Королева гневно отвернула лицо.

Мне надлежало научиться сдержанности и выжиданию, научиться ценить сладкие мучения неспешной и долгой игры. В первую ночь, в отличие от многих последующих, Елизавета едва ли осталась довольна мной. Несмышленьш. Новичок в незнакомой игре. Интимная обстановка, то, что я наедине с английской королевой-девственницей в маленькой запертой комнате, в которую она привела меня сама, собственноручно заперев дверь, — было от чего, как ты понимаешь, потерять голову. Кокетство, поддразнивания, танцы — и теперь это. Сказать по совести, я изнемогал от вожделения. Хотел сорвать с нее одежду и овладеть ею. Если, как говорили (я не раз слышал это и из уст самой королевы), — если она все еще была девственницей, нетронутой и чистой, то я желал покончить с этим. Не вижу в этом ничего постыдного. Не считаю бесчестным в этом признаться. Я жаждал сделать нашу королеву женщиной.

То, как она отказала мне в поцелуе, было лишь первым уроком. За ним, без единого сказанного вслух слова, последовали и другие. Как бы ни умножало мою смелость уединение ее спальни, вскоре стало ясно, что от своего любовника королева ожидает рабской покорности. Взгляды искоса, легкое прикосновение пальцев и нахмуренные брови, когда я ошибался, и едва заметное подобие улыбки, когда я угадывал ее желание, — таков был язык нашей любви. И сам отказ произнести хоть единое слово — а ведь на людях и прежде со мной королева, как правило, не закрывала рта — лишь усугублял таинственность и непреложность бесконечного эротического обряда, исполнения которого требовала теперь от меня Ее Величество.

Да не прогневается дьявол, но я вовсе не собираюсь доверить бумаге все, что происходило в ту ночь между мной и королевой. Подробности отношений мужчины и женщины, когда они наедине предаются шалостям, причудам и прихотям своей любви, должны оставаться тайной. Это тем более необходимо, если один из любовников — монарх, полномочный глава государства, наместник бога на земле, пусть даже развращенный или порочный. К сплетням я никогда не питал слабости. И сейчас, в этих воспоминаниях, с мукой вырванных из глубин моей души во имя истины, я склонен многое почтительно умалчивать.

Всего лишь однажды, во время моего первого заточения в Тауэре, искал я поэтические метафоры для того извращенного ритуала, которым Елизавета Тюдор удовлетворялась вместо любви. Это горькое и туманное стихотворение, написанное в отчаянии, полно воспоминаний о неутоленной страсти. Я писал его для глаз королевы и позаботился о том, чтобы оно дошло запечатанным до государственного секретаря Сесила для передачи Ее Величеству. Она заключила меня в Тауэр за вероломство, коим считала мою женитьбу на Бесс. Я так никогда и не узнал, прочитала ли она его. Роберт Сесил никогда не был мне столь близким другом, каким он притворно тогда себя изображал. Он вполне мог пустить мои зажигательные стихи на растопку, хотя, скорее всего, присовокупил их к кипе доносов, которые, как глава шпионского ведомства, считал своим долгом собирать и хранить. Стихотворение я назвал "Океан к Цинтии". Я, конечно, был океаном, а Елизавета — римской богиней Луны. Эти сравнения причудливы и прихотливы, зато точны. В наших любовных играх я был водой, моя роль сводилась к ее приливам. Елизавета же всегда была луной, что властной силой управляет приливами, отмеряя их время. Елизавета купалась в океане воды. Я, ее любовник Уолтер Рэли, довольствовался холодным лунным светом.

Жгучее стихотворение на тему, пылающую геенной огненной. Написав его, я стал отступником любви. Но есть такой стыд и такие пороки, которые не обнажишь в прозе и в то же время легко спрячешь и расскажешь в стихе, голую правду которого знает один только автор. Покров моего стиха был проникаем. И решишь Елизавета ступить на него, ее бы обожгло затаившимся огнем. Если она прочла его, то что, к примеру, подумала о моем сравнении ее любви с *потоком, что задержан чьей-то властной рукою*? И покраснели ли порочно-белые монаршие щеки от чего-то более достойного, чем злоба, когда Ее Величество прозрела в бесстыдном образе моего долготерпения жалобный стон страдающей плоти? Не знаю. И уже не хочу знать. Достаточно того, что сегодня я вызвал эти страшные образы из небытия. Я помню, что их породило. Я помню каждую уловку, каждый обман, каждый выверт, каждую хитрость, каждый милый и отталкивающий кап-

риз, с помощью которых Елизавета оберегала свою девственность в первую ночь и во все последующие ночи со мной и, я уверен, со всеми другими любовниками и до и после меня.

Я говорю о нашей любви как об обряде. Так оно и было. Но это был темный, зловещий обряд. Обряд, в котором королева была причастием, а я — служителем мерзкого культа, поклоняющимся своему идолу. В этом богохульстве, в этом издевательстве над именем Венеры все было для нее. Она объедалась мной. Я же не получал ничего.

Признаваясь в этом, тем самым признаю, что она могла лишиться меня мужских достоинств. Могла. Но ведь выбора у меня не было. Будь это любая другая женщина, я бы повалил ее, скрутил, овладел силой. С Елизаветой — упаси господь, у меня хватало разума не пытаться изнасиловать королеву!

Под утро, так и не причастившись, не познав удовлетворения, но совершенно измотанный обильными возлияниями на алтарь монаршего тела, я уполз изнеможенный, еле живой, не помня себя от стыда и слабо надеясь, что в следующий раз все будет по-другому.

В следующий раз все было по-прежнему. Все оставалось по-прежнему и дальше.

Жребий брошен. Каждый раз мне выпадал один и тот же жребий. Жребий говорил, что отныне Уолтер Рэли — любовник королевы Елизаветы. Жребий говорил, что с любовником (которому не дозволялось проникнуть в ее лоно) Елизавета — королева вдвойне.

*

Какой изъян или порок сделал ее такой? Не хочу создавать впечатления, будто знаю. Буду говорить только о себе и королеве. У Елизаветы не было никакой видимой причины оставаться девственницей. Она требовала, чтоб было так, а не иначе. И получала то, что хотела.

Иногда, конечно, я размышлял... Причины подчас лежат очень глубоко.

Вспомним кровавую родословную Елизаветы, ее воспитателей. Ее отец, король Генрих VIII, сам убил себя похотью. Ее мать, королева Анна Болейн, сложила голову на плахе по той же причине. Говорят, что лорд Сеймур, неродной дядя Елизаветы, покушался на ее чистоту, когда она была еще ребенком: он проделывал гнусные вещи с возбужденной и испуганной двенадцатилетней принцессой, дурачась и играя с ней в детской. Ей за это пригрозили топором. И взвалили на юные плечи знание того, что Сеймuru отрубили голову за сотворенное с ней, за грех, который по молодости лет она еще не могла понять.

Сказали ли ей, что ее первый любовник (если он *на самом деле* был виновен в совращении ребенка) принял смерть отнюдь не покорно? Его держала дюжина мужчин, но Сеймур вырвался с полуотрубленной головой, и, прежде чем он умер, палач еще трижды опускал топор.

Я еще не видел призраков. А Елизавета Тюдор? Не эти ли залитые кровью жертвы похоти заставили ее цепляться за девственность, словно за жизнь?

Не знаю. Никогда не решался спросить у нее. А сама она об этом никогда не говорила.

Дверь каюты укутана туманом, корабль и вся моя жизнь – во мраке преддверия преисподней. Заканчиваю: для порочной непорочности королевы Елизаветы никаких видимых или явных причин не существовало.

Но разум и сердце могут иметь свои препоны.

22

22 апреля

Все еще туман. И какой туман! Никогда не видел ничего подобного. Смешение стихий, катаклизм природы, перепутавший полдень с полночью. Туман проник в меня, смешал суждения, затемнил смысл, и теперь я блуждаю во внутреннем мраке, не видя подробностей, почти не отличая сон от яви. Сон и действительность так перемешались в последние несколько часов, что кажутся одним сплошным кошмаром.

Будь проклят этот туман! Да сохранит господь туман этого мира! Аминь. Хватит. Хватит проклятий и молитв. Только факты. Пусть перо послужит мне так же, как только что служил меч. Чтобы восстановить порядок, овладеть положением.

Лучше вернуться к началу. Опишу эти страшные, чудовищные события по порядку...

*

Начну с того, что вчера я уснул, уронив голову на эти страницы. Один всевышний знает, который был час. Но, скорее всего, оставалось совсем немного до утренней вахты. Видимо, около семи склянок – значит, половина четвертого.

Усталый как собака, в полном изнеможении – рассказ о Елизавете истощил мои душевные силы – я закрыл дневник. Положил на него голову. Провалился в забытье.

Спал я крепко, но мне приснился сон. Снам я никогда не придавал особого значения: что они, как не выделения нашего

просыпающегося разума? Некоторые думают иначе — в частности, моя жена Бесс. Она всегда разделяла взгляды доктора Джона Ди, который считал, что сон может предсказать реальные события или же, будучи правильно истолкован, пролить свет на судьбу того, кому он снился. Вздорные предрассудки, но признаюсь, что этот сон поколебал мой скептицизм.

Во сне я стоял на площади Сан-Томе. Передо мной верхом на лошади восседал индеец. Руки его были связаны за спиной. На шею накинута веревка. Другой ее конец, перекинутый через сук дерева, держали два чернокожих раба. Время от времени один из рабов тянул за веревку, и голова индейца дергалась. Индейца эти шуточки, казалось, ничуть не задевали. Он не обращал на рабов никакого внимания. Когда его голова дергалась, он делал вид, что намеренно кивает или трясет ею. Во сне я видел и двух английских солдат: они с двух сторон держали лошадь под уздцы.

Сцена во сне была на редкость живой. Совершенно ясно, что ее детали всплыли из памяти, которая хранила рассказ племянника Джорджа о случившемся в Сан-Томе на следующий день после его захвата нашим отрядом. Но Кеймиса во сне не было. А я был. Я был тем белым человеком, который, стоя под палящими лучами солнца, допрашивал индейца.

— Золото, — сказал я во сне. — Ты понимаешь, что значит золото? Догадываешься, о чем я спрашиваю?

На мне был плащ, по которому однажды прошла Елизавета. В правой руке я держал жезл из полированного дерева. Время от времени я взмахивал им. (Такой жезл был у Кеймиса. Он получил его от меня, отправляясь вверх по Ориноко. Как символ власти.)

Индеец молчал. Он смотрел на меня.

Пот лил с меня в три ручья. И тут я начал плакать. По моим щекам потекли слезы. Во сне я ощущал их вкус. Отвратительно сладкий. Как кровь.

— Боже! Боже! — кричал я. — Я знаю, что здесь есть прииск. Я знаю, что здесь есть золото и что ты знаешь, где оно находится. Ты покажешь мне прииск? Если не покажешь, я повешу тебя. Повешу тебя, безмозглый дурак. Понимаешь? Повешу тебя за шею, и ты умрешь!

Индеец кивнул. Но ничего не ответил. Его лицо оставалось бесстрастным. Блестящая медная кожа была разрисована черно-красными узорами. Во сне я не мог сказать наверняка, понимает он то, что я говорю, или же кивает головой потому, что рабы дергают за веревку.

Мне удалось справиться со слезами. Жестом я приказал рабам прекратить возню с веревкой. Индеец смотрел на небо. Я тоже поднял голову. Небо было из золота. Солнце сияло золотым огнем.

Когда я снова посмотрел на индейца, он, мне показалось, сам превратился в золотой слиток. Хотя лошадь, на которой он сидел, ничуть не изменилась. Она дрожала на солнце и прятала уши.

— Кто ты такой? — спросил я во сне.

Индеец не ответил. Он мотнул головой. На сей раз рабы, державшие веревку, были ни при чем. Кивком своей золотой головы он показывал куда-то мне за спину. На что-то или кого-то. Во сне я знал, что там.

Я знал, что там, но все же повернулся.

Там, на другой стороне площади, стояла церковь. Церковные двери были разбиты. Они висели на сломанных петлях черными поникшими крыльями. В тени дверей на подстилке лежало тело Уота. В левом ухе у него была серьга с жемчужиной. На жемчужине застыла кровь. Кровь залила и лицо. Тело покрывал английский флаг.

Я повернулся к индейцу.

— Ты знаешь, кто это? — тихо спросил я.

Индеец кивнул.

— Хорошо, — сказал я. — Отлично. Значит, ты понимаешь меня.

Я ткнул жезлом себе в грудь.

— Ну а я кто, по-твоему?

Индеец улыбнулся так, словно мой вопрос был нелеп. Он не сводил глаз с тела бедного Уота.

Где-то в джунглях пронзительно закричала птица.

— Ты что, немой? — заорал я. — Я задал вопрос. Может, хочешь, чтобы с тобой сделали то же самое, что с твоим хозяином?

Я ткнул жезлом в сторону. На середине площади лежал еще один труп. Труп Паломеке. Толстый. Громадный. Совершенно голый труп с желтоватой кожей. На левой стороне черепа зияла огромная рана. Она шла через все лицо до ощерившегося рта. В ране с гудением копошились мухи.

Индеец вздрогнул. Он даже не взглянул на второй труп. Закрыл глаза. С его век посыпалась золотая пыль.

Затем индеец заговорил.

— Повесь меня, — сказал он.

Он говорил почти шепотом.

— Повесь меня, — повторил он. — Я метис. Разве ты не видишь, что я метис? Посмотри...

На моих глазах его лицо начало таять. Сначала сошли черно-красные узоры, а потом и золотая кожа. Чистое золото падало на землю хлопьями и пластинками. Вот обнажились скулы, потом челюсти. Вскоре вся плоть пала с него. Остались одни золотые кости. В золотом слитке головы сверкали два кварцевых глаза.

Один из рабов захихикал. Потянул за веревку. Золотая голова индейца дернулась. Из золотой орбиты выпал глаз.

Другой раб сказал:

— Не верь ему. Он врет. Он грязный обманщик. Он не метис. Он знает, где прииск.

Теперь моим вниманием завладел глаз индейца. Порыв ветра взвихрил песок на площади. Глаз покатился. И замер у моей ноги. Я встал на колени и поднял его. И тут я понял, что на моей ладони лежит глаз Кеймиса. Глаз бедняги Кеймиса: белесый, с красными прожилками — и косой. *Ощущение* реальности этого глаза было во сне поразительным. Более того, обострились до крайности все мои чувства. Я слышал каждое насекомое под землей — от их писка, шороха и шебуршения болели барабанные перепонки. Ноздри закололо от запахов, принесенных порывом ветра: дыма, ананасов, разлагающейся плоти. Меня затошнило. Я отвернулся в судорогах рвоты.

Как определить неожиданные превращения, что случаются только во сне? То, что произошло, я назвал бы извержением из себя вместе с рвотой прошлого и даже самой личности. Поскольку, когда я снова выпрямился на усыпанной песком площади испанского форта, я перестал быть Уолтером Рэли. Мой роскошный плащ исчез. На мне был камзол соломенного цвета и простые штаны. На ногах — черные ботинки. Заляпанные грязью и кровью.

Индеец неожиданно закричал:

— Что с твоим сыном?

Глаз, лежавший на ладони, был теперь в моей глазнице. Глаз Кеймиса. И на индейца теперь смотрел Кеймис. Всякое ощущение моей подлинной личности покинуло меня. Я знал, что индеец видит перед собой Кеймиса. И рабы тоже. Что они *всегда* видели только Кеймиса. Я знал это наверняка.

Тот ужасный алхимический процесс, в итоге которого лицо индейца превратилось в золотой череп, повторился в обратной последовательности. Индеец снова стал обычным человеком. Непроницаемые темно-карие глаза. Черно-красные узоры на щеках и на лбу. Кольцо в носу.

— Золото, — сказал я. Сказал *Кеймис*. Я говорил голосом Кеймиса: медленно, шепеляво, с запинкой. — Золото, — повторил я-Кеймис. — Это все, что я хочу, все, ради чего приплыл сюда. Я тебя освобожу, ты слышишь? Ты свободен, можешь возвращаться домой, к твоему племени. Но сначала покажи мне, где находится прииск.

— Твой сын, — кричал индеец. — Что с твоим сыном?

Тут до меня дошло, что, хотя во сне для других я все время был Лоренсом Кеймисом, индеец тем не менее с самого начала считал, что лысеющий командир отряда с жезлом в руке — Уолтер Рэли. Надеюсь, что я объясняю понятно. Сны не подчиняются логике, но если представить, как все действительно происходило в Сан-Томе утром третьего января сего года, то,

без сомнения, настоящий Кристобель Гуаякунда *должен* был сделать такое заключение. Он слышал от своих испанских хозяев, что Уолтер Рэли плывет к Сан-Томе. Когда англичане появились на реке и захватили форт, он, вполне естественно, подумал, что их командир — это я.

Я постучал себя жезлом по груди.

— Слушай, — сказал я (сказал Кеймис!), — ты ошибся. Я не тот, за кого ты меня принимаешь.

Индеец вытарашил глаза. Он впервые растерялся.

— Ты Гуаттараль.

— Нет. Я не Гуаттараль. Меня зовут Кеймис. Я генерал Гуаттаралья. Понимаешь? Я друг человека, которого ты называешь Гуаттаралем.

Индеец посмотрел по сторонам.

— Значит, здесь нет Гуаттаралья?

— Совершенно верно.

— Где Гуаттараль?

— На своем корабле.

— Где его корабль?

— Ниже по течению реки.

— Далеко?

— Да. Очень далеко.

— Почему Гуаттараль не пришел сам?

Кеймис, я-Кеймис, колебался. Потом мои губы холодно и отчетливо произнесли во сне:

— *Потому что он трус. Вот почему.*

Рот индейца скривился в усмешке.

— Это правда, — услышал я свои слова. — У него лихорадка. Но лихорадка — всего лишь предлог. Если бы он не страдал от лихорадки, то, будь уверен, сэр Уолтер Рэли придумал бы другую причину, чтобы не прийти сюда. Он трус. И был им всю жизнь. Сам он этого не знает. Никогда бы себе в этом не признался. Но я знаю сэра Уолтера. Знаю его тайную суть. В этом его тайна, и в этом его суть.

Все это я произнес во сне с поразительным спокойствием. В моем голосе не слышалось ни презрения, ни горечи, ни жалости. Я не чувствовал ничего. Я вещал как оракул. Слова не срывались с губ, а проходили *сквозь* них. Кончив говорить, я повернулся и посмотрел на Уота.

Наступила долгая тишина. Затем я услышал индейца:

— Но это ведь *действительно* сын Гуаттаралья.

Он не спрашивал. Просто констатировал, делая ударение на слове "действительно".

— Да, — сказал я во сне. — Это был сын сэра Уолтера Рэли.

Снова тишина. Сладкий тошнотворный запах смерти. В джунглях заговорил барабан.

— Повесь меня, — сказал индеец.

Барабан бил все громче. Бам, бам, бам. Словно стук сердца. Словно стук моего собственного сердца, когда я смотрел на Уота.

— Повесь меня! — кричал индеец. — Повесь меня! Повесь меня!

Я не пошевелился. Я не мог оторвать глаз от мертвого тела Уота.

Бам, бам, бам.

— *Повесь меня!*

— Отпустите его, — сказал я.

— Сэр? — Один из солдат.

— Я сказал, отпустите его, — рявкнул я.

Чтобы убедиться, что мой приказ выполняется, я обернулся. В этот момент индеец вонзил коню в бока свои босые пятки, и тот рванулся вперед. Солдаты отпустили узду. Лошадь поскакала прочь. Какой-то миг индеец висел на веревке. Четыре прыжка — и я начал колотить рабов жезлом. Они взвыли и отпустили веревку. Индеец упал на песок.

Я, Кеймис, стоял над его телом. Индеец не шевелился. Я ткнул в него жезлом. Он не реагировал.

— Полоумный ублюдок издох, — сказал один из солдат. — Сломал себе шею. Я слышал, как она хрустнула.

Чернокожий раб пнул тело индейца ногой.

Индеец открыл глаза.

Засмеялся.

А потом начал кричать...

*

Он кричал. Индеец кричал. Я слышал его. Наяву. Он кричал.

Я проснулся. Меня разбудил его крик. Настоящий. Индеец кричал не переставая. Ужасным криком. Никогда не слышал ничего подобного.

Я обливался потом. Барабаны, звучавшие во сне, оказались биением моего собственного сердца. Разбросав руки, я лежал головой на столе. Чудовищный крик не затихал.

Я вскочил, опрокинув кресло. Подбежал к двери каюты. Дверь была заперта. Дверь была заперта снаружи...

В каюте я всегда держу топор. В рундучке под койкой. Вытащив рундучок, я схватил топор. И в одну минуту взломал дверь.

Снаружи у двери в неестественной позе лежал Сэм Кинг. Моей первой мыслью было, что он мертв. Нет, он был жив. Но без сознания. Лежал в луже собственной крови.

День уже занялся, но туман скрадывал видимость. Я на ощупь пошел в направлении, откуда неслся крик. По мокрой палубе. Поскользнувшись, я упал с трапа.

Неожиданно все стихло. Призрачная тишина. На мгновение, ошеломленный падением, я решил, что все еще сплю. В тумане раздался сухой треск пушечного выстрела. А за ним, пронзая мой череп, разнесся этот невероятный, леденящий душу крик. Легкие человека не способны исторгнуть такой вопль. Но это был и не рев раненого зверя. Я знал, кто кричит. Думаю, что знал и почему.

Они повесили индейца на правом ноге реи. "Они" — это Ричард Хед и полдюжины его дружков. Хед с пушечком в руке командовал мерзавцами. Командовал? Жуткий содом, открывшийся моему взору, едва ли заслуживает этого слова. Это была анархия убийства. Ад крошечный.

Сообщники Хед, зажав уши, метались по палубе. Им удалось связать индейца, накинуть ему петлю на шею и приладить веревку к рее. Там, наверху, он и висел, едва различимый в тумане. Но негодяи недооценили его силу. Он сумел вырвать одну руку и уцепился ею за веревку над головой. Теперь он крутился в воздухе и кричал. Промашка их заключалась в том, что они не заткнули ему рот кляпом.

Индеец рассказывал мне об этом крике. Крик Золотого Человека — так он называл его. Он приписывал ему какую-то демоническую силу. Говорил, что он сводит людей с ума. Я ему не поверил.

Верю ли я ему сейчас? Это неважно. Я знаю только то, что видел своими глазами. Что видел, что слышал, чему был свидетелем.

Негодяи носились по палубе как гадаринские свиньи¹: лица искажены, глаза выпучены. Так выглядят люди на дыбе. И пыткой для них был крик индейца. Пока он кричал, они не могли оторвать рук от ушей. Но как только он замолкал, чтобы набрать в легкие воздуха, они бросались к нему, карабкались по вантам и старались дотянуться до его ног, чтобы дернуть вниз и удавить. Каждый новый крик отгонял их прочь, срывал со снастей (так порыв свежего ветра сбивает с дерева гнилые яблоки), заставлял вертеться по палубе: ни дать ни взять дервиши или больные в припадке падучей.

Сам Хед приложил что-то к уху, пытаюсь защититься от крика индейца. Я узнал эту вещь. Он прижимал к уху колпак индейца, смешную коническую шапку, связанную из серых волокон дерева *кабуя*. Свободной рукой Хед стрелял из кремневого пистолета. Возможно, сначала он только заглушал выстрелами крик индейца или же подбадривал своих прихвостней. Но теперь он уже целился прямо в него.

Я не сразу разобрался в происходящем. И все же на распутывание сложностей я потратил не много времени. Зажав топор

¹ Евангелие от Марка, 5.

в руке, раздавая удары налево и направо, я бросился к мачте и проворно взобрался до бойфута. Упираясь в железный обруч, я со всей силой ударил топором по рее, на которой висел индеец. Рее треснула, сломалась, и индеец рухнул на палубу. Слепленный гневом, я действовал инстинктивно и быстро. Оглядываясь назад, вижу, что все делал правильно. Если бы я попытался перерубить веревку, то мог бы ранить индейца. А для осторожности времени не было. Кроме того, поскольку бойфут служил хорошей опорой для тела, я мог вложить в удар весь мой вес и всю мою силу. Конечно, был риск, что индеец при падении разобьется насмерть. Не разбился. Он кубарем катился по палубе. Потом по-кошачьи присел на корточки, отряхнулся и прыжком встал на ноги. Индеец — одна рука его все еще привязана к телу, на шее болтается веревка с обломком реи — поднял вверх правую руку и что-то пронзительно крикнул. Что он выкрикнул, я не знаю — должно быть, что-то на своем родном языке. Но что он хочет, я знал и без слов. Я бросил ему топор. Он на бегу поймал его.

Все дальнейшее было кровавым кошмаром. Молю бога, чтобы забыть его, но, думаю, не смогу никогда. Опишу кратко. Подробности слишком ужасны.

Индеец перестал кричать и молча бросился на врагов. Рубил и резал. Некоторые пытались отбиваться. Напрасные усилия. Он разил топором, как ангел господень из Книги Бытия. Неуязвимый, он надвигался неумолимо. Его противники падали во прах.

Я спрыгнул на палубу, вытащил меч из ножен и встал с ним рядом. Хед выстрелил в нас из пистолета. В тумане промахнулся. Заряды у него кончились, он отшвырнул пистолет и схватил отпорный крюк. Стал ждать меня. Я не замедлил явиться.

Помню пронзительный вой боцманского свистка. Затем горн мистера Барвика пропел сигнал "К бою!". Ко времени появления на палубе наших солдат бой закончился.

Бой? Нет. Безжалостное избиение. Столько пролитой крови я не видел со времени резни в ирландском форте Смервик. Палуба сочилась кровью. Даже туман окрасился в кроваво-красные тона.

Я убил только двоих. Одним из них был Хед. Заплата слетела у него со лба. Под ней оказался прыщик.

Индеец позаботился о пяти других негодях. Пяти ли? Возможно. Кто знает? Он отрубил их поганые головы. Методично изрубил в куски их искромсанные, искалеченные тела. Когда он закончил, на палубе не осталось ничего хотя бы отдаленно напоминающего человеческие останки.

Пальцы мои и сейчас в липкой крови. Лист бумаги, на котором я пишу, заляпан пятнами крови. По странице змеится кровавый улиточный след...

Я раздавлен, оглушен, измотан до предела.

Нет сил писать.

Завтра еще не поздно разобраться во всем. В моем сне. В кошмарной яви.

Если в чем-то еще можно разобраться.

Если завтра наступит...

23

25 апреля

В небе висит кровавый плевок солнца. В адском тумане появились разрывы и проблески. Он постепенно поднимается. Но корабль почти не движется. Облегчение нам может принести только ветер. Ветра нет. Корабль застыл, словно привязанный, прикованный или отягощенный грузом злого рока и непростительного греха. Морская вода словно черное молоко. Если бы в этой безбрежности воды и тумана увидеть хоть одну птицу! Птиц нет. Нет даже птиц-боцманов, которые спят на воде. (Так далеко на север они, видимо, не залетают.) Водяные змеи с желтыми и черными кольцами — единственные живые свидетели нашего вынужденного дрейфа; они большими кругами плавают вокруг моей "Судьбы". Подлые вассалы! Гнусная свита! Чего они ждут? Будь я суеверным человеком, я бы наверняка подумал, что их круги и извивы подчиняются волшебной палочке колдуна, который ткет опутавшую нас волшебную паутину, что мы обречены оставаться недвижимыми.

Но я не верю в судьбу, в дурные звезды или предзнаменования. Все это выдумки.

Я жду, когда поднимется солнце и задует ветер.

Сегодня утром я разрешил мистеру Барвику дать команду Саймону Тавернеру, чтобы тот приготовил для каждого из оставшихся верных мне членов экипажа пинту бренди, разбавленного дождевой водой, с лимонным соком и сахаром. (Фляга бренди, спрятанная в каюте, — мой самый большой секрет. Перед отплытием из Кинсейла — как давно это было! — мне подарил ее лорд Бойл, граф Корк. Он знал, что я не пью, но правильно оценил достоинство такого напитка в чрезвычайных обстоятельствах.)

Сам я не пил. Я даже не позволил себе насладиться еще одним листом *коки*. Для меня достаточно хорошей трубки табака. Табак прочищает мозги и помогает отделить мешанину в голове от того все смешавшего ужаса, что я пережил вчера.

Быть откровенным — большая роскошь.

Сначала несколько голых фактов. Тех, что застряли у меня в глотке. Что я должен выплюнуть. Прости меня, сын, если это звучит оскорбительно. Ты увидишь, что сказанное оскорбительно прежде всего для *меня самого*.

Я ошибся в своем суждении о Ричарде Хеде. Очень жестоко ошибся. Я посчитал его раздавленным червем, который никогда ни на что не решится. Черви живучи. Этот оказался именно таким. Он, дьявол, ждал своего часа. Я унизил его в глазах сообщников. Должен был предвидеть, что такой человек будет искать случая отомстить.

Его банда сумела одолеть Сэма Кинга у дверей моей каюты. Они решили, что убили его, но прежде мой друг, теряя сознание, уже стоя на коленях, исхитрился запереть мою каюту снаружи и выбросить ключ в море. Это я узнал от самого Сэма — несмотря на многочисленные раны и пробитый череп, есть надежда (да хранит его всевышний), что он поправится.

Чтобы сломать дверь каюты, Хед, должно быть, послал за бревном. Если так, то он непростительно промедлил. Поскольку в этот момент — разумеется, еще до того, как кто-либо из бунтовщиков успел спуститься с юта, — из *своей* (бывшей Уота) каюты появился индеец, и все переменялось.

Почему? Каким образом?

Я могу полагаться только на рассказ Гуаякунды. Его версия выглядит по меньшей мере странной. И все же я ему верю. Зачем ему врать, в конце концов?

Хед по какой-то причине испугался. Этот подонок говорил немного по-испански, и, когда, наставив пистолет на индейца, он начал что-то с беспокойством объяснять своим сообщникам, индеец слышал, как он без конца повторял одно слово: *brujo*.

По-испански *brujo* значит "ведун" или "колдун", тот, кто дружит с сатаной.

Я спросил индейца:

— Ты думаешь, он считал тебя колдуном?

— Да.

— Но, боже милостивый, почему?

Индеец пожал плечами.

— Не знаю. Может, он сошел с ума. Может, слышал разговоры в Сан-Томе.

— Какие разговоры?

— Разговоры рабынь.

— Они называли тебя *brujo*?

Индеец кивнул.

— Это ничего не значит, — сказал он. — Они называли меня так, потому что они не понимали.

Я не стал спрашивать у него, чего не понимали эти суеверные женщины. Меня больше интересовало, почему Хед неожиданно изменил свои планы и вместо меня решил убить его. Были ли у индейца какие-либо предположения на этот счет? Я спросил его прямо. И получил ошарашивающий ответ.

— Человек с повязкой на лбу — он уже пытался повесить меня.

— В испанском форте?

— Да. Их было двое. Они держали лошадь. Он был одним из них.

Я мучительно старался вспомнить, видел ли я Хеда в своем сне. Нет. Но это и неважно. Индеец, в конце концов, говорил о реальных событиях.

— Так... значит, Хед уже пытался тебя однажды повесить, — сказал я. — Впрочем, из этого не следует, что он должен был повторить попытку...

— Он был уверен, что я *brujo*, — пояснил индеец. — Он думал, что у меня есть особая сила, что я особый человек. Может быть, он хотел проверить, можно ли меня вообще убить. Может быть, он думал, что моя смерть лишит силы тебя.

— Но это нелепо!

Индеец ткнул пальцем в свою шею. Кожа еще хранила след веревочной петли. Он сказал:

— Может быть, он думал, что это я заставил его бросить нож в море.

— Что?

Индеец улыбнулся.

— Когда белые люди впервые пришли в мою страну, индейцы решили, что это боги. Может быть, теперь страх действует в обратном направлении.

Дикая мысль. Я отверг ее.

— Я думаю, Хед сошел с ума, — сказал я.

— Да, — ответил индеец.

— Значит, ты согласен? Значит, дело не в колдовстве и особой силе? Хед — безумец! У него не было причины вешать тебя на рее. Согласен? Что Хед сумасшедший? Что он не ведал, что творил?

— Да, — ответил индеец.

Я продолжал расспрашивать его. Меня снедало желание узнать все подробности случившегося до моего появления, до того, как я увидел ту жуткую сцену. Как удалось Хеду с сообщниками заставить его спуститься с юта? Приставив пистолет к виску, сказал индеец. Как им удалось связать его и вздернуть на рее — ведь я сам видел, какой громадной силой он обладает? Опять-таки с помощью пистолета, сказал индеец. Его ответы звучали вполне убедительно. Все было разумно и объяснимо, кроме безумия леденящей душу пантомимы повешения. И вот мы дошли до крика.

— Ты кричал, — сказал я.

— Да.

— Это разбудило меня.

Индеец промолчал.

— Никогда не слышал ничего подобного, — сказал я. — Ты уже говорил мне о своем крике. Ты сказал, что он сводит людей с ума, гонит их убивать. Что это крик Золотого Человека. Взгляд индейца оставался непроницаемым.

— Я сказал Гуаттаралю правду.

Я говорил, тщательно подбирая слова.

— Тот крик. Это что, колдовство?

— Нет, — сказал индеец.

— Что же он тогда такое?

— Крик Золотого Человека.

— Что он *означает*? — спросил я. — Что Золотой Человек — это ты?

Лицо индейца передернула страдальческая гримаса. Он закрыл глаза рукой, словно боялся, что я его ударю.

— Нет! — крикнул он. — Нет! Нет!

Мне стало стыдно. Я понимал, что не имею права задавать ему такие вопросы. Что вторгаюсь на чужую территорию. Но остановиться не мог. Не праздное любопытство руководило мной. Потребность узнать и понять.

Я должен выяснить все до конца.

— Значит, Золотой Человек — твой бог? — спросил я. — И в тебе говорит голос твоего бога? В этом значение крика? Он голос бога чибчей?

Индеец медленно отнял руку от лица.

— Я не знаю, — сказал он.

Я был поражен. В его глазах стояли слезы. Человек, который еще вчера разил своих врагов и рвал их на части, как медведь Громила в Парижском парке, плакал передо мной безутешно, как малый ребенок.

*

Я не мог продолжать беседу. Жалость и смущение овладели мной. Никогда еще я не видел индейца таким подавленным. Мне пришло в голову, что он — пусть по-своему, примитивно — не меньше меня *ранен* вчерашним событием. Речь, конечно, идет о внутренних ранах, ранах сердца и души, что могут быть столь же страшными, как разбитый череп Сэма Кинга, из которого сочится кровь.

И все же индеец заговорил.

— Я сказал Гуаттаралю правду, — произнес он всхлиывая. —

Я сказал ему, что знаю и чего не знаю. — Он взял себя в руки. Посмотрел мне в лицо невидящими от слез глазами, слезы потоком бежали по его лицу. — Но это еще не вся правда, которую я знаю. Которую не знаю. Мы поговорим об этом еще раз. Может быть — *завтра?*

Тон его был одновременно уверенным и просительным. Словно он предлагал отсрочку ради нашего общего блага. Я не понял его, но согласился. Кивнул. Он повернулся. Побежал. Скрылся из виду.

*

Матросы соскребают с палубы кровь. Из каюты я слышу, как эти скоты поют! Поют! Очевидно, им нравится работа. (Больше, чем мне моя. Кто может вычистить эти страницы? Кто может очистить мою память от завладевших ею кровавых призраков?) Уверен, что их усердие подогревает манящая перспектива получить после работы кружку прокисшего пива и кусочек высохшего, как рог, сыра. А может, я несправедлив к этим болванам? Они, как бы там ни было, не присоединились к гнусному Хеду и его банде. Возможно, и этот сброд, составляющий ныне мою команду, способен что-то чувствовать. Что? Например, что мы считаем с палуб "Судьбы" следы кровожадных духов, злобных призраков, одержимых ненавистью людей, вознамерившихся уничтожить меня самым нелепым способом. Повесив индейца! С таким же успехом они могли прорубить огромную дыру в корпусе корабля и утопить всех вместе с собой. Мы избавились от безумия. Эти поющие идиоты должны понять, что теперь у нас по крайней мере есть шанс завершить плавание. Как подобает. В порту. В гавани Кинсейла. Где они могут получить от меня плату и убраться восвояси. Трусливо, как крысы, бежать в темные дыры, которых предостаточно в Ирландии для им подобных.

До меня также доносятся звуки пилы и топора. Николас Маркэм, наш корабельный плотник, вырубает новый нок для поврежденной реи. Этот не поет. Честный молчаливый работник. Знает свое дело. Справится. Хвала всевышнему.

Только что ко мне заходил его преподобие мистер Сэмюэл Джоунз — ну и бестолочь! Должен ли он прочитать несколько слов молитвы над искромсанными кусками мяса и обломками костей, которые матросы сгребают сейчас за борт? Я посоветовал ему поступать по велению совести.

Моя совесть заставляет меня писать.

Я попытался разобраться в кошмаре вчерашних событий. Но как, боже милосердный, разобраться в моем ужасном сновидении?

Я имею в виду не жуткие фантазмагии — сползающую с индейца плоть, его золотой череп, глаз, который я вложил в собственную орбиту... Такие ужасы часто снятся. Это чепуха.

Когда я хочу понять сон, я подразумеваю две вещи.

Первое: как объяснить тот факт, что мой сон, так сказать, *сбылся*? Мне снилось, как индейца пытались повесить. А в то время, как я видел это во сне, за переборкой моей каюты, в тумане, проклятый Ричард Хед со своими гнусными сообщниками набрасывали петлю на шею индейца. Пророчество? Совпадение? Мне снилось, что индеец кричит. Проснулся я от его настоящего крика. Но, может, в этом нет ничего необычного? Мир сновидений и реальный мир связаны между собой своего рода пуповиной. Королева рассказала мне как-то об одном своем сне. Ей снилось, что ее сжигает на костре одинокрывная сестра Мария. Елизавета находилась в толпе трехсот протестантских "еретиков", преданных огню среди нечистот Смитфилда. Рядом с ней стоял Роджерс, каноник собора св. Павла, чье преступление состояло в том, что он перевел Библию на английский язык (вместе с Кавердейлом и Тиндалом). Каноник купал руки в пламени, будто в холодной воде. Он призывал королеву последовать его примеру. Совсем не больно. Елизавета проснулась. Рядом с ее постелью стояла Мэри Фиттон и заливала водой подушку, загоревшуюся от фитиля упавшего ночника. Как вода и огонь двух миров сошлись при пробуждении королевы, так нечеловеческий крик индейца вчера связал для меня сон и явь. Кому из нас не снилось, что он идет по раскаленной пустыне, когда во сне его ноги попадали на грелку с углями? Такие аналогии успокаивают. Их понимаешь. Но если обычно пробуждение рассеивает ужас кошмара, у меня оно лишь усилило, увеличило его, наполнило страшными деталями и подробностями. Во сне я видел не прошлое и не будущее, а то, что *на самом деле происходило сию минуту в настоящем!* Поэтому... поэтому впервые за всю мою жизнь я боюсь заснуть. Словно плотину прорвало. Неужели больше не будет четкой грани между тем, что я воображаю, вижу во сне, и тем, что делаю, проснувшись? Странная мысль. Я презираю себя уже только за то, что задал такой вопрос. Веду себя будто фантазер из пьесы Шекспира, как герой "Принца Датского" — кстати, слабая вещь, пустая и путаная, ни то ни се, не драма и не историческая хроника. Дорогая Бесс, как мне сейчас не хватает тебя в моей постели! (*Такого я никогда не говорил. И это я! Кто всегда в своей каюте спасался от людей...*)

Страх. В нем вторая загадка того отвратительного сна.

“Почему Гуаттараль не пришел сам?”

“Потому что он трус. Вот почему”.

Когда я во сне говорил это, то был Кеймисом. В моей глазнице торчал глаз Кеймиса. Я говорил голосом Кеймиса. Точнее, не говорил, а вещал как оракул. (Сэр Роберт Нонтон! Когда-то он назвал меня оракулом королевы!)

“У него лихорадка. Но лихорадка – всего лишь предлог. Если бы он не страдал от лихорадки, то, будь уверен, сэр Уолтер Рэли придумал бы другую причину, чтобы не прийти сюда. Он трус. И был им всю жизнь. Сам он этого не знает. Никогда бы себе в этом не признался. Но я знаю сэра Уолтера. Знаю его тайную суть. В этом его тайна, и в этом его суть”.

Мог ли Лоренс Кеймис сказать это?

Нет. Не мог.

Мог ли он так хотя бы *подумать*?

Нет. Даю голову на отсечение.

Но во сне Кеймисом был я. Я сказал это. Следовательно, я так думал. И если я вещал как оракул, не значит ли это, что сказанное мной – правда?

НЕТ.

Я решительно отвергаю этот сон.

Разве трус...

*

Слишком много самокопания. От него мне стало плохо. В буквальном смысле. Именно поэтому я прервал самобичевание на бумаге и выполз из каюты. Обхватив ствол фальконета, закрепленного на юте, я свесился за борт (слава богу, в тумане, все еще окутывающем наш корабль, меня никто не видел) и стал изрыгать... что?

Один бог знает. И море.

Дело в том, что желудок мой был пуст. За весь день я лишь выкурил трубку табака.

Что это за напасть?

Болезнь? Предвестье смерти?

Уж конечно, не обычный приступ отвратительной морской болезни. Откуда бы ей взяться, когда корабль почти не движется?

Сэра Уолтера Рэли вырвало. Я описываю это ничтожное событие в третьем лице, поскольку именно так его воспринимал. Словно я мгновенно покинул это жалкое, истерзанное тело, стоящее рядом с мной, и наблюдал со стороны маленькую драму грешной плоти.

Сэр Уолтер Рэли, великий Люцифер, блистательный и надменный, которому некогда завидовал весь мир, придворный и сол-

дат, путешественник и основатель колоний, герой Кадиса, любовник королевы Елизаветы, красавец и щеголь...

И тот же самый сэръ Уолтер Рэли.

Блует.

Я выблевал все остатки самоуважения, всю полынную горечь моей жизни и моих надежд, всю пищу долгого пира, на котором не отведал ничего.

Ничего. Ничего. Ничего.

Совсем ничего.

24

27 апреля

В полночь — неужели это было всего час назад? — почувствовал первые слабые дуновения легкого ветерка. Теперь ветер уже надул наши паруса. Туман рассеялся. Под темным, усыпанным звездами небом моя "Судьба" плывет на восток. Полное отсутствие дымки порождает явление, которое мне не приходилось наблюдать ранее: граница между небом и морем ярка и отчетлива, как острие ножа, звезда, опускающаяся к горизонту, нисколько не теряет своего блеска и, когда водная гладь разрезает ее надвое, верхняя часть начинает отбрасывать на море огненный луч, который освещает нам путь.

Я многое узнал в последние шестьдесят минут. Это время я провел с индейцем, мы доверительно беседовали на юте. Никто не мешал нашему диалогу. Разве что ночная прохлада. Беседуя, мы прогуливались по палубе.

То, что он рассказал, имеет величайшее значение. Чувствую, что этот ключ отопрет многие замки. Правда, пока что мне следует избегать искушения отпирать этим ключом все на свете. Пожалуй, лучше будет, если я вообще откажусь от таких метафор, как "ключи" и "замки". Они чужды духу того, что я понял, что пытаюсь понять сейчас и что должен понять в будущем, если хочу привести мой корабль и мою жизнь в гавань разума и смысла.

Истины ради надо записать все как было, не приукрашивая. Слушай внимательно. Я запомнил все до последнего слова.

*

Индеец начал так:

— В нашу первую встречу ты спросил меня, кто я такой. Я сказал тебе, что был слугой испанского губернатора. Это правда.

Позднее я сказал тебе, что убил его. Это тоже правда. Но я сказал тебе не все. Тогда было не время. Я сказал тебе лишь то, что знал, — но есть и другое. Я не сказал тебе то, чего не знаю.

Он замолчал. Я не прерывал его молчания. Мне было ясно, что говорит он искренне, тщательно подбирая слова. Я хотел дать ему выговориться. По его виду я понял, что он долго вынашивал свою правду, нашел ее и решил поделиться с другим человеком. Молчание — важная часть такого рассказа. Только мелкие реки журчат не умолкая.

— Я не знаю, кто я такой, — продолжал индеец. — Я знаю мое имя и место, где я родился. Кристоаль Гуаякунда. Из долины Согамосо. Из племени чибчей. Это я знаю, и это я сказал тебе. Но что это *значит*, я не знаю.

Он немного помолчал, небрежно дотронувшись до кольца в носу, словно давая понять, что это лишь знак дикарства. Когда он снова заговорил, речь его потекла свободно. После заранее обдуманного вступления он одним духом рассказал всю свою историю. Он выплеснул содержимое своего разума, как грешник, вдруг решивший покаяться.

— Гуаттараль, правда в том, что я *ничто*. Инки покорили мой народ за сто лет до прихода белых людей. Они сожгли наши дома и забрали наши земли. Я сказал, что мы гордый народ. Наша гордость — это гордость мертвецов. Мы призраки, тени, мы то, что из нас сделали наши враги. Да что говорить, даже название нашего племени — чибча — не настоящее. Кажется, нас зовут муиска, но никто не знает наверняка. *Чибча* нас называли другие — потому что нашего главного бога мы называли *Чибчачум*. Подумай! Нас стерли с лица земли как людей, нас знают только по издевательскому прозвищу нашего бога! Мы перестали существовать. Мы стали тенью. Потом пришел Кортес с белыми людьми на белых лошадях. Он поработил наших поработителей. Мы стали прахом праха, который топтали его *conquistadores*¹. Тени теней, призраки призраков, забытый народ, привидения из снов других народов! Может быть, скажешь, что человек может восстать из такого пепла? У каждого человека есть свое пламя в костре его семьи. Я однажды хвастался перед тобой моими Золотыми Отцами... То была похвальба человека, который называет своих предков "золотыми", потому что не знает их во плоти. О, из этого много еще чего следует! Из этих бесконечных пустых разговоров о *золоте* и *золотых*... Но я еще скажу об этом позже. Этому научил меня ты. И прежде всего пониманию, что такое золото.

Повернувшись ко мне, он широко развел руки, словно прося о помощи.

— Ты понимаешь? Что я ничто? Даже мое имя — ничто! *Крис-*

¹Конкистадоры, завоеватели (исп.).

тобаль Гуаякунда. Это имя мне дали испанцы. Их священники облили меня водой. Вода не оставляет следов. Что я вижу, когда смотрю в зеркало? Только то, что *они* называют "Кристоваль", а ты называешь "индеец". (Я часто слышал, как ты произносишь это слово, когда кричишь на своего мальчика с петушиным пером на шляпе.) Этот "Кристоваль", этот "индеец" — я не знаю его! Кто он такой? Он не настоящий человек, он тень, отбрасываемая его хозяевами!

Меня глубоко потрясли его слова. Признаюсь, что они меня и удивили. И не умом, очевидным в его самооценке — я всегда считал его неглупым человеком, несмотря на дикарскую внешность, — а силой и выразительностью речи. Мы всегда говорили (не забывай) по-испански. Когда-то и где-то этот человек превосходно овладел испанским. Мне пришло сейчас в голову, что этот факт лишь усиливает пафос его рассказа. Он говорит по-испански не хуже испанца, а это ведь не родной его язык. Из замечания о моем паже Робине ("твой мальчик с петушиным пером на шляпе") я понял, что на корабле он немного научился и английскому. Короче говоря, в уме индейцу не откажешь.

Я обратился к нему как можно более дружески.

— Послушай, — сказал я. — Я хорошо понимаю тебя. Человеку нужны корни. Знание истоков придает ему силы. Но человек — не дерево. Мы можем делать себя сами. Ты думаешь, я родился таким, какой я сейчас? Командиром других? Великим предводителем? Я не принц. Мои отец и мать...

— Я думал, ты бог, — сказал индеец.

Меня затрясло от кашля. Казалось, мое истерзанное лихорадковой брэнное тело восстает против такой чудовищной нелепости.

— Бог? — каркнул я. — Посмотри, человеке, видишь кровь у меня на ладони? Это кровь из моих легких, сгнивших за годы, проведенные в тюрьме, в которую меня посадили за преступление, коего я никогда не совершал! — Мне пришла в голову еще одна идея. — Ты назвал себя призраком? Так вот, я даже не призрак! Король приговорил меня к смерти. Все эти годы в Таузре — в любой день, когда бы король ни пожелал избавиться от меня, я мог быть казнен. Бог? Друг мой, я мертвец!

Я ударил ребром ладони себе по шее. Индеец проворно схватил меня за запястье.

— Он отрубит тебе голову?

— Возможно.

— Потому что ты не привез золота?

— Это одна из причин.

— А другая — убийство Паломеке?

Я пожал плечами.

— Я дал слово, что не пролью ни капли испанской крови. Невыполнимое условие. Я принял его. Приму и последствия.

Индец не отпускал моей руки. Он сжал ее еще сильнее. В свете луны глаза его блеснули безумным блеском.

— Но Паломеке убил я! Я скажу об этом твоему королю!

— Спасибо, — сказал я. — Не сомневаюсь, Его Величество с превеликим удовольствием повесит и выпотрошит тебя. Мертвец и привидение рука об руку вступают в свои владения. Очень мило и пристойно. Но боюсь, едва ли необходимо. Я уверен, ты помнишь, что, даже если не считать твоего хозяина, мои солдаты убили в Сан-Томе несколько испанцев. Ну конечно, я знаю, сейчас ты снова начнешь убеждать меня, что твой золотой крик заставил моего сына ринуться в атаку и все такое. Услышав твой крик собственными ушами, я готов поверить в это. Но для человека, который говорит, что он ничто, ты берешь на себя слишком много! Прах праха? С каких это пор прах возымел такую неограниченную власть над жизнью и смертью?

Моя речь, как ты видишь, становилась все более горькой и саркастичной. К концу я уже пожалел, что вообще начал. Но сейчас, вспоминая наш разговор, я даже рад, что позволил себе этот неожиданный приступ язвительного гнева. Именно он снова вызвал индейца на открытость.

Отпустив мою руку, он отвернулся и уставился на море. Я понимал, что он избегает смотреть мне в глаза. Я также понимал, что за этим нет никакой неискренности. Когда человек говорит с таким внутренним напряжением, ему надо сосредоточиться. И снова мне на ум приходит сравнение с кающимся грешником. Есть вещи, которые душа должна обращать не к себе или священнику, а только к распятию. Море служило индейцу распятием. Божье море, помазанное лунным светом и распятое звездами.

— Слушай внимательно, Гуаттараль. Я прах. Я ничто. Но мой прах из золотой пыли. И мое ничто — для тебя все. Когда инки уничтожили мой народ, они завладели его снами. Наши земли, бедные и скудные, лежали высоко в холодных горах. Мы строили простые дома — деревянные стены да крыша из плетеной травы *ичу*. Я говорил тебе, что чибчи — гордый народ. Это правда. Но их гордость — это гордость людей, которые свой жалкий хлеб добывают неимоверными трудами. Чтобы как-то прокормить себя, мы возделывали наши скудные земли закаленными в огне палками и каменными топорами. Немного кукурузы, несколько картофелин, горсть *киноа*. Разве этим прокормишься? Таков был ежегодный урожай. К тому же сильные ветры и редкие дожди. Так почему мы жили в горах? Ответить на этот вопрос — значит объяснить, почему пришли инки. Ведь если наши земли так бедны, то кому они вообще могли понадобиться?

Я скажу. Было две причины. Первая — вещь вполне реальная и даже съедобная! Да, лист, пища богов... Только богам ведомо почему, но *кока* — единственное, что у нас было в достатке. Она растет сама по себе вокруг наших пяти священных озер. Ее осо-

бенно много около озера Гуатавита. Одни говорят, что нас благословил его бог-солнце. Другие — что первые семена посадил Бочика. Ты слышал о Бочике? Ацтеки и тольтеки зовут его Кецалькоатль. Очень могущественный бог. С таким же белым лицом, как у тебя!

Индец бросил на меня быстрый умоляющий взгляд — будто сказанное им проясняло что-то важное. Не встретив понимания, он мрачно ухмыльнулся. Снова вперил взор в морскую даль. Речь его потекла еще стремительнее.

— Ты знаешь силу листа. Но ты знаешь не все. Человек может жить, питаясь одним только листом, и стать больше чем человеком. Говорят, что лист делает нас почти богами. Ты уже знаешь, что он придает силу и выносливость. Это правда. Он сделал чибчей сильными, эта пища богов превратила бедное горное племя в могучий народ. Но ты, Гуаттараль, еще не распробовал листа! В нем таятся видения. Империи смысла. Королевства духа. Бесмертные миры.

Он вдруг замотал головой, как бы стряхивая нотки экстаза, искажавшие его голос.

— Я уже говорю как инка! — закричал он. — Ты заметил, что я заговорил чужим голосом? В это верили *они*, поэтому они и пришли со своими армиями уничтожить нас. Чибчи не "верили". Чибчи *знали*. Наши враги хотели завладеть этим знанием. Но у них ничего не получилось. Они убивали мужчин, насиловали женщин, сжигали наши жилища. Они набивали животы листом, пока их мозги не превращались в дерьмо, которое лилось из них рекой. Тогда их вожди начали пытаться наших жрецов, думая, что мы скрываем от них какую-то тайну. Жрецы не знали никакой тайны. Ее не было.

— Я не понимаю, — признался я. — Ты хочешь сказать, что чудодейственные свойства, которые ты приписываешь листу *коки*, доступны только чибчам?

— Может быть. Я не знаю.

— Но почему? Только потому, что твой народ ел его много лет подряд? Из поколения в поколение? Потому что в нем был источник вашей силы?

— Возможно. Но некоторые жрецы объясняли это тем, что бог-солнце даровал его чибчам прежде других. Что мы избранный народ.

— И этот кустарник больше нигде не растет?

Индец заколебался. Потом пробормотал:

— Нет. Растет. Он был и у инков, хотя и не в таком изобилии. И, уж конечно, наш лист считался самым сильным.

Я покачал головой, поскольку так пока и не понял важности того, что мне сообщалось.

— Ты хочешь сказать, что ваши враги не ценили того, чем уже обладали? Что они поработили твое племя только потому, что

у вас имелся более сильный вид этого растения? Какая-то нелепость!

— Да.

— Ты согласен?

— Это случилось очень давно, — начал индеец. — То, что я рассказываю тебе, знаю не по собственному опыту. Мне пришлось выслушать много сказок, легенд и историй, придуманных стариками, чтобы я мог объяснить, что их собственные деды думали обо всем этом, когда были молодыми. Кто знает, что такое правда? Когда-то я думал, что знаю. Теперь я говорю только одно: люди живут грезами. Инки воображали, что мы боги. Они грезили нами. Но потом убедились, что мы только люди.

Я спросил:

— А о чем грезили чибчи?

Индеец вздохнул.

— Хуже нашей грезы не придумаешь. Мы возомнили себя богами. Горный народ, вознесшийся над другими. Буду честным до конца. Может быть, боги позволили нашим врагам уничтожить нас именно за эту немислимую гордыню.

Я любовался совершенной яркостью звезд. Их было так много, что кое-где скопления спящих точек теснили черный небосвод.

Я тихо сказал:

— Вторая причина.

Он не ответил.

— Ты говорил о двух причинах, которые привели к уничтожению твоего народа инками. Первая, сказал ты, *вещь вполне реальная...*

— Лист существует.

— Не спорю. Сам ел чертово зелье!

— Гуаттараль не должен так говорить. Лист не чертово зелье. Он священный.

— Это твое мнение. И я его не собираюсь оспаривать — хотя мне показалось, что ты сам на распутье.

Индеец нахмурился.

— Как это, на распутье?

— Это такое выражение. Неужели ты никогда не слышал его от своих испанских хозяев? Оно означает, что ты еще не выбрал пути, сомневаешься, колеблешься. Это ведь и в самом деле так. То ты говоришь о пище богов, то утверждаешь, что инки...

— Инки хотели не только *коку*. Они хотели то, что, по их представлению, *кока* давала нам.

— Божественную силу? Мудрость? Но ведь ты сказал, что это греза. Безумный сон!

— Это их греза! — сказал индеец. — Я знаю, что это их сон. наших снов я не знаю. И это я стараюсь объяснить. Я могу говорить с каким-то знанием о чужих грезах. Именно грезы дру-

гих людей превратили меня в ничто. А что до грез чибчей — я их не знаю! Они исчезли, улетучились, как ветер в Андах. Я не на распутье. У меня вообще нет пути! Сон и явь для меня одно и то же. И то и другое означает забвение. Теперь ты понимаешь меня? Я не грежу, я существую в чужих грезах. Испанцы во сне видели отцов моих отцов. Инкам пригрезились мои более далекие предки. А кому приснился я? Разве Гуаттараль не знает?

Я схватился за поручень, но его прохлада не принесла мне облегчения. Яркие звезды, казалось, закружились в небе. Мне подумалось, что вот сейчас они падут на землю и уничтожат меня. Никогда раньше не видел я звезд в такой опасной близости от себя. Мир... Вселенная смысла... Мне показалось, что он может лопнуть, порваться по швам, разлететься на бессмысленные куски. И мое впечатление было верным. Мир разлетался на куски. *Мой мир.*

Клянусь господом богом, что какой-то своей частью я знал, предчувствовал худшее, смутно понимал, что индеец собирается сказать мне правду, которая превратит мою жизнь в безумие. Я мог бы уйти, закрыть уши, приказать ему замолчать. Нет. Я не сделал ничего подобного. Но почему же, боже праведный? Сила духа? Нет, сын, нет. Совсем наоборот. Дух мой был сломлен. *Я знал, что он собирался сказать мне.* Не слова, конечно. Но суть. Он сказал мне лишь то, что, уверен, я должен был в конце концов узнать.

— Я приснился тебе, Гуаттараль. Инки, как и ты, тоже грезили о золоте. Вот и вторая причина. Золото, золото, золото! Они думали, что мы сделаны из золота, что золото течет в наших реках. Как и ты, они видели в своих снах Золотого Человека!

Признаюсь, на мгновение он показался мне дьяволом. Как иначе он мог узнать о моем сне? О том ужасном видении? Я так ждал холодный поручень, что пальцы хрустнули. Да будут благословенны малые знаки нашей бренности! Этот хруст привел меня в чувство. Когда индеец продолжил рассказ, я с облегчением отметил про себя, что о сне он говорил метафорически.

— Золотой Человек, Эль Дорадо, золоченый. Таков был титул нашего короля, короля чибчей, Зипы. Короля? Касика? Ты заметил, что сон обретает великолепие? Для инков он был, без сомнения, наваждением. Подобно ацтекам и испанцам, они были неизлечимо больны золотой лихорадкой. Я уже говорил тебе об озере Гуатавита — нашем святилище. Во время коронации Зипу несли туда на деревянных носилках. Люди пятились перед ним, подметая дорогу, по которой его должны были пронести... Рассвет. Вокруг поднимаются горы. Первый луч солнца окрасил гладь озера. Жрецы снимают с короля одежды. Они обмазывают его *el barniz de Pasto*, соком дерева, обычной смолой. Потом настает черед других жрецов. В одной руке они держат

полые палки. В другой — сосуды с золотой пылью. Жрецы дуют на золотую пыль сквозь отверстия палок. Пыль прилипает к смоле. Они дуют до тех пор, пока король не покроется золотом с головы до ног. Преображение! Теперь король стал живым воплощением бога-солнца. Жрецы снова поднимают на плечи носилки с позолоченным королем и входят в воду. Эль Дорадо! Чибчи, облепившие берега, приветствуют своего Зипу. У каждого в руках приношение из золота. Жрецы преклоняют колени. Носилки плывут по воде. Как только солнце зажигает озеро Гуатавита золотым огнем, Золотой Человек встает, раскидывает в стороны свои позолоченные руки и ныряет... Глубоко, глубже, еще глубже. Много минут должен он оставаться под водой. Пока не смоет все золото. Вода в озере ледяная, но король выдержит холод. Он знает, если на его теле останется хоть одна золотая пылинка, жрецы скажут, что бог-солнце отверг его. И тогда, естественно, — смерть. Говорят, ни один Золотой Человек не заслужил такой кары. У нас, горцев, широкая грудная клетка и большие легкие, мы можем довольствоваться разреженным воздухом. Наконец король выходит из озера. На нем ни следа золота. Жрецы кланяются ему до земли. Народ бежит навстречу. В озеро летят золотые безделушки. Золотой дождь. Слава Гуатавиты. Воды его сверкают и блещут. Настоящее зеркало бога-солнца. Озеро из чистого золота. Да здравствует Зипа! Зипа да живет вечно! Могучий крик разносится с горных вершин и берегов озера. Избранника бога-солнца, короля чибчей, несут, ликуя, в его дворец. Он — золотой! Золотой Человек! Эль Дорадо!

Голос индейца дрожал от возбуждения, казалось, он видит то, что рассказывает, и все происходит сейчас перед его и моим взором. Неожиданно он умолк. Показал рукой на лунную дорожку в море.

— Вот она, правда.

— Я не понимаю.

— Что ты видишь на воде? Отражение лунного света. Что такое лунный свет? У луны нет собственного света. Ее лицо освещается солнцем. Так меня учили испанские священники.

— Ты хорошо усвоил урок, — сказал я. — Все это верно. Но при чем тут твой Золотой Человек?

— Они похожи, — сказал индеец, переходя на шепот. — Инки, а позднее испанцы двигались в темноте. Они подобны луне. У них не было собственного света. Они пришли как воры — украсть свет бога-солнца, золото чибчей, славу нашего Золотого Человека.

Он повернулся. Посмотрел мне в глаза.

— *В землях, когда-то принадлежавших моему народу, золотых приисков нет.*

— Но ты сам говорил о золотой пыли...

— Если она и была, то ее покупали. Если у нас были золо-

тые фигурки, то нам их кто-то продавал. Возможно, что чибчи иногда обменивали *коку* на золото. Возможно, но маловероятно. *Кока* для нас священна. Золота же — прах. Золото не живет.

— Если у вас были фигурки? Значит, твой рассказ о Золотом Человеке...

— Ты прав. Рассказ. Сказка. Сказка, рассказанная инками. Рассказанная ими ацтекатлям — народу, который ты называешь ацтеками. А теми рассказанная испанцам. И так далее, и так далее.

— Но что-то ведь было...

— Тебе необходимо верить в это?

— Разве луна придумала солнечный свет? — спросил я, цепляясь за образ, которым он воспользовался, чтобы описать путь своей странной истории во времени. — Не хочешь ли ты сказать, что солнца нет?

Индеец покачал головой.

— Бог-солнце выше издевательств. Он смеется над нами. Я говорю тебе все, что знаю, и все, чего не знаю. Я не знаю, почему нашим врагам пригрезился Золотой Человек. *Может быть*, Зипу покрывали золотой пылью, купленной у других племен. *Может быть*, то, что наши жрецы выдували из своих трубок на его тело, было просто семенами какого-то дерева. *Может быть*, торговцы других племен наблюдали сцену коронации и решили, что у нас много золота, а потом эта весть разнеслась по свету. *Может быть*, все это придумали торговцы, объездившие нашей *кокой*. *Может быть*, вообще ничего не было...

— Ничего? Что-то должно было быть, дружище!

Индеец мрачно усмехнулся.

— Потому что так считает Гуаттараль?

— Потому что Кортес нашел золото!

— Конечно. Но в империи ацтекатлей, в империи инков.

— Значит, золото должно быть и в других местах.

— Согласен. Но это неважно. Я говорю тебе то, что знаю. В горах моего народа золота нет. Ни крупинки, ни песчинки, ни пылинки. Нет и не было. И никогда не будет. Так решил бог-солнце. Никакого Эльдorado.

— Я приехал искать не Эльдorado. Я знал эту историю. И считал ее выдумкой. Но у меня были факты. Доказательства. Я привез из Гвианы образцы пород. В них было золото. Будь ты проклят вместе со своим Золотым Человеком! *Где испанские пришки на Ориноко?* Один был рядом с Сан-Томе, так? А другой — на горе Иконури?

Индеец медленно покачал головой.

— Я ничего о них не знаю.

— Ты лжешь. Кеймис привез с собой два слитка.

— Эти слитки испанцы купили.

— Кеймис привез и документы. Из дома твоего поганого

хозяина Паломеке. В тех бумагах говорилось о добыче золота. В какой-то *barranca* на реке Карони...

— Уверю тебя, — сказал индеец, — Паломеке не нашел ничего. Его люди искали в тех местах, которые ты назвал. И во многих других. Время от времени появлялся очередной пьяница, который вылезал из джунглей, чтобы сказать дону Паломеке — в обмен на *кассаву*, — что он знает, где есть золото. И на следующее утро они отправлялись в путь. Вон за тем холмом! В самом конце вон того ущелья — какая жалость, что уже темнеет! Всегда в одном дне пути. Всегда завтра. А ночью накануне "завтра" хитрец, конечно, убежал, растворился в темноте. Если только не напивался вдребезги *кассавой* или испанским вином. Участь перепивших была печальна. Паломеке распинал их на том месте, где они обещали найти золото.

— Но прежде Паломеке. Во времена его предшественника. Губернатора Антонио де Беррио. Я знал его. Говорил с ним. Он верил, что в Гвиане есть золото.

Индеец пожал плечами.

— Да, *верил*. Они все верили. Я слышал об этом Беррио. От этой веры он сошел с ума. Он гонял своих людей повсюду, днем и ночью, в жару и в дождь, и заставлял их копать, пока те не падали от усталости. И что они нашли? Лучистый колчедан и песок. И никакого золота. В конце концов против него взбунтовались собственные солдаты. Они решили убить его. Беррио бежал. Говорят, он умер в бреду. Прячась от собственных солдат на острове в дельте Ориноко. Бредя о золоте, которого там нет!

— Печальная история, — сказал я. — Я считал его достойным джентльменом. Но сейчас речь не об этом. Беррио построил форт в Сан-Томе. Он обнес его частоколом. Установил там пушки. Зачем было брать на себя все эти заботы, если рядом не было золотого прииска?

— Ты знаешь ответ, — сказал индеец. — Ты знаешь ответ, но не хочешь смириться с ним. Сан-Томе построен там, где построен, как сторожевая крепость пустой грезы, о которой я тебе рассказал. На южном берегу Ориноко, в трех милях от устья Карони. Оттуда ближе всего до земель, где когда-то жил мой народ!

Мне вспомнились обрывки разговора с Фрэнсисом Бэконом в судебном инне Грея. Я сказал ему, что Беррио считал Ориноко дорогой к Маноа, Эльдorado, золотому городу. Я ошибся только в названии реки. Оказывается, это была Карони. Но если индеец прав... *если*? Боже милостивый, да я *знаю*, что он прав, сердцем знаю — себя не обманешь! — значит, и Карони не ведет к Эльдorado. Речной путь в никуда. В совершеннейшее ничто. В сказку. В ложь. В ад. В пустоту. В абсолютное ничтожество. Мое ничтожество!

— Паломеке, — сказал я, уже ни на что не надеясь. — Он понимал, что делает?

— О да. Паломеке — не безумец. Если только зло не разнообразность безумия.

— Я не это имел в виду. Я говорю о его походах в горы чибчей. О поисках золота. И о том, что он там ничего не нашел.

— Он нашел меня, — ответил индеец. — Ты прав, он не нашел ничего.

Я молчал. Наблюдал, как наполняются ветром паруса. Потом спросил:

— Ты сказал ему? Ты сказал ему правду?

— Нет, — ответил индеец. — Не сказал.

Я вспомнил его рассказ о плетке Паломеке.

Снова наступила тишина, которую нарушали только хлопки парусов.

Я знал, что он знает, о чем я думаю.

— Я сказал тебе, — произнес индеец, когда мы вновь начали ходить взад-вперед по палубе. — Гуаттараль — единственный, кому я сказал всю правду. Гуаттараль — единственный, кому я когда-либо ее скажу.

— Почему?

— Я не знаю. Раньше думал, что знаю.

— Из-за гибели моего сына?

— Да.

— Из-за твоего крика?

Индеец понуро опустил голову. Едва заметно кивнул.

Я пробормотал:

— А сейчас ты не знаешь... Я что-то тебя не пойму!

— Ты должен понять себя, — сказал индеец. — А меня... может быть, во мне и понимать нечего.

Он вздрогнул. Думаю, что причиной была не только ночная прохлада.

— Ты изменился, — заметил я.

— Да.

— Раньше ты казался уверенным в себе человеком.

— Чем дольше я живу, — ответил он, — тем меньше знаю.

— Может быть, само сознание этого — благо?

— Может быть.

Мы продолжали ходить молча. Прошли всю палубу раз, другой, третий. И тут индеец сказал:

— Я ошибался. Да простит бог-солнце мою гордыню. Крик... Это единственное, что у меня оставалось. Единственное, чем я мог ответить миру, в котором был чужой грезой. Я знал крик. Думал, что знаю его. Его смысл. Его источник. Его великую силу.

— Я слышал твой крик, — напомнил я ему. — Невероятный. Леденящий душу. Твои враги обезумели от него.

— Но он не свел с ума тебя, Гуаттараль.

Я смотрел на него, не отрывая взгляда.

— И это означает, что я бог?

— Нет, — сказал он совершенно серьезно. — Это означает, что я человек.

Он отвернулся. Пошел прочь. Не пожелав мне доброй ночи. На верху крутого деревянного трапа, ведущего к его каюте, он на мгновение остановился.

— Обычный человек, — повторил он. — Не Золотой.

— Но в том крике звучал голос твоего бога?

— Не знаю. Думаю, что нет. Уверен, что нет.

Я воскликнул:

— Но то был нечеловеческий крик!

Так и не поворачиваясь ко мне лицом, он пожал плечами. В первый раз этот жест не вызвал у меня раздражения.

— Я кричал от страха, — сказал индеец.

*

Восемь склянок. Конец средней вахты. Свеча гаснет и чадит в оплывах воска. В каюте темно от табачного дыма. Рука до боли устала писать. Сердце и голова...

Сердце и голова. Они болят сильнее.

Я могу тут же утишить и успокоить головную боль, если выйду на воздух, постою на носу, наблюдая, как на востоке восходит солнце. Как мы плывем на появляющееся светило. Как мы летим навстречу утренней заре. Маленькие безрадостные радости. Не надо ими пренебрегать.

Но как утишить и успокоить сердце?

Не знаю.

Мое сердце никогда не забудет того, что узнало сегодня ночью. Отныне оно должно приветствовать каждый новый рассвет как знак небытия. О сердце, сможешь ли ты жить, зная, что солнца нет? Что никогда не было и не будет ни солнца, ни золота, ни прииска, ни смысла? Что индеец сказал правду? Что правда оказалась всего лишь лунной дорожкой на воде? Что я отдал мою жизнь и пожертвовал моим старшим сыном ради погоны за лунным светом, ради сказки, сотканной из сказок других людей, ради грезы, которая была к тому же не моей?

Иди, мое сердце, и разорвись.

Возрадуйся уготованным тебе вечным мукам.

25

29 апреля

Ветер не дает нам пощады.

Теперь я не жду ее ни от кого.

Итак, мы мчимся. Несемся. Все время на восток. В нуж-

ном (ненужном) направлении. С Новым Светом покончено, он остался позади, за нашими спинами — отринут. А впереди этой "Судьбы" — моя другая судьба. Старый Свет, с которым предстоит заново свыкнуться. Там мои истоки. Там мой конец.

Живу я самыми обыденными заботами. Меня занимают minutiae¹, тысячи мелких дел корабельной жизни в плавании. Сегодняшнее утро я провел с нашим плотником, мистером Маркэмом, присматривая, чтобы он прибивал новую кожу к износившимся помпам и шпигатам гвоздями только с широкими шляпками. Днем я осматривал хозяйство нашего бондаря: бочки, обручи, заготовки. Потом стоял с боцманом на мостике и наблюдал, как юнги учат румбы компаса. Вместе с капралом разводил вахты. Строго говоря, все это не нуждается в моем участии. Я нуждаюсь в этом. Иначе сойду с ума.

Перед кораблем летят буревестники. Крылья их похожи на гнутые железные прутья.

Плывем со скоростью восьми узлов.

Вечером заморосило. Эти брызги с небес трудно отличить от водяной пыли, которую ветер сдувает с волн и гонит по морю, словно дым.

Я зашел в каюту Сэма Кинга, за которым ухаживает Робин. Худшее, несомненно, позади. Мой старый друг (слава богу) быстро поправляется. Сегодня вечером он съел тарелку риса, приправленного корицей и маслом, и выпил кружку подслащенного имбирного отвара. К сожалению, вместе с силами к Сэму возвращается желание говорить со мной о гнусном Хеде и его мерзавцах. Меня эта тема уже не интересует. Боюсь, я был излишне резок с ним: сказал, что удар по голове отшиб у него все, кроме памяти о подонках, и оставил его беседовать с моим пажом.

Славный, добрый, услужливый Робин! Если потребуется, он будет, щипля себя за ногу, чтобы не заснуть, слушать речи Сэма всю ночь. Пусть он и груб иногда, но насколько же он лучше, чем я в его возрасте! Милый Робин. Мне повезло, что он со мной в этом плавании. Прекрасный юноша.

*

Путижма лгал мне все эти годы.

Лгал мне. Лгал Кеймису.

Касик? А был ли Путижма на самом деле *касиком*? Принцем? Вождем? (А что это меняет, если и был? Принцы лгут. Лгут лучше простых смертных. Мне ли не знать этого!)

В любом случае Путижма со своей болтовней о золоте на горе Иконури слишком уж похож на негодяев, описанных индей-

¹Мелочи, детали (лат.).

цем, — пьяниц, что уверяют вас, будто золото всего в одном дне пути, за следующим холмом, на вершине неприступного утеса...

Должен признать: Путижма вволюпил на мои деньги. И вволю ел. Кормился моей глупостью.

И другие тоже. Многие. И все лжецы.

Гнусные лжецы.

Все до одного гнусные лжецы...

Какой толк писать об этом?

Никакого.

Что толку вспоминать мои собственные тонкие рассуждения, в которые я пускался с такими, как Фрэнсис Бэкон? Паучьи тенета, сотканые, чтобы впечатлить короля пауков. Я, видите ли, искал не Эльдорадо. В Маноа я, представьте, уже не верил. "Настоящие прииски, — сказал я, — в предгорьях Маноа". Какой самообман! Какая софистика! Какое искусство! Какая чушь! Как я еще не лопнул от сомнения. Предгорья безумия — все те же владения безумца. Я сделал свое Эльдорадо "настоящим", мое Маноа — "реальным", сузив пределы идиотской мечты, — вот и все. Не золотой город. Всего-навсего несколько золотых пещер.

Сезам, откройся! Для сэра Уолтера Аладдина. Для безмозглого Синдбада. Для выжившего из ума Старого Морехода.

*

Я колебался, говорить или не говорить с Сэмюэлом Кингом о том, что узнал от индейца. О том, например, что мое "внутреннее море", называемое "Парима", видимо, соответствует озеру Гуатавита индейца. (Дураку ли мелочиться! На обширной карте моей глупости озеро *должно было* стать морем!) Теперь я знаю, что никогда не смогу и не буду говорить с Сэмом об этом. Боль слишком остра. Какой позор! Какое скудоумие!

Лучше ни с кем не говорить. Даже с самим собой. (И прежде всего с самим собой.) Даже с тобой, Кэрю, мой идеальный молчаливый слушатель. Сын не должен видеть наготу своего отца!

Лучше уничтожить эту книгу. Утопить в море. Там ей место — в колыбели дураков. Пусть крабы листают ее страницы. Чтиво для тритонов и сирен. Меня следует растворить в морской пучине.

Боже праведный!

Хватит!

Так сделали дурака из сэра Уолтера Рэли. Ну и новость! *Как и почему я сам сделал из себя посмешище.* Вот какую кость мне надлежит разгрызть.

Не сейчас. Еще не время.

Из бороды я вычесываю соль. Седины все больше. Есть соль,

которую не вычесать гребнем. Ни сейчас. Ни потом.

Ветер меняет направление. И крепчает.

Лучше понаблюдать, как мистер Барвик со своими помощниками ставит паруса. Лучше приказать матросам смазать жиром бойфуты. Лучше лечь в постель и молить бога, чтобы я уснул и не проснулся.

26

1 мая

Смириться с собственной неуверенностью. Свыкнуться с сомнением. Для человека, который всегда знал, чего он хочет, это нелегко.

Море беспокойно и изменчиво. Только ветер постоянен. Над нами с подветренной стороны, широко раскинув черные как смоль крылья, плывет альбатрос — кажется, он спит в воздухе. Отдав себя на волю ветра, он летит без всяких усилий. Боже, дай мне хоть малую толику такой веры. Не воспарять в гордыне и не тонуть в отчаянии. Просто пребывать в твоей милости. Пусть даже со сложенными крыльями.

*

Еще одна беседа с индейцем. Я нашел его в трюме, где он помогал нашему интенданту. Поскольку запас провизии уменьшается, для балласта, а следовательно, и для поддержания осадки и остойчивости корабля пустые бочки необходимо заполнить соленой водой. Мне снова представился случай подивиться силе Кристобаля Гуаякунды. Бочки он кидал так, словно это были бутылки. Полные бочки он ставил одна на другую с той же легкостью, с какой выкатывал пустые. Наблюдая за ним, я вспомнил, как он справился с головорезами Хеда.

Закончив работу, индеец подошел и сел рядом со мной. Я сидел на кнехте, чтобы дать отдых больной ноге.

Его правая щека бугрилась. Он постучал по ней пальцем. — Помогает в работе, — заметил он. — Хочешь лист?

Я покачал головой. Поблагодарив его, сказал что-то в том смысле, что, дескать, стараюсь жить, не давая грезам завладеть мною.

Это его рассердило.

— Лист проясняет мысли и очищает сердце. И грезы здесь ни при чем! — Он нахмурился, шелкнул пальцами. — Я знаю, о чем ты думаешь. Не можешь забыть, что я говорил, будто грезы о Золотом Человеке родились от злоупотребления листом. Так?

Чибчи никогда не злоупотребляли *кокой*. Запомни: не мы грезили о Золотом Человеке. Мы знаем лист. Уважаем его.

Я сказал:

– То же самое мне говорили о вине.

– Вино уменьшает человека. Лист его увеличивает.

– Откуда у тебя такая уверенность?

– Ты видел, как я работаю.

Я признал: чтобы с такой легкостью бросать бочки, нужна громадная сила. Потом не без издевки спросил, *всю* ли свою силу он приписывает *коке*.

Ответ индейца удивил меня. Я снова столкнулся с его паразитическим простодушием. Не говоря ни слова, он показал на узкие полоски материи, которыми были перевязаны его бицепсы и икры. Эти плотно сплетенные матерчатые кольца, пояснил он, служат ему, чтобы соразмерять свои физические усилия.

– А твой крик? – спросил я. – А твой иступленный бой с негодяями? Не хочешь ли ты сказать, что черпал для них силы в веревке на шее?

Я говорил раздраженно. Думаю, что меня равно задевали и его гнев, и его детская непосредственность. И вообще, индеец и все, что с ним связано, чем-то *отвращают* меня. Не будь его, не было бы и самых горьких моих разочарований. Кроме того, как это ни банально, должен сказать, что моя покалеченная нога болела невыносимо. Жалкое оправдание! И поделом мне, что получил я самый прямой ответ.

– Я сказал, что во мне кричал страх. И страх еще слабое слово. Ужас. Гуаттараль правильно напомнил мне о веревке. Да, веревка вдохновила меня. Она вселила ужас в мою душу, и душа закричала.

Стыда, судя по всему, индеец не испытывал. Он говорил спокойно, нисколько не волнуясь. Но что-то в его лице заставило меня пожалеть о своих словах и попытаться загладить вину.

– У тебя огромная душа – крик был громоподобный.

Индеец встал. Спокойно посмотрел на меня. В его глазах было смирение. И боль.

– Только что, когда я работал в трюме, я еще раз выучил один урок. Больше всего шума от пустых бочек. Гуаттараль, ты должен понять меня. Громче всех кричит трус. Я трус! И в моем крике нет ни бога, ни высшей силы, ни Золотого Человека. Я, Кристобаль Гуаякунда, изливал в крике свою трусость. Кричал как трус и сражался тоже как трус. Ты никогда не видел, как дерется черная крыса, ужаленная змеей? Ее ярости нет предела. Разве это мужество?

– Но Паломеке... – запротестовал я. – Когда ты убил его...

– Я напал на него сзади. Как трус. Который не решался остановить руку своего хозяина, когда тот порол его от скуки. Трус, дождавшийся темноты и прихода войска, которое, как он

думал, вел бог.

— Почему ты считал меня богом?

— Из-за твоего имени. Гуаттараль. Гуатавита. Теперь понимаешь? Я строил на песке! Между нами нет той разницы, какую ты видишь. Я тоже жил вымыслами. Твой выдуманный бог — это еще пустяки. Мое убеждение, что я *знал* свой крик, намного глупее. Сейчас я понимаю, что над телом Паломеке я кричал в паническом страхе. Криком пустого человека. Криком труса. — Он постучал костяшками пальцев по груди. — Огромная душа? Я не знаю размера моей души, Гуаттараль. Я родился в горах. Мы, чибчи, рождаемся с большими легкими и широкой грудью — так мы устроены. У меня нет ничего, кроме трусливого крика! — А смерть моего сына? — спросил я тихо.

Индец не ответил.

Он смотрел на мой флаг, развевавшийся на ветру.

— Как-то утром я взобрался на мачту, чтобы прочитать слова, — сказал он. — Я не смог. Это не испанский язык. Английский?

— *Amore et Virtute*, латинский.

Он промолчал. Продолжал стоять, уставившись на флаг.

— Они означают, — сказал я, — "Любовью и отвагой".

Индец медленно кивнул. перевел взгляд на мое лицо.

— И ты жил по этим словам?

— Да. Старался.

— Твой сын умер от них.

*

Значит, не от крика индейца.

От моего шепота.

*

Любовь? Отвага?

Презренный девиз. Гнусное рыцарство. Жалкие слова.

В них меньше смысла, чем в крике чайки, что уносит ветер.

Да знал ли я когда-нибудь любовь? И выказывал ли доблесть?

Любовь к королеве была игрой, долгим опасным танцем при свечах, карабканьем вверх по винтовой лестнице. Елизавета, хитрая, болтливая сорока, неутомная трещотка, неужели тебе никогда не приходила мысль (клянусь перед богом и его всевидящими ангелами, что ты хранила свой девственный ум дено и ночью от любой дельной мысли, любого честного суждения!), — никогда не приходило в голову, глупое Твое Величество, что я так хорошо карабкался вверх, поскольку не было у меня ни души, ни сердца? Не было. Ты играла со мной, а я — с тобой. Каждый вел свою игру. Пожалуй, наши интересы сходились толь-

ко в танце. Во что играла ты? Теперь это известно только богу, и я не решусь... Прodelки Эрота отдаляют нас друг от друга. Говорят, у леди Пембрук в замке Уилтон была тайная комната, пристроенная к конюшне, из которой она могла наблюдать, как жеребцы лорда Пембрука обслуживали его кобыл в те самые минуты, когда слуги этого счастливого семейства проделывали то же самое с хозяйкой дома. Что это — комедия или трагедия? Молчу. Ясно, что не любовь. Как нельзя назвать любовью и то, что происходило между нами, когда я протанцовывал с тобой в твои покои. Да и вожделение в нашей игре было странным! Всегда все делалось, как хотела ты, распаленная сука, что получает удовольствие, отпугивая кобеля воем и визгом. Так играла ты — и один бог знает почему. Я играл в твою игру. Играл до изнеможения. (Как ты смеялась надо мной в Кенилуорте, где я играл до крови! Ты была настоящей дочерью короля Генриха. И наверное, хотела бы увидеть меня на плахе, как палач отрубает мне не голову, а...) Это, пожалуй, слишком. Прости, государыня. О своей игре я скажу еще резче.

То была обычная игра. Игра во власть. И возносила меня ты. Я имел от тебя то, что хотел. Рыцарское звание, монополии, Дарем-Хаус, величественный замок с высокой башней, в котором когда-то жил Лестер... Символ моего восхождения! Чудо архитектуры! И много других даров. Самый богатый человек в мире? Конечно, нет, но так думал весь свет или та его часть, что зовется Лондоном. Пусть думают, пусть говорят — я смаковал их зависть, упивался игрой. Они были правы. Гордьни у меня хватало. Я гордился своими чинами: начальник личной гвардии Ее Величества, лорд-правитель Оловянных рудников¹, лорд-наместник Корнуолла, вице-адмирал Девона, губернатор острова Джерси и так далее. Неплохо для начала. Прямо у моих дверей текла прозрачная Темза, по ней, словно россыпь жемчугов, скользили лебеди; бриллианты, украшавшие мой белоснежный костюм, стоили не менее шестидесяти тысяч фунтов. На туфлях столько золота, что одной хватило бы, чтобы выкупить из тюрьмы даже принца крови. И все это за несколько танцев. Но танцевал я отменно. Гальярд, куранта, аллеманда, лавольта... Никто не прыгал выше сэра Уолтера, когда танцевали лавольту. (Я смеюсь и плачу, когда пишу это!) И, конечно, тайный танец. Твои шелковые чулки, Елизавета. Твои платья из сизого атласа. И танец, что сменял лавольту. Танец одного танцора. Я высоко прыгал. Был хорош и в том танце.

Смирение и скромность — не мой стиль. Слишком я стар, чтобы учиться этому сейчас. Позволь мне сделать еще одно, последнее хвастливое признание — оно больше тех земель (десять

¹Оловянные рудники — район добычи и выплавки олова в графствах Корнуолл и Девоншир.

тысяч акров), что я получил от тебя в Ирландии после подавления мятежа, выше башни Даремского замка, тяжелее всех громадных кораблей, что я построил на деньги, полученные от моих монополий на вино, ткани и рудники. Это хвастливое признание можно принять за самообвинение, самозащиту, самоуничужение. Но нет. Это последнее хвастливое признание — сущая правда.

Ты была мне *неприятна*, Елизавета.

Понимаешь? Любви не было никогда. К концу не было даже приязни.

Поклонение? Да. Преданность? Возможно. Время от времени легкий приступ страсти. Поклоняться нетрудно. Особенно если предмет поклонения — земное божество. Так относилась к тебе вся Англия. Ты была нам вместо Пресвятой Девы. Я не насиловал себя, когда преклонял колени перед твоим пьедесталом. Боготворил тебя. Молился тебе — тем более что мои молитвы достигали твоего слуха... Новые титулы! Власть! Серебряные доспехи! Место в палате общин от моего графства! Увеличение налога с вино торговцев! Разрешение основать колонию! (И, разумеется, назвать ее Виргинией, все в твою честь, моя богиня.) Драгоценности! Новые поместья в Манстере! "Смотрите, как этот плут командует королевой!" — сказал Тарлтон. А ты спросила: "Когда вы перестанете клянуть милостыню, сэр Уолтер?" На что я, отвесив самый глубокий поклон, ответил: "Когда Ваше милостивое Величество перестанет меня одаривать". Не построить ли еще несколько кораблей? Не назначить ли маленькую пенсию моему другу, поэту Спенсеру? Но Ваше Величество слишком добры, слишком щедры! Вашему Величеству следует остерегаться собственной доброты. Есть много неблагодарных людей, неопытных юнцов, суетных, жадных до почестей и титулов, которые дурно истолковывают Ваше благорасположение ко мне. Нет, нет! Меня не трогают их глупые речи! Я не обращаю внимания на бешеных собак, что рычат мне вслед, когда я иду, поглощенный заботами о Ваших делах. Но раз уж Вы приказываете, а повиноваться Вам — мой святой долг, скажу, что не далее как вчера секретарь Сесил шепнул мне, будто один из его агентов слышал, как пасынок лорда Лестера, этот щенок Эссекс...

Комедия. Трезвый расчет.

Ни любви, ни привязанности.

Партия в шахматы, которую я умышленно проигрывал. Проигрывая, я всякий раз выигрывал. Думаю, что ты знала это. Думаю, что знала и несколько не переживала. Да и как ты могла переживать? Чтобы переживать, надо иметь сердце. Твой отец вырвал твое сердце, отрубив голову твоей матери. А вот у меня нет такого оправдания.

Знала ты, Елизавета, и о моем равнодушии. Оно тебя устраивало. Более того, оно служило тебе опорой. Ты бы не справилась с настоящим чувством. На людях комедия: королева и рыцарь,

amour courtois, изысканная придворная любовь. Наедине тоже комедия, хотя и другая, более комичная и трагичная одновременно, насмешка над страстью — недоступное тело королевы купалось в излияниях рыцаря. На людях вздохи. В уединении — семя. И то, и другое впустую.

Никаких сожалений я не испытывал. Может, ты догадывалась об этом? Но сейчас, по прошествии стольких лет, я вижу, что твоя девственность тогда тяготила меня. Напрасно. Ах, как напрасно. Я получал от тебя все, что хотел. Видит бог, совсем немного! Короткая вспышка славы, а затем мрак. Я не виню тебя за это. Я виню себя за упоение славой. Никакой ненависти к тебе не испытываю. Нечем мне тебя ненавидеть. Ты *неприятна* мне, Елизавета Тюдор. Неприязнь... неприязнь... Это хуже любви или ненависти. Твои глупые каламбуры, твое тщеславие, твои вспышки гнева. Как ты надувала губы, когда тебе перечили. Испорченный взрослый ребенок, как ты мне *надоедала*. Меня тошнило от твоего самодовольства. Вы никогда не догадывались об этом, не так ли, Ваше Величество? Уверен, что нет. Как ты могла? До этой минуты я сам об этом не догадывался.

Любовники не испытывают неприязни. Мы не были любовниками.

Любовь видит...

Неважно, что видит любовь. Откуда мне знать?

Я знаю только то, что видят бесстрастные глаза неприязни. Обыденные мелочи, незначительные детали — пыль на весах восприятия. У неприязни обостренное чутье. Тонкий нюх. Ей трудно угодить. Она не забывает и не прощает малейших погрешностей. Сама далекая от совершенства, она выискивает несовершенства в других. Она оставляет горький осадок в душе того, кто ее испытывает, отравляя его медленным ядом.

Ты помнишь строки, что я написал после нашей ссоры в нонсачском розарии, в Суррее?

*И лишь за то, что верен был, любя,
Я — свой судья — помиловал себя¹.*

Ты нашла, что стихи "милы". Такими они и были. Милой ложью, лживой поэзией. А правда в том, что я был неверен тебе тогда. Правда в том, что я *никогда* не был верен тебе. Ни в каком смысле, и меньше всего в самом прямом. В том же самом розарии накануне вечером я дважды получил от твоей фрейлины Энн Вавасур то, что ее державная владычица (и моя!) не могла или не хотела отдать хоть единожды кому бы то ни было. А через день, когда ты отправилась на карнавал в Мичем, леди Лейтон, племянница казначея твоего двора, опустилась на ложе из розовых ле-

¹Перевод Г. Кружкова.

пестков и утолила мою бунтующую страсть. В этом никакой любви не было. Только вожделение и приязнь. Сейчас я вспоминаю об этих встречах не без удовольствия.

*И лишь за то, что неверен был, не любя,
Я – свой судья – не помиловал себя.*

Эти строки уже не так милы? Верно. Они сломались под тяжестью искреннего признания. Я их только что записал. И не хочу, приглаживая, слизывать с них честность. Мы лгали друг другу, Елизавета, мы жили во лжи. Правда о нас никогда не станет поэзией.

А правда в том, что я, должно быть, испытывал к тебе неприязнь с самого начала. Да и как иначе я мог бы начать? И как бы я мог продолжать? Неприязнь позволяла мне использовать тебя, пока ты пользовалась мной.

С самого начала. С той первой ночи в твоих покоях. Неприязнь. Отчаяние от собственного двуличия. *Неприязнь.*

Твои изящные ножки, мелькавшие в танце: между пальцами всегда была грязь.

Твои грациозные руки, которыми ты так гордилась: такие пальцы бывают только у доярок.

Тот вожделенный, неприступный, нерушимый предел...

Елизавета, твою девственную плоть сейчас едят черви.

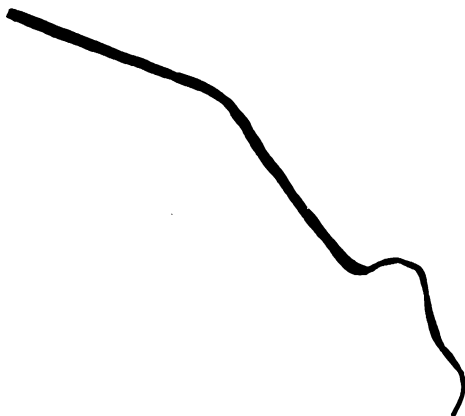
Я надеюсь, червям нравится то, чего я не хотел никогда.

*

Amore...

Любовью...

Бесс, жена моя



15 мая

Местоположение корабля: 50° северной широты, 17°56' западной долготы. От Ньюфаундленда пройдено полторы тысячи миль. До Кинсейла осталось триста.

Из этого следует, что дули слабые либо встречные ветры. Правда, временами мы неслись вперед на всех парусах и казалось, что долгое странствие скоро закончится. Но не успевали мы возрадоваться, как снова впадали в уныние. Наступал штиль, многие дни и ночи подряд воздух был недвижим, и мы дрейфовали в оцепенении. В такие периоды даже водоросли Гольфстрима казались медлительными, они словно цеплялись за киль, пытаясь утянуть нас в пучину. Больше похоже на Саргассово море, чем на Атлантику. А неделю назад с севера и востока налетели штормы, которые швыряли нас в сторону и вспять, сбивая с курса. Короче говоря, моя "Судьба" плывет рывками. Погода не знает жалости.

Сейчас мы снова держим правильный курс, но ветер очень слаб. Едва тащимся. На корабле началась цинга.

У индейца лихорадка. От лекарств он отказывается.

Сэм Кинг поправился. Слава богу, к нему вернулась его обычная молчаливость.

Куда ни глянь, вокруг один горизонт. Темное и спокойное, зловещее и гибельное море. Весь мой табак я отдал бы за одну травинку. За возможность увидеть одно зеленое растение.

Даже альбатрос покинул нас. Слишком уж причудливо, по его мнению, мы продвигаемся вперед.

Вчера умер горнист Крэбб. Черная рвота. Кровавый понос. Целую неделю я поддерживал его жизненные силы эликсиром из купороса, уксуса и соленой воды, а также кашкой из чеснока и горчицы. Смерть наконец избавила беднягу от страданий. Его труп так невыносимо вонял, что мистер Джоунз ограничился лишь несколькими словами заупокойной молитвы. Теперь обо мне заботится один только Робин.

В надежде пополнить иссякающие запасы пищи я приказал забросить с кормы в море лесы с наживкой.

*

Бесс! Жена моя! Бесс...

Я не смог закончить предложение, начатое две недели назад. Не знаю, смогу ли закончить его сейчас. *Amore et Virtute*. Ветер издевается над моим флагом. Флаг то полощется на ветру, то свисает с мачты жалкой изжеванной тряпкой.

Теперь его замотало вокруг флагштока, серебряно-голубые цвета почти неразличимы, девиз вообще не виден. Недобрый ветер сделал доброе дело, убрав с моих глаз хвастливый девиз. Ветер издевается над флагом. Флаг издевается надо мной.

Я написал твое имя, Бесс. И не мог продолжать. Перо вывело на бумаге жирную линию. Эта истерзанная линия красноречивее слов. Новая пунктуация отчаяния! Человек, откусивший собственный язык!

Но мой язык все еще при мне, и голова моя все еще держится на плечах. Язык отказывается говорить на эту тему. Он намертво прилип к пересохшему небу. Другими словами, пишу я медленно и мучительно. И все же я должен писать, *должен* хоть *что-то* объяснить. Ради тебя, ради меня, ради нас. То, что я говорю и пишу, может оказаться ложью. Если ты когда-нибудь прочтешь эти строки, Бесс, помни об этом. Больше о "правде" я не говорю. Не верю в нее. Ее нет. Есть только отдельные, частные истины.

Я понял это (что не мало, но и не много), размышляя о собственном смятении. В течение двух недель, что я не мог писать — мой дух был пронзен, как шпагой, тем незаконченным предложением, — я прочитал с самого начала все написанное. Перестав писать, я начал читать. Не в силах говорить, я наконец стал слушать. Прочитанное, услышанное мне не понравилось. Более того, вызвало у меня отвращение. Все до последнего слова.

Смущали меня даже не противоречия. Видит бог, они достаточно неприятны сами по себе, и любой, кто искал бы в моей книге связанное повествование, давно бы уже ее бросил, совершенно уверившись, что автор сошел с ума. Не зря, сказал бы он, королева Елизавета называла его *Море*. У этого человека нет ни формы, ни границ, ни смысла. Сегодня он не помнит, что говорил вчера. Только что он утверждал, что боготворил кого-то (ту же королеву, к примеру), а теперь жалуется, что в постели у нее пахли ноги. Или взять более простой предмет, эти пресловутые золотые прииски... Сначала он уверяет, что *знает* об их существовании; никаких сомнений и предположений, он убеждает меня (хотя Фрэнсиса Бэкона ему убедить так и не удалось), что *точно* знает, где они находятся, и готов показать это место на карте. Дальше — больше. Он клеймит своих соратников как трусов и предателей только за то, что те удрали от него, не веря в золотые сокровища Гвианы. И чем же все кончается? А кончается тем, что старый дурак сам себя высек. Теперь он вдруг решил, что золота там действительно нет; мало того, он заявляет, что в глубине души всегда был в этом уверен! Говорит, что его обманули пьяные индейцы. Они-де сыграли на его желании верить в эти прииски. И как же он пришел к этому сногшибательному выводу? Поверив (как он сам говорит) каждому слову, срывающемся с губ другого индейца! На сей раз трезвого. Хотя

постояйте. Еще интереснее. Пристрастившегося к какому-то наркотику.

Ладно. Не будем принимать всерьез воображаемую реакцию воображаемого читателя. Что скажет Кэрю? Не кажется ли тебе, сын, что все написанное мной неопровержимо доказывает: твой отец дурак, который обманывает себя, если его уже не обманули другие, легковверный нытик, кромешный идиот, а возможно, и сумасшедший? Отнюдь не исполнин, в чем я уже признавался тебе. Надо ли это доказывать! Интеллектуальный и эмоциональный *карлик*?!

Слушай внимательно. Я всегда был себе самым строгим судьей. Если бы я писал вымышленную историю, приключенческий роман, я мог бы все пересмотреть и выправить. Убрать противоречия и непоследовательность, особенно когда они выставляют в невыгодном свете меня, главного "героя". Но я все оставляю как есть. Ничего менять не стану.

Ни фразы, ни слова, ни запятой.

Пусть все остается как есть. От начала до той длинной ломаной линии.

И гордость или самоуничижение здесь ни при чем. Я ненавижу то, что открыли мне эти страницы. Но я должен с этим *примириться*.

Примириться с тем, что в попытке осмыслить свое прошлое и настоящее я сделал из себя дурака. Даже не так. Каждая уловка, каждое посягательство на истину, каждое противоречие, абсолютно все в этой мешанине не то что "делают" из меня дурака, а показывают, какой я *в самом деле дурак*. Этот опьяненный поисками истины идиот, этот мечтательный остолоп (который страшнее всего обманывался, воображая себя человеком действия), этот бесчувственный болван выплескивал себя в признаниях, от которых тут же отказывался только затем, чтобы открыть... Что? Во-первых, что открывать, в сущности, нечего. Во-первых, нечего. И в-последних, нечего. Ни во-первых. Ни в-последних. Ни конца и ни начала. Только странствие. Странствие судьбы.

И насколько же мой рассказ об этом странствии похож на сон! Странствие моей "Судьбы" и странствие моей судьбы. Все другие люди просто призраки. Реален только странник. Я писал о моей жизни так, будто она мне приснилась. Может, так оно и было? Может, этого-то мне и хотелось?

Один поэт (кажется, Марло) как-то сказал мне, что хотел бы, чтобы его жизнь и его творения сливались в могучую музыку.

Что ж, в этом моем творении – в книге моей жизни – музыки нет. Даже я слышу это. Никакой музыки. Несколько разрозненных нот. Очень неблагозвучных. Один шум. Звуки пытаемой души.

Моя книга и не книга вовсе. А костер, который я сложил

из себя самого. И в котором уже сгорел. Дорогой читатель, сын, ты хоть что-нибудь видишь при свете горящих костей твоего отца? То, что не видел он. Хоть самую малость. А может, все?

*

Больше всего меня пугают не противоречия и не путаница. О нет. Боже милостивый, самое отвратительное – это *неопровержимые истины*. Я еще могу простить себе ошибки и заблуждения. Не только Ты можешь простить мне постоянные метания от одного прозрения "абсолютной истины" к другому, третьему. Наконец-то я нашел ее! Наконец-то я нашел ее! *Наконец-то!.. Наконец-то!.. Никогда!*

Бежать с этого одноместного корабля дураков, рышущего в поисках уверенности. Парусами ему служит греховная гордыня. Рулем – отчаяние.

Моя душа, ты сотворена из воды. Возрадуйся. Тебе не страшен адский огонь.

*

Ну так вот, Бесс. Несколько маленьких признаний. На Истину не претендую. Так, пара домашних истин, присланных из-за рубежа.

Люблю ли я тебя? Не знаю.

Я тоскую по тебе. Но это другое дело. Эта тоска даже разбавлена капелькой удовольствия. Мое сердце (если у меня есть такой орган) нуждается в диете разлуки. Самые нежные чувства я питаю к тебе, когда лишен твоего общества. Сидя в Тауэре все эти годы – как я любил тебя! Но когда король Яков, проявляя неслыханную милость, разрешил тебе посещать меня... В моей камере был зачат Кэрю, но что произошло потом? Ты взяла себе за правило ездить в Тауэр в своей карете, словно в собственное поместье, вела себя так, будто я был твоей собственностью. Король Яков, естественно, взбесился. И вскоре положил этому конец. О том, что твои визиты раздражали *меня*, ты, конечно, не знала. Я мечтал о них, скучал по тебе, ждал твоего приезда с острым чувством, которое и принимал за любовь и искреннее томление. Но потом, когда ты была со мной, я не узнавал той, кого ждал с таким нетерпением. Мне надоедала твоя трескотня. Я снова мечтал остаться в одиночестве. Напомню тебе один случай... На руках ты держала малыша Кэрю; скучный, усталый Уот дергал тебя за платье. (Он знал! Уот всегда знал о притворстве своего отца! От его быстрых глазенок не скрылось, как я искоса поглядывал на часы, – только ты ничего не заме-

чала.) Ты все бубнила свое — о деньгах, о поместье Шерборн, о потере наших земель, о доходах. Кэрю хныкал и ныл, Уот сидел как на иголках, моя голова гудела от бесконечного потока твоих жалоб. Думаю, то был единственный раз, когда я потерял при тебе самообладание. Ты расплакалась. Я принялся утешать тебя. Мне стало стыдно. Все закончилось слезами: плакали черствый отец и обиженная мать, орало дитя, а старший сын кричал, что хочет домой. Бедный Уот! У него никогда *не было* дома, и он знал это. Бедная Бесс! У тебя его тоже не было, хотя ты и думала иначе. Дарем-Хаус ты ненавидела из-за сквозняков. (Мне кажется, на самом деле тебя раздражало то, что его подарила мне королева.) Ну а Шерборн — если я не занимался там строителями, то находил другой способ отлучаться, обычно в море. Что касается дома на Брод-стрит — полагаю, ты заметила, что на этих страницах я так и не решился назвать его иначе чем "дом Бесс". Дом моей жены Бесс на Брод-стрит. Я никогда не считал его своим домом. Говорят, что дом там, где наше сердце. Сэр Уолтер Рэли не уверен, что у него есть сердце.

У тебя, Бесс, прекрасное сердце, доброе сердце, золотое сердце. *Прими мою смерть с легким сердцем...* Да, я помню эти слова, что написал тебе из винчестерской тюрьмы, где, оклеветанный врагами и обвиненный в государственной измене, ожидал наутро казни. *Попроси у них мое мертвое тело*, писал я также, *с которым тебя так часто разлучали, когда оно было живым.*

Дорогая Бесс, кто же разлучал тебя с этим телом?

Да конечно же я!

Я всегда любил тебя крепче всего в разлуке. Как нежно и красиво писал я тебе, будучи уверен, что уж более тебя не увижу. Например, из Тауэра, который отрезал меня от мира. Из Гвианы. Из самых дальних концов света.

Но когда ты была рядом, поблизости, когда я мог притронуться к тебе, разве я тебя любил? Сомневаюсь. Поглядывая на часы в Тауэре, я мечтал об одиночестве, о моих книгах, бумагах, маленьком домике, в котором мне разрешили проводить химические опыты. Меня, заточенного в самом себе, Тауэр устраивал. О, конечно, я жаловался, писал прошения, искал у вельмож заступничества перед Его Величеством, умолял их выхлопотать мне свободу. Но меня всегда радовала возможность посетовать на судьбу, а свобода, возможно, мне по-настоящему и не требовалась.

Я болен странным недугом. Мое отношение к тебе — один из его симптомов. Как назвать этот недуг? У него нет имени. Он постоянно понуждает меня отвергать реальное и достижимое, если оно не таит в себе обстоятельств, которые позволили бы мне покоситься о своей судьбе. Более половины жизни я прожил, держа на отдалении любимых и то, что любил.

Взять хотя бы это плавание: большая часть его прошла в бе-

седах с Кэрю. Но когда я на самом деле увижу Кэрю, его серьезный вопрошающий взгляд, буду ли я говорить с ним весь день? Едва ли. Через час-другой меня одолеет демон скуки. Мне захочется уплыть за тысячи миль. И даже эти первые часы я большей частью промолчу. Могу ли я утверждать, что люблю реального Кэрю Рэли с его кашлем и заиканием? Я испытываю к нему теплое чувство, и чувство это нешуточное, но называть его "любовью" не могу. Я люблю идею сына. А это не то же самое, что любить его самого.

А бедный Уот? *Мертвый* Уот. К чему скрывать? Я бывал с ним крайне несдержан. Его смерть многое мне упростила. Я (наконец-таки) почувствовал себя отцом. Чтобы растопить мое сердце, мой сын должен был умереть. Я люблю мертвых. Хорошо с ними лажу.

Бесс, жена моя, ты замужем за мертвецом. За человеком, у которого нет сердца. Ни прекрасного, ни доброго, ни золотого. Можешь ли ты жить, зная это? Примешь ли новость о моем самоуничтожении с легким сердцем? Думаю, тебе это по силам. О моя Пенелопа, ты всегда была прекрасной парой для своего большого Улисса. Ты сделана из материала попрочнее, чем снег или шелк. Если у меня когда и было сердце, то это была ты.

*Но настоящая любовь —
Неугасимый свет,
Сильнее смерти и судьбы,
Сильней всесильных лет¹.*

Я написал это очень давно. Верно ли то, что я написал? Сейчас уже не знаю, но сильно сомневаюсь. Готов утверждать только то, что говорил о путанице и противоречиях (и, конечно, о столь изменчивых неопровержимых истинах), которые так обезобразили эти записки. А именно: когда я писал этот дневник, мой умственный настрой был действительно таким. И в словах моих было, возможно, больше правды, чем я подозревал. Один твой глаз, Бесс, — тот, который видит меня *насквозь*, — плакать не будет. Он видит: этот "неугасимый свет", что "сильнее смерти и судьбы", совсем не похож на образ "настоящей любви". Все это лишь уловки твоего далекого возлюбленного. Выдавать недостатки за совершенство, бессилие за мощь. Какая вопиющая ложь! Я болен. Стар. И скоро умру.

Помоги, боже — хоть на мгновение! — отвлечись от собственной персоны и посмотри на мою Бесс.

¹Перевод Г. Кружкова.

Вспомни, если сможешь, наши самые счастливые дни. Те годы, когда мы хранили нашу любовь в тайне от королевы. Конечно, скажешь ты, тогда он любил меня. Искренне, всем сердцем, той любовью, которую не требовалось поддерживать изысканной диетой расставаний. Разве не так?

Не могу сказать "да", Бесс.

Не знаю.

Ни в чем не уверен.

Если же быть честным, надо признаться, что дух королевы витал над нами. Опасность придавала нашей связи остроту. Каждую тайную встречу риск делал желаннее и тревожнее. А время между свиданиями *было похоже* на разлуку. Мы видели друг друга, но между нами стояла непреодолимая преграда. Чтобы не вызвать подозрений Елизаветы, мы притворялись и таились. Я носил маску холодности, ты — равнодушия. Нормальное развитие событий было нарушено с самого начала.

Пойми, королеву я не виню. Напротив, такое положение устраивало меня. Очень устраивало, гораздо больше женитьбы. Может быть, потому, что деланной холодностью я мог прикрывать истинное равнодушие. Не хочу сказать, что все тогда *понимал*. В том-то и дело. В те годы я как раз и обвинял королеву. Я мог сказать себе и тебе, что, если бы не она, я любил бы тебя без оглядки. А теперь сомневаюсь. Семь лет! Да разве смог бы настоящему любящий мужчина так долго держать (что мне удавалось) свою любовь в тайне от Елизаветы? В ее собственном доме? Где у нее полным-полно доносчиков и шпионов?

А может, Елизавета знала все и не придавала этому значения, поскольку знала меня лучше, чем я сам? Знала о тебе, об Энн Вавасур и других?.. Не верю. Достаточно вспомнить, что ее гнев пал на наши головы только после того, как она узнала о моей женитьбе... О том, что ты ждешь от меня ребенка... О твоём ребенке, моем сыне Дамерее, который потом умер...

Хватит. Перо отказывается писать об этом.

Еще одно признание, Бесс.

В том месяце, когда родился Дамерей, я написал государственному секретарю Сесилу письмо. В нем я начисто отрицал, что мы женаты! *Перед лицом Всевышнего*, писал я (да простит меня бог и ты, Бесс), *перед лицом Всевышнего* клянусь, что нет на этой земле никого, с кем бы меня связывали неразрывные узы.

Но может быть, и в этих словах больше правды, чем я подозревал?

Я лгал Роберту Сесилу, надеясь, что королева поверит.

Может, я не лгал богу и самому себе.

Не было на земле никого, с кем бы я хотел связать себя узами брака. *Не было. И нет.*

Бесс, жена моя.

*

И последнее. Пусть кратко, но сказать надо.

Тень королевы вставала между нами и в другом смысле.

Гринвичский дворец королевы, Рождество 1584 года. Она обедает в Зале приемов. За столом лорд Лестер, граф Оксфорд, лорд Чарльз Хауард. И много других. Забыл. В тот вечер она унизила Хэттона. Унизила его, показав пальцем на мое лицо, а когда он спросил, что это значит, Елизавета (смеясь) сказала, что у меня испачкана щека, потом смочила языком уголок своего носового платка и велела мне стать на колени у ее ног, чтобы она могла стереть пятно...

К неудовольствию королевы, я стер его сам.

Все засмеялись. Лестер, Сесил, Хауард. Все. И Елизавета тоже. Смеялись все, кроме Хэттона.

Смеялся и я. Не над Хэттоном. Просто так. Потому что смеялись другие. Я заставил себя рассмеяться. Я знал, о чем они думают. Я знал, что знают двое из них. Что я теперь ее мужчина. Любовник королевы. И я знал, что те двое (Лестер и Хэттон) знают, каково им быть. Какая теперь у меня служба. Служба пятен и носовых платков. Жестов и ужимок.

И в ту ночь я служил королеве в ее личных покоях.

Все как обычно.

Омерзение к себе я почувствовал только после, когда ушел от нее. Забыл, под каким предлогом. Скорее всего, предлог не потребовался. После доброго пиршества Елизавета удовлетворилась малым. Она засыпала. Я уходил.

Я вышел. Пошел по парку. Тьма кромешная. Луны не было. Звезд тоже. Замерзшие фонтаны. Под ногами плотный, как камень, снег.

Ты помнишь снег, Бесс?

Он сыпал с веток, когда ты стояла, прислонившись спиной к дереву. *Миссер Вотгер! Миссер Вотгер!*

Забудь меня, Бесс!

28

18 мая

Et Virtute! Какая отвага?

Во сне Кеймис назвал меня отъявленным трусом.

Я им не был. В Кадисе я сражался славно. Но если я не трус,

то кто? Боюсь, что еще хуже. Человек, который *притворялся* героем. Если отчаяние рождает бесстрашие, то в свое время я был храбр. Но есть более высокое и яркое бесстрашие, которое может вырасти в человеке только от уверенности в собственных силах. Таким бесстрашием я не обладал никогда. Но делал вид, что обладаю. Этому притворству приходит конец.

За пройденными милями я больше не слежу.

Вычисление широты и долготы предоставил мистеру Барвику.

Плавание продолжается.

Должно быть, Ирландия уже близко. Кое для кого путешествие на этом кончается.

*

*Что жизнь? Мистерия людских страстей,
Любой из нас — печальный лицедей.
У матери в утробе мы украдкой
Рядимся в плоть для этой пьесы краткой.
А небеса придирчиво следят:
Где ложный жест, где слово невпопад,
Пока могила ждет развязки в драме,
Чтоб опустить свой занавес над нами.
Все в нас актерство — до последних поз!
И только умираем мы всерьез¹.*

*

Только что я наблюдал, как индеец поймал крысу в бутылку. (Лихорадка его быстро прошла. Свое выздоровление он приписывает *коке!*) Крыса, должно быть, изголодалась — в камбузе мистера Тавернера или в наших провонявших гнилью кладовых поживиться особенно нечем. Она выскочила из бухты якорного каната и побежала по главной палубе. Индеец сидел в лодке, принайтованной к левому борту, и потягивал из бутылки дождевую воду. Крыса прошмыгнула у его ног между веслами и перекладинами, прыгнула в огневую коробку, тут же выбралась оттуда и в поисках безопасного укрытия стремглав побежала дальше. Найти укрытие ей не удалось. Индеец вскочил и побежал. Обогнал ее. Перепрыгнув через ствол пушки, встал на ее пути, преграждая дорогу к нактоузу. Потом наклонился и подставил бутылку. Крыса юркнула внутрь. Он закрыл горлышко затычкой и подошел

¹Перевод Г. Кружкова.

ко мне со своей добычей. Матросы у помпы бешено захлопали в ладоши. Может, издевались. Не знаю. Но бежал он действительно быстро. Это нельзя было не оценить. Быстро бежал и быстро соображал. Крыса в бутылке была целой и невредимой. Индеец подбросил бутылку в воздух и поймал снова. Потом с сияющим лицом стал размахивать ею в воздухе. Я заметил, что крыса в своей бутылочной тюрьме уже почти задохнулась от собственного зловонного дыхания.

— Зачем это? — спросил я.

— Для тебя! Для Гуаттарали!

На мгновение мне показалось, что он издевается. Что крыса в стеклянной тюрьме — это намек на меня. Или, возможно, на него самого.

Выяснилось, что я ошибся.

— Что я должен с ней делать?

Он похлопал себя по животу.

— Съесть? Ты, кажется, с ума спятил, дружище.

— Я могу разделать и сварить ее для тебя. Хорошая здоровая крыса. На обед Гуаттаралию.

Какие там шутки! Он говорил серьезно. Начал уверять меня, что с удовольствием пообедал бы крысой. Что по вкусу она напоминает...

Я не захотел слушать рассказ о вкусовых качествах крысиного мяса. Поблагодарил его. Сказал "нет". Добавил, что, ежели желает, крысу он может съесть сам.

И вот теперь из его каюты несутся обеденные запахи...

Меня тошнит.

Придется отдать морю еще немного желчи.

*

Позднее. И все же я рад этому дикому случаю. Он по крайней мере доказал, что мир индейца чужой для меня. Наши судьбы — его и моя — пересеклись. В этом плавании бывали времена, когда я видел в нем что-то вроде зеркала, в котором отражается моя душа, когда он, казалось, говорил мне вещие слова, просветлявшие мой разум.

И ведь мне это не приснилось. Но теперь мы расходимся.

Ни при каких обстоятельствах сэр Уолтер Рэли не будет есть на обед крысу!

*

Ночью перед моим отплытием в Гвиану Бесс видела во сне золотого человека. Но ее липкий император, запорошенный

золотой пылью, превратился в королеву Елизавету! Ergo¹: в снах правды нет. Запомни это, Кэрю Рэли. Кеймис лгал. Твой отец — хромой и увечный герой. Плохой актер, взявшийся за непосильную роль. А это не то же самое, что трус. Отнюдь. Твой отец — настоящий человек. Человек, который по-своему презирает смерть во всех ее уродливых личинах. Я доказал это в Кадисе. *Intramus!* Кричал я Эссексу. *Intramus! Intramus! Вперед!*.. И Эссекс в радостном возбуждении швырнул свою шляпу в море, и мы двинулись вперед, и атакой руководил я. Два флота сошлись в узкой горловине бухты. Решающая битва шла от восхода до заката. Я миновал строй мелких испанских кораблей, отвечая на их залпы звуками горна, и бросил якорь напротив галеонов. Три часа они обстреливали меня. Я не отступил. Отвечал им тем же. Благословлял их огнем. И когда испанцы увидели, что я иду на abordаж, они снялись с якоря и выбросились с кораблями на берег, в гущу испанских солдат — тех было на берегу превеликое множество. Два испанских галеона загорелись, и если кто-то захотел бы увидеть ад воочию, лучшего случая ему бы не представилось. Был Кеймис в Кадисе? Его там не было. Кеймис не знал меня тогда. Кеймис лгал. Всей душой желал я отправиться с Уотом. Но не мог. Мешала лихорадка. Мешал Кеймис и мои грызущиеся между собой капитаны. Никому другому не доверили бы они остаться в Пунто-Гальо. Прикрывать их с тыла, защищать устье реки. *Ни при каких обстоятельствах сэръ Уолтер Рэли не убежит*, сказал я им. *Intramus! Вперед!* Уот, Кэрю, сыновья мои, как жаль, что вас не было со мной. Как жаль, что вы не видели вашего отца в Кадисе. То был не сон. Вам не было бы стыдно за меня.

*

Корабль по-прежнему еле движется, лениво отвечая слабому ветру, что временами дует, будто из дырявых кузнечных мехов, а то вдруг стихает совсем.

Ничто не может сравниться по сочности красок с солнцем Северной Атлантики, когда оно на миг замирает утром на кромке мира.

Поправка. Только одно.

Отрубленная голова Эссекса.

*

Вся эта чепуха о золоте и индейце. Рехнулся я, что ли? Какое это имеет значение?

И все-таки чему же научил меня индеец?

¹Следовательно (лат.).

Как надо умирать.

Его крик, его племя, его Золотой Человек, его призрачность. Какая-то связь между ним и смертью Уота. Все это сейчас кажется неважным. Наши судьбы пересеклись. Но они разные.

Он стал мне еще одним сыном. С ним можно было поговорить. Скоротать время в долгом плавании. Но теперь плавание (почти) закончилось.

Мое странствие подходит к концу. Нечего больше сказать тебе, индеец.

И я знал, как надо умирать. Это единственное, что я знал всю мою жизнь.

Кристобаль Гуаякунда, твое простодушие привело в действие мои потайные пружины. Не сочти меня неблагодарным. Ты был мне (почти) другом. Сейчас мы снова (почти) чужие.

Спасибо крысе.

29

20 мая

НАСТАВЛЕНИЯ СЭРА УОЛТЕРА РЭЛИ СЫНУ И ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

* * * * *

ГЛАВА 1

Друзей надлежит выбирать среди людей добродетельных

Человеку мудрому следует более всего осторожным быть в выборе друзей, ибо по ним судить будут, каков он сам. Да будут они умны и добродетельны и да не ищут в тебе корысти. Выбор свой останови на тех, кои более тебя преуспели, и всегда беги бедных и нуждающихся. Пусть ты дашь им двадцать подарков и откажешься одарить лишь единожды, все доброе забыто будет, и наживешь ты врагов смертельных. Никогда не доверяй ни другу, ни слуге того, что может уменьшить имение твое, ибо сим ты становишься рабом того, кому доверился, и всецело зависишь будешь от милости его. И помни, суждение твое о любом друге, коего приобрел ты в молодые годы, со временем и опытом изменится, и тогда все, что ты дал ему, потеряно будет, а все, что доверил, открыто. А посему избегай тех, коих ты состоятельнее, ибо хоть они последуют за тобой, но лишь для того, чтобы объедать, а ежели кормить их перестанешь, то будешь ими ненавидим. И ежели тебе удастся сберечь имение твое, таковых людей будет вокруг тебя превеликое множество. Но, выбирая друзей среди

тех, коим благ земных даровано более, нежели тебе, можешь быть уверен в двух вещах. Первое: что без нужды они не прибегнут к совету твоему, ибо потерять могут более тебя. Второе: что ценим будешь за твои достоинства, а не за имение, коим владеешь. Но ежели одержим будешь великим тщеславием или недугом (да хранит тебя господь от сих напастей), не поверяй их никому. Ибо недостатки свои мы в тайне держать должны. И хотя я убеждаю тебя водить дружбу с людьми, превосходящими тебя богатством и знатностью или же равными в том с тобою, помни, что не следует рисковать имением, ежели кто из сильных сих замыслил незаконное, ибо такие люди пекутся о благе своем, а не о твоём. Старайся в опасности оставить их, но не во славе. А подвергать риску то, что имеешь в настоящем, ради надежд на лучшее в будущем есть сущее безумие. И люди великие, добившись желаемого, забывают тех, кто им услугу оказал, а ежели напомнишь им о ней, то скорее навлечешь на себя их ненависть, чем удостоишься благодарности.

Я знаю тысячи примеров и сам испытал подобное за свою жизнь не единожды. Когда начнешь читать истории разных народов, то найдешь бесчисленные примеры подобного. Посему люби тех, кои обрели больше земных благ, чем ты, но только пока поступают добродетельно. Но прежде всего возлюби бога, страну твою, твоего государя и твое имение. Ибо расположение людей изменчиво и, кто любит тебя сегодня, тот завтра возненавидит. Пусть разум будет тебе наставником, и да направит он тебя по пути праведному.

*

ГЛАВА 2

Жену надлежит выбирать с превеликим тщанием

Следующий по важности выбор человек делает, когда жену ищет, и единственная опасность, подстерегающая его при сем, — красота, жертвами коей становились все мужи — и мудрецы и глупцы — во все времена. И хотя я знаю, сколь тщетны все увещания, доводы и попытки предостеречь от ее плена (тех, кои сумели избежать сих колдовских чар, очень мало или нет вовсе), я все же не могу не предупредить тебя о ней как об одном из источников бед и несчастий. Ныне так повелось, что любой мужчина ставит свои причуды в страсти выше всех других мирских желаний, подчиняя им честь, имя доброе и собственную безопасность. Но помни: любовная страсть преходяща, а узы брака разрывает только смерть; посему страсти сей лучше предаваться с любовницей, а не с женой, ибо тут, переменившись сердцем, смо-

жешь переменить и выбор (ежели вообще себе позволять будешь такие суетные вольности). Помни также: ежели женишься, прельстившись красотой, ты свяжешь себя на всю жизнь тем, что, может статься, будет тешить и радовать тебя не более одного года. И, добившись желаемого, ты тут же все потеряешь, поскольку интерес, будучи удовлетворен, умирает, а страсть, будучи утолена, гаснет. Вспомни, как в младенчестве ты любил кормилицу твою. Но по прошествии времени полюбил няньку и забыл о кормилице... И разве не настало время, когда ты с презрением отвернулся от *обеих*? То же самое ожидает твои привязанности и в более зрелом возрасте. А посему, не имея сил противиться любви, всеми силами противься прочным узам. Пройдет время, и ты найдешь в себе перемены, и новая любовь покажется тебе много милее первой, второй или третьей. И все же упаси тебя бог жениться на женщине некрасивой. Привлекательная внешность есть богатство детей, ежели им не оставлено ничего иного. И ежели ты печешься о породе своих лошадей и других животных, так цени же и то, как выглядят дети твои, прежде иных выгод и богатств. Впрочем, попечения твоего требует и то, и другое. Ибо, ежели жена у тебя красивая, но бедная, а собственное имение твое невелико, тебе надлежит позаботиться, чтобы нужда не сокрушила любовь. Ибо жена верна тебе будет лишь в достатке и славе. Я не встречал еще женщины бедной и красивой, которую бы в конце концов не совратили. Вот как учила царя Лимуила мать его: *Милovidность обманчива, и красота суетна*. И еще: *Она (добродетельная жена) наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности*¹.

А посему старайся, чтобы жена любила тебя, а сам головы не теряй. И любовь ее видна будет по двум вещам. Первое: как она печется об имении твоём и работает для его умножения. И второе: как она старается порадовать и развлечь тебя беседой без подсказки твоей, ибо любовь в наставлениях и советах не нуждается. А еще помни, что нельзя быть с женой гневливым и жестоким, ибо жестокость не может породить ничего, кроме ненависти. Ежели она бережлива и честна, дай ей при жизни твоей равную часть имения. Но знай: что даешь ты после смерти твоей, то даешь человеку чужому и, чаще всего, врагу. Ибо тот, кто женится на твоей жене, тебя, память твою и все, тебе принадлежащее. презирать будет, он завладеет плодами трудов и забот твоих и любви твоей, пустит по ветру с легкостью все, что ты сберег и приумножил терпением и трудолюбием. Однако позаботься, чтобы после смерти твоей не было позора имени твоему, чтобы жена твоя могла жить сообразно положению твоему, особенно ежели детей у тебя будет немного и все они обеспечены будут. Но при всем том не оставляй жене больше необходимого. И

¹Притчи Соломона 31:30, 27.

только на время ее вдовства. Ибо, ежели она снова полюбит, не должно ей тешить новую любовь в той же постели, в коей она любила тебя, и воспарять к новым радостям на крыльях, коих перья смерть вырвала из крыльев твоих. Посему оставь имение твое прямым потомкам твоим, в коих ты на земле вечно пребудешь.

Заклучение. Жены призваны продолжать род мужей своих, а не укорачивать их век, губить талант или растрачивать добро. А посему дом твой и состояние предпочти передать сыну, а не жене. Время женитьбы должно приходиться на годы, когда ты молод и крепок. Ибо (поверь мне) молодая жена всегда предаст мужа старого, а та, что не знала тебя в расцвете сил, не полюбит тебя и в твои преклонные годы, и будешь ты для нее горькой неволей. Лучший твой возраст наступит к тридцати годам, поскольку в более молодые годы человек не готов к правильному выбору и управлению семьей, а женившись позднее, может не увидеть воспитание детей своих, коим займутся посторонние, из чего добра не выйдет, и лучше уж не рожать детей вовсе, чем плохо воспитать их, ибо тогда род твой прекратится или же опозорен будет. И еще: ежели поздно возьмешь жену, то лето жизни своей проведешь с блудницами, отчего расстроишь здоровье, уменьшишь состояние и укоротишь век твой. И знай, сколько любовниц будет у тебя, столько и врагов ты себе приобретешь. Ибо не было еще любви, что не закончилась бы ненавистью или презрением. Вспомни слова Соломона: *Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца*¹. Ибо, как бы непотребная женщина ни прельстила тебя на время, в конце концов ты ее возненавидишь, а она против тебя строить козни будет. Ежели не можешь отринуть их в твои незрелые и необузданные годы, помни все же, что тем самым сеешь на песке, перемешиваешь живую кровь с тленом и не приобретаешь ничего, кроме болезней, раскаяния и ненависти. Посему проживи юность твою так, чтобы в будущем вспоминать ее с радостью, а не вздыхать и печалиться. Пока человек молод, он думает, что молодости конца не будет. Но помни, даже у самого длинного дня наступает вечер. И юность даруется лишь единожды и никогда не возвращается вновь, посему посвяти свою быстротечную весну делам и заботам, кои обеспечат тебе жизнь долгую и счастливую.

¹Притчи Соломона 21: 2.

*

ГЛАВА III

Льстецы совращали даже мудрейших мужей

Не позволяя льстецам делать из тебя глупца, ибо ими совращены были даже мудрейшие мужи. Знай, что льстецы суть худшие из предателей. Ибо они укоренят тебя в заблуждениях, помогут закоснеть во грехе и так затушают и замажут изъяны твои и промахи, что ты не сможешь (по их милости) отличить добра от зла или греха от добродетели. И поскольку человек склонен льстить себе сам, губительно добавлять к сему похвалы льстецов. Ежели не хочешь, чтобы тебя считали самовлюбленным глупцом, не хвали себя сам. Не радуйся и похвалам других, ежели их не заслужил, и принимай их только от людей достойных и честных, кои предостерегут тебя и от ошибок. У льстецов нет добродетелей. Это души низкие, рабелепные и трусливые. Лстец что зверь, кусающий улыбкой. Исаия сказал об этом так: *Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили*¹. А Давид просил Господа вырвать язык у лстеца. Но отличить их от друзей непросто. Лстецы угодливы и щедры на лживые заверения. Как волк похож на собаку, так и лстец на друга. Лстец подобен обезьяне: поскольку та не может охранять дом, как собака, трудиться, как вол, или носить тяжести, как лошадь, она строит рожи и смешит людей. Ты должен знать, что говорящий тебе наедине правду об изъянах твоих — твой друг, ибо он рискует навлечь на себя нерасположение твое или даже возбудить твою ненависть. А правду о себе терпят лишь немногие, человек склонен к самовосхвалению, кое есть один из самых распространенных грехов человечества.

*

ГЛАВА IV

Избегай личных ссор

Среди собрания и за праздничным столом остерегайся ввязываться в споры с людьми вспльчивыми и вздорными. И тем паче сторонись знакомства с негодьями. Ибо в стычке с ними ты подвергаешь свою жизнь той же опасности, что и в битве, где можешь обрести славу для себя и безопасность для страны твоей и государя твоего. Но уж ежели ввязался в драку, дер-

¹ Книга Исаии 3:12.

жи себя смело, дабы в будущем им задирать тебя неповадно было. Посему избегай личных ссор, благоразумен будь в словах и поступках. Ибо честь и позор в речах твоих и в языке человека кара его.

Не насмехайся над простыми душами, но помни, сколь многим обязан ты Господу, от коего мудрость твоя. Не позорь на людях женщину, хотя бы ты и знал порочность ее. Ибо виновные не терпят обвинений и будут искать мести тебе; невиновные же не стерпят несправедливых упреков. И нет ничего постыднее неправды. Правда сама перережет горло тому, кто порочит ее на каждом углу. Не забывай божественного речения о том, что, кто держит печать на устах, тот на пути к жизни. Воздавай должное всем людям к выгоде их, и многими любим будешь. И удержишься говорить недоброе о людях, даже и справедливое (ежели не принужден), и так избежишь ты злобы и мести людской.

Не обвиняй людей в преступлениях, ежели только сие не спасает тебя самого, государя твоего или страну. Ибо бесчестнее обвинителя только предатель. И однако же бойся потерять доброе имя или стать притчей во языцех людской молвы. Лучше совсем не жить, нежели жить трусом, когда обида не тобой нанесена. А ежели сам нанес кому обиду, то постарайся кончить дело миром, а не подвергай себя опасностям. Ибо, ежели победишь противника, Законом жестоко наказан будешь; а ежели побежден будешь, умрешь или имя свое обесчестишь. Посему, когда споришь или соревнуешь кому, выбирай людей мудрых и трезвых, кои научить тебя могут, а не невежественных, ибо они выслушают речи твои и, не поблагодарив тебя, используют их к выгоде своей. А ежели знаешь больше других, то выказывай сие только ко славе твоей, а не среди невеж и простолюдинов.

Несдержанность в речи также есть признак тщеславия. Ибо щедрый на слова скуп на дела. Соломон говорит: *При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен*¹. И судить о тебе будут по словам и речам твоим. Ибо, кажется, Сократ говорил, что, каковы слова твои будут, таковы и пристрастия; каковы пристрастия, таковы и поступки; а каковы поступки, такова и жизнь твоя будет. Посему благоразумен будь в речах, тем паче когда говоришь о религии, государстве или тщеславии. Ибо, ежели ошибешься в первом, прослывеешь нечестивым. Ежели во втором — опасным. Ежели в третьем — несдержанным и глупым. Кто не может удержаться от многословия, тот подобен городу без стен. И ничто в мире не дается легче молчания. Посему, ежели следовать будешь сему правилу в собраниях, редко ошибаться будешь: усмиряй гнев твой, много слушай и мало говори. Ибо язык есть причина и величайшего добра, и величайшего зла на свете.

¹Притчи Соломона 10:19.

Берегись прослыть лжецом, ибо лжец противен и Богу, и человеку. Лжец обыкновенно бывает трусом, сторонящимся стезей истины. Лжецу нет доверия ни в собрании, ни в доме. И ежели этих доводов будет тебе мало, то помни, что, как учил Господь, се грех от диавола: ложь противна природе Господа нашего, пребывающего в истине. И лжецу не поверит никто, даже ежели он начнет говорить правду. Господь ненавидит лживые уста, и говорящий лживо падет. Ты сам убедиться можешь, прочитав Писание, сколь лжец Господу ненавистен и противен. И в мирских делах, поверь мне, ложь не принесла пользы никому (разве что сказанная ради спасения жизни). Ибо душа у лжеца низкая, подлая и трусливая.

*

ГЛАВА V

Три правила, кои надлежит выполнять, дабы сохранить имение

Среди прочих мирских забот порадей об имении твоём — сохранить его тебе помогут три правила. Первое: знай, чем обладаешь, знай цену всему и следи, чтобы слуги и помощники не разорили его. Второе: никогда не трать чего не имеешь, ибо долги для имения что язва и смерть. Третье: не подвергай себя опасности за провинности других и не иди в огонь за чужую вину, то есть не ручайся за другого, ибо миллионы людей разорились и пошли по миру, расплачиваясь за расточительность и мотовство других. Ежели уж страдаешь, страдай за собственные грехи. И пуше всего избегай участи осла, несущего груз за других.

Ежели друг твой ищет твоего ручательства, дай ему часть того, что потратить можешь. Ежели он будет настаивать, то он тебе не друг — ибо дружба скорее нанесет ущерб себе, нежели другому. Ежели ты свяжешь себя обязательством ради постороннего, то ты глупец. Ежели ради купца, то подвергнешь имение твое многим превратностям. Ежели ради священнослужителя, то учти, что у него не будет наследства. Ежели ради законника, то, изменив слово или слог, он найдет способ обмануть тебя. Ежели ради бедняка, то платить будешь сам. Ежели ради богача, то какой смысл было ему утруждать тебя? Посему да хранит тебя Господь от ручательства, а также от убийц и обманщиков. Ибо, ежели за кого поручишься, в лучшем случае будет так: ежели заставишь его самого заплатить, приобретешь врага, а ежели потратишь собственное имение, то пойдешь по миру. Поверь твоему отцу и запомни крепко-накрепко, что, какими бы ты достоинствами ни обладал, какими бы добродетелями ни был наделен, ежели будешь беден, все равно презираем будешь. Нищета часто посылается Богом как проклятие. В глазах людей она позором слывет. Нищета — узилище разума. Томление духа.

Ни тебе, ни другим она не в радость. Ты будешь купаться в добродетелях, но никому они не будут видны. Для друзей обузой и докукой будешь. Люди твоего общества сторониться будут. Принужден будешь униженно милостыню просить. Лыстить недостойным людям. Пускаться на бесчестные хитрости. Скажу в заключение: нищета толкает человека на поступки недостойные и постыдные. Да хранит тебя Господь от сего самого худшего из земных грехов, в который впасть можешь по легковерию либо тщеславию.

Ежели богатым будешь, вкусишь радость в здравии и обретешь утешение в недуге, сохранишь дух и тело свободными, избежишь многих несчастий, обеспечишь себя в преклонные годы, поможешь бедным и честным друзьям и оставишь средства потомкам, дабы могли они жить, не давая себя в обиду и прославлять имя твое. Вспомни, как написано в "Притчах": *Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего; а кто ненавидит ручательство, тот безопасен*¹. И дальше: *Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей*². Не давай в долг тому, кто могущественнее тебя, ибо ежели дашь ему в долг, то потеряешь. Не ручайся превыше своих возможностей. Ибо ежели поручился, знай, как платить будешь.

*

ГЛАВА VI

Каких слуг нанимать надлежит

Пусть слуги твои послушными будут; нанимай только именов и за твердую плату. Ибо те, кои служить тебе без найма будут, обойдутся втрое дороже, нежели те, кои плату свою знать будут. Ежели доверишь кошелек слуге, возьми с него отчет в тот же день. Ибо, ежели отложишь, то за делами забудешь. Сам я потерял через слуг более, нежели сам стою. И что бы твой слуга ни приобрел сим путем, благодарности от него не жди, а только насмешки и презрение. Кроме того, тем самым ты делаешь из своих слуг воров, кои в противном случае могли бы остаться честными людьми.

*

ГЛАВА VII

Яркие наряды выходят из моды раньше других

Не питай склонности к ярким нарядам, ибо они из моды выйдут раньше других. Но деньги в кошельке твоём всегда в моде будут. О человеке по платью только глупцы и женщины судят.

¹Притчи Соломона 11:15.

²Притчи Соломона 14:20.

*

ГЛАВА VIII

Не ищи богатства на нечестивых путях

Не ищи богатства низостью и нечестивыми путями. Не погуби человека ради богатства его и не отними у бедного. Ибо крики и жалобы оных на небесах услышаны будут. Нет ничего более противного Господу и бесчестного в глазах людей достойных, нежели отнять что-либо от души нуждающейся и трудолюбивой. Бог никогда не поможет тебе, ежели возьмешь такой грех на душу. Но обходись по-доброму с твоими бедными соседями и арендаторами и не увеличивай их горестей и горестей их детей ради собственных излишеств. Имеющий жалость к беде другого сам беды избегнет. А радующийся несчастью другого сам в беду попадет. Помни заповедь: *Благотворящий бедному дает займы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его*¹. Я не считаю бедными бродяг и попрошайек, но тех, кто трудится в поте лица своего, кто стар и немощен, а также вдов и сирот, и еще арендаторов, впавших в нищету по несчастной случайности, а не из-за легкомыслия или собственной нерадивости. Сострадай им, и Бог воздаст тебе. Не усугубляй долю голодного. Не отвернись от нуждающегося. Ибо он проклянет тебя в горечи своей и молитва его Создателем услышана будет.

*

ГЛАВА IX

Какие неприятности подстерегают пристрастившегося к вину

Особо остерегайся пристраститься к вину, ибо не было еще человека среди любителей сего зелья, кто бы достиг славы либо высокого положения. Ибо вино низводит человека до зверя, разрушает здоровье, отравляет дыхание, нарушает ток тепла в теле, чрезмерно разогревает желудок, обезображивает лицо, портит зубы и посему делает из человека существо презренное. Запомни мои слова. Любой другой порок предпочтительнее сего. Ибо любую гордыню и любой грех преодолеть можно, но пьяница никогда не избавится от своего животного состояния. Ибо чем дольше он упорствует в сем грехе, тем сильнее его власть; чем старше он становится, тем более ему подвержен. Ибо он подтачивает дух и тело, как плещ губит старое дерево и червь съедает сердцевину ореха.

Посему берегись сей неизлечимой язвы и страшной заразы

¹Притчи Соломона 19:17.

как в юности, так и в старости. Иначе вся жизнь твоя будет как у зверя, а после смерти лишь позор оставишь в наследство потомкам, кои даже имя твое забыть постараются.

Святой Августин, насколько я помню, так описывал пьянство:

Пьянство есть лстивый диавол, сладкий яд, приятный грех; кто ему привержен, тот себе не принадлежит; кто ему предается, тот не греху предается, ибо сам становится грехом.

Когда Диоген увидел, что продается дом пьяницы, он, как говорят, сказал: "Я так и думал, что он выблует свой дом". *Sotebam, inquit, quod domum tandem evomeret.*

*

ГЛАВА X

Да защитит и наставит тебя Господь во всех твоих делах

А что до мира, я слишком хорошо знаю его и хочу предостеречь тебя от его дурного влияния. Будь осторожен и не поддавайся искушениям, угрожающим совести твоей, доброму имени или кошельку. Мудр и храним только тот, кто честен.

Служи Богу. Да наставит Он тебя во всех делах твоих. Поручай Его милости все твои начинания, и Он призрит их. Радуй Его молитвой, ежели не хочешь, чтобы Он прогневался и разрушил созданное тобой, словно карточный домик. Да лягут тебе на сердце мои отцовские советы и наставления. Да направит тебя Господь на стезю истинную и да наполнит Он сердце твое Своею милостью.

FINIS

30

22 мая

Рано говорить finis¹. Рано ставить точку. Ничего еще не кончилось, не определилось, едва только началось...

Теперь я вижу, что моя книга служит судебным журналом сразу трех странствий.

Первое: странствие "Судьбы". В настоящем времени. Сиюми-

¹Конец (лат.).

нутное. Реальное. Подробное, день за днем, описание моего долгого плавания домой, к смерти.

Второе: странствие судьбы. История моей жизни. Описательная. Разъясняющая. Если угодно, мои признания. Для сына.

Третье странствие определить трудно. Сначала я о нем и не подозревал. Считал, что плаваю по двум морям. По морю моей прошлой жизни и по морю жизни нынешней. И цель представлялась мне достаточно простой: связать их одно с другим и осмыслить оба. Но постепенно во мне росло ощущение *третьего* странствия. Оно рождалось из неясных намеков, туманных очертаний, неразборчивых криков в реве шторма. (Я говорю о тумане памяти и о шторме, бушующем там, где встречаются воды прошлого и настоящего, образуя в сознании гигантский водоворот.) Теперь неясные формы приобрели строгие очертания, крики слились во фразу. Какую? "*Странствие Судьбы*". Мое третье странствие. Истинная цель.

Не корабля. Не жизни. Чего-то *большого*, чем настоящее или прошлое или то и другое вместе. Я плыву по безымянному морю, безбрежному океану. Вся команда состоит из одного человека — меня самого. Невозможно определить "*местоположение корабля*". Единственное, что у меня есть, — это чувство, будто, пытаясь следовать двумя курсами сразу, я нашел (совершенно случайно) третий путь. Не назад. Не вперед. Может, *внутрь*? Нет, все-таки *вдаль*...

Вдаль! Вдаль! И *прочь*...

Прочь от всей этой болтовни?

(Хотел бы надеяться, что так! Но ведь речь идет о чем-то вполне реальном... Более реальном, чем соль на вантах. Более реальном, чем сонм воспоминаний у меня в голове...)

*

Чего бы я сейчас не дал за горячий кусок говядины! С луком, обжаренным в масле! И куском свежего хлеба!

*

Мое первое странствие *практически* закончилось. Проснувшись сегодня утром, я увидел мыс Майзен, юго-западную оконечность Ирландии. Сейчас (в полночь), чтобы не наскочить на скалу Дьюлик, мы лежим в дрейфе в миле от мыса Галлей. Паршивая погода: дождь, шквальный встречный ветер. С тех пор как показалась земля, мы с трудом прошли всего тридцать четыре мили. От мыса Галлей наш путь лежит к мысу Семь Голов (девять с четвертью миль), от Семи Голов — к мысу Старая

Голова у Кинсейла (семь миль), от Старой Головы — к гавани Кинсейла (еще шесть с половиной миль). До стоянки в Кинсейле моей "Судьбе" осталось пройти каких-то три лиги...

Если члены команды и взволнованы, то вида не подают. Большинство больны, все голодают. Плавание через океан дорого обошлось каждому. По правде говоря, ни у кого не осталось сил хоть что-либо чувствовать, не говоря уж о том, чтобы эти чувства выражать. Люди двигаются по кораблю-призраку, словно привидения. Привидения с потухшими глазами в запавших глазницах. Измотанные, бесчувственные, слишком истерзанные, даже чтобы пролить слезу облегчения.

Индец тоже не выказывает никаких чувств. После того отвратительного обеда он трое суток не выходил из своей каюты, но, когда сегодня утром он появился наконец на палубе, ничего необычного я в нем не заметил. Он забрался в "воронье гнездо" и бросил первый взгляд на то, что для него является Новым Светом. Спустился он оттуда с обычным бесстрастным выражением лица.

— Эта земля ничем не пахнет, — только и сказал он.

С тех пор он смотрит на нее, не проявляя особого любопытства.

Он прав. Целый день мы медленно тащились вдоль утесов и скалистых осыпей серого, голого и неприветливого побережья. Неделями мечтал я увидеть деревья и вдохнуть привычный запах травы. Ирландское побережье не просто разочаровывает. Оно издевается над такими мечтами. Если на берегу и появляются деревья, то маленькие и корявые. А трава здесь будто окрашена в неестественно яркий, фальшивый цвет: сентиментальная выдумка, рисунок ребенка, а не обычная зеленая трава. И земля действительно не пахнет. Через полоску воды, отделяющую нас от суши, не доносится ни ароматов, ни вони. Даже названия — Шуль, мыс Тоу, бухта Дирк — звучат бесприютно и пугающе... Конечно (так я себя успокаиваю), я мечтал не об этих деревьях и не об этой траве. Это не мой дом. Чужая страна.

Но приходят еще более мрачные мысли. Может быть, у меня нет дома. И теперь весь мир для меня — чужая страна.

*

Все почести за победу при Кадисе достались Эссексу. И вся добыча после разграбления города. Я лежал на носилках и наблюдал за ним. Меня ранило. Ядро угодило в ногу. Эссекс, Хауард и Виа постарались в тот день. Битву я за них уже, по существу, выиграл. Они пожинали плоды. Я считаю, в Кадисе Эссекс сошел с ума. Он присвоил рыцарское звание шестидесяти шести своим сторонникам. Какая нелепость! С тех пор, когда говорят "ры-

царь Кадиса”, это звучит насмешкой. Мой грустный друг Эссекс всегда был немного не в своем уме. Конечно, в то время уже он танцевал тайный танец с королевой. Я впал в немилость. Меня забыли. После сражения у Файала¹ Эссекс пытался отдать меня под суд военного трибунала. За что? За победу в сражении до его прибытия. На мне тогда были белый шарф и белые бриджи. Продырявленные пулями, как решето. Хауард приказал мне извиниться перед безумцем. Я повиновался. Военный суд отложили. Несмотря на безумие, Эссекс себя не забывал. В Кадисе он завладел лучшей добычей. Я получил всего тысячу семьсот шестьдесят девять фунтов и библиотеку испанского епископа. Эссекс высоко прыгал в танце. Ею она назначила граф-маршалом. Мне судьба изуродовала ногу.

В его сумасшествии я убедился на рыцарском турнире. Он узнал цвета моих людей. И вывел на поле свой отряд — их было вдвое больше, чем нас, — одетый точно в те же цвета, что выбрал я! Вплоть до оранжевых перьев на шлемах! Хотел загубить мое представление, изобразить нас *его* сторонниками! Королева не оценила шутки. Затея провалилась. Чего еще она могла ожидать от него? Он был на *тридцать четыре года* моложе Елизаветы! О, славная игра в перья.

Она отослала его в Ирландию. Что же он сделал? Вместо того чтобы сражаться с Тайроном, он подружился с ним. Я играл в карты с государственным секретарем Сесилом. Маленький Сесил в черных лоскутных рейтузах. На шее тройная золотая цепь. Вечно ходит взад-вперед маленькими шажками. Он всегда выигрывал. Мне так и не удалось уличить его в жульничестве. Умный Сесил. Именно от него я узнал, что дни Эссекса сочтены. Его шпионы раздобыли копии писем, которые этот умалишенный писал из Ирландии. Я видел их. Эссекс обещал Якову поддержку громадной армии! Зачем ждать, пока старуха протянет ноги? — говорилось в них. Яков может получить Англию *сейчас!*

Но шотландец Яков оказался хитрее. Он ждал своего часа. Королева была для него неспелым яблоком. В свое время оно само упадет ему в руки. Он знал это. Ждал. В бешеных собаках не нуждался. Ему больше по душе комнатные собачонки. До сих пор. Например, славный Стини.

Эссекс возвратился в Лондон. Сесил приказал взять его под стражу. Королева снова освободила его. Почему? Потому что, сказал Эссекс, если бы его привели в суд, он научил бы судей танцам королевы, вот так-то. Елизавета намек поняла. Сесилу приказали убить Эссекса тайно. Незаменяемый был человек в таких делах, этот Роберт Сесил.

Прежде чем организовали покушение, лорд Эссекс выехал. Окруженный своими людьми, он выехал из дворца на улицы

¹Файал — один из Азорских островов.

Лондона. В воскресенье. Заговорщиков насчитывалось две тысячи. Среди них был и мой кузен, сэр Фердинандо Горхес. Я старался спасти жирного идиота. Утром в то же самое воскресенье мы встретились. На лодках, у Милфордского причала. Я пришел один. Горхес привел с собой людей. Уговорить его я не смог. Но угодил в западню. Отчим Эссекса, Блаунт, прятался на берегу. Он четыре раза стрелял в меня. Мимо.

На улицах Эссекс орал. *Клянусь! Клянусь! Честью клянусь!* И больше ничего. Совсем спятил. Толпы народа молчаливо смотрели на него. Никто к нему не присоединился. *Клянусь! Клянусь! Честью клянусь!*

Мы заперли ворота Сити. Он вернулся домой. Даже его люди теперь молчали. Они заметили пену у него на губах. Угрюмо шагали они по улицам Лондона. В толпе не слышалось даже насмешек. Дворец Эссекса вскоре окружили. Хауард навел на него пушки. Эссекс сдался.

Этот большой мальчишка умирал, как теленок. Он стоял у плахи и мычал. Затем затопал ногами. Заплакал. Начал кричать, что во всем виновата его мать. Потом, его сестра. Потом — любовник сестры. Потом отчим. Ее Величество играла на вирджинеле. Не прерываясь. Она знала, каким взмахом топора отрубили его голову. Но играть не перестала. В тот день было шесть казней. Я обязан был присутствовать на каждой. Ибо снова был начальником ее охраны. Получал я четырнадцать фунтов в год. На форму. Ярд рыжеватой-желтой ткани стоил тринадцать шиллингов и четыре пенса, черная овчина — и того больше. Я носил форму. Выполнял свой долг. Но когда пришла очередь Эссекса, я спустился с эшафота. Думал, что ему мое присутствие неприятно. Решил наблюдать из окна. Не мог представить себе, что он захочет меня видеть. Мы танцевали с ним один и тот же странный танец. Позднее мне сказали, что он спрашивал обо мне. Но было уже слишком поздно.

*

Зачем продолжать? Как продолжать? Я имею в виду мое второе странствие. Это мучительное копание в пепле прошлого. В страшных, опаляющих душу днях, в мертвом, выгоревшем сердце, во прахе.

Слишком поздно.

Все слишком поздно.

И давно кануло в вечность.

Как Непобедимая армада? Как мое участие в разгроме этого великого флота?

Кэрю, я в этом участия не принимал.

Меня там не было.

Дрейк — я глумился над Дрейком, прости меня, Боже, — Дрейк прервал игру в шары на Плимутском мысе. Ты, видимо, знаешь эту историю. "Джентльмены, пора сделать перерыв в игре и разделаться с испанцами". Дрейк знал, что говорит. Он просто выжидал, понятно? И от нечего делать играл в шары, а потом отправился в Кале и послал несколько брандеров¹ расшевелить и побеспокоить благословленные папой корабли короля Филиппа. Остальное сделал ветер. Ветер оказался протестантом.

А что сделал твой отец?

Твой отец не сделал *ничего*.

Твой отец сидел в безопасности на суше. Он даже в шары не играл.

Впрочем, не сидел. А ездил. Я "собирал" наши сухопутные силы. Сухопутных сил нам не требовалось. И, мне кажется, я знал это с самого начала.

Но позднее написал. О разгроме Армады. Написал так, будто я был там. Написал одно длинное, полное ребяческого восторга предложение!

"Их флот..." — писал я (сейчас я переписываю это предложение из "Правдивого повествования о битве у Азорских островов", 1591, которое лежит передо мной на столе)...

Их флот, нареченный ими непобедимым и состоящий из двухсот сорока судов не только их собственного королевства, но и португальских караков, флорентийцев и больших неповоротливых судов других стран, тридцатью военными кораблями Ее Величества, а также несколькими торговыми судами под мудрым, доблестным и весьма успешным водительством лорда-адмирала Англии Чарльза Хауарда был разбит, рассеян и отогнан: сначала от мыса Лизард в Корнуолле к Портленду, где они позорно бросили могучий корабль дона Педро де Вальдеса, от Портленда к Кале, где они потеряли галеас под командованием капитана Уго де Монкадо, а от Кале, снятый взрывами с якорей, за пределы Англии и дальше, вокруг Шотландии и Ирландии,

где они рассчитывали на сочувствие к своей варварской религии и соответственно на помощь и поддержку, но большая часть из них разбилась о скалы, а те, кто все-таки попали на берег — их тоже было превеликое множество, — тем не менее были избиты, убиты или пленены и, связанные попарно, отосланы по

¹Брандер — судно эпохи парусного военного флота, предназначенное для сожжения вражеских кораблей.

суше на другое побережье для отправки в Англию,

где Ее Величество, преисполненная царственного и непреклонного презрения, порешила не предавать их смерти и, не склонная ни в плену их держать, ни взять на службу, отпустила их по домам, дабы они рассказывали-пересказывали доблестные деяния своего непобедимого и грозного флота,

коего число солдат и опись страшного груза кораблей, имена командиров каждого отряда и весь провиант были занесены на бумагу как суровое и неумолимое предупреждение любой армии и любому флоту,

между тем как, несмотря на устрашающий вид, они во время своего долгого плавания вокруг Англии не потопили ни одного нашего фрегата, барка, катера или шлюпки и не сожгли даже овечьего загона.

Я гордился этим предложением. Пять абзацев! Двести пятьдесят пять слов! Какая мощь, какая едкая ирония! (Ты оценил мастерство, Кэрю? Предложение-армада, а? Словесный клич трубы!)

Это предложение — моя единственная заслуга в той битве. Об овечьем загоне я писал со знанием дела.

На берегу я командовал овцами.

*

Это предложение обнажает игру. Какую? Ту самую, что я вел всю жизнь, и весьма искусно. Позы, притворство, маски, напускной вид. Личин у меня было не меньше, чем у шлюхи с Тернбул-стриг. Чем у актера "Глобуса" или "Форчуна". Я всегда играл какую-нибудь роль.

Посмотри на это чудовищное предложение. Что это? Стилистический этюд. Рисовка. Монолог позера. Написано не храбрецом. Не героем. И не участником событий. Это речь поэта, выдающего себя за полководца. Я, как всегда, перестарался. *Под мудрым, доблестным и весьма успешным водительством* — ну и ну... (Подозреваю, что имел в виду только то, что Хауард в качестве флагмана использовал мой собственный корабль "Ковчег Рэли".) Если бы я сражался с Армадой, то был бы лаконичнее. А поскольку я не сражался... А поскольку я не сражался, то потопил двести сорок кораблей двумястами пятьюдесятью пятью словами! Это не война. И не литература. Самообман! Литературные ужимки!

В этом глупом предложении я пробовал голос. (Глупом, потому что пышно-величественном, а пышность мне всегда была чужда.) То же самое я сделал и два дня назад в своих убогих "Наставлениях". Чушь собачья! Сгусток макнавеллевской мудрости. Блудный сын сэр Уолтер Рэли пытается играть роль отца... Не получилось.

Старый голос, вышедший из моды стиль, негодное упражнение в библейской величавости.

Скажу откровенно: я не могу заставить себя перечитать эту чепуху. И все же она нужна, знаю, что нужна и пригодится. Вот он я, современный человек, играющий новую роль. Кто написал эту книгу в книге? Я, сын. Сэр Уолтер Рэли. Мистер Мирская Мудрость. Осколок славы Глорианы. Привидение из Золотого Века. Те десять глав я написал и для тебя, и для себя. Хотел проверить, могу ли так писать. Поупражняться в стиле, который мне может понадобиться.

Это хороший стиль, то есть плохой, мое второе я. Я хочу умереть в этом стиле. Это хороший голос, то есть плохой, мое второе я. Голос последнего елизаветинца.

*

Семь Голов. Робин только что выкрикнул название этого мыса. Я вышел на палубу. Мерзкий рассвет. Семи я не увидел. Пересчитал их. Высокие черные скалы в морском тумане. Из-за плохой видимости и качки считал я с трудом. Но семи не было. Жизнью клянусь, что не было. Не было семи голов.

Мистер Барвик догадался о причине моей растерянности.

— Семь замков, — сказал он.

— Где? — спросил я.

— Там, на скалах.

Я решил, что сошел с ума. Замков я не видел. Только скалы и морскую пену. Мерзость запустения.

Мистер Барвик устало объяснил:

— Говорят, что *когда-то* у ирландцев здесь были замки. Семь замков. Отсюда и название. Семь Голов.

Я снова взглянул на скалы. Голова пошла кругом. Я увидел замки.

Невероятные замки.

Замки из чистого золота.

Я помотал головой. Все исчезло. Начался ливень.

Плащ промок насквозь. Струи дождя приятно омывали лицо.

— Сударь, — раздался голос. Робин тянул меня за рукав. — Сударь, ваша лихорадка! Идите в каюту. Вы погубите себя! Перо на его шляпе обвисло.

Я кивнул. Робин протянул мне руку. Я отказался от помощи.

— Сколько еще, мистер Барвик?

— При таком встречном ветре? Ничего не могу сказать!

Я стукнул тростью по вантам и повторил:

— *Сколько еще, мистер Барвик?*

Он пожал плечами. Тусклый взгляд его не изменился.

— Семь часов, сэр.

Семь Голов. Семь замков. Семь часов.

Корабль вертелся вокруг меня. Я стоял прямо.

— Дождь, сударь!

Мне предстояло справиться с чем-то более серьезным, чем дождь. Удалось. Справился.

Я кивнул мистеру Барвику.

Он отдал мне честь.

Взмахом руки я велел Робину посторониться. Вернулся в каюту.

Уверен, что они ничего не заметили...

*

Я пьян, Уот. Напился бренди лорда Бойля. Совершенно пьян, Уот. Первый раз за двадцать шесть лет.

Sotebam, inquit, quod domum tandem evomeret.

Диоген знал, что говорит. Разве он не напивался до чертиков в своей бочке?

И Августин в Карфагене. Тот тоже знал. Знал толк в пьянстве. В сем диаволе. В сем сладком яде. *Кто ему привержен, тот себе не принадлежит.*

Мы и пьем, чтобы себе не принадлежать.

Когда я пил в молодости, то пил без меры. Все, что делаю, всегда делаю безо всякой меры. Включая *воздержание*. Отсюда эти горькие, строгие "Наставления", эта книга в книге, моя Последняя Воля и мой Завет.

Я написал *finis*.

И начал пить бренди.

И вот уже два дня я пьян. В дым. Мертвецки. Твой отец мертвецки пьян. Как Диоген. Как святой Августин.

О, у меня крепкая голова, выносливый мозг, неистощимый, неистребимый. С Елизаветой я танцевал пьяным, и она этого никогда не замечала. На свадьбу с твоей матерью я тоже пришел пьяный. Стоял прямо. Говорил внятно. Я умею пить.

(Нашел чем гордиться! Вдвойне непростительно! Но надо продолжать...)

Кэрю, твой отец не циник. *Я имею в виду "Наставления"*. Каждое слово. Это черт знает что. Циничен способ изложения, но не смысл. То, что я написал тебе, почти между строк. Там ты найдешь всю жизнь твоего бедного отца. Все его ошибки. Я наставлял тебя своими проступками. Я не проклял ни одного греха, что не совершил бы сам. Я говорил только о том, что сам испытал. Построй свою жизнь на развалинах моей судьбы. Спаси душу через вознесение и падение твоего отца.

Пьян, мальчики, ваш отец непотребно пьян. В Ирландию

он приплывет, сгорая в холодном огне пьянства, затуманив сознание и приглушив боль в сердце.

Но оно болит, болит. Мое неистребимое сердце.

Первый раз за двадцать шесть лет я притронулся к спиртовому...

Дамерей... Я напился в первый раз после твоей смерти... В первый и последний, мой давно умерший сын...

Фляга уже почти пуста.

Я допью ее до конца.

31

23 мая

В полдень, пройдя между оконечностями мысов Струкаун и Хангмен точно посередине (дабы не напороться на скалу или мель) и отдав швартовы на четыре сажени от причала, мы бросили якорь в гавани Кинсейла. Из-за приливных водоворотов здесь необходимо выбрасывать стоп-анкер. Закончив швартовку, вместе с Сэмом Кингом и индейцем я отправился в баркасе на берег.

Пока они закупали для команды мясо, овсяные лепешки и пиво, я заковылял прочь. В поисках уединения забрел на холм Ринкарран, с которого открывается прекрасный вид на бухту. Напился чистой родниковой воды. И заснул среди корней огромного старого дуба.

Проснулся я вечером совершенно трезвый. Омыл лицо в роднике, расчесал бороду и захромал обратно в город.

В Кинсейле всего одна церковь, церковь святого Мальтоуза. Она стоит недалеко от пристани. Раздался колокольный звон. Я вошел внутрь. Успел к вечерне.

Всемогущий и всемилостивейший Отец! Мы грешили и избегали стезей Твоих, как заблудшие овцы. Мы слишком часто следовали желаниям и прихотям сердец наших. Мы нарушали Твои заповеди. Мы не делали должного и творили недолжное; и нет в нас благодати. Но Ты, Господи, смилуйся над нами, жалкими грешниками. Будь милостив к кающимся и, как обещал Ты чрез сына Твоего Иисуса Христа, нашего Спасителя, даруй им, о всемилостивейший Отец, отныне жизнь богоугодную, честную и трезвую. Во славу Твоего святого имени. Аминь.

Из всех церковных служб я всегда больше всего любил вечерню.

Несколько человек из команды сошли ради нее на берег. Немногие, и, конечно, не лучшие. Их присутствие порадовало меня.

Мистер Джоунз прочел благодарственную молитву за наше спасение. Я не мог произнести "аминь". Это слово застряло

у меня в горле. Его прокричал Сэм Кинг. И большинство других. Да искупит их восторг мою сдержанность.

Последняя короткая молитва вечерней службы всегда со мной:

Освети мрак, в коем мы пребываем, о Господи, и в Твоей великой милости защити нас от опасностей и тревог этой ночи.

Выйдя из церкви, я увидел индейца, лежащего на могильном камне.

— Гуаттараль поблагодарил своего бога?

Я кивнул.

32

25 мая

Они уходят. Один за другим. Как иудеи из Египта. Бегут от меня. Труссы, дезертиры, по которым плачет...

Плачет? Кто? Не я! Веревка.

Обойдусь и без них.

Я сдержал свое слово.

Я обещал, что по прибытии в Ирландию они будут свободны. Ни один солдат, ни один матрос моей команды силой в Англию доставлен не будет. Ни один не предстанет насильно перед судом, какое бы преступление он ни совершил.

Позавчера, во время вечерни, мне на миг показалось, что они изменили решение. Не тут-то было. Первыми ушли коленапоклоненные псалмопевцы! Но что же здесь удивительного? Ничего. В церковь охотнее других идут самые отъявленные грешники. И не потому ли я оказался там?

Но как *много*. И как *скоро*. Это меня действительно поражает.

Я предполагал, что их может быть около двух десятков.

Уже *вдвое* больше воспользовались моим обещанием. Получили деньги у интенданта и ушли. Как правило, без единого слова и прощального взгляда.

Уверен, что не все они преступники. Некоторые уходят, боясь того, что ждет меня в Англии. По их разумению, меня возьмут под стражу и казнят. У них нет ни малейшего желания разделить мою участь.

Что ж, трудно винить их за это.

Всего два дня спокойного отдыха в закрытой гавани Кинсейла, вдали от бескрайних океанских просторов, и я уже нахожу в себе слабые проблески надежды. Возможно, пустой надежды, отчаянной фантазии, дразнящего самообмана... И все же, оставшись без более чем половины команды, я не устаю напоминать себе, что у меня есть друг, который может спасти мне жизнь.

Ральф Уинвуд.

Государственный секретарь Его Величества.

Если уж кто-то и может меня спасти, то это Уинвуд.

Верный друг, к тому же влиятельный и честный.

Надежда с приятным английским лицом.

*

Индеец только что вручил мне странный подарок. Крохотного идола высотой не более дюйма — ухмыляющегося чертенка, *сделанного из чистого золота.*

— Где ты его взял? — спросил я.

— Нашел.

— В Сан-Томе?

— Нет. В озере Гуатавита.

— Когда?

— Давно. Когда купался там мальчишкой.

— Значит, легенда не лжет! — вскричал я.

Он пожал плечами.

— Не знаю. Разве это важно? Я нашел только *одного.*

— Золотой Человек!

— Один золотой человечек, — ответил он.

Я начал расспрашивать. Да, он не раз потом возвращался на озеро и искал. Больше ничего не нашел. В конце концов бросил поиски. Нет, никакого особого значения этому идолу он не придает. Считает, что нашел изображение черта, а не бога. А если не черта, то человека. "Боги не ухмыляются", — пояснил он.

Я спросил его, почему он ждал сегодняшнего дня и прятал от меня золотую фигурку, которая доказывает, что легенда об Эльдорадо *все-таки* имела под собой основание. Он принялся за старое: это была не его легенда, легенду об Эль Дорадо навязали его народу, чибчи, вероятно, лишь торговали и, скорее всего, не имели собственного золота... А что касается столь запоздалого подарка, то он не хотел возродить во мне даже малейшей надежды во время плавания. Он уверен, что поиски золота были ошибкой. А кроме того, ведь он дал мне листья *коки*. Лист ценнее любого золота. И так далее, и так далее.

Он утомил меня. Его рассуждения раздражали. Оскорбляли мой разум. Каждое слово говорило о том, что в его глазах идол был игрушкой, забавой, полузабытым детским воспоминанием.

Должно быть, он заметил нетерпеливое выражение на моем лице. Неожиданно замолчал и сжал в кулак мою руку, где лежал чертенок.

— Возьми его, — сказал он. — Он может спасти тебя.

— От чего? — спросил я.

— От королевы-смерти, — ответил он.

*

Море порождает много неверных созвучий. Земля их не признает. Как я мог вообразить, что моя судьба связана с судьбой индейца? У нас нет ничего общего, кроме взаимного непонимания.

*

На борту появилось аскебо. Большинство из оставшихся пьют его. Робин сказал мне, что в носовом кубрике стоят три бочки.

Его преподобие мистер Сэмюэл Джоунз ждет от меня решительных действий. Он пришел ко мне и процитировал 17-ю статью мой собственных "Правил для командиров флота": *Пить вино и устраивать празднества, а также самовольно расходовать провиант не дозволено никому.*

Не могу найти в себе достаточно твердости, чтобы запретить пьянство.

С аскебо я знаком. Это крепкий ирландский напиток с сиушным запахом, неочищенный спирт, настоянный на изюме и семенах укропа. Я пил его после резни в форте Смервик. На языке ирландцев аскебо значит "живая вода".

33

1 июня

Уинвуд умер. Когда я писал ему письмо с Сент-Киттса, его уже не было в живых.

Уинвуд скоропостижно скончался в Лондоне более полугодом назад, 27 октября прошлого года. (В тот день я был в океане — меня трепала лихорадка, корабль зашилел, до Америки оставалось две недели кошмарного перехода.)

Значит, последние надежды я возлагал на труп. И искал защиты у мертвеца.

О, горькая ирония судьбы.

Боги не ухмыляются.

Ой ли?

*

Новость о смерти Ральфа сообщил мне сегодня вечером граф Корк. Он был крайне удивлен моим неведением. Я обедал с ним в его замке на реке Блэкуотер. Когда очередь дошла

до жирного каплуна, он начал убеждать меня остаться здесь, в Ирландии. Новым государственным секретарем назначен Роберт Нонтон. Этот никогда не был мне другом. Та самая жаба, что когда-то назвала меня оракулом королевы.

— Ирландия — это выход из положения, — сказал Бойль. — Оставайтесь здесь. Или отправляйтесь во Францию. Короля Якова ваше возвращение не обрадует. Вы ставите его в затруднительное положение. Испанский посол требует вашу голову.

Затем он рассказал мне последние лондонские новости. (Лорд Корк в курсе всех дел. Он похож на сову: только гнездо свое устилает сплетнями.)

Я коротко перескажу услышанное. Мой желудок не принимает ни жирного каплуна, ни таких новостей.

Письмо мое к Ральфу Уинвуду перехватили. Нонтон потребовал его у моего племянника, а Джордж смалодушничал. Затем его, конечно, читает король. Потом возвращаются Паркер и Норт — я знал, что они вернутся. Не имея смелости стать пиратами, они стали ренегатами. Они идут к Его Величеству, и тот, без сомнения, рад их видеть и еще больше — слышать. Паркер и Норт заявляют под присягой, что гвианские прииски — вымысел. Что никакого золота там нет, о чем мне, дескать, было хорошо известно. По их рассказу, я притворился, будто недоволен Кеймисом. (А самоубийство Кеймиса — это что, тоже *притворство*? Да будут прокляты оба гнусных лжеца!) Они говорят, что я обманул короля. Перехитрил его, дабы выбраться из Тауэра. Они-де слышали, как я хвастался, что никогда не вернусь в Англию. Я стал предателем, и потому, мол, они от меня и сбежали.

В это же время — беда не приходит одна: все это случилось в течение суток, тех самых, когда тот, кого величали Люцифером, приближался к Ирландии, охваченный адским пламенем, что загло бренди лорда Бойля (я ему в этом не признался; и вообще почти все время молчал), — в это же время в Уайтхолл прибывает побелевший от гнева Гондомар. У испанского посла своя широкая сеть шпионов. Он уже получил кучу донесений с "подробностями" того, что теперь называют "резней в Сан-Томе". Граф Гондомар просит — нет, *требует* — немедленной аудиенции у Его Величества. Яков, догадываясь, в чем дело, уклоняется от беседы. Гондомар шлет послание. Он преисполнен уважения к занятиям Его Величества, но дело его не терпит отлагательства. И займет оно менее минуты драгоценного времени Его Величества. Он обещает, что, ежели его примут, он скажет Его Величеству *всего одно слово*.

Гондомар знал, что Яков не может не клюнуть на такую хитрость. И, попав к королю, испанец выкрикивает свое единственное слово:

— *Пираты!*

Он прокричал его три раза — с должными паузами для пушного

эффекта, и каждый следующий выкрик был громче предыдущего. Затем поклонился, повернулся и вылетел из зала.

*

Бойль говорит, что я должен остаться в Ирландии. Бойль говорит, что это устроило бы короля Якова. Бойль говорит...

К дьяволу Бойля и его болтовню!

*

Уинвуд умер. Добрый Ральф, мой друг. Он умер, пока я странствовал и, следовательно, ничего не знал об этом. Сейчас полночь. Идет дождь. Я потерял моего единственного заступника. Это он преклонил со мной колени у могилы королевы и обещал найти деньги. Это он стоял со мной на Лондонском мосту и рассуждал об империи. Человек с большим крепким телом. Честный и неподкупный. Умер. Ушел. Оставил меня одного. Среди высоких лиц у меня нет больше союзников.

В кубрике поют.

Я слышу их. Сажу в каюте, уставившись на золотого ухмыляющегося чертенка высотой всего в один дюйм. Я слышу каждое слово их песни:

*В таверну я любил зайти,
В таверну, черт возьми,
Чтоб посидеть-потолковать
С веселыми людьми.
Я молод был, мошна полна,
Хмелен с вином и без вина,
И так мне было хорошо,
Так славно, черт возьми.*

Идиотская музыка! Пьяные негодяи. Я листаю страницы своей "Истории мира" и ищу что-либо, что утешило бы меня, отвлекло от их песни, вывело из тупика, избавило от дурацкого завывания. Не нашел.

*Пришла пора, женился я,
Женился, черт возьми,
Хоть моряку, конечно, жить
Вольготней без семьи.
Да видно, бес попутал тут –*

*Сам на себя надел хомут,
И так паршиво стало мне,
Так тошно, черт возьми.*

Слова моей собственной мудрости всплывают из "Истории", как бы издеваясь надо мной, поливая презрением погоню за золотом и славой. В этой погоне я сделал из себя дурака. А кто из дураков глупее старого дурака? Тем паче такого старого дурака, который когда-то в своих писаниях был умнее: "И когда же мы обращаем наши мысли к Страшному суду? Не ранее, чем разуверимся в последнем тщеславном желании: мы гонимся за титулами, пока дышим, добиваемся богатства, пока хватает сил, копим в себе злобу, пока в состоянии мстить, и, только когда Время унесет молодость, радость и здоровье, а сама природа возненавидит обитель старости, мы вместе с Иовом вспоминаем о предстоящем нам пути туда, откуда нет возврата, и о последнем пристанище, что ожидает нас во мраке..."

*Замолкни, я сказал жене,
Замолкни, черт возьми,
Попридержи-ка свой язык
И прить свою уйми.
Раз топором ее хватил
И навсегда угомонил,
И так мне стало хорошо,
Так славно, черт возьми.*

Сэм Кинг сидит с ними в кубрике. Сэм, мой товарищ. Ему, возможно, никогда не приходилось отказываться от себя, от своей сути, своего нутра. Честный человек, верный, мой друг. Но друг без связей и без влияния. У него сильный голос, но король его не услышит. А здесь, в моей "Истории", я слышу собственный голос, что судит мои грехи: "Но какими примерами мы вдохновлялись? Какая вера возрождала нас? Перед какими карами мы трепетали? Мы видели трагедии других; мы слышали обетования и проклятия; но яркая мирская слава застила глаза нашему разуму..."

*Дознались, кто ее убил,
Дознались, черт возьми,
И в Тайберн отвезли меня
Без шума и возни.
А на заре пришли за мной,
Связали руки за спиной,
И так паршиво стало мне,
Так мерзко, черт возьми.*

Уинвуд умер. Команда нализалась аскебо. Я размышляю о живой воде, пока другие пьют ее. Тело Уинвуда сожрут черви, а мозг достанется личинкам. Мне не надо искать для него эпитафию. Я помню ее наизусть. Смерть Ральфа — это и моя смерть. Некому теперь спасти меня. У нас общая эпитафия: "О красноречивая, справедливая и всесильная смерть! Ты сумела убедить того, кто не слушал ничьих советов; ты свершила то, на что никто не мог решиться; презрен и уничтожен тобою тот, кому льстил весь мир; ты собрала в свой костлявый кулак все величие, гордость, жестокость и честолюбие человека, чтобы спрятать их под двумя скромными словами: *Nic jacet*¹..."

*На площадь вывели меня,
На площадь, черт возьми,
Взглянул с помоста — все кругом
Запружено людьми.
Я дернулся в петле тугой,
Подрыгал в воздухе ногой,
И так мне стало хорошо,
Так славно, черт возьми².*

Умер. Передо мной ухмыляющийся дьяволенок. Умер. Там живая вода. Умер. Здесь моя "История мира". Умер. Там проклятая песня. Умер. Умер. Умер. Все умерло. Все кончилось. Все одно. Все едино. Все — ничто.

Здесь лежит...

Почему бы и нет?

Почему бы и не лежать здесь?

Почему бы не последовать совету лорда Бойля?

Как бы я ни поступил, я мертвец.

Так почему бы мне самому не вырыть собственную могилу? Тихо. Спокойно. Смиренно. Без шума и возни. В мертвой Ирландии. На острове смерти.

Стоит подумать.

Устал писать.

Устал? Нет.

Выдохся. Уничтожен. Разбит. В пух и прах. Кончился.

Стоит подумать...

¹Здесь лежит... (лат.)

²Перевод Г. Кружкова и Б. Хлебникова.

18 июня

ИМЕНЕМ КОРОЛЯ

Его Величества Высочайшая воля касательно сэра Уолтера Рэли и всех, принимавших участие в его предприятии

Несмотря на то что Мы, давая сэру Уолтеру Рэли, рыцарю, и другим Нашим подданным, бывшим с ним, Наше Высочайшее разрешение предпринять путешествие в страну Гвиану, где они надеялись найти золотые прииски, кои стали бы источником их законного обогащения и обогащения наших Королевств, прямо и недвусмысленно запретили ему и его сотоварищам угрожать враждебными действиями и наносить ущерб любому владению, государству или любому подданному любого иноземного Монарха, с кем Мы поддерживаем дружественные отношения, и особенно владениям и интересам нашего дорогого Брата Короля Испании на Американском континенте —

Несмотря на все вышесказанное, до Нас дошли сведения, что они или некоторые из них вторглись со враждебными намерениями в город Сан-Томе (находящийся под покровительством дорогого Брата Нашего Короля Испании), убили многих из его обитателей, кои были испанскими подданными, а потом разграбили и сожгли оный город, тем самым злонамеренно нарушив мир и дружбу, так счастливо установленные и так долго поддерживаемые между Нами и подданными обеих наших Корон.

Посему Мы полагаем необходимым, ибо случившееся есть оскорбление Нашей чести и подлежит Нашему Королевскому суду, объявить народу о Нашем крайнем неудовольствии, причиной коему вышеназванные дерзости и произвол, ежели таковые были содеяны кем-либо из наших подданных, и для наилучшего расследования и прояснения вышеупомянутых сведений Мы решили строго потребовать у всех наших подданных, имеющих какое-либо касательство к оным событиям и сохраняющим Нам верность и повиновение, немедленно после объявления Нашей воли сообщить Нашему Тайному Совету все им известное о деле сем под страхом Нашей Высочайшей немилости и гнева, дабы Мы могли свершить Наше монаршее правосудие и примерно наказать всех виновных в столь возмутительных и небывалых преступлениях.

Даровано в Нашем Гринвичском замке июня девятого дня в шестнадцатый год Нашего правления в Англии и Ирландии и в пятьдесят первый год Нашего правления в Шотландии.

Боже, храни Короля.

Отпечатано в Лондоне Бензмом Нортоном и Джоном Биллом, помощниками Печатника Его Августейшего Величества Короля.

Anno MDC XVIII¹.

*

Это воззвание попало ко мне в руки сегодня, его привез верховой от лорда Бойля.

Вместе с ним мне вручили запечатанный конверт.

В конверте я нашел записку.

"Сэр Уолтер, берегитесь. Мы пообещали Гондомару, что *Наше монаршее правосудие* в переводе будет означать следующее: Вас закуют в цепи и на борту собственной "Судьбы" отправят в Испанию, где тот самый *дорогой Испанский Брат* Вас повесит, обезглавит и четвертует. Франция — Ваша единственная надежда. Отправляйтесь к Ришелье в Авиньон. Он называет Вас *le grand marinier*². Зачем подыхать как собака, когда можно жить как лев! Немедленно поднимайте паруса. К берегам Франции! К новой жизни!"

Intramus!

Лорд Рэли не убежит ни при каких обстоятельствах.

Я немедленно поднимаю паруса.

И плыву к берегам Англии.

35

21 июня

Странствие "Судьбы" закончилось. Мы стали на мертвый якорь в Плимутском заливе. Паруса я уже отправил на берег. Закончив писать, последую за ними.

*

Последняя запись в судовом журнале.

Эти люди, и только они, возвратились со мной в Англию:

Сэмюэл Кинг, капитан затонувшего "Поединка";

сэр Джон Хоумден, офицер;

мистер Роберт Барвик, штурман;

¹Год 1618 (лат.).

²Великий мореплаватель (франц.).

Робин Роджерс, мой паж;
Кристобаль Гуаякунда;
его преподобие мистер Сэмюэл Джоунз, судовой священник;
Уильям Герден, главный оружейник;
Джордж Инглсонт, Питер Мандей, Джек Сэвидж, Джон
Стоу, Сол Терпин, Фрэнсис Текерей, Люк Граймз, солдаты;
Томас Бенбоу, Роберт Друри, Дейви Флинт, Мэттью Пим,
Марк Рэтсей, Айзик Лэмпмен, Бен Фрост, Майлз Стэндиш,
матросы.

Это все.

Двадцать две души.

*

Со времени моего отплытия в Гвиану отсюда же, из Плимута, прошел один год и девять дней.

Тогда здесь пели трубы и били барабаны. Для моих капитанов мэр и жители Плимута устраивали прощальные обеды. На мысе Рейм жгли костры и запускали фейерверки. Все церкви звонили в колокола. Над Саттонским заливом рожки заливались так пронзительно, что, казалось, от них шла рябь по воде. Со всех кораблей, стоящих в порту, неслись орудийные залпы салюта.

Сегодня пушки онемели. Церковные колокола тоже. Не звучат и фанфары. Моряки, сгрудившиеся на палубах кораблей среди леса высоких мачт, в который мы вошли, смотрят на нас в гробовой тишине — как на призраков. Катера и шлюпки разбегаются в разные стороны, словно мы везем в Плимут чуму.

Я отправлялся отсюда с тысячью матросов и солдат во главе четырнадцати доблестных кораблей.

Вернулся один корабль и двадцать две доблестные души.
Все по доброй воле.

*

Переход от Кинсейла до Плимута занял три дня и десять часов. Ровное и спокойное море, свежий попутный ветер. Превосходная, можно сказать, погода.

36

1 июля

ЛОЖЬ

*Душа, жилища тела,
Ступай в недобрый час;
Твой долг — исполнить смело*

*Последний мой наказ.
Иди и докажи,
Что мир погряз во лжи!*

*Скажи, что блеск придворный –
Гнилушки ореол,
Что проповедь – притворна,
Коль проповедник зол.
И пусть вопят ханжи –
Сорви личину лжи!*

*Скажи, что триумфатор,
В короне воссияв,
Всего лишь узурпатор
Чужих заслуг и слав.
И пусть рычат ханжи –
Сорви личину лжи!*

*Скажи вельможам важным,
Хозяевам страны,
Что титулы – продажны,
Что козни их – гнусны.
И пусть грозят ханжи –
Сорви личину лжи!*

*А гордецу и моту
Скажи, что сумасброд,
Транжиря по расчету,
Ждет новых благ и льгот.
Пусть злится – докажи,
Поймай его на лжи!*

*Скажи, что знанье – бремя,
Что плоть есть токмо прах,
Что мир – хаос, а время –
Блуждание впотьмах.
Земным – не дорожи,
Сорви личину лжи!*

*Скажи, что страсть порочна,
А поклоненье – лесть,
Что красота непрочна
И ненадежна честь.
Пустым – не дорожи,
Сорви личину лжи!*

*Скажи, что остроумье –
Щекотка для глупцов,*

*Что заумь и безумье
Венчают мудрецов.
Так прямо и скажи –
Сорви личину лжи!*

*Скажи, что все науки –
Предрассуждений хлам,
Что школы – храмы скуки,
А кафедры – бедлам.
И пусть кричат ханжи –
Сорви личину лжи!*

*Скажи, что на Парнасе
У всякого – свой толк,
Что много разногласий,
А голос муз – умолк.
И пусть шумят ханжи –
Сорви личину лжи!*

*Скажи, что власть опасна
И что судьба слепа,
Что дружба – безучастна,
Доверчивость глупа.
Так прямо и скажи –
Сорви личину лжи!*

*Скажи, что суд как дышло
И вертят им за мзду,
Что совесть всюду вышла,
Зато разврат в ходу.
Пусть бесятся ханжи –
Сорви личину лжи!*

*Когда же всем по чину
Воздашь перед толпой,
Пускай кинжалом в спину
Пырнет тебя любой:
Ведь двум смертям не быть,
И душу – не убить!¹*

*

Эти стихи написаны сегодня между семью и одиннадцатью часами утра в моем временном жилище в таверне "Папская

¹Перевод Г. Кружкова.

голова” на Лу-стрит: их породили разбитый разум, истерзанное лихорадкой тело, но несломленный и негибаемый дух.

По правде говоря, кроме сочинения стихов, заняться и нечем. Путешествие закончилось, мною овладело безразличие. Если бы король взял меня под стражу, то я бы по крайней мере знал, что меня ждет... Но прошло уже девять дней, как я прибыл, а о моем аресте ничего не слышно. Я почти не покидаю своих комнат, занавеси на окнах всегда задернуты, спасая меня от неистового солнца. В Англии стоит самое жаркое на моей памяти лето. По вечерам я три раза выходит прогуляться на Мыс. Не встретил ни души. Но за мной кто-то шел. Я ни разу не повернул головы — не хочу льстить королевским ищейкам, показывая, что заметил их. Меня не интересует, кто они и что они. Наверное, платные осведомители, не спускающие глаз со старого лиса.

Я нечеловечески устал. Сплю и днем, и ночью. Ко мне никто не приходит. Ем немного, и только в своей комнате. Счета оплачивает Сэм Кинг. Со мной в таверне живут Сэм, Робин, индеец и его преподобие мистер Сэмюэл Джоунз. Остальные из моей команды разбежались кто куда. Я их понимаю. Робин говорит мне, что весь Плимут — от острова Святого Николая до Мыса — облеплен копиями того воззвания. Угрожая дыбой или чем-нибудь похуже, на суде моих людей могут заставить свидетельствовать против меня. Я убеждал покинуть меня и четверых оставшихся. Сэм говорит, что он слишком стар для этого, Робин — что слишком молод! (Какие смешные маски может носить мужество!) Почему прилепился ко мне наш капеллан — для меня загадка. Мы никогда не испытывали особой любви друг к другу. Я уважаю его священническое облачение. Он, возможно, уважает мою адмиральскую ленту. Что до индейца, то уже много раз я предлагал ему свободу, обещая оплатить путешествие в Испанию, где он может найти галеон, отплывающий в Гвиану. Мои предложения отклоняются безо всяких объяснений. Он, похоже, полон решимости идти со мной до конца. Может, просто хочет увидеть, как покатится моя отрубленная голова?

*

”Судьба” все еще стоит в Плимутском заливе. Сэм каждый день нанимает катер и ездит туда. Говорит, что портовые инспекторы до нее пока не добрались. И что еще удивительнее, не добрались и воры. Никто не тронул лежащий в трюме табак. Кажется, весь Левон испуганно затаил дыхание и, обливаясь потом под палящим летним солнцем — которое будто и не солнце вовсе, а глаз короля Якова, — ждет, что я сделаю дальше или, скорее, что сделают со мной.

Я тоже жду, хотя и дышу как ни в чем не бывало.

Я написал Джорджу, барону Клэптону, еще раз изложив в письме то, что произошло в Сан-Томе, и добавив рассказ о тех трудностях, какие мне пришлось преодолеть, чтобы возвратиться в Англию хотя бы один корабль. Клэптон был другом Уинвуда. Он член Тайного Совета. Однако я не тешу себя пустыми надеждами, будто в его силах спасти меня, ежели бы он и захотел. Но просить суда равных тебе, разве это много? Заметь, не *справедливого* суда. Я слишком хорошо знаю наше правосудие, чтобы просить об этом. Но открытое судебное разбирательство кое-что значит для меня. Приговор предопределен. Но я по крайней мере смогу публично изложить свое дело. И пусть судьей мне будет История — единственный судья (в этом мире), достойный такого имени.

*

Бесс я тоже дал о себе знать.

Скоро она будет здесь.

Моя Пенелопа.

Один ее глаз будет искриться любовью и радостью, а другой — оплакивать несчастного Улисса.

37

3 июля

Вчера приехала Бесс. Она привезла Кэрю. И дурные вести из Лондона. Они подтверждают мои наихудшие опасения.

Судебного разбирательства не будет. Король уже пообещал Гондомару, что, как только я буду схвачен, меня немедленно передадут в его руки для публичной казни в Мадриде.

Граф Корк оказался прав. У него длинные уши.

Тайному Совету такое решение не нравится. Они бы предпочли казнить меня здесь, на английской земле. Клэптон заговорил было о суде. Яков рассмеялся ему в лицо. Он сильнее своего Совета. Всею виной Гондомар. Нет, ненависть Якова ко мне. *Этот человек...*

Готовится указ о моем аресте.

*

Умереть на виселице в Мадриде! Не могу поверить. Погибнуть от руки короля Филиппа! Шутка Якова. Каприз извращенно-го ума. Причуда больной фантазии. Выбрать для меня самую уни-

зительную смерть. Смерть рядового пирата. Перед толпой испанцев. Умереть оплеванным врагами. Осыпанным их насмешками. Под проклятия папистских священников. Биться в предсмертных судорогах на глазах у чужой глумящейся толпы. Под чужим солнцем и в чужой земле.

Я думал, лорд Бойль преувеличивает. Чтобы заставить меня бежать. Он не преувеличивал. Он знает короля как облупленного. Он ошибся только в том, что меня повезут в Испанию в цепях, на моем собственном корабле. Это бесчестие меня минует. Не сомневаюсь, граф Гондомар найдет клетку, чтобы доставить меня туда в полной сохранности.

Так вот в чем моя судьба? В грязном, бесславном конце? С петлей на шее? *Это и есть* конец моего третьего странствия? *Умереть Гуаттаралем!*

Боже милостивый, мука страшная поверить в это, но придется.

Король Яков, эта кривляющаяся обезьяна, отказывает сэру Уолтеру Рэли даже в достойной смерти.

Я обречен умереть от рук испанцев под именем Гуаттарала.

*

Вечером.

Я не выдержу.

Бесс на коленях умоляет меня бежать во Францию. Всю прошлую ночь, весь сегодняшний день я терплю ее рыдания. Я должен скрыться до указа о моем аресте, говорит она. Не говорит. *Вопит.* И Кэрю, весь в слезах, стоит с ней рядом на коленях, подвывая своим тонким голоском, когда она на минуту умолкает, чтобы перевести дыхание. О сын, мой живой сын, неужели, чтобы порадовать тебя, твой отец должен стать трусом?

Нет больше сил думать, чувствовать, спорить.

Да будет так.

Я уеду.

Сэм Кинг только что привел ко мне француза, ученого лекаря, его зовут Манури. Он служит врачом на торговом судне, которое стоит сейчас на рейде в открытом море. "Жанна д'Арк" завтра утром отплывает в Гавр. В полночь, во время отлива, Манури возвращается на борт. Бесс отдала ему свое жемчужное ожерелье. Итак, я еду с ним.

*

Рано утром 4 июля.

До французского судна оставалось около полумили.

Я не смог.

Попросил Манури повернуть назад.

Отдал ему свою гиацинтовую печать и золотой капитанский свисток.

Он ругался. Кричал, что опоздает на корабль. Что не понимает меня.

Я пообещал ему бриллиант.

Он повернул. И привез меня обратно.

С нами был Сэм Кинг. Он молчал. Сэм слишком хорошо знает меня.

С Бесс сделалась истерика. Она начала царапаться. "Ты сошел с ума!" – не переставая голосила она. Манури принес снотворную настойку. Мы с Сэмом держали Бесс, пока Робин уговаривал ее выпить лекарство. Теперь она успокоилась. Спит. Я слышу, как она похрапывает.

Кэрю молча смотрит на меня. Он перестал плакать.

Когда-нибудь ты поймешь своего отца, мой мальчик. Ты поймешь и этот мой поступок, и все остальные. Узнаешь, почему гордость его в конце концов была сломлена. Как он *заработал* такую смерть и почему ее теперь *заслуживает*. Все здесь написано. Даже в "Наставлениях". Читай усердно. Как я писал. Изучай своего отца.

Только что пришел индеец. Он задал мне вопрос, который не мог задать бедный Кэрю.

Я ответил ему. Один бог знает, понял ли он.

– Потому что я и *есть* Гуаттараль, – сказал я.

38

11 июля

Прошла неделя. Самая длинная неделя в моей жизни. Бесс почти не говорит со мной. Она пытается вышивать, но каждый раз вынуждена распускать только что сделанное. Кэрю успокоился. Он играет в солдатики. У меня начался приступ лихорадки. Манури пичкает меня лекарствами. Я научил Сэма Кинга играть в шахматы. Играет он плохо. Но выигрывает партию за партией. Я постоянно жду стука в дверь. Индеец ходил на прогулку. Какие-то люди забросали его камнями и убежали. Робин по вечерам играет на гамбе. Бесс плачет. Я вынужден был попросить Робина прекратить музицирование. Жара не спадает. Сплю я плохо. В комнате стоит душливый запах табачного дыма. Мы все еще в Плимуте, но завтра уезжаем. Я еду в Лондон. Сдаться властям.

*

Никто не пришел. Но один убежал. Священник...
Я напишу об этом чуть ниже.

*

Король издевается надо мной. Как иначе объяснить отсутствие его гвардейцев с указом о моем аресте? Как понимать эту "свободу", на которую он меня обрекает? Сушая пытку. Он что, *хочет*, чтобы я убежал? Или только попытался? Чтобы доказать всему свету, что я трус? (Я не убегу, и не из-за него. Ученый уже.) А может, он догадывается, как мне мучительно ждть? Догадывается, смакует, радуется? Пьет эту радость, как греческое вино, купая в ней свою бороду? Яков любит пытать ожиданием. Я, видимо, забыл об этом. А теперь вот вспомнил...

*

Вспомнил во всех подробностях тот день.

Пятницу. Дождливую пятницу.

Пятница, 10 декабря 1603 года. День казни Кобэма, Грея и Маркэма. "Сообщников изменника", как их тогда называли. Яков знал, что никакой измены не было. И Коук тоже. Он не позволил мне встретиться лицом к лицу с низкими обвинителями. Встретиться на суде. Опровергнуть их выдумки. Заставить их извергнуть гнусную ложь, *глядя мне в глаза. Конечно же нет.* Коук боялся, что лжецы не выдержат. Поэтому-то и сделал фарс из суда надо мной. Тот суд опорочил и опозорил английское правосудие. Пять лет спустя судья сэра Фрэнсиса Годи признал это на смертном одре. Впрочем, неважно. Не в этом дело. А в том, что я увидел в ту пятницу.

А увидел я предателей Кобэма, Грея и Маркэма. Они не предавали короля Якова. Они предали меня. Они лгали, чтобы спасти свою шкуру. Но лгали чересчур хорошо. Они так правдоподобно расписали мнимый "заговор", что судье не осталось ничего другого, как приговорить их к смерти вместе со мной, мнимым архизлодеем. Яков, должно быть, заскрежетал зубами. Затем, правда, сообразил, как он может воспользоваться таким поворотом событий...

Меня подвели к окну, выходящему на площадь, где казнили изменников. Первым появился Маркэм. Положил голову на плаху. Палач занес топор. И тут из толпы неожиданно раздается пронзительный крик. Кричит один из фаворитов короля, молоденький смазливый паж Джонни Гибб. Он машет свитком. Свиток

передают шерифу. Тот читает. Потом говорит Маркэму, что ему дарована короткая отсрочка. По приказу короля Грея и Кобэма должны казнить *раньше* его!

Маркэма уводят. На эшафот поднимается Грей. Дождь уже льет как из ведра. Его молитвы и признания тянутся бесконечно. Наконец он говорит, что готов к казни. Но не успел он положить *свою* голову на плаху, как Джонни Гибб кричит снова, появляется еще один свиток, и шериф объявляет, что первым должен умереть *Кобэм*, такова воля Его Величества!

Воля Его Величества... Я стоял у окна, заливаемого потоками дождя. В голове стучало — силился понять смысл комедии.

Грея уводят с эшафота. Появляется Кобэм. Он вышагивает по помосту, как актер по сцене. На лице его широкая ухмылка. Его молитвы и признания еще длиннее и скучнее, чем у Грея. Толпа теряет терпение. "Говорю специально для сэра Уолтера Рэли, — кричит Кобэм, — все сказанное о нем — правда! Я через мгновение увижу Создателя и клянусь моей душой, Господом Богом и его ангелами: Рэли — изменник! Он вступил в стовор с Испанией..."

И так далее, и тому подобное.

И тут я догадался.

Кобэм прекрасно знает, что Создателя он не увидит.

Во всяком случае, не здесь. Не сейчас. Не после этой казни.

Ему обещано помилование. Вся эта отсыревшая от дождя кровавая (бескровная) драма — всего лишь шутовской балаган короля.

Не уверен, что Маркэм и Грей знали все заранее. Это неважно. Может быть, они просто лучше играли свои роли. Как бы то ни было, двоих грязных негодяев возвращают на эшафот к Кобэму. Шериф выходит вперед и обращается ко всем троице:

— Вы согласны, что вас судили по справедливости и приговорили к смерти согласно закону?

Они кивают головами. Какой энтузиазм! Рады, что им оставили то, чем можно кивать.

Пока шериф готовится к финальной сцене, звучит барабанный бой. Шериф машет над головой свитком. Бумага промокла. Чернила смыло дождем. Не беда. Шериф помнит последние строки комедии наизусть. Он орет их, как Бербедж¹ в свои лучшие годы:

— Дивитесь милости своего государя! Он отменил решение суда! Джентльмены, король дарует вам жизнь!

В толпе раздаются аплодисменты. (Скорее всего, оплаченные.) Но я вижу, что не всем нравится это кривляние. Кое-кто разочарован. Честные люди с трудом скрывают негодование. То было первое публичное представление в Англии мерзких шуток извра-

¹Бербедж, Ричард (1567–1619) — английский трагический актер.

шенного Шотландца.

Мне предстояло промучиться еще три дня, до ближайшего понедельника. В понедельник мне сообщили, что милость Якова простерлась даже на меня, величайшего "изменника". С той лишь разницей, что мне предстояло отправиться в Тауэр и остаться там навсегда. Без публичного представления. Без комедии. Однако смертный приговор так и не был отменен, а меня предупредили, что в любой момент великодушные Его Величества может иссякнуть...

На самом деле король Яков *не решился* отрубить мне голову. Он знал, что Англия никогда не поверит в мою измену. Более того, он знал, что Испания никогда не поверит в мою преданность. Но я мешал Якову. Для него я был чем-то вроде злого духа из недоступного ему мира. Заставить Рэли гнить в Тауэре — то была достойная Якова форма изгнания нечистой силы.

*

Но я не хотел гнить. Читал, писал, все время находил себе занятия. В соседнюю с моей камеру Яков поместил женщину, больную бубонной чумой. Я не захотел умирать от чумы. Продолжал читать, продолжал писать, каждый день проходил пешком много миль, шагая взад-вперед по открытой галерее внутренней стены. Шли годы. Король забыл обо мне или делал вид, что забыл. Меня навещали друзья. Я пристрастился к путешествиям, отмечая пройденный путь на морской карте, что повесил над своей кроватью. Прибыл новый губернатор. Мне разрешили пользоваться мастерскими в саду. Я сушил себе табак. Готовил лекарства. Кеймис привез мне руду из Гвианы; я начал проверять ее, пользуясь печью, кузнечными мехами и углем. Ничего не нашел. Пробовал снова и снова, пропадая в мастерской день и ночь. Не нашел ничего. Тогда Кеймис отнес руду Госсону, золотарю, работавшему в Ювелирных рядах. Вернулся он в волнении. Госсон сказал, что двенадцать гранов руды, смешанных с полуунцией свинца и четвертью унции стекольной пены, после плавки дали полграмма чистого золота. Может быть, мастер надул нас ради денег? (Какой же я глупец! Я пообещал ему двадцать фунтов, ежели он найдет в руде золото или серебро.) Госсон, должно быть, надул нас. Но это неважно. Мне необходимо было поверить в золото. Я мог, лежа на кровати, водить рукой по моим картам. Водопад Карони. Гора Путижмы. Я словно чувствовал под пальцами *их* золото. Мечта помогала мне держаться. Если бы не золото, пришлось бы выдумать иную блажь. Мне *необходимо* было верить в золото. Поэтому я и обманывал себя. Вот и все. В этом все дело. Остальное неважно.

Потом появилось *настоящее* золото! В виде человека. И

какого! Меня начал навещать принц Генри, старший сын Якова. Как и моему Уоту, ему было тринадцать лет. В первый раз он пришел со своей матерью, королевой Анной. Та была пьяна. Анна пила как лошадь. Ветреная и глупая женщина. Она пришла за моим знаменитым эликсиром. Жена французского посла сказала ей, что он успокаивает нервы. Так оно и было, да иначе и быть не могло. Ибо в состав его, кроме винного спирта, входили мята, бурачник, горечавка, раствор жемчуга, мускуса и оленьего рога, безоаровый камень, мускатный орех, алоэ, сахар и американский лавр. Анне эликсир понравился, она приходила за ним еще не раз. Принц начал навещать меня без нее.

Генри был во всех отношениях противоположностью своего отца. Он не любил бывать на дворцовых приемах. Яков обожал охоту — Генри ее ненавидел. Яков постоянно тискал своих фаворитов — его сын их не выносил. Яков часто сквернословил — молодой принц расставил в своих покоях шкатулки, и если кто-либо из слуг произносил бранное слово, то в наказание опускал в ближайшую из них денежный штраф. Яков был трус — принц Генри смело сражался на рыцарских турнирах. Сын относился к отцу с безгловым презрением.

В последние пять лет своей славной, но слишком короткой жизни принц Генри учился у меня в Таузере. Я писал для мальчика сочинения. Наставлял его в иностранных делах, учил держать Англию подальше от цепких лап испанского короля и папы римского. Сообразительный, способный и умный мальчик. (В отличие от отца ума возвышенного, была в нем какая-то живая праведная искра.) Королеве Анне нравилось, что он ходит ко мне. Я сделал для него чертежи корабля, который назвал "Наследник престола".

Из Генри получился бы превосходный король. Он стал бы достойным наследником английской славы. (Та слава теперь в прошлом, но, надеюсь, не навсегда.) Дружба с ним рождала надежду на избавление от тюрьмы. Для его просвещения я принялся писать мою "Историю мира". В день, когда он умер, я в отчаянии бросил ее. Надежда всей Англии, моя надежда... Но он умер. Я не смог спасти его. Тиф, говорили все. Яд, говорила королева.

А я отказывался умирать. Я выжил. Но это было еще не самое страшное. С точки зрения Якова, конечно. *Я усыновил его сына.*

Отцы и дети.

Как прихотливы людские судьбы!

Всю последнюю неделю, сидя в кресле с моей длинной серебряной трубкой и глядя на бедного Кэрю, я часто думал об этом.

Пока я в заточении играл роль отца принца Генри (его родного отца мужчиной не назовешь), мой собственный сын Уот рос без отца. И даже хуже. Ибо он искал отца в Бене Джонсоне — о чем, видит бог, лучше много не говорить. А сам Яков, не умев-

ший заслужить любовь сына, заставлял своих юных фаворитов пресмыкаться перед ним и называть его "дорогой папочка". А бедному Кэрю, что неловко играет сейчас в солдатики, после моей смерти будет не хватать отца даже больше, чем в свое время Уоту.

Отцы и дети. Дети и отцы.

Яков стал ненавидеть меня еще больше за то, что я был отцом его сыну.

Я стал ненавидеть себя еще больше за то, что не смог быть отцом моим собственным сыновьям. Ты скажешь, что у меня не было выбора. Выбор был. Если бы мое восхождение к власти не испугало Якова, я бы не сидел все эти годы в Таузре. Выбор был сделан давно, и сделал я его сам. *И манит высь...* Я мог бы остаться скромным сельским дворянином, вместе с сыновьями заботиться о жене, усадьбе и урожае. Я выбрал иное. И, кроме себя, винить мне некого. Моя гордыня, мое честолюбие, мое унижительное домогательство благосклонности Елизаветы...

О, шут-отец! Я не лучше короля Якова. Не знаю, отравил ли он своего сына. Знаю только, что я убил моего собственного.

В одном король ошибался. Я не сказал о нем принцу Генри ни единого дурного слова. Яков был уверен в обратном, но я всегда избегал этой темы в разговорах с наследником.

Сам принц только однажды обронил фразу, которую можно принять за осуждение Якова. Он уходил. Неожиданно, не поворачиваясь ко мне, остановился у двери моей камеры. И сказал едва слышно, обращаясь к полоскам света, падавшим на пол сквозь зарешеченное окно: "Кто, кроме моего отца, стал бы держать такую птицу в клетке!" Так закончился его последний визит в Таузр. Я не ответил. И больше его не видел.

*

Священник исчез. Он сбежал вчера вечером, не оплатив счета. Меня и раньше удивляло, почему он живет со мной здесь, в таверне "Папская голова". Его преподобие почти не выходил из своей комнаты и ни с кем не общался. Каждый день мне приходилось посылать за ним в час вечерней молитвы. Молился он небрежно — если не сказать, через силу. Однажды он весьма раздраженно потребовал изгнать из комнаты индейца. *Этого дикаря*, сказал он. Индеец засмеялся и вышел. Я рассердился. Сейчас сердит еще больше.

У священника в камине Сэм Кинг обнаружил кучку полусгоревших листков. Черновики письма, над которым тот трудился с того самого дня, как мы сошли на берег. Мы сложили их. Какие-то части сгорели. В тексте много исправлений — набожный мошенник тщательно обрабатывал свою прозу. В документе, как я ска-

зал, много пропусков. Но смысл его ясен как день. Я прилагаю эту гадкую писанину в нетронутном виде. Переписывать ее мешает брезгливость.

*

Достопочтенным лордам Его Величества Почтеннейшего Тайного Совета. Правдивое и краткое *Описание* недавнего путешествия сэра Уолтера Рэли в Гвиану. Начертано рукой его *преподобия Мистера Сэмюэла Джоунза* (магистра искусств с 1604 г.; бакалавра богословия с 1611 г.), священника на одном из его кораблей, называемом "Судьбой".

Достопочтенные –

Молва о больших полномочиях, данных Его Величеством сэру Уолтеру Рэли, ожидание удачи, докучливые советы достойных джентльменов, добрая слава мистера Роберта Барвика, а также забота о поиске места службы на благо нашей матери Церкви (каковая забота гнетет меня до сих пор, несмотря на мои ученые достижения, кои перечислены выше) – все это вместе побудило меня предпринять столь опасное путешествие.

В кое мы и отправились из Плимута июня двенадцатого дня 1617 года. Сначала мы стояли в Фэлмуте у берегов Корнуолла, а потом в Кинсейле (Ирландия), куда прибыли июня двадцать пятого дня и где пробыли до августа девятнадцатого. Сии задержки, как бы они ни оправдывались, вынудили многих молодых офицеров и иных членов команды продать их личные запасы снаряжения и провианта, что впоследствии привело к безвременной смерти немалого их числа...

Первый корабль, подвергшийся нашему нападению в открытом море...***** На следующий день мы захватили еще четыре корабля; как оказалось, французские ***** На Лансероке, одном из Канарских островов, где мы сделали стоянку, желая только пополнить свои запасы воды и провизии ***** ... подло убиты, но на Гомере после обмена посланиями они (видя нашу силу) позволили нам заpastись водой, хотя сначала оказали сопротивление.

Я решился упомянуть о сих событиях только затем, что они заронили во мне и многих других джентльменах слабую надежду, что сэр У. Р. утвердился в своих планах, ибо ранее многочисленными проволочками породил великие сомнения... ***** Но у Гран-Канарии захвачена была испанская каравелла, ее команду...***** Оттуда мы отправились к островам Зеленого Мыса, по мнению большинства мореходов, совершенно напрасно, сам же я полагаю, что сие ввергло всех нас в великую опасность и погубило немало людей. Ибо такая частая и ненужная смена курса привела нас в безветрие, и по сей причине свыше ста чело-

век, большая часть из коих офицеры, умерли на пути от островов к колониям Гвианы.

Люди умирали каждый день, и, исполняя мой пастырский долг, насколько позволяли превратности морского плавания, я слышал горькие жалобы от больных и умирающих на дурное обращение с ними сэра Уолтера, который даже своим старым соратникам отказывал в самом необходимом, имевшемся в то время на кораблях в достаточном количестве. Было и немало именитых или занимавших важные посты людей, коими сэр У. Р. преступно пренебрегал: среди оных могу назвать капитана Джона Пигота, бывшего в то время нашим генерал-лейтенантом, который жаловался мне на адмирала, отходя в мир иной...

В то время сам сэр Уолтер, упав, получил многочисленные ушибы и опасную лихорадку... Он просил меня молиться за него, вел духовные речи и среди прочего сказал мне, что ему более жаль не себя, но тех, кто отправился с ним в этот поход и кому с его смертью грозит разорение, но что он оставит им письменные указания. Его письменных указаний, однако, ни я, ни, насколько я знаю, кто-либо другой не видел.

В прошлом ноябре в Кайенне, поправившись, сэр Уолтер сообщил нам о своем плане захвата прииска и показал место на карте, что находилось в трех-четырёх милях от города святого Фомы. Из его бесед в то время я понял, что вышеупомянутый город населяют испанцы и что городские укрепления его не пугают.

Генерал-лейтенантом был назначен сэр Уорэм Сент-Леджер. Но ежели бы ему пришлось отправиться вверх по реке к городу, как я сам от него слышал, он бы не имел никаких точных указаний о местонахождении прииска... Но Господь неожиданно наслал на него тяжкий недуг, и командиром назначен был Джордж Рэли... Капитан Кеймис в качестве управляющего прииском ***** Сэр У. Р., оставшись с четырьмя другими кораблями у Тринидадо, напротив главного устья Ориноко ***** причины чего мне неизвестны; он много говорил о своей лихорадке, но корабельный врач не считал ее опасной.

С отрядом, отправившимся на поиски прииска, мы расстались в середине декабря и не имели от них вестей до февраля тринадцатого дня следующего года; во время их отсутствия я редко слышал, чтобы сэр Уолтер говорил о каком-либо прииске; а когда он все-таки сие делал, то с гораздо меньшей уверенностью, чем ранее, теперь он выдвигал новые прожекты, неоднократно предлагая даже захватить форт Сент-Джозеф на Тринидадо, где, как он самонадеянно полагал, его ждут большие испанские богатства и, несомненно, громадные запасы табака ***** ...сие и многое другое, что мне довелось услышать, убедило меня в его презрении к законным подданным короля Испании. А что касается тех, кто исполнял его поручение на реке, то он их столь

мало ценил, особенно простолюдинов, что часто говорил, будто ему все равно, вернутся они или нет, ибо они не годны ни на что, кроме проедания его провианта, и ушли в плавание только потому, что друзья их хотели от них избавиться. И множество раз сэр У. Р. предлагал уплыть и подло бросить их, на что другие капитаны согласия ему не давали.

Когда наши корабли, ушедшие на реку, как мне дали понять по возвращении некоторые офицеры, прибыли к городу святого Фомы января второго дня, капитаны желали, чтобы капитан Кеймис показал им сначала прииск, ибо прииск, по словам сэра Уолтера, был в трех или четырех милях ближе к устью, чем город, и ежели бы испанцы напали на них, то они были бы вправе *vim vi repellere*¹.

Кеймис же от этого под всякими предложениями уклонялся и высказывал всякие иные соображения; например, ежели бы город оказался укрепленным, то ему пришлось бы разрабатывать прииск в пользу короля Испании, а сие никак не входило в его намерения, и тому подобное. ***** ...в сей стычке четверо с каждой стороны были убиты, и испанцев вынудили бежать из города, дабы спасти свои жизни.

На следующий день город был взят, и все ожидали, что тотчас начнутся поиски копей. Но капитан Кеймис более заботился о табаке, провианте, домашней утвари и ином грабеже; при сем говорил, что оные вещи будут полезны, ежели ничего другого получить не удастся. Затем, как мне рассказали, Кеймис со своими людьми отправился ночью в поход, откуда принес образцы руды, кои он якобы добыл там. Он их с радостью показывал капитану Торнхерсту. Но когда золотарь в ней ничего не нашел, о ней больше не вспоминали. После чего все поняли, что сам Кеймис был введен в заблуждение, скорее всего, сэром Уолтером Рэли, и касательно руды, и местоположения прииска, и даже его существования...

Ибо, хотя считалось, что прииск расположен в трех милях от города, они прошли не три мили, а три десятка миль, пока их не вынудили вернуться. И теперь уже каждый усомнился в истории, что рассказывал им сэр У. Р., и они бранили Кеймиса, впавшего в оцепенелое отчаяние, из коего ничего не могло ***** ... и ежели бы он на самом деле направлялся к прииску, то разве не должны были они взять с собой лопаты, кирки и прочий инструмент? Ничего подобного они с собой не взяли.

Февраля тринадцатого дня мы, оставшиеся у Тринидадо, получили от них известия о захвате города и неудаче с прииском.

¹Отражать насилие силой (лат.). *Vim vi repellere licet* (насилие позволено отражать силой) – одно из положений римского права.

Сэр Уолтер заявил капитанам (о чем говорили мне большинство из них), что он невиновен, в доказательство чего обещал призвать Кеймиса к ответу в их присутствии до того, как поговорит с ним с глаза на глаз. Обещание сие он так никогда и не выполнил.

После их возвращения марта второго дня сэр Уолтер сказал, что он сам отправится на реку и приведет их к прииску; исполнение сего в то время было уже невозможно. Люди устали, лодки продырявились, корабли заросли грязью, а провиант был на исходе. Тогда он снова призвал захватить Сент-Джозеф. Но никто за ним не пошел, и на следующее утро мы снялись с якоря.

Мы поплыли вдоль Карибских островов до острова Невис: в тамошней бухте мы бросили якорь марта двенадцатого дня. Пока мы стояли у Невиса, сэр Уолтер, как я слышал, много раз обещал капитанам представить на их рассмотрение еще один прожект. Теперь он говорил о каких-то полномочиях от французов. Ни я, ни кто другой сих полномочий никогда не видел.

Теперь он спокойно разрешал любому из капитанов оставить его, ежели тот предпочтет действовать по собственному разумению. Вследствие чего капитан Уитни и капитан Уолластон со своими кораблями и покинули его марта шестого дня.

Сэр Уорэм Сент-Леджер (как он не раз доверительно говорил мне) однажды в личной беседе поинтересовался, собирается сэр Уолтер возвращаться в Англию или же нет. На что тот ответил (да прости меня Господь и Ваши Светлости), что никогда он туда не возвратится, ибо его там непременно схватят и повесят.

Когда затем сэр Уорэм осмелился спросить, что он дальше собирается делать, он сказал, что пойдет к Ньюфаундленду, отремонтирует корабли и пополнит запасы провианта, а потом ляжет в дрейф у Азорских островов и будет поджидать возвращающиеся домой с драгоценной добычей корабли короля Испании — так он получит то, с чем его примут во Франции либо где-нибудь еще. А что до прииска, то он никогда более о нем не говорил, и уже никто не сомневался в том, что сей прииск никогда не существовал ***** ...многие капитаны решили, что они обмануты Кеймисом и сэром У. Р. ***** Нерешительность сэра Уолтера и его многочисленные задержки, его двуличие, частая смена планов заставили их покинуть его, чтобы уже никогда более дела с ним не иметь *****

А что касается возвращения сэра Уолтера, то есть было оно добровольным или вынужденным, то я придерживаюсь мнения, что так называемый бунт на его корабле был устроен им самим и его приближенными, чтобы его возвращение в Ирландию, а оттуда в Англию выглядело в более выгодном свете и тем самым отвратило оправданное и справедливое неудовольствие Его Величества. Он надолго задержался в гавани Кинсейла в Манстере, отчего многие достойные люди покинули его, будучи уверенными

в глубине души (как мне о сем говорили), что он собирается бежать во Францию. ***** со столь поредевшей командой он прибыл в Плимут июня двадцать первого дня. Я всегда считал своим долгом (перед Господом Богом и Вашими Светлостями) держаться поближе к нему. Из своего жилища здесь, в "Папской голове", он уже однажды попытался убежать на французский корабль, и причина неудачи его трусливого шага неясна, но я предполагаю, что французы отказались его принять, зная о гневе Его Величества, а также о законном неудовольствии короля Испании Филиппа.

В заключение, тщательно взвесив все вышесказанное, я выражаю твердую уверенность, что сие плавание к колониям Гвианы было хитрой уловкой, придуманной сэром Уолтером, чтобы хотя бы на время прервать свое заключение в Тауэре; что прииска никогда не существовало и сие его сподручный Кеймис знал с самого начала; и наконец, что сэр У. Р. предпринял сие неудачное путешествие, стоившее жизни многим достойным джентльменам, с единственной целью: выказать неуважение к Его Королевскому Величеству и нанести вред августейшему брату Его Величества, королю Испании.

О его тайных помыслах и планах воздержусь говорить более, ибо сей неуживчивый и опасный человек никогда мне особенно не доверял. Он правил людьми с чрезвычайной жестокостью. По моему мнению и наблюдениям, единственные джентльмены, с коими он был близок, — капитан Сэмюэл Кинг, сэр Джон Хоумден, его племянник капитан Джордж Рэли, штурман нашего корабля мистер Роберт Барвик и некоторые другие морские офицеры, коих, впрочем, было совсем немного. *****

*****...его странные наклонности стали особенно явными, когда он начал доверительно общаться с дикарем-язычником, и ему (о чем мне доводилось слышать) он изливал темные страхи своей души, а отнюдь не мне, скромному священнослужителю, однако человеку немалой богословской учености. Еще могу сказать об индейце, что я собственными ушами слышал, как он однажды заявил сэру У. Р., что в Гвиане, его родной земле, золота нет. Что не вызвало удивления сэра У. Р., а скорее наоборот.

Таким образом, Достопочтенные лорды, совершенно чисто-сердечно, не кривя душой, постарался я, несмотря на мои немощи, сообщить то, о чем воззвал к своим подданным Его Величество, и сие препоручаю рассмотрению и вниманию Ваших Светлостей. Никогда ранее мое перо не служило столь великой задаче, и я всегда буду взывать к милости Господней, чтобы Он, давший вам всем почет и уважение на земле, воздал бы вам по заслугам и на небесах.

Остаюсь покорным слугой Ваших Досточтимых Светлостей

Сэмюэл Джоунз

*

При таких священниках дьявол уже не нужен.

*

*Скажи, что власть опасна
И что судьба слепа,
Что дружба — безучастна,
Доверчивость — глупа.*

Завтра же отправляюсь в Лондон.

39

16 июля

Комедия продолжается. Я играю роль шута. Интересно, не Яков ли придумал интригу и не им ли написаны все роли? Должно быть, так. Каждая смена декораций и каждая сценическая ремарка несут на себе неизгладимый след его жестокого и порочного ума. Какая невосполнимая потеря для театра, что сей могучий гений принужден играть роль короля в реальной жизни! Воображаю, как он хихикает сейчас, прогуливаясь с Вильерсом в Уайтхолле! Ибо, если безумные кривляния и издевательские ужимки моей судьбы придуманы не Яковым, остается предположить, что замыслы самого господа бога сродни проделкам нашего порченного короля, — а эта мысль невыносима для того, кто вскоре должен предстать перед Ним...

*

Мы успели проехать по дороге к Лондону всего каких-то двадцать миль. В Эшбертоне карету остановили, и в окне показалось очень знакомое лицо. Нервное красивое лицо со срезанным подбородком, свиными глазками и легким подобием пушка на верхней губе. Дружелюбное лицо, ничего не скажешь. С застенчивой улыбкой. Лицо сэра Льюиса Стьюкли! Моего родственника. Кузена.

— Сэр Уолтер, — говорит он. — Очень рад вас видеть, сэр Уолтер.

— Кузен Льюис, — отвечаю я. — Не правда ли, необычайно погожий выдался денек?

— Для меня слишком жаркий, — с жалобной ноткой в голосе

говорит Стьюкли, лайковой перчаткой смахивая со лба капли пота. — Слишком жаркий для путешествий, это уж точно. Но в Лондоне еще жарче.

— А-а, вы едете из Лондона. Просто чудо, что мы встретились. Именно туда я и направляюсь.

— Вы? *Направляетесь? В Лондон?* (От удивления его голос по-мальчишески срывается на фальцет.)

— В Лондон, — повторяю я. — У меня там дела.

— В Лондоне очень жарко, — мямлит Стьюкли.

— Я уже знаю, дорогой кузен, вы уже нам сказали об этом, — я вежливо киваю. — Но, несмотря на жару, я должен спешить. Передавайте мои поклоны вашей матушке, леди Стьюкли.

Он хватается за дверцу.

— Но, сэр Уолтер...

— Да, кузен?

— Сэр Уолтер, не знаю, как сказать... — Он начинает грызть ногти. Я терпеливо жду. Стьюкли перестает грызть ногти и говорит: — Сэр Уолтер, наша встреча...

— Какая приятная случайность. Просто не верится.

Его лицо заливается краской.

— Да. Нет! В том-то и дело. Видите ли, это не совсем случайность. Я хочу сказать, что очень рад встрече с вами.

— Вы уже говорили нам это.

— Неужели? Да, конечно. И это правда. — В углу кареты он замечает Бесс. Тут же срывает с головы шляпу с пером и, широко взмахнув ею, кланяется. — Леди Рэли! И вы тоже! *В Лондон?*

Бесс, бледная как полотно, внимательно смотрит на него.

— Кузен Льюис, — резко обрывает она его. — Вы меня извините, но я устала от ваших шуток. Мой муж едет в Лондон. На костер! Вы разве не знаете, что происходит?

Бедный Стьюкли опускает голову. Отводит взгляд.

— Простите меня, — бормочет он. — Я думал, будет лучше...

— Вы привезли указ о его аресте!

Стьюкли улыбается. Горделиво. Ослепительно.

— У меня нет указа.

— Нет?

— Я вызвался добровольно.

— Вы *вызвались добровольно!* Прийти и арестовать моего мужа!

Стьюкли закусил губу.

— Леди Рэли, вы несправедливы ко мне. Я приехал помочь сэру Уолтеру в эти трудные времена. Я его друг и родственник. И хочу только *помочь* ему.

— Тогда избейте его до потери сознания! — закричала Бесс. — Избейте его до потери сознания и оттащите на любой корабль, отплывающий во Францию!

— Спокойно, жена, — сказал я.

— Он сошел с ума, кузен Льюис! Ему наплевать на меня и на нашего сына! Он знает намерения короля. Он знает, что его убьют в Испании. Но он свихнулся. Он не думает о себе. Если вы действительно хотите ему помочь, вы должны...

Я закрыл ей рот ладонью.

— Сэр Льюис — вице-адмирал Девона, — сказал я. — Он служит нашему милосердному повелителю, королю Якову.

— Как и вы, — вставил Стьюкли.

— Как и я, его преданный слуга. Поэтому я и еду в Лондон. Чтобы не утруждать его моим арестом. Чтобы сдать на его милость.

Стьюкли одобрительно заулыбался. Потом сказал:

— Сэр Уолтер, я всегда восхищался вашим мужеством. Леди Рэли, я понимаю, расстроена. Обещаю вам забыть все, что она говорила.

— Вы очень добры, кузен Льюис.

— Не думайте больше об этом. Дело это крайне неприятное, но мне все же кажется, что вы рано отчаиваетесь. В любом случае я намерен сделать для вас все, что в моих силах. Когда до меня дошли неприятные новости, я...

Бесс впилась зубами мне в руку.

— Неприятные новости! — завопила она. — Король отсылает его в Испанию, где его изрубят на куски, и вы называете это *неприятными новостями*! Господи боже, вы тоже свихнулись?

Кэрю вцепился в юбку матери и заревел.

Мое терпение лопнуло.

— Не мешайте кузену Льюису изложить существо его поручения, — скомандовал я властным тоном. — Сэр, насколько я понимаю, вы имеете полномочия от короля?

— Да.

— Но у вас нет указа о моем аресте?

— Я пошел к лорду-адмиралу. Я сказал ему то, что он и так знал. Что вы — человек чести. Что я ваш родственник. В этих условиях он согласился, что официального указа не требуется.

Стьюкли говорил просто и с достоинством. Все им сказанное звучало достаточно правдоподобно. Чарльз Хауард, граф Ноттингем, лорд-адмирал всей Англии, никогда не был мне добрым другом. Он для этого слишком Хауард — эта семья всегда дружно пеклась о своих интересах; влиятельные посты они занимали веками; и Чарльз, ныне почтенный сварливый восьмидесятилетний старец, — один из немногих людей в Англии, которые процветают при короле Якове, сохранив все титулы, полученные от королевы Елизаветы. Тем не менее Хауарды имели понятие о чести. Они не чета тем, кого привел с собой король Яков. Мне также пришло в голову, что старый лорд-адмирал мог вспомнить похвалу, которую я обрушил на его голову в моем чудовищном предложении об Армаде. Кроме того, его велико-

душный отказ от официального ареста мог быть продиктован и чувством вины. Он присвоил мою часть добычи в Кадисе. И ловко воспользовался моим заключением в тюрьму. Не успели за мной закрыть ворота Тауэра, как почтенный Хауард тотчас же завладел моими винными монополиями. Он приобрел на этом не менее девяти тысяч фунтов стерлингов. Как причудлива человеческая натура!

Стьюкли продолжал:

— Я скажу ему, что застал вас на пути в Лондон. Это говорит о том, что мы в вас не обманулись.

Я ничего не ответил. Вышел из кареты. И протянул кузену мой меч и адмиральскую ленту:

— Я в вашем распоряжении.

Отмахиваясь от мух, Стьюкли нервно ухмыльнулся.

— Если бы не ужасная жара, — пробурчал он. — Не помню другого такого лета. Англия пышет жаром, как раскаленная печь. Говорят, что люди умирают от этой жары.

У меня начался приступ кашля.

У Бесс началась истерика.

В этот момент к нам подъехала вторая карета. В ней находились Сэм Кинг, Робин, индеец и Манури. Маленький француз выкатился из кареты и протянул мне фиал с лекарством от лихорадки. На нем была длинная желтовато-коричневая мантия с широкими рукавами, на голове красовалась замасленная дырявая — будто изъеденная крысами — шляпа. За ним из кареты вышел индеец. Он не пожелал надеть на себя английскую одежду. Теперь он невозмутимо, скрестив на груди руки, жевал коку, кожа его блестела в лучах безжалостного солнца.

Уморительная сцена.

На Девонширской дороге мне еще не доводилось видеть ничего более странного.

Стьюкли остолбенел. Он переводил взгляд с индейца на меня, с меня на Манури, с Манури снова на индейца. Мне стало жаль родича. Бесс своими криками едва ли помогала ему что-либо понять.

— Это мои друзья, — объяснил я, церемонно представляя каждого, благо, лекарство уже подействовало. — Каждый из них вполне заслуживает того, чтобы называться человеком чести. Ибо они по собственной воле решили сопровождать меня в Лондон. Если мне будет позволено говорить от их имени, то, ручаюсь, они примут ваше покровительство с тем же чистосердечием, что и я.

Я протянул Стьюкли руку. Он схватил ее с видом заговорщика и потянул меня к обочине, в тень шпалеры.

— Сэр Уолтер, — быстро заговорил он вполголоса, чтобы другие не слышали, — сейчас вам нет никакой необходимости сдаваться на милость Его Величества. Наоборот, сэр, по многим причинам

этого делать не следует. Лорд-адмирал доверяет мне, от него я знаю все, что происходит в Тайном Совете. Достаточно, если я сообщу ему, что теперь вы на моем попечении. Кузен, я предлагаю не спешить! Давайте вернемся в Плимут. Мой тамошний дом в вашем распоряжении. — Он перешел на шепот. — Я вам все объясню наедине в спокойной обстановке. Верьте, что я пекусь единственно о ваших интересах и что я тщательно все продумал. Еще одна неделя в Плимуте может *все решить*.

Тело мое затряслось в новом приступе кашля. Не ослабляя страстного рукопожатия, сэр Льюис обнял меня свободной рукой за плечи.

— Плимут! — задышал он мне в ухо. — Я знаю, о чем говорю. Что знал сэр Льюис, меня не интересовало.

— Я отдал вам свой меч, — сказал я. — Уговаривать меня не надо. Я сделаю все, что вы скажете.

— Вот и отлично, — заорал Стьюкли, саданув меня по спине, как расшалившийся школьник, отчего я снова закашлялся и начал харкать кровью. — Вы увидите, мой дорогой кузен. Одна неделя все изменит.

— Если повезет, — заметил я, — может пойти дождь.

Он тупо смотрел на меня.

— Вы жаловались на жару, — напомнил я ему. — Вам пришлось проскакать, не задерживаясь на почтовых станциях, весь длинный путь из Лондона. Я охотно признаю, что *вам* необходимо отдохнуть и развлечься. И — кто знает? — через неделю жара, возможно, и спадет. Участникам моей похоронной процессии прохлада будет как нельзя кстати.

Сэр Льюис не улыбнулся.

— Вы шутите, сэр Уолтер.

— Это моя слабость, — сказал я. — У меня только одна проблема: вы готовы принять моих друзей?

Стьюкли снова ошалело посмотрел на Манури и индейца. Ему стоило большого труда сдерживать дрожь отвращения. Он кивнул.

— Ваши друзья, кузен, — мои друзья. Для меня большая честь оказать им гостеприимство. Само собой разумеется, леди Рэли и ваш сын...

— Они поедут дальше, в Лондон, — объявил я. — Если, конечно, мой добрый хранитель не возражает.

— Мудрое решение, кузен, — согласился Стьюкли. — Но я предлагаю забыть теперь все разговоры об арестах и хранителях. Я ваш брат, ваш родственник. Ваш друг.

— Слышу, — сказал я.

*

Я пишу сейчас в прекрасном саду. Больная нога покоится на низкой скамеечке. В кустах розмарина жужжат пчелы. Робин вре-

мя от времени наливают в кувшин свежую воду. В полях за рекой косят траву. Гроздья смородины на каменной стене похожи на серделиковые подвески. Солнце накинulo свою золотую сеть на зеленую дубраву.

Прелестная картинка.

Прелестная и никчемная, сущий вздор.

Совсем как в идиотском стихотворении Кристофера Марло:

*О, стань возлюбленной моей,
Живи со мной среди полей!
Всем наслаждаться будем мы,
Чем славны доли и холмы...¹*

Слава богу, я, кажется, забыл остальное. Сладкие слюни. Что-то о переднике из травы с узором миртовой листвы, так вроде бы? А скалы рифмуются с мадригалами – чушь. "Влюбленный пастух – своей возлюбленной". Этот маленький сын сапожника знал, что написал ерунду. Он мог кропать стишки и получше. *Только глупцы не любят табак и мальчиков*, – сказал он мне однажды. Насчет табака я согласился. Кит был неплохим парнем, хотя Сесил и считал его никудышным шпионом. Когда я прочитал ему свое наспех написанное стихотворение, в котором вышучивал его неумные похвалы пастушкам и погожим денькам, он рассмеялся. В моем "Ответе нимфы влюбленному пастуху" говорилось:

*Будь вечны радости Весны,
Будь клятвы пастухов прочны,
Я б согласилась, так и быть,
Тебя, мой милый, полюбить...*

*Там, где пестрел цветами луг,
Все пусто и мертво вокруг.
Коль мед в речах, а в сердце яд,
Рай скоро обратится в ад.*

*Рассыплются твои венки,
И поясок, и башмачки,
Истлеет нить, увянет цвет –
В них только блажь, а толку нет².*

Я бы предпочел смех Кита этим проклятым пчелам. Говорили, что его зарезали в драке в одной из дептфордских таверн. Говорили, что ссора началась за игрой в триктрак. То, что его

¹Перевод В. Рогова.

²Перевод Г. Кружкова.

проткнул ножом наемный убийца, некий Инграм, поскольку Кит не умел держать язык за зубами и болтал о деликатных делах государственного секретаря мистера Сесила, — об этом не говорил никто.

О таких вещах никогда не говорят. О них молчат все сесилы и хауарды этого мира. Интересно, скоро ли появится мой любимый кузен — пухлый, застенчивый и кривоногий, осторожно ступающий между грядками клубники, похожей на крохотных малиненок, укрывшихся под зелеными листьями, с неизменно приветливой улыбкой на глупом лице и доской для игры в триктрак под мышкой?

*

Я, разумеется, не доверяю Стьюкли. Ни на йоту. Сам он, конечно, глуп, но кто его использует? Хауард? Король Яков? Король Яков использует Хауарда, который в свою очередь использует Стьюкли? Что толку гадать? Но в одном я уверен: против меня составил заговор.

Возможно, я напрасно отослал Бесс и Кэрю в Лондон. Впрочем, Бесс не возражала. Она хотела уехать. И если меня собираются убить, лучше им быть подальше от всего этого.

Вот уже четыре ночи я провел в доме Стьюкли. Сэм Кинг и индеец по очереди охраняют мою дверь.

Я хочу исключить всякую случайность. Робин почти все время толчется на кухне, наблюдая за поваром. Маленький француз пробует мясо, прежде чем дать его мне. Скорее шарлатан, чем врач, но в смелости ему не откажешь. Я хорошо плачу ему за услуги. Он, кажется, платит мне уважением.

Четыре ночи и пять дней...

Мой дорогой кузен пока так и не "объяснил мне все наедине в спокойной обстановке". Я так и не узнал ни одной из "причин" нашей задержки. Он проводит в нашем обществе мало времени. Часто ездит куда-то в город. Кажется, у него там важные дела.

*

Полночь.

Только что ко мне приходил кузен Льюис.

(Индеец не пускал его. Услышав шум за дверью, я крикнул, чтобы его не задерживали. Но Кристоаль вошел вместе с ним.)

Стьюкли выглядел очень довольным собой. Индейцем он был доволен меньше.

— Сэр Уолтер, — сказал он, — у меня для вас новость.

— По моему опыту, — заметил я, — полночные новости ничего хорошего не сулят.

— Новость не назовешь ни хорошей, ни плохой. Но она определенно *обнадеживает*.

Стьюкли потер руки. У него очень изящные гибкие пальцы. Ногти, как я заметил, обкусаны до мяса.

Я не ответил. С трудом подавил зевок.

Стьюкли покосился на индейца.

— А он говорит по-английски?

— Немного.

— Он нас понимает?

— Наверное. Не знаю. Ему можно доверять, если вы это имели в виду.

Скорчив недовольную гримасу, мой цербер постоял в нерешительности. Потом подмигнул мне.

— Я скажу вам завтра.

— Как вам будет угодно.

— Встретимся у солнечных часов. Наедине.

— Как прикажете.

— В полдень, — прошептал Стьюкли. — Встретимся в полдень у солнечных часов.

— Я приду.

— Часы не говорят по-английски, — сказал Стьюкли.

— Они даже по-испански не говорят, — заметил я.

— Вы правы. И у них нет ушей, мой дорогой кузен.

Он хмыкнул, очень довольный своей шуткой. Я изобразил на лице подобие улыбки. Стьюкли ушел. Ушел и индеец, ничем не обнаружив, понял ли он эту идиотскую беседу.

Значит, до завтра. До полудня. У глухонемых солнечных часов.

В них только блажь, а толку нет...

40

17 июня

Спал долго и видел кошмарный сон.

Мне снилось, что я в Тауэре, но Тауэр был не крепостью, а кораблем. На каменном корабле смерти я плыл в Гвиану. Когда я достиг Гвианы, она оказалась женщиной. Наполовину Елизаветой, наполовину Бесс. У нее были глаза моей жены, один — голубой, другой — черный, но глаза эти смотрели с бледного стареющего лица королевы, каким оно было в год моего отлучения от двора. Женщина стояла на глобусе. В левой ее руке бушевал шторм, в правой сияло солнце. Ударом молнии меня бросило ей на плечо. "Почему ты отослал меня в Лондон? — спросила она. — Теперь я обречена. Мой отец отрубит мне голову!" Она сбросила меня наземь. На ней были золотые туфли. "Вставай, — сказала

она. — Вставай, потанцуем”. Я встал. Голова ее исчезла. Платье покрылось кровью. Я танцевал с женщиной без головы, у нее были изящные, унизанные кольцами, как у королевы, руки. Она сорвала с себя одежду — я увидел тело Бесс. ”А сейчас, сэр Море, мы займемся любовью!” Именно так: не ”сэр Уолтер”, а ”сэр Море”. Голос ее, казалось, доносился откуда-то снизу. Посмотрев туда, я увидел Ориноко, какой она выглядела на моих картах. Берега ее сковывал широкий золотой мост. Я разделся. Женщина стала ласкать меня, но все было напрасно, и она обиженно отстранилась. Мне почудилось, что ее тело смеется надо мной. ”Сэр Море! — завопила она (голосом Бесс). — О, сэр Море! Да вы и в самом деле вода водою! Миссер Воттер! Какой же ты Золотой Человек?! Муж, ты обрекаешь меня на девственность! Ты обрекаешь меня на смерть!” Появился индеец. Он овладел ею. Сокрушил золотой мост. Я смотрел на них. Лежа в грязи, она дрыгала ногами. ”Вот кульверина. Вот бастарда. Вот петро”, — приговаривал индеец, будто перечисляя доставляемые ей удовольствия. Не в силах сдвинуться с места, я смотрел на них и плакал. Индеец вскочил на ноги. Появился король Яков. Он начал лапать индейца. ”Тебя очень хорошо повесили, дружище, — сказал Его Величество. Затем ткнул пальцем в мою сторону. — Приказываем тебе позабавиться с ним как следует!” Индеец пожал плечами и двинулся ко мне. ”Не здесь! — завизжал король Яков. — На эшафоте! В Мадриде у нашего дорогого брата!” Индеец закричал. Великим золотым криком радости. Затем он начал танцевать с королем и женщиной медленную торжественную павану, и все трое насмеялись надо мной.

Когда я проснулся, подушка была мокрой от слез. На простыне виднелись пятна крови. Должно быть, во сне я кашлял.

Не забыть. Надо попросить у мсье Манури другое снотворное снадобье.

*

Стюкли стоял, опираясь на солнечные часы. Чучело, грубая пародия на мою юность. По какой-то причине он вырядился в костюм, который носили полстолетия тому назад. На нем был расшитый серебром красный бархатный дублет с жестким выпуклым передом и блестящими пуговицами. Высокий, обшитый кружевами воротник подпирал его двойной подбородок. пышные рукава заканчивались столь же пышными кружевными манжетами, которые сейчас потемнели от пота. Узкие, в обтяжку, венецианские штаны до колен дополняли его наряд.

Стюкли посмотрел на свои золотые карманные часы.

— Вы опоздали на шесть минут.

Я принес извинения. Он махнул рукой — жест этот, без сомне-

ния, означал великодушие.

— Пустяки. Но сам я люблю пунктуальность.

— Чем мы плешивее, тем больше ценим время, — заметил я.

Стьюкли заморгал, как сова. С тех пор как кузен надзирал за мной в первый раз, он растолстел. А волос, которых и тогда было немного, теперь почти не осталось.

— Вы смеетесь надо мной, сэр Уолтер?

— Нет, сэр Льюис. Пытаюсь вспомнить Шекспира.

Стьюкли поднес ко лбу обшитый кружевами шелковый платок.

— Никогда не понимал Шекспира. Очень уж он темен.

— Времени он не терял, — заметил я. — Облысел уже к тридцати годам.

— Неужели?

— Да.

— Вы были знакомы с ним?

— Плохо. Человек он был нелюдимый. Ссыпался на нездоровье. Все время сидел дома.

— Интересно.

— Что же здесь интересного?

— Как вы думаете, чем он занимался?

— Наверное, писал, — предположил я.

Стьюкли фыркнул.

— Еще чего — деньги считал. Шекспир любил денежки. Я от многих слышал. Он немало заработал на своей писанине.

Я рассеянно кивнул, закашлял и отвернулся. Успел заметить, что Сэм Кинг занял боевую позицию в саду. Он хорошо спрятался среди ветвей грушевого дерева. На солнце блеснул ствол его аркебузы.

— Кузен, — сказал Стьюкли, возвращаясь к действительности от размышлений о доходах знаменитого стратфордца. — Кузен, почему вы мне не доверяете?

— Я отдал вам свой меч.

— Я имею в виду другое. И вы это знаете.

Я посмотрел на солнечные часы.

— *Tempus fugit*¹, — сказал я. — Вы собираетесь сообщить мне свою новость?

— Конечно. Но меня тревожит ваше настроение. Я ваш родственник. Сэр Ричард Гренвилл был моим дядей. Я знаю, как вы любили его. Я тоже перед ним преклоняюсь.

— Он мужественно принял смерть, — сказал я.

— А вы мужественно жили, сэр Уолтер. Понимаете? Для меня вы такой же герой, как Гренвилл, Дрейк, Фробишер, Хоккинс. Когда-то в Англии были герои. Теперь остались только вы. Я очень хочу быть вашим другом. Если бы вы знали, как это важно для меня.

¹Время бежит (лат.).

Я окинул его изучающим взглядом.

— Поэтому вы и напялили на себя этот маскарадный костюм? Стьюкли зарделся.

— Вы проникательны, сэр. Да. Я знаю, это нелепо. Но все детство я мечтал о великих героях. О славе Англии и ее золотом веке.

— То время, возможно, было и не таким славным, каким вы его воображаете, — сказал я примирительно. — А герои, я думаю, сейчас не в моде.

Мой кузен тяжело вздохнул.

— Вы не хотите принимать меня всерьез!

— Я к вам отношусь очень серьезно. Выкладывайте вашу новость! Зачем вы притащили меня сюда? Какова причина нашей задержки? Для человека, который так внимательно смотрит на часы, вы, на мой взгляд, тратите впустую чересчур много времени.

Заложив руки за спину и наклонив голову, будто погрузившись в решение серьезного вопроса, Стьюкли два раза обошел вокруг часов. Затем, уперев руки в бока, остановился.

— Я продал весь ваш табак, — объявил он.

— Что вы сделали?

— Продал груз вашей "Судьбы", — сказал Стьюкли с гордостью. — Там было двадцать пять хандредвейтов¹. Покупатель предложил сто фунтов за хандредвейт. Я выторговал сто двенадцать. Фунт за фунт, сказал я ему; нельзя обкрадывать таких людей, как сэр Уолтер Рэли. Вы понимаете, что это значит? Две тысячи восемьсот фунтов!

Я сел на каменные ступени и принялся раскуривать трубку.

— Конечно, в Лондоне он выручит больше, — продолжал лепетать Стьюкли. — Фунт хорошего испанского табака стоит на Грейсчерч-стрит не меньше двух фунтов стерлингов. Но надо же оставить какой-то барыш и этим людишкам. — Он хихикнул. — Кроме того, этот осел так обрадовался сделке, что не проверил тщательно все тюки. Несколько тюков промокли насквозь! Думаю, вы знали об этом?

— Нет, — сказал я.

— У вас, видимо, был тяжелый переход.

— Да, — сказал я.

— Тогда ясно.

Стьюкли встал, загоразивая мне солнце. Он был похож на кривоногого дрозда.

— Разве я плохо сделал, сэр Уолтер?

Чтобы не видеть его, я выпустил густой клуб дыма.

— Превосходно, сэр Льюис. Для себя!

Он сделал два торопливых шага назад. Должен сказать,

¹Хандредвейт, английский центнер, равен ста двенадцати английским фунтам — 50,8 кг.

мне легче терпеть его на расстоянии.

— Кузен, вы снова несправедливы ко мне! Я действовал от вашего имени, как скромный посредник. Деньги, лишь только я получу их, ваши.

— И вы не возьмете процентов за труды?

— Ни пени.

— Понятно.

Кажется, все было понятно и Сэму, который следил за нами с дерева. Меня приятно успокаивало, что дуло его аркебузы, лежавшей на суку, смотрело прямо в спину Стьюкли.

— Пятая часть принадлежит Его Величеству, — сказал кузен.

— Разумеется. Это изложено в указе о моих полномочиях.

— Пятая часть составляет всего пятьсот шестьдесят фунтов.

Вам остается две тысячи двести сорок.

— В арифметике вы сильны, сэр Льюис.

Он топнул ногой.

— А вы высокомерны, сэр Уолтер.

— Мне это всю жизнь говорят. — Я выпустил еще один клуб дыма в его сторону. — Простите, кузен, старого человека за глупость, но я не понимаю, как продажа вами моего табака может хоть в чем-то помочь мне. Может быть, вы заботитесь о моей жене и наследнике? Сам я отправляюсь в те места, где фунты стерлингов не имеют хождения.

— Вы имеете в виду Испанию? Но...

— Я имею в виду царство небесное, сэр Льюис!

Стьюкли сел рядом со мной. И начал пристраивать свой меч. Эта большая штуковина с черной рукоятью сохранилась с незапамятных времен. В конце концов Стьюкли был вынужден отстегнуть его. Оружие лежало на каменных плитах между нами.

— Слушайте внимательно, — начал Стьюкли шепотом. — Лорд-адмирал — ваш друг, и я тоже. Когда мы встретились, я сказал вам, что есть много причин, чтобы вернуться в Плимут. Продажа табака — лишь одна из них. Я намеренно не спешил сообщать вам остальные. Мне не хотелось, чтобы это выглядело так, будто я *покупаю* ваше доверие. Но теперь вижу, вас удовлетворит только вся правда. Сожалею об этом. Видит бог, я не давал вам повода для ненависти...

— *Ненависти?* — переспросил я. — Да вы с ума сошли! Я стар, болен и скоро умру. Уверяю вас, я далек от того, чтобы кого-то ненавидеть.

— Даже короля? — прошептал Стьюкли.

У моего кузена отвратительно пахло изо рта. Он все время ел сладости. Зубы его сгнили. Десны покрылись язвами.

Я сказал:

— Бог свидетель, ни к одному человеку не питаю я ненависти, ни к женщине, ни к мужчине.

— Король Яков — не мужчина, — произнес мой кузен, давась

смехом. — Вы слышали последнюю сплетню? Он сделал Букингема...

— Дневная жара невыносима, — закричал я, перебивая его. — У меня начинается головная боль. Сделайте милость, не отвлекайтесь, пожалуйста.

— Очень хорошо, — промурлыкал Стьюкли. — Не будем отвлекаться. Перейдем к делу. Его Величество — тряпка. Испанский посол загнал его в угол своими разговорами о предполагаемой женитьбе принца Уэльского на инфанте. Яков не хочет этого брака. Принц Карл тоже. Никакого испанского брака не будет. Граф Гондомар, должно быть, и сам это знает. Разговоры о женитьбе на испанской инфанте тянутся уже много лет, и Яков каждый раз находит предлог для отсрочки. Но Гондомар его перехитрил. За согласие не требовать брака он требует вашу голову! У короля нет выбора. Вас приносят в жертву Испании, чтобы в очередной раз выручить Якова.

— Кузен Льюис, — сказал я, — вы плохой политик. У Его Величества достаточно своих причин желать моей смерти.

— Может быть, и так. Но будь его воля, он не стал бы отправлять вас на казнь в Испанию, словно паршивого карманного воришку. Сам лорд-адмирал так говорит. Это пощечина Англии. Тайный Совет протестует. Но у короля нет другого выхода. Он должен умиловить Гондомара. А Гондомар вас ненавидит. Он ослеплен жадой мщения. Граф Гондомар — вот кто ваш настоящий враг.

— Я никогда не встречался с ним, — заметил я. — Почему бы ему жаловать меня такой ненавистью? Чем я мог возбудить такую жажду мести?

— Вы убили его родственника, — сказал Стьюкли.

— Простите?

— Имя графа Гондомара — дон Диего Сармьенто де Акунья. У него был кузен — дон Диего Паломеке де Акунья. Этот Паломеке и был губернатором Сан-Томе.

Вот это новость. Я сделал глубокую затяжку. Не произнес ни слова.

Стьюкли потер колени, довольный, что наконец-таки завладел моим вниманием.

— Все так и есть, — торопливо продолжал он. — Лорд-адмирал Хауард все знает. Он рассказал королю. Его Величество выразил большое неудовольствие тем, что его используют в целях личной мести. Весь Лондон знает также, что граф Гондомар болен. У него рак внутренних органов. Говорят, еще и сифилис. Это меня несколько не удивляет! Он спит с женой Коука, леди Хэттон. Долго в этом мире, я думаю, он не задержится. Еще бы, с такой-то любовницей! Во всяком случае, у меня есть верные сведения, что вскоре его отзовут из Лондона. А пока нам лучше всего выжидать. С каждым днем наши шансы растут. Вы по-

нимаєте? Испанский король Филипп может и *отклонить* ходатайство своего посла о вашей отправке в Мадрид. Зачем ему пачкать руки ради кровожадного Гондомара? Его министр герцог Лерма никогда на это не согласится. Так говорит лорд-адмирал.

Я смотрел на грушевое дерево. Сэм, должно быть, устал... По правде говоря, я и сам утомился.

— У нас две возможности, — сказал Стьюкли, загибая пальцы. — Если, как я надеюсь и молю бога, Испания откажется идти на поводу у Гондомара, Тайный Совет будет настаивать на судебном разбирательстве. Тогда у вас появится шанс спасти себя. Если же суда не будет, то есть в самом худшем случае, вы сможете воспользоваться деньгами, выреченными за табак...

Он не закончил предложения. Оно повисло в воздухе, как клуб дыма, что я выпустил изо рта.

— Для чего? — спросил я.

— Чтобы исполнить желание вашей жены, — ответил Стьюкли.

*

Я записал эту любопытную беседу во всех подробностях, чтобы понять, что за ней может скрываться. Я также обсудил с Сэмом Кингом все факты, какие можно было извлечь из болтовни моего кузена, стараясь связать их с его отношением ко мне сейчас и в те далекие дни, когда он был моим стражем в первый раз. Мы оба пришли к выводу, что Стьюкли доверять нельзя. Меня настораживают уже одни его пылкие заверения в преданности. Вполне возможно, мой кузен, как полагает Сэм, не в своем уме. *Весь* род Стьюкли отмечен печатью безумия. Отец моего кузена, капитан Томас Стьюкли, погибший в битве при Алькасаре в 1578 году, где он сражался на стороне папы, был человеком странным и подлым: предатель, наемный солдат, сам себе даровавший титул "герцога Ирландского", — я уже говорил об этом. А вот о том, что этот шут однажды объявил себя побочным сыном Генриха VIII, я еще не говорил! Нет, с кузеном Льюисом надо быть начеку. По моему мнению (признаюсь, что я настолько измучен распутыванием хитросплетений, на которые намекает Стьюкли, что уже не доверяю своим мнениям), все эти разговоры о кровожадности Гондомара, о нашей задержке в Плимуте якобы из-за того, что король Филипп может отказаться от удовольствия повесить меня в Мадриде *et cetera, et cetera*¹, могут оказаться частью хорошо продуманного заговора, в котором мой родственник лишь выполняет волю короля Якова. Разве не могу я пред-

¹ И так далее, и так далее (*лат.*).

положить, что он держит нас в своем доме, чтобы хитростью выманить у меня какое-нибудь неосторожное признание и передать его дословно Его Величеству? А что касается продажи табака и уверений, что он вручит мне эти деньги для побега во Францию, то очень уж это похоже на короля Якова! Можно будет доказать всему миру, что я подлый изменник!

Как говорят о пьесах, напряжение действия нарастает. И автор этой гнусной пьесы — король Яков. *Все в нас притворство — до последних поз.* Во мне всегда было что-то от актера. Я уже не раз в этом признавался. Но сейчас я играю в чужой трагикомедии, теперь я сам не могу выбрать себе даже самой жалкой роли, я стал игрушкой короля, его жертвой, его Тачстоуном¹, его шутом. Единственная моя надежда, что в последнем акте, в конце пьесы, у меня будет возможность высказаться ясно и громко. Если же таковой не будет, если король опустит занавес, не дав мне появиться на сцене и произнести заключительный монолог, то пусть написанное здесь послужит моим завещанием. Только бы хватило красноречия, ясности ума и стойкости духа.

Отцы и дети.

Родные и родственники.

Неужели мир всего лишь сцена для кровавой резни кровных родственников?

Боюсь, что червям от моих мозгов ничего не достанется.

Француз мне друг. Он приносит лекарства.

Индеец стережет мою дверь снаружи. Спасибо его золотым богам за лист, который гонит от него сон!

Как жаль, Бесс, что тебя нет рядом. Я скучаю даже по твоей ругани, по твоему ворчанию, по твоим гневным крикам. Не следовало мне отсылать тебя в Лондон. Старая история. Так уж устроено мое сердце, что чувства в нем просыпаются только в разлуке.

Хорошо, что в этом сумасшедшем доме нет Кэрю.

*

Воздух дрожит от чудовищных звуков. Кузен Льюис играет гаммы на скрипке. Он пилит ее, словно гробовщик — доски. Одно из двух: либо у него нет слуха, либо он напился до чертиков. Струны рвутся одна за другой.

¹Персонаж комедии Шекспира "Как вам это понравится".

25 июля

Указ сэру Льюису Стьюкли,
рыцарю, вице-адмиралу Девона (23 июля 1618 года)

На вашем попечении находится сэр Уолтер Рэли, рыцарь, касательно надежного препровождения коего в Лондон, на наш, Тайного Совета Его Величества, суд вы получили все необходимые указания, в коих выражены желание и воля Его Величества.

Тем не менее воля Его Величества доньше не исполнена, и мы слышим от вас лишь пустые отговорки, кои не могут удовлетворить ни Его Величество, ни членов его Совета.

Посему мы направляем вам настоящий Указ и тем самым именем Его Величества требуем, чтобы без отговорок и проволочек (терпеть кои мы больше не намерены) вы не медля доставили вышеназванного сэра Уолтера Рэли в Лондон, где ему надлежит дать ответ Тайному Совету на те обвинения, кои ему будут предъявлены именем Его Величества.

Невыполнение сего Указа грозит вам тяжкими карами. Указ скрепили печатями:

Лорд Епископ Кентерберийский, Лорд Хранитель Печати, Лорд-Гофмейстер, Граф Арундель, Барон Клэптон, г-н Казначей, г-н Вице-Гофмейстер, г-н Государственный Секретарь Нонтон.

Отправлено с Джеймсом Тейлором, гонцом, в тот же день в десять часов утра.

*

Хорошие новости, говорит Стьюкли!

Гонец Тайного Совета вручил ему этот указ сегодня за завтраком. В субботу, 25 июля. В знак вечной дружбы (говорит Стьюкли) он разрешил мне внимательно прочитать его на досуге и даже переписать — эту копию я и привел выше.

— Что же хорошего вы видите в этой новости? — спросил я кузена.

— Все зависит от толкования, — объяснил он.

Затем с сияющим видом показал мне, что в документе *отсутствует* печать лорда-адмирала Чарльза Хауарда. Это, по его мнению, добрый знак.

— Вы хотите сказать, что Хауард не желает, чтобы вы подчинились этому указу?

Стьюкли передернуло. Он проглотил, не разжевывая, огромный кусок бекона.

— Не совсем так, — сказал он, когда бекон улегся наконец в желудке. — Отсутствие печати лорда-адмирала — тайный знак для меня.

— Что он означает?

— Доброе предзнаменование. Что Испания, скорее всего, скажет "нет". — Кузен отправил в рот еще кусок бекона. Начал задумчиво жевать. Из рта у него свисала корка, капли жира падали на безволосый подбородок. Сейчас он был похож на кастрированного кота, жующего мышь, хвост которой еще не исчез в кошачьей пасти. Стьюкли был вполне доволен и недоумевал, почему я не разделяю его восторгов.

— Вот увидите, — мурлыкал он, причмокивая от удовольствия. — Я знаю лорда-адмирала. Он хитер как лис.

— Хитрее графа Гондомара?

— Никакого сравнения. Мозги Гондомара выело сифилисом! — Он жадно скосил глаза на мою тарелку. — Кузен, вы не притронулись к вашему завтраку! Уверю вас, бекон превосходный...

Я предложил ему мою порцию.

— Вы действительно не хотите?..

Я кивнул.

— У меня нет аппетита.

— Но завтрак заряжает человека на целый день. Ешьте, сэра Уолтер. Подкрепитесь перед дорогой.

— Значит, мы уезжаем сегодня?

— Немедленно, — сказал он. — Нас вызывают в Лондон. И мы едем. Надо уважать букву закона.

Он взял мою тарелку, заметив:

— Кузен, у вас дрожит рука.

— Лихорадка, — ответил я. — Сильнее всего доносит по утрам.

— Понятно. Я вам сочувствую. Итак, вы оценили то, что я для вас сделал? — Он постучал пальцем по свитку указа. — Ни слова о выдаче вас Испании. И заметьте: вы предстанете перед Тайным Советом. Что означает только одно: настоящий суд. Справедливое разбирательство. Здесь. В Англии.

— Это желание Его Величества?

Стьюкли подмигнул.

— Его Величество сделает все, чего хочет Букингем.

— Букингем? — переспросил я равнодушно.

— Вильерс, *Стихи*.

— Но мы никогда не были друзьями.

— А-а! Это будет для вас сюрпризом!

Стьюкли больше ничего не сказал. Он съел весь мой бекон.

*

Неужели кузен Льюис знает?

О той *взятке*?

Мне стыдно признаваться, но теперь у меня нет другого вы-

хода. Упоминание о Джордже Вильерсе, герцоге Букингеме заставляет меня задуматься...

Посоветовал мне это Ральф Уинвуд. Все мои планы и надежды, касающиеся Гвианы, я доверил ему. Ральф начал убеждать короля Якова. У него ушло на это больше года, а я все томился в Тауэре. И вот наконец Ральф приехал ко мне. Король был почти убежден. Не хватало одного слова, чтобы уговорить его. Ральф сказал, что это слово может замолвить за меня только один человек. Джордж Вильерс, нелепый Стини, фаворит Якова с красивыми ногами.

Ральф предупредил меня, что сам Вильерс денег не возьмет. Это было бы равносильно прямой поддержке меня и моего предприятия. Поэтому я устроил так, что деньги заплатили брату Вильерса. Сумма казалась и скромной (две тысячи фунтов), и чересчур большой. Брат Вильерса передал мой дар самому Вильерсу. Вильерс шепнул словечко своему хозяину. И все устроилось.

Эта история не сделала фаворита Якова моим другом. Скорее наоборот.

Не намекал ли Стьюкли на то, что табачные деньги — если их передать окольными путями этой жабе Стини, герцогу Букингему, — могут купить для меня судебное разбирательство в Лондоне?

Если да, то он еще безумнее, чем думает Сэм.

Сейчас Букингем — один из самых богатых и влиятельных людей в королевстве. Едва ли он нуждается в выручке от продажи моего табака!

*

Стьюкли мечется по дому, словно крыса по амбару. Быстрее, быстрее, требует он. Он должен исполнить свой долг перед Тайным Советом. Верхом? В закрытой карете? Что мне больше нравится? Все будет, как я пожелаю. Но — я ведь *понимаю*, не так ли? — он обязан отправиться в Лондон без проволочек. Он бегаёт вверх-вниз по лестницам и, будто католик, перебирающий четки, повторяет имена сильных мира сего: лорд епископ Кентерберийский, лорд-канцлер, лорд хранитель печати, лорд-гофмейстер, граф Арундель, барон Клэптон, господин казначей, господин вице-гофмейстер, господин государственный секретарь Нонтон, лорд епископ Кентерберийский, лорд-канцлер, госпо...

Да хранит нас Господь. Аминь.

Я прервал его причитания, чтобы сообщить, что я выбираю две закрытые кареты. Мой дорогой кузен удивился.

— Вы когда-то называли их адскими повозками!

— Это было до того, как я проплыл полмира и вернулся обратно. Теперь я инвалид, сэр Льюис. Вы ведь не хотите привезти их светлостям труп?

– Нет, нет. Конечно, нет. Две кареты...
В первой еду я, мой страж и Сэм Кинг.
Во второй – Манури, Робин и индеец.
Верховые кузена, естественно, следуют за нами неотступно.
Но теперь у меня собственный план.
Свой заговор.
И для сэра Льюиса Стьюкли у меня теперь есть свои, и немалые, сюрпризы.

42

27 июля

Я сделал все, чтобы в субботу мы далеко не уехали. После обеда я начал жаловаться, что меня бьет озноб. Поскольку жара стояла невыносимая и в карете было нечем дышать, кузен Льюис смотрел на меня с ужасом. Ночь с субботы на воскресенье мы провели в доме какого-то мистера Дрейка. Я потребовал зажечь в моей комнате камин и положить мне в постель грелку с углями.

В воскресенье мы проехали Шерборн. Я сидел, съездившись, в углу кареты, весь закутанный пледами. Стьюкли пытался развлечь меня беседой. У этого идиота такта не больше, чем у испанского солдата. Не испытываю ли я хотя бы легкого *сожаления*, говорит он, находясь так близко от замка, которым когда-то владел? Не хочу ли я выглянуть в окно и посмотреть на другой берег Йеу? Полюбоваться высокими трехъярусными башнями, изящными угловыми башенками, построенными мною из камней старого замка? Я покачал головой. Заклацал зубами. Сказал, что едва различаю его лицо, хотя он и сидит напротив. (На самом деле, когда Сэм сумел отвлечь внимание этого недоумка подробным рассказом о тропических болезнях, мне удалось бросить быстрый взгляд из-под полуопущенных век на парк и на ворота. Кедр, посаженный мной четверть века тому назад, выросли. Я привез их с собой из Виргинии. Когда мой кузен снова взглянул на меня, то увидел, что я плачу. Сэм пояснил: "Один из симптомов малярии".)

Ночь с воскресенья на понедельник мы провели в гостинице Святого Георга.

Сегодня, в понедельник, сэр Льюис все время поторапливает кучера. Я возражаю, ссылаясь на то, что каждый ухаб или выбоина на дороге отдается нестерпимой болью в костях. Кроме того, я попросил у Сэма его плащ. Дескать, замерзаю. Что и говорить, я обливался потом. Но заставлял себя стучать зубами. Пару раз Стьюкли наклонялся вперед, чтобы дотронуться до моего лба, но потом передумывал.

— А эти тропические простуды и лихорадки — они передаются другому? — спросил он с беспокойством.

Я притворился, что не слышу. Что оглох.

— Передаются? — прорычал Сэм. — Скажете тоже — передаются. Они *заразны*, как чума. Я видел, как заживо сгнивали люди, лишь постучавшие в дверь дома, где гнездилась эта зараза.

Мой кузен закрыл рот шарфом. Спустя какое-то время Сэм осторожно пощупал мой лоб.

— Боже правый! — заметил он. — Холодный, как у покойника!

Мучимый страхом заразиться ужасной болезнью и навлечь на себя гнев Тайного Совета, сэр Льюис провел день прескверно, поглядывая то на меня, то на свои карманные часы. Ему удалось расшевелить кучера. Мы проехали тридцать пять миль. Сейчас мы отдыхаем в гостинице "Белый олень" в Солсбери.

*

Стьюкли собирается уехать отсюда завтра. Завтра мы отсюда не уедем. Я намереваюсь остаться здесь до субботы. Вот мои резоны.

Еще до того, как мы покинули Плимут, я послал Сэма разузнать, по какому маршруту путешествует этим летом король Яков. Кажется, он внял совету покойного бедняги Уинвуда. Подобно королеве Елизавете, он теперь показывается своему народу. Конечно, не так свободно, как она. Но летом Яков ездит по городам Англии, отвечая на приветствия толп ленивыми взмахами грязной руки; в промежутках между поездками он предается обычным удовольствиям со своими соколами, собаками и своим Вильерсом.

И в эту субботу Его Величество прибывает в Солсбери.

*

Если удастся, я хочу встретиться с ним лицом к лицу. Я буду просить аудиенции у Его Величества. Возможности поговорить с ним с глазу на глаз.

Видит бог, я не питаю никаких надежд на удачный исход аудиенции.

Я помню нашу первую (и последнюю) встречу в 1603 году. Он неторопливо ехал из Эдинбурга в Лондон, к месту своей коронации, вовсе не стремясь успеть на похороны Елизаветы. Я сел на коня и отправился засвидетельствовать ему свое почтение. Мы встретились в Нортгемптоне. Я заметил, что он невзлюбил меня с первого взгляда. "Сэр Уолтер Рэли", — объявил глашатай. На что Яков Шотландский отозвался так: "Рэли? Ну конеч-

но! Как же, как же! Мне о вас недавно *говорзли!*” Видимо, мне надо было рассмеяться. Или хотя бы улыбнуться. Я не сделал ни того, ни другого. Через четыре месяца он засадил меня в Тауэр.

Но перед смертью я хочу увидеть того, кто погубил меня. И я хочу увидеть, как он будет смотреть на меня.

Вскоре он получит мою голову.

Мне же надо только его лицо.

*

Глаза короля. Уши короля. Только они мне и требуются. В ближайшие несколько дней я не собираюсь терять время. Я решил написать короткое *Оправдание* моего путешествия в Гвиану. Если Его Величество не обратит на него внимания, то, возможно, им заинтересуется Тайный Совет. Если не Тайный Совет, то будущие поколения. Если суд состоится, то оно послужит мне защитой. Если же суда не будет, я смогу обнародовать его с эшафота. А что, если мой эшафот находится в Испании?.. Там никто не поймет ни единого слова! (Я не хочу покидать этот мир, разглагольствуя на языке моих врагов...) Но даже если меня задушат в Мадриде, написанное мною останется и будет говорить за меня в Лондоне — мой голос услышат. Как бы то ни было, я должен использовать этот последний шанс и ясно изложить мое дело, представить его на суд истории, чтобы, как и подобает честному человеку, умереть с гордо поднятой головой.

*

Вот чем объясняется мое притворство. Мнимый озноб и недомогание в карете были лишь прелюдией.

Как только мы прибыли в Солсбери, я улегся в кровать. Я стонал. Скрипел зубами. Выплевывал с кашлем сгустки крови (мне это несложно).

Стюкли беспокойно топтался в дверях. Я начал сетовать на трудности дневного переезда. Он предложил мне бульон. Я ответил, что не в силах его выпить. Потом отвернулся к стене. Притворился спящим. Спустя некоторое время услышал, как он спускается на цыпочках вниз. Я правильно рассчитал, что желудок напомнит ему об ужине.

Тотчас же в мою комнату вошел Манури. (Его послал Сэм.) Я сказал маленькому французу, что снотворных пилюль мне больше не надо. Спросил, знаком ли он с рвотными средствами. Он порекомендовал мне корень *euphorbia corollata*. Пообещал,

что к утру раздобудет его. Я поблагодарил его, заставил поклясться, что он будет держать все в тайне, и дал ему три золотых соверена.

Не успел Манури уйти, возвратился Стьюкли. Он ел пирожки с голубятиной. У него их был целый поднос. Он поставил его на пол в дверях и, оберегая от заразы, накрыл салфеткой.

— Вам лучше, кузен? — прошептал он.

И тут я нагнал на него страху. Шатаясь и колотя кулаками по голове, я поднялся с кровати. Потом нетвердой походкой пошел по комнате, упал, поднялся, шаря руками в воздухе, словно слепой, бросился к двери. Сэр Льюис Стьюкли в страхе попятился. Прежде чем вновь упасть, на сей раз сильно ударившись головой о подпорку галереи, я исхитрился раздавить ногой пирожки.

Стьюкли завопил и исчез.

Чтобы положить меня на кровать, он привел индейца. Я слышал, как он объяснял Сэму Кингу и Робину, что так будет лучше. Христианскую душу нельзя подвергать опасности заразиться такой чумой.

*

Я посвятил индейца в свой план. Впервые за время нашего знакомства он развеселился. Робину все расскажет Сэм Кинг. Теперь мне надо поспать хоть несколько часов.

Все это были лишь репетиции.

Представление я устрою завтра.

43

28 июля

Все идет отлично. Сегодня я встал рано, снял с себя все, кроме рубашки, потом, как Навуходоносор, начал на четвереньках ползать по полу, царапая камышовые циновки и запихивая кусочки камыша в рот.

Индец побегал за Робинем. Робин вошел в мою спальню, увидел происходящее, издал превосходный крик и побегал к Стьюкли. Мой кузен, все еще в ночной сорочке и ночном колпаке, заглянул осторожно в дверь и послал за Манури. Манури принес мне рвотное зелье. Я проглотил его залпом. После чего позволил Сэму и индейцу отнести меня на кровать.

Несколько минут я лежал совершенно неподвижно. Потом издал вопль и, словно в судорогах, сжался в комок.

— Судороги, — заметил Сэм. — Так всегда бывает при этой

болезни. А уж я ее повидал на своем веку.

— Он задохнется насмерть! — закричал Стьюкли. — Он проглотит язык! Сделайте что-нибудь!

— Боюсь к нему прикасаться, — сказал Сэм. — Болезнь адмирала зашла слишком далеко. Самый заразный период...

— Перчатки! — завопил Стьюкли. — Мальчик, у меня на комодке лежат перчатки!

Робин послушно метнулся из комнаты, перо на его шапочке словно выпорхнуло за дверь.

— Только не бери лайковые! — как бы опомнившись, взвизгнул вдогонку кузен Льюис. — Не бери мои *лучшие* перчатки... Принеси те, что лежат рядом с кувшином...

Робин, тяжело дыша, прибежал обратно. Он передал Стьюкли пару громадных кожаных перчаток на толстой подкладке.

Стьюкли бросил их Сэму Кингу. Сэм надел перчатки. Они доходили ему до локтей. Он стал похож на краба.

Сэм схватил своими клешнями мою правую ногу. Я позволил ему распрямить ее. Но как только он взялся за левую ногу, я тут же снова согнул правую. Он попытался ухватить обе ноги сразу. Я начал дубасить его кулаками. Сэм отскочил от кровати.

— Эй ты, а ну помоги человеку! — крикнул кузен Льюис индейцу.

Я метался на кровати. Кашлял и задыхался.

Индеец стоял как вкопанный. Он бесстрастно смотрел на меня, равномерно двигая челюстями.

— Именем короля Якова! — зарычал Стьюкли. — Я приказываю тебе помочь ему!

Индеец повернул голову. Недоуменно нахмурился.

— Ваша милость, — пропищал Робин, — джентльмен из Гвианы не понимает вас. Он не знает английского языка. Вы не можете сказать ему по-испански?

Стьюкли фыркнул. Затем, запинаясь, произнес пару фраз на отвратительном *французском* языке. Манури удивленно заморгал. Мой кузен густо покраснел. Индеец не шелохнулся.

Стьюкли схватил индейца за руку. Подтолкнул его к кровати, где Сэм снова пытался привязать мои ноги. Стьюкли жестами пытался показать индейцу, что он от него хочет. Словно наконец догадавшись, индеец рыкнул и горячо закивал головой. Потом трахнул Стьюкли по спине. Мой дорогой кузен упал как подкошенный.

— Но, ваша милость, — пронзительно крикнул Робин, — у джентльмена из Гвианы нет перчаток! Разрешите принести? Лайковые, что лежат на комодке?

— *Перчатки?* — заорал Стьюкли. — *Дикарю перчатки!* Зачем ему перчатки, идиот? Он же язычник! У него же нет души, которую можно загубить!

Радостно хмыляясь, мой "бездушный" друг Кристоаль

Гуаякунда помог еще одному моему другу выпрямить мои конечности. Когда они закончили, я лежал на постели, словно распятый святой Андрей. Мои запястья и лодыжки привязали веревкой к кровати. В рот мне засунули ложку.

Я лежал тихо, но зато дико вращал глазами.

Прикрывая рот ночным колпаком, мой кузен осмотрел поле боя.

— Мы отнесем его в карету, — решил он. — Это единственный выход. Мы *должны* ехать в Лондон. Их досточтимые светлости...

— Что? — зарычал Сэм. — С кроватью и всем прочим?

Стьюкли расправил плечи.

— Я выполняю свой долг.

— Но кровать не поместится в карету...

— Я поговорю с нашим хозяином. Уверен, что найдется карета *побольше*. Конечно, в ней поедет один сэр Уолтер. И этот индеец. Он не в счет. Я поеду верхом рядом с каретой. Решено!

Он побежал к двери. Остановился. Что-то вспомнил.

— Приготовьте самое сильное снотворное, — сказал он Манури.

— И сожгите эти перчатки за домом, — сказал он Сэму.

*

Горжусь: я предвидел такую возможность.

Как только ушел Стьюкли, поспешил из моей комнаты и Манури. Маленький француз быстро вернулся, но не со снотворным, а со снадобием собственного приготовления, которое я заказал ему накануне. Один бог знает, из чего Манури его сотворил. На вкус оно было отвратительнее трюмной воды. Но в течение часа сделало свое дело. А предназначалось оно для того, чтобы обезобразить меня внешне, не причиняя вреда внутренним органам и не вызывая болезни. Остатками зелья Манури вымазал мне лицо. Ко времени возвращения сэра Льюиса я весь покрылся волдырями и прыщами. Робин дал мне зеркало. Ничего страшнее мне видеть не приходилось! Прыщи и волдыри густого черного цвета, обрамленные розовой сыпью, венчались желтыми гнойниками. Кожа горела так, будто у меня был сильный жар.

Услышав приближающиеся шаги моего кузена, Робин спрятал зеркало.

Я лежал на спине. Тяжело и шумно дышал.

— Сегодня днем, — объявил Стьюкли, входя в комнату, — карета будет...

Слова застряли у него в горле. Стьюкли увидел меня.

— Господи! — булькнул он. — Что это?

— *Soit...* — задумчиво произнес Манури. — *Ainsi soit-il.* — Он перекрестился. — *Gardez bien, Milord, gardez bien!* — Он по-

смотрел на меня. — C'en est fait... La lèpre! ¹

— *Проказа!*

— Похоже, — пробурчал Сэм. — Помолимся за него.

Если мой дорогой кузен и молился за меня, то делал он это на бегу. Сомневаюсь, что молитва была усердной. Бежал он как ошпаренный.

*

Я все предусмотрел, ибо не почивал на лаврах прокаженного.

Я догадался, что Стьюкли может обратиться еще к одному врачу. Что он и сделал. Но и это не все. За вторым последовал третий, а потом и четвертый...

В тот же день к вечеру меня посетили два врача из Солсбери. Осмотрев больного, они признались, что удивлены необычайно, но посоветовали не трогать меня с места. Дрожа от страха перед Тайным Советом, сэр Льюис послал одного из своих людей в Винчестер. Этот человек возвратился сегодня вечером и привез с собой личного врача епископа Винчестерского. (Да хранит господь бесценное здоровье лорда епископа, ибо прибывший шарлатан, без сомнения, помочь ему не может!)

Должен заметить: узнав от Сэма, что этот тип имеет степень бакалавра медицины, я пустил в ход все возможные хитрости. Попросил Манури принести мне утку — он предварительно вымазал ее изнутри какой-то химической дрянью. Помочился в присутствии шарлатана. На просвет жидкость оказалась чернее ночи, а пахло от нее, как из покойницкой. Эскулап побледнел как полотно и выронил сосуд. В этот момент по счастливому совпадению сработало рвотное зелье Манури. Меня выворачивало наизнанку. Бакалавр медицины спешно ретировался.

Позднее Робин рассказал мне, что, стоя за занавесью, он подслушал разговор лекаря со Стьюкли. Бакалавр с уверенностью утверждал, что дни мои сочтены. Что он попросит лорда епископа помолиться за меня. Только небеса могут излечить мой недуг. Робин говорит, что мой кузен умолял бакалавра попросить епископа помолиться и за него. "Пусть спасет меня от этой проказы! — клянул он. — Пусть спасет меня от Тайного Совета и гнева Его Величества!" Бакалавр обещал похлопотать. Он посоветовал кузену Льюису приходиться в мою комнату не чаще, чем того требует родственный долг.

И вот меня оставили умирать в покое.

¹Так... так оно и есть. Берегитесь, милорд, берегитесь! Это не что иное, как... проказа! (*франц.*)

У меня есть все, что необходимо умирающему. Стопа писчей бумаги. Перо и чернила. Баранья нога и три каравай хлеба (которые только что принес Манури). Кувшин свежей холодной воды. Четыре листа *коки*.

Листья я попросил у индейца, и он дал их мне с радостью.

Они помогают мне обходиться без сна.

Сейчас уже среда, 29 июля, час ночи. Я слышу бой часов на башне кафедрального собора Святой Марии. У этого собора самый высокий в Англии шпиль. Да вдохновляет меня его тень в трудах моих и лунной ночью, и солнечным днем!

Осталось только три дня.

Три дня, чтобы оправдаться перед господом богом и королем.

В субботу прибывает Яков.

Пусть бог пока повременит забирать меня к себе!

Передо мной чистый лист бумаги. Я начинаю...

44

Полночь, 31 июля

Больше не могу. Все впустую. Не вышло. Я знаю, что не вышло. Какая от него польза? Никакой. Один вред. Оно должно было помочь мне. Какое там! Я кончил. И это конец.

Сорок страниц.

Около двенадцати тысяч слов.

Я писал три ночи напролет. Мой дух и тело держались только на листьях *коки*. Днем, ради кузена Льюиса или его соглядатаев, я лежал в постели, оглашая дом воплями и стонами. Отказывался от пищи. Прикидывался безумцем, как пророк Давид. А когда все отходили ко сну, лихорадочно строчил строку за строкой при свете свечи.

Я написал целых сорок страниц.

Двенадцать тысяч слов — я только что перечитал их, все до единого.

Безнадёжно. Сплошная путаница. Хуже.

Зайкающиеся, безумные, немощные, бессвязные и жалкие слова.

О, в них я все вместил. Длинное описание целей и превратностей моего плавания. Рассказ о Кеймисе, о прииске, о смерти моего сына. О том, что Гвиана по праву принадлежала Елизавете, а теперь должна принадлежать Якову. О проделках моих капитанов. О собственных решениях. С подробнейшими обоснованиями.

Так почему же все эти обоснования так неубедительны? Почему получилась такая бессвязная мешанина?

Почему все это напоминает бред сумасшедшего?

Неужели я похож на принца Датского из пьесы Шекспира? (Я возненавидел эту пьесу, как только Бен Джонсон принес мне ее в Тауэр. Но, возможно, мы больше всего ненавидим то, что в мыслях и поступках других людей напоминает нам нас самих?) Гамлет притворился безумным, чтобы отвести от себя все подозрения, будто он может быть опасен для короля. А потом уже стал таким, каким хотел казаться. Не моя ли это судьба? И не каждого ли человека вообще? Мы *такие*, какими притворяемся. В этом суть. Мелкие различия несущественны. Нет грани между душой и ее деяниями.

Сорок страниц безумного притворства!

Мерзкий стиль! Язвы прокаженного! Гнойники!

Кэрю, прочитай одно начало.

Как я трудился над ним...

Оно лучше (может быть) всего остального.

*

*Оправдание сэра Уолтера Рэли,
касающееся его неудачного путешествия в Гвиану*

Ежели неудача, которую претерпело мое путешествие, была бы единственной и исключительной, мне для собственного оправдания потребовалось бы длинное объяснение и множество доводов. Но ежели честолюбивые планы величайших правителей Европы (как в их войнах друг против друга, так и в борьбе с турками, о чем свидетельствует вся современная история) терпели провал, то нет ничего удивительного в том, что я, простой смертный (влача за собой груз цепей и кандалов, в кои тринадцать лет был закован в Тауэре, не получив прощения от моего государя и не смыв позора), через ошибки других людей потерпел поражение в предпринятом плавании.

Ибо, ежели Карл V вернулся из Алжира в Африке с неисчислимыми потерями (если не сказать, с бесчестием)...

Ежели король Себастьян потерял армию и собственную голову в Берберии...

Ежели непобедимый флот Испании был разбит в 1588 году адмиралом Англии лордом Хауардом...

Ежели монсеньор Строцци, граф Бриссак и другие, располагая пятьюдесятью восемью судами и шестью тысячами солдат, столкнувшись с более слабым противником, все же не смогли защитить Терсейру...

И — оставляя в стороне множество других безуспешных

предприятий королей и принцев — ежели сэр Фрэнсис Дрейк, сэр Джон Хокинс и сэр Томас Баскервиль (мужи редкостных и славных достоинств) во главе большого отряда кораблей Ее Величества и многих солдат не смогли овладеть сокровищами, которые на их глазах погрузили на несколько фрегатов в Пуэрто-Рико...

Ежели впоследствии в горах Васкес-Нумиус или Сьерра-де-Капра они не смогли преодолеть сопротивления пятидесяти негров и добраться до Панамы...

Ежели сэр Джон Норрис вернулся из похода на Лиссабон, потеряв от болезней и других превратностей восемь тысяч солдат — впрочем, его вины в том не было...

Следует ли удивляться моей неудаче?.. Мой отряд состоял только из добровольцев, большинство коих ранее не видели ни моря, ни настоящего сражения, и, ежели не считать сорока офицеров, все волонтеры были преступниками, пьяницами, богохульниками — не сомневаюсь, что их отцы, братья и друзья искренне радовались счастливому избавлению, вложив в предприятие всего тридцать, сорок или пятьдесят фунтов и зная, что их содержание в течение года дома обошлось бы гораздо дороже...

Я повторяю: что удивительного в том, что я потерпел неудачу?.. Там, где я не мог присутствовать сам и куда не мог послать ни одного из командиров, коим доверял и кои были способны заменить меня...

*

Достаточно. Достаточно, чтобы показать тебе, насколько этого *недостаточно*. Ты заметил намеренно лживую похвалу лорду-адмиралу Хауарду (будто этот старый тюлень один разгромил Армаду!)? И убогие попытки оправдать бездарную свинью Норриса (в отличие от тех восьми тысяч он все еще жив и похрюкивает в грязном хлеву среди любимчиков Его Величества)?

Мое оправдание — гниль. Оно смердит. Я презираю свою правую руку, написавшую его. Надо брать пример с Кранмерз. Когда по приказу королевы Марии его сжигали на костре, он сначала сунул в пламя свою правую руку, ту самую, которая в минуту страха и душевной слабости подписала "отречение" от "ересей".

Неправды я не писал. Но и всей правды тоже. Да и как я мог? Как выразить словами то, чему я учился (и не научился) у индейца? Правда в том, что истина познаваема, но невыразима! А если и непознаваема, то становится все ближе с преодолением нашего невежества. А если и выразима, то только в попытке

разобрать и осмыслить те причудливые и быстро исчезающие рисунки, что ветер разума создает на зыбучих песках нашего сердца.

Правда в том, что я не ведаю, о чем говорю.

Слишком опустошен, чтобы понимать. Слишком смят и подавлен, чтобы говорить.

Надо спать.

Пусть сон подкрепит мой истерзанный разум! Мой сломленный дух!

*

Не могу заснуть. Мне не дано забиться. Пульс скачет. Глаза, я их вижу в зеркале, покраснели от бессонницы. Все это, должно быть, из-за проклятых листьев *коки*. Я к ним больше не приронусь. Да в этом уже и нет нужды. Мне более не для чего бодрствовать. Часы собора бьют три раза. Скоро рассвет. Сегодня прибудет Его Величество. Боже, храни короля! Боже, храни сэра Уолтера Рэли!

*

Эта книга со всей ее путаницей, со всеми сомнениями, откровениями, бесконечными блужданиями по безбрежным пустыням — эта книга гораздо ближе к истине, чем мое проклятое *Оправдание*. Но какая нелепость! Какая дьявольская ирония! Если некоторые ее страницы попадут в руки короля Якова и Тайного Совета, то меня распнут вниз головой где-нибудь на скотном дворе в Испании. А Кэрю (для которого я начал ее писать)? А Бесс (для которой я должен ее закончить)? Я готов их понять и простить, если, прочитав ее, они пожелают мне и более страшной кары.

*

Простота — это совсем непросто. Мои слова. Я сказал их каменщику, собиравшемуся похоронить своего сынишку как собаку. Он обманул меня. И Кеймис обманул меня. И Уолластон, и Уитни, и Гондомар, и Хед, и мой кузен. Эссекс и Сесил. Паркер, Норт и старый Беррио. Елизавета, Яков и золотарь. Коук. Кобэм. Священник... О, список их не уступает макбетовскому, его можно продолжать до Страшного суда... Все лгуны, обманщики и лицемеры — от принца до простолюдина, от вельможи до бедняка. А я сам? Величайший лжец, обманщик и лицемер. Я не вырыл для своего сына даже собачьей могилы. *Простота — это*

совсем непросто. Мои слова. Мне ли этого не знать?! Ведь она-то мне и не давалась. Никогда. Я всегда странствовал по глубоким, обманчивым, предательским водам. Я никогда не жил в простоте. Разве я заслужил смерть простого человека? Чтобы хорошо умереть, надо сильно любить. Мне кажется, что я никогда и никого не любил.

*

Ни короля Якова, ни Тайный Совет не тронет мое *Оправдание*. Пустая и унижительная затея! Оправдываться перед теми, кто замыслил погубить тебя!

Надо хотя бы немного поспать. Мой мозг кровоточит.

Вот единственная разумная фраза во всей моей писанине: *Как удача не требует копания в ошибках, так и противное не терпит оправданий.*

Представляю, как Фрэнсис Бэкон подчеркивает эти слова для Его Величества своей паучьей лапой.

И король Яков по-королевски отблагодарит его.

Ибо из этого следует, что остальное ему можно не читать.

45

Полдень, 1 августа

Стьюкли только что прислал сказать, что мы выезжаем *немедленно*.

Он до сих пор не раскусил мою хитрость. Сэм и индеец должны перенести "прокаженного" на матрасе в специально приготовленную громадную черную карету.

Интересно, поскачет ли сэр Льюис впереди с колокольчиком?

*

Для шуток нет времени! Ограничусь только фактами.

Мы ползем в Лондон черепашьям шагом. Это обещал мой родственник. Я буду окружен заботой и вниманием. Такова воля Его Величества короля!

Аминь.

Да будет так.

Другими словами: кузен Льюис получил известия от короля Якова. И король Яков повелел убрать меня из Солсбери до его прибытия сюда.

Его Величество не хочет меня видеть.

Его Величество преисполнен решимости более никогда меня не видеть.

Может, мне стоит гордиться этим?

Едва ли причина только в моей "болезни", которая наполняет страхом маленькое монаршее сердце.

*

Двадцать крон.

Я только что вручил доктору Манури двадцать крон в pistolaх за медицинские рецепты и доставляемую мне провизию.

И это еще не все. В своей сумке он сумел вынести из дома мое *Оправдание*. Он берется передать сей злосчастный документ в руки сэра Эдварда Пелэма, когда-то служившего лорду Лестеру, а ныне живущего здесь, недалеко от Банкетного зала.

Я был знаком с Пелэмом в Ирландии. Однажды, когда на нас во время переправы напал отряд ирландских кернов, я спас ему жизнь.

Через него моя путаная писанина попадет к королю.

Что бы мне это ни сулило...

*

Манури мне послан богом. Со всеми его рвотными снадобьями и пилюлями. Один бог знает, что бы я делал без помощи этого простодушного химика, без моего услужливого француза с большими ушами и костистым носом, из которого торчат жесткие, словно проволока, рыжие волоски.

Он тоже, кажется, привязался ко мне. Ему нравится, как мы надули моего кузена. Он не перестает удовлетворенно хихикать, когда мы остаемся наедине.

Преданность его я, конечно, хорошо оплачиваю. Это помогает. Он беден. Выглядит изголодавшимся. Рассказывает ужасные вещи о том, что приходится терпеть на французских торговых судах. Во мне он видит, должно быть, своего спасителя. А для скрепления дружбы нет ничего лучше звонкой монеты.

*

Француз спросил, как я собираюсь спасти свою жизнь, если мое *Оправдание* не возымеет действия (в чем я уверен).

Я ответил честно: "Не знаю".

С галереи послышались семенящие шажки Стьюкли.

Пора кончать...

Все писалось в невероятной спешке...

46

3 августа

Андовер. Мы пробыли здесь два дня.

Сегодня утром уезжаем в Хертфордбридж.

Мой кузен (какими бы ни были его резоны) выполняет свое обещание. Мы едем с частыми остановками. У моей постели в карете дежурит индеец.

Я все еще не решил, что делать дальше.

Вчера вечером Сэм сказал мне:

— Жаль, что вы не уплыли на французском корабле.

— Чтобы жить в бесчестии? — огрызнулся я.

— Все же лучше, чем в бесчестии умереть, — сказал Сэм.

Потом я пересказал ему нашу беседу со Стьюкли. Что меня могут и не выдать Испании. Что, возможно, в Лондоне будет устроено судебное разбирательство. Что Хауард и Букингем мне помогут. Все мои слова падали в пустоту.

— Стьюкли сошел с ума, — сказал Сэм. — Адмирал, надо было вам уплыть во Францию.

*

А сегодня, в понедельник, на рассвете ко мне зашел Манури.

Те же чувства и мысли, но высказанные более красноречиво.

Он уверен, что мой король недооценивает меня. Ему непонятно, почему со мной так обращаются. По его разумению, еще хуже то, что я гублю себя сам. Особенно когда *его* король готов принять меня с распростертыми объятиями. Он громко процитировал французскую поговорку: *Il vaut mieux plier que rompre*. Лучше гнуться, чем ломаться — таков ее смысл.

— Милорд Рэли, зачем вам гибнуть в Испании, когда вы можете славно доживать свой век во Франции?

Разговоры о пользе сгибания мне были не по душе, но я смолчал.

Я попросил у него мандрагоры. Чтобы заснуть в карете. И чтобы утишить боль (хотя вторую причину я от него скрыл).

Ибо я понимаю полную бесполезность моего *Оправдания* и какой-то голос нашептывает мне: Сэм и доктор Манури правы.

Старый друг и друг новый, не сговариваясь, советуют одно и то же.

Трусливо бежать?

Или найти в себе мужество преодолеть страх показаться трусом, стать хозяином, а не жертвой своей судьбы и признать, что долг человека — *жить*?

*

Из моего окна я вижу крыши, подернутые туманом. Небо над ними — озеро чистой прохладной голубизны. Робин только что принес мне полевые цветы, собранные им на берегу Энтона. Утренняя роса возродила их к жизни.

*

В понедельник вечером.

Я не стал пить снотворное зелье.

Сегодня днем я наконец-таки принял решение.

Сэр Уолтер Рэли отказывается умирать Гуаттаралем. Он обрекает себя на жизнь Гуаттарала.

Я последую совету Сэма и француза.

Сбегу от Стьюкли!

Во Францию!

*

Мы остановились в одной из гостиниц Хертфордбриджа. Я позвал к себе моих друзей. Индеец стоял на страже у двери. Я сказал им о моем решении. Робин захлопал от радости в ладоши. Я остановил его. Затем шепотом обратился сначала к Манури, а потом к Сэму, ибо без их помощи задуманное мною невыполнимо. Лишний раз убедившись в их искренней готовности помочь, я изложил им свой план.

Манури я сказал следующее:

— Дайте мне еще одну порцию вашего отвратительного снадобья. Я должен и дальше притворяться, будто болен проказой. Я намереваюсь обратиться к кузену с просьбой убедить Тайный Совет, что в сложившихся условиях меня лучше отправить в дом моей жены на Брод-стрит. Они, конечно, будут настаивать, чтобы Стьюкли оставался там со мной. Но, убедившись в моей немощи и боясь страшной заразы, он, если мне повезет, не будет чрезмерно усердствовать. И я выскользну из рук сэра Льюиса Стьюкли через заднюю дверь!

Манури кивнул.

— Могу я бежать вместе с вами? Если я останусь в Англии,

меня повесят!

— Разумеется. — Я сделал паузу, не желая обидеть его. Но, зная, что он беден и должен искать место, продолжал: — Вы меня обяжете, если останетесь служить у меня и во Франции. Могу вам обещать пятьдесят фунтов в год до конца ваших дней.

Он схватил мою руку, изливая бессвязный поток благодарностей.

Я остановил его.

Потом повернулся к Сэму Кингу.

— Сэм, я добьюсь для тебя у Стьюкли разрешения отправиться на Брод-стрит заблаговременно. Я скажу ему, что необходимо предупредить Бесс о моей проказе.

— А если Стьюкли не даст разрешения?

— Тогда поедешь так! Все равно — с разрешением моего кузена или без него. Мчись как ветер! И не на Брод-стрит! Сначала поспеши в Грейвзэнд. Найми судно. Возьми с капитана клятву молчать. Договорись с ним, чтобы судно было готово к отплытию в следующий понедельник с утренним приливом.

Сэм заулыбался. Стал трясти мою руку. Закивал головой в знак одобрения.

— В красной кожаной шкатулке, что стоит в углу, возьми деньги, — продолжал я. — Не стесняйся. Бери побольше. Выбирай капитана осторожно.

— Джек Ли, — произнес Сэм задумчиво. — Он когда-то служил у вас боцманом.

— Прекрасно. Ты уверен, что он все еще живет в Грейвзэнде?

— У Виндмильского холма.

— А его судно?

— "Борзая". Кеч.

— Очень хорошо. Но избегай всякого риска. Зафрахтуй ее на свое имя. Можешь сказать, что не хочешь, чтобы тебя казнили вместе со мной.

Сэм покачал головой.

— Старого Джека на мякине не проведешь.

Я колебался.

— Но он не выдаст?

— Никогда. На него можно положиться. И все же я не собираюсь упоминать ваше имя. Я скажу ему только, что несколько джентльменов с "Судьбы" собираются бежать во Францию. Из тех, у кого есть основания считать, что король Яков жаждет их крови. Кто остался верен вам.

— А если он потребует список этих достойных джентльменов?

Сэм разгладил свои длинные усы. Потом вытянул губы.

— Я запишу вас как мистера Ричарда Хеда!

Я был признателен старому другу за шутку, рассмешившую меня. Сказал ему, чтобы из Грейвзэнда он не медля отправлялся на Брод-стрит, предупредил Бесс о моем приезде, о том, что

проказа моя ненастоящая, и заверил ее, что через несколько дней ее муж, как она того и желает, будет во Франции.

Робин заерзал на стуле.

— А я что буду делать?

— О, — сказал я. — Тебе досталось самое трудное. Вечером накануне бегства ты пойдешь к Стьюкли. Возьмешь с собой твою гамбу. Будешь превозносить его музыкальные таланты. Попрошишь дать тебе продолжительный урок. Постараешься напоить его.

Робину это понравилось. Он было решил снова захлопать в ладоши, но вовремя передумал.

Манури сказал:

— Я приготовлю сильное снотворное, которое ты подмешаешь ему в вино.

Мы все от души расхохотались.

*

Думаю, что сегодня буду спать как убитый.

И мандрагора мне не потребуется.

47

5 августа

Вчера утром, предварительно вызвав обильное высыпание на теле прыщей и волдырей и сильное сердцебиение (для чего перевязал руки шелковой лентой), я послал Робина вниз к Стьюкли передать мою просьбу, чтобы сэр Льюис из милосердия и родственных чувств позволил мне отдохнуть еще сутки в Хертфордбридже, а тем временем сам сумел бы получить разрешение Тайного Совета доставить меня на Брод-стрит, где я и буду находиться до выдачи меня Гондомару.

Через несколько минут в дверях моей комнаты появился сам пухлощекий кузен.

Он сосал устрицу.

— Сэр Уолтер, — объявил он. — Считайте, что все решено!

— Мои старые кости...

— Да-да. Вы должны дать им отдых.

— А второе дело? Тайный Совет? Вы думаете, они дадут согласие?

Стьюкли скрестил два пальца левой руки.

— Лорд-адмирал и я... мы действуем заодно.

— Вы добры ко мне, кузен.

— Я ваш друг. Как жаль, что вы мне не доверяете! Это все из-за болезни.

Я слабо кивнул.

— Сэр Льюис, окажите еще одну услугу. Леди Рэли... будет поражена моим видом. И потом, чтобы не заразить ее, на правах калеки я хочу просить для себя отдельную комнату. Могу я послать своего человека Кинга в Лондон заблаговременно? Чтобы предупредить ее? И осторожно подготовить к моему приезду?

Стьюкли широко развел руки, что, надо полагать, означало у этой мартышки крайнюю доброжелательность.

— Почему же нет?

— Спасибо, кузен.

Стьюкли жадно проглотил устрицу.

— Не отчаивайтесь, — бодро сказал он. — Из-за болезни вам все видится в мрачном свете.

— А вам все видится иначе?

— Испанские власти отвергнут требование Гондомара. Если бы я держал пари, я много поставил бы на это.

— А каковы шансы на разбирательство моего дела в суде?

Стьюкли оглядывался, куда бы ему выбросить пустую раковину. Я показал на мой ночной горшок. Он тщательно прицелился. Промазал. Потом сказал:

— Буду, как всегда, откровенен с вами. Тайный Совет склоняется к судебному разбирательству, но король против. Он не забыл ваше красноречивое выступление на суде в Винчестере. Один из его шотландских друзей слышал вас там. Он сказал, что до суда прошел бы пешком сотню миль, чтобы увидеть вас на виселице. Но после суда готов был отшагать тысячу, чтобы спасти вас. Его Величество, конечно, непредсказуем. Но я должен сказать, что, судя по всему... он боится вашего языка; он не допустит, чтобы вы говорили публично.

Я затрясся в яростном приступе кашля.

Мой кузен отступил на галерею. Прикрыл рот рукавом.

Я прокаркал ему вслед:

— А я *держу* пари, сэр Льюис, и думаю, что ваша оценка положения верна. Я поставил бы на это все мои табачные деньги!

— Тогда бы вы выиграли пари, но потеряли жизнь. — Стьюкли беспокойно оглядел галерею. Очевидно, там не было никого, кроме индейца, поскольку он добавил шепотом: — Табачные деньги можно использовать с большей пользой, и вы знаете это.

Он ждал, переминаясь с ноги на ногу.

Я молчал.

Стьюкли пожал своими покатыми плечами. Потом ушел.

*

Сэм отправился выполнять поручение вчера в полдень.

*

Сегодня, в среду утром, мы возобновили наше похоронное шествие. В карете я рассказал индейцу о своем решении. Я говорил тихо и по-испански. Стьюкли, который ехал верхом рядом с каретой, не мог нас слышать. Я уверен в этом. Было ветрено и дождливо — наконец-таки небеса сжалились и избавили Англию от невыносимой жары. Я с удовольствием заметил, что мой кузен промок до нитки.

Индеец не удивился, узнав о моих новых намерениях. Если он и не одобрял меня, то вида не показывал. Он долго сидел молча. Потом спросил:

— Гуаттараль возьмет меня с собой?

Я ответил, что возьму.

*

Когда мы прибыли сюда, в Стейнс, я уже был вполне доволен собой. Гостиница чистая. Я начал действовать. Просто удивительно, насколько любое действие, каким бы отчаянным или безнадежным оно ни было, поднимает мой дух. Я словно часы. Мне необходимо отбивать время! Груз моих мыслей гнетет меня все больше. Тогда я начинаю раскачиваться из стороны в сторону, будто маятник, запертый в коробке. Завести меня трудно, а пустить — еще труднее. Но как только часы заработали и раздался звон курантов — я спасен!

*

Только что я попросил Робина принести холодной индюшатины. Когда я ел, в дверь вошел Стьюкли. Он не постучался. За ним шел индеец.

— Значит, аппетит вернулся, — заметил мой кузен.

Я тяжело вздохнул. Отдал блюдо Робину. Половина индюшатины была не съедена. А я бы с ней вполне справился.

— Худшее, видимо, позади, — сказал Стьюкли.

— Надеюсь. Доктор Манури делает все возможное.

— Да, согласен, — сказал мой кузен. — Для француза он просто великолепен. Я не доверяю этим лягушатникам, но Манури кажется вполне приличным человеком. Впрочем, выглядит он отвратительно. Кто, черт возьми, проел дыру в его шляпе?

— Я никогда не сужу о моих докторах по шляпам.

Стьюкли ухмыльнулся. Он был в необычайно хорошем настроении. Его пухлые мальчишеские щеки заливал румянец. Я понял, что он хорошо согрел себя элем или вином, стараясь

забыть поездку под дождем.

– Надеюсь, вы хорошо спали, сэр Уолтер.

– Как и вы, кузен Льюис, как и вы.

– Я? – Он хлопнул себя по жирным ляжкам. – О, я всегда сплю как бревно. Знаю одно средство. Вернейшее. Я играю на скрипке. Прекрасно усыпляет.

– Небеса – это музыка, – заметил я.

Он просиял.

– Совершенно верно. Вы так умело пользуетесь словами. Завидую вам. *Небеса – это музыка*. Боже, как я хотел бы выдумывать такое...

– Сэр Льюис, я только цитировал.

Он нахмурился.

– Опять Шекспира, да?

– Нет. Томаса Кэмпиона¹.

Он успокоился.

– А-а, Кэмпиона. Кэмпион, кажется, доктор?

– Кажется, да. Но я не видел его шляпы.

Стьюкли издал пронзительный смешок.

– К вам вернулось и остроумие, – закричал он. – Вы скоро совсем поправитесь. – Он повернулся к выходу. – Тем не менее мы отдохнем здесь два дня.

Это меня устраивает. Я промямлил слова благодарности.

– Ерунда, сушие пустяки, – сказал мой кузен.

*

Я много думал об этом, и мысли мои были не из приятных. Меня беспокоит чрезмерная веселость Стьюкли. Я даже подумал, не отравлено ли мое мясо...

6 августа

Мое мясо не отравили. Но я был прав в своих опасениях.

Ситуация изменилась.

*

Когда я проснулся сегодня утром, около моей кровати сидело четверо. Двое знакомых: Робин и индеец. Двух других прислал Стьюкли.

¹Кэмпион. Томас (1567–1620) – английский врач, поэт и музыкант.

Робин сказал:

— Сударь, мы ничего не могли сделать. Ваш кузен настаивал...

Взмахом руки я прервал его.

Потом обратился к индейцу по-испански:

— Что это значит?

— Я не знаю, — ответил он. — Не знаю также, говорят ли эти сторожевые псы по-испански.

Я мельком взглянул на незваных гостей. Они сидели с каменным выражением лица, положив руки на колени. Но один едва заметно нахмурился. Я догадался, что он говорит по-испански и не очень обиделся на то, что его назвали сторожевым псом.

Какое-то время я лежал молча. Затем сказал Робину, что буду завтракать. Он принес мне еду. Вскоре пришел мой кузен.

— Вы хорошо спали, сэр Уолтер?

— Сон был лучше пробуждения. Ваши люди не дают мне дышать — здесь и так мало воздуха. Зачем они здесь? К чему эти дополнительные меры предосторожности?

Стьюкли кусал ногти. Он выглядел смущенным.

— Чтоб быть уверенным, что ты не сможешь бежать, предатель! — крикнул он. Затем повернулся к стражникам. — Я освобождаю вас от дежурства. Идите поешьте. Негодяй не сможет убежать, пока я здесь.

Робину и индейцу он тоже приказал покинуть комнату.

Проверив, нет ли кого на галерее, он подошел, улыбаясь, к моей кровати.

— Кузен Уолтер, — сказал он. — Простите меня.

— За ругань?

Стьюкли подмигнул.

— Это для них. Вы понимаете? Выслушайте меня, умоляю вас, выслушайте меня внимательно. Клянусь богом, перед которым я предстану, что говорю правду. Что касается стражи в вашей комнате, то у меня нет выбора. Ночью я получил известие. От короля!

— Не от Тайного Совета?

— От самого короля Якова! Из Солсбери! С нарочным. Срочный приказ. Я не должен спускать с вас глаз ни днем, ни ночью.

— Его Величество очень внимателен, — сказал я тихо.

— Кузен, ваш сарказм неуместен. У нас нет на это времени.

— А на что у нас есть время, сэр Льюис?

— На бегство во Францию, — зашипел Стьюкли. — Во Францию! На свободу!

— Вас посадят в Тауэр, — сказал я тихо.

— Нет, — сказал Стьюкли. — Я убегу с вами.

Он все время улыбался — как сумасшедший.

Я не отвечал. Смотрел на его губы, кривящиеся в улыбке.

— Боже! — закричал Стьюкли. — Что мне сделать, чтобы до-

казать мою любовь к вам? Вы понимаете, что значит убежать с вами? Я вице-адмирал Девона. Уже одно это приносит мне шестьсот фунтов в год. Вы сами занимали высокие посты в королевстве. Вы знаете, что все это деньги... — Он засопел. — Конечно, я уверен, вам плевать, если ваш родственник подохнет с голоду.

Я ненадолго задумался. Наконец сказал:

— Значит, вы все еще хотите помочь мне? Готовы обмануть своих людей? Ослушаться короля?

— Да!

— Готовы даже бежать со мной во Францию?

Он закивал. Улыбнулся. Глаза его горели безумием.

— Сэр Льюис, — сказал я, — готовы ли вы умереть вместе со мной?

Я вытянул правую руку. Ее покрывали отвратительные гнойники доктора Манури.

— Кузен, — предупредил я его, — в этой руке может таиться смерть... Зараза...

Стьюкли не колебался.

Он крепко сжал мою руку двумя своими.

*

Я сказал, что мне нужно время, чтобы все обдумать. Кузен Льюис удалился. Двое стражников и индеец вернулись в комнату. Когда пришел Робин, я попросил его принести трубку и табак.

Я лежал и курил.

Пытался навести порядок в мыслях.

*

Медленно выкурив несколько трубок, я послал Робина спросить у моего кузена, нельзя ли доктору Манури прийти перевязать мне раны. И нельзя ли на время перевязки удалить стражников за дверь. Они могут, предложил я, подежурить снаружи. На листе бумаги я написал: "Не откажите, и я пришлю мой ответ с французом".

Стьюкли, должно быть, принимал решение в муках. Робин вернулся только через час. Но вернулся вместе с моим кузеном. Сэр Льюис отослал стражников на галерею. Он настоял на том, чтобы индеец и Робин тоже ушли. Затем он послал за Манури. Когда тот появился, мой кузен оставил нас вдвоем.

— Но только на десять минут, — предупредил он с опаской.

*

Я рассказал Манури о случившемся. Он озабоченно ходил из угла в угол.

— Il ne faut jamais défier un fou, — пробормотал он. — Никогда не связывайтесь с дураком.

— Мой кузен — не просто дурак. Он сумасшедший. И вопрос не в том, связываться с ним или нет. Теперь я *должен ему довериться*. У меня нет иного выхода.

— Но когда вы будете в доме вашей жены...

Я нетерпеливо замотал головой.

— С парой его людей днем и ночью неотлучно при мне? Нет. Это все меняет. До Грейвзенда я смогу добраться только одним способом. Поймав на слове моего треклятого родственника.

— Вы все ему расскажете?

— Я расскажу ему достаточно.

— Он убьет меня!

— Не беспокойтесь. Я ничего не скажу ему о том, как вы помогли мне симулировать эту болезнь. Пусть он и дальше думает, что я прокаженный. Только представьте! Он пожал мне руку!

Манури почесал свой нос.

— Вы правы. Он наверняка сошел с ума.

— Теперь я убедился в этом окончательно, — сказал я. — Мой кузен — свихнувшаяся жадная свинья. Но сейчас мы должны метать перед ним бисер.

Маленький француз вздохнул.

— Milord, vous avez raison¹. Хотя мне это не нравится. Что я должен сделать?

Я показал на мою кожаную шкатулку.

— Там есть драгоценная вещица. Алмазная снежинка, с рубином в центре. Отнесите ему. Она стоит сто пятьдесят фунтов. Скажите, что, кроме этого, он получит еще пятьдесят фунтов деньгами.

— И больше ничего говорить не надо?

— Ничего. Такие вещи для моего кузена красноречивее любых слов.

Манури поклонился и вышел.

*

На сей раз мой родственник не мучился сомнениями. Уже через пять минут он был у моей постели.

— Кузен Уолтер, вы приняли верное решение. Благодарю

¹Милорд, вы правы (франц.).

вас за подарок. Прекрасная вещь. Что до пятидесяти фунтов, то...

— Это символическая сумма, — сказал я устало.

— А, я так и знал!

— Как только мы доберемся до Франции, моя жена пришлет вам еще тысячу.

Стьюкли заулыбался.

— Кузина Бесс щедра. Но...

— Можете оставить себе и табачные деньги.

Стьюкли присвистнул.

— Вот это да! Вы, естественно, понимаете, кузен, что я это делаю не ради денег. Но жить-то надо, не так ли?

В случае с моим кузеном я такой необходимости не видел.

Однако прикусил язык.

Стьюкли подышал на драгоценную снежинку, потом тщательно потер ее о свой дублет.

— А теперь, кузен, — сказал он гордо, — я расскажу вам, как вы сможете бежать. Я знаю одного француза...

Я оборвал его.

Сказал, что все устрою сам. Что от него требуется только не путаться под ногами. А также ослабить наблюдение за мной, когда мы приедем в Лондон. И, естественно, держать язык за зубами и подчиняться моим приказам. Что касается моего конкретного плана, я говорил осторожно, но рассказал достаточно, чтобы он поверил в его выполнимость. Из участников я назвал только Сэма Кинга. Этого избежать было нельзя.

Когда я кончил говорить, Стьюкли кивнул.

— Все будет, как вы хотите, сэра Уолтера.

— Надеюсь на это, кузен.

— Теперь вы мне верите! Наконец-то! Большая честь для меня.

— Что ж, и я о чести буду говорить¹.

— Это похоже на цитату, кузен.

— Верно, кузен.

— Доктор Кэмпбелл, кузен?

— Нет, кузен. Мистер Шекспир.

Стьюкли продолжал улыбаться.

— Рад слышать цитату из Шекспира, которую способен понять простой человек вроде меня. Очень к месту. Она достойна вашей великой судьбы, сэра Уолтера. — Он встал, собираясь уходить. — Стража пока останется при вас. Сожалею. Но мы должны сохранить видимость. Вот когда мы будем на Брод-стрит... Вы увидите сами. Верьте мне, кузен.

¹ Шекспир. Юлий Цезарь. Часть I, сцена 2. Перевод М. Зенкевича.

*

Я бы выпил сейчас аскебо.
Я бы выпил можжевеловки.
Честь?
Честь — всего лишь слово¹.
И это тоже Шекспир.

*

Я поверю сэру Льюису Стьюкли, только когда увижу берег Франции.

49

8 августа

Сегодня днем мы приехали на Брод-стрит. Бесс была дома. Кэрю тоже.

А также Сэм. Все идет по плану. Кеч стоит на якоре у Тилберия, в двадцати пяти милях ниже Лондонского моста.

Верится с трудом.

Последнее странствие. Короткое и приятное.

Кратковременные самообманы лучше других.

И самый приятный из них — свобода.

*

Бесс наконец довольна мной. Она ходит по дому, напевая. По ее мнению, кузену Льюису следовало доверять с самого начала. Нечего и говорить, что Стьюкли польщен. Они прекрасно ладят друг с другом. Сегодня вечером они вместе ужинали. Ели куропатку.

(Я ем отдельно. Все еще разыгрываю заразного больного, хотя Бесс и не понимает зачем. Как ей сказать, что я не разделяю ее доверия к нашему сумасшедшему родственнику? Это только обеспокоит ее. Видит бог, беспокойств я доставлял ей достаточно.)

Бесс говорит, что приедет ко мне в Париж вместе с Кэрю и что мой племянник Джордж обещал помочь ей, как только они получат известия о том, что я добрался туда. Я говорю, что предпочитаю тихое и малолюдное место. Она согласна на любое, где говорят по-французски и не вешают мужей!

¹ Шекспир. Генрих IV. Часть I, акт IV, сцена 3.

*

Сэм не очень доволен тем, что Стьюкли посвящен в наши дела. Но когда Робин и Манури рассказали ему о сторожевых псах, он согласился, хотя и неохотно — как, собственно, и я, — что другого выхода у нас нет.

Стражу *действительно* удалили. Один только дьявол знает, что сказал им Стьюкли. Мне все равно. Он сдержал свое слово. Разум кузена помутился. Но слово свое он сдержал.

В комнате, где я сейчас пишу, кроме меня, никого нет. Это уже что-то.

*

Робин говорит, что доктор Манури появился за ужином в новой шляпе! Он купил также костюм из расшитой тафты — такие сейчас в моде при французском дворе. Каждый раз, когда он кланяется Бесс (а это, по свидетельству Робина, происходит часто), шелковые ленты его наряда взлетают в воздух.

Для них это маленькое развлечение, они его заслужили.

Робин раздосадован и опечален. Ведь теперь ему не придется спаивать Стьюкли во время урока игры на виоле да гамба. Я сказал, что он сможет сделать это во Франции. Только тогда урок будет давать уже *он*.

*

Индец до смерти напуган Лондоном.

Крики на улицах. Движение множества карет и повозок. Шумные толпы людей. Таверны и лавки. Шпили, дворцы, колокола. Для него это слишком. Когда наша карета проезжала через Ладгейт, он заплакал.

Дом его тоже пугает. Так много комнат. Столько коридоров. Столько ниш и тупиков. Он теряется в них. Кэрю услышал его крик в мансарде. Мой сын взял его за руку и привел, как ребенка, вниз.

*

Минуту назад индеец вошел ко мне. Он стал медленно ходить вдоль стен, оторопело водя руками по кожаным корешкам моих книг.

— Гуаттараль — поэт, — сказал он. — А я когда-то считал его пиратом!

Затем он долго стоял у окна, наблюдая, как на улице зажигают фонари.

— Ты жалеешь, что приехал? — мягко спросил я его. — Может быть, тебе хочется вернуться домой, в Согамосо?

Он, не поворачиваясь, пожал плечами. (Странно, но мне теперь нравится эта его привычка.)

— Дома я был бездомным, — ответил он. — Твой Лондон только напоминает мне, что весь этот мир — чужой для нас.

И он ушел.

Уходя, сказал, что будет молиться своим богам и попросит их не оставить нас без помощи завтра.

*

Это должно произойти завтра.

Сэм Кинг уговаривал меня бежать сегодня ночью. Джек Ли будет готов, сказал он, с ним все в порядке. Его посудина — "Борзая" — уже натянула поводок...

Но я слишком измотан, чтобы бежать сегодня.

А завтра воскресенье. В воскресную ночь на Темзе спокойнее и безопаснее.

Кроме того, хочу, чтобы все шло своим чередом. Эта ночь мне нужна, чтобы побыть с Бесс. Кто бы знал, как нужна.

50

10 августа

Третье странствие закончилось.

Моя судьба совершила полный оборот.

А разве в глубине души я ожидал чего-нибудь иного?

Нет. Никогда.

Все точно так, как я ожидал — до последнего поцелуя Иуды.

*Когда бы Правда ограждала честных
От сговора вражды и клеветы! —
Но Правда одинока, как известно¹.*

Итак, сэр Уолтер Рэли снова дома.

Дома.

В Таузере.

Где ему и место.

¹Перевод Г. Кружкова.

Собака возвращается к своей блевотине.
Вот что произошло...

*

Мы покинули дом моей жены на Брод-стрит за минуту до полуночи. Все складывалось лучше не придумаешь. Безлунная ночь. С реки поднимается густой летний туман. На улицах ни души. Темно, хоть глаз выколи.

Мы медленно ехали боковыми улицами, оставляя в стороне большие дома Вестминстера. Кучер знал свой Лондон. Факелы ему не требовались. Копыта лошадей были обернуты чем-то мягким. Изредка слышалось тихое поскрипывание сбруи. Может быть, он обернул во что-то и упряжь. Или же туман приглушал все звуки.

В карету мы втиснулись впятером: я, индеец, Робин, Манури и Стьюкли. Француз был одет в свой нелепый парижский наряд. Мой кузен, как обычно, облачился в крикливое старье, бывшее в моде полвека назад. Дублет с выпуклым передом придавал ему вид беременной шляхи. Бархатные туфли персикового цвета на высоких каблуках. Рукава с буфами. Красные гетры. Штаны с разрезами. Круглый плюсовый воротник. Я снова увидел громадный старинный меч. Он держал его между ног, пальцы нервно барабанили по черной рукояти. Я спросил удивленно, как это, зная о моей болезни, он не боится сидеть напротив меня. В ответ мой родственник разразился потоком уверений в любви и верности. Он, видите ли, преисполнен решимости разделить мою судьбу, какой бы она ни была. Мысли мои были заняты другим, и я прекратил этот разговор.

Манури молчал. Все путешествие он просидел, уставившись на блестящие пряжки своих туфель.

Индеец, сложив на груди руки, тоже погрузился в свои мысли. Челюсти его размеренно двигались, пережевывая лист. Было так тихо, что мы слышали, как он сглатывает слюну.

Недалеко от Дарем-Хауса, моей бывшей резиденции, Робин нарушил тишину — потянув меня за рукав, шепнул, что ему срочно нужно выйти. Стьюкли выругался. Он не хотел останавливаться.

— Пусть ваш паж мочится в штаны, — предложил он. — У нас нет времени, сэр, для такой чепухи.

Я вежливо напомнил кузену, что ныне командую я. Робин вышел из кареты — мы ждали его. Прошло немало времени.

¹Перевод Г. Кружкова.

По крайней мере так казалось. Две минуты тянулись будто два часа. Стьюкли без конца поглядывал на свои карманные часы. Я слышал, как он вполголоса молится:

— Да падет господне проклятье на почки этого мальчишки.

Когда бедный Робин взобрался на сиденье рядом со мной, он был белее привидения.

— Я не испугался, — сказал он громко, — вы не подумайте.

Я заверил его, что никому из нас не приходило в голову ничего подобного. Мы продолжили путь уже чуть быстрее.

Когда мы объезжали парк Темпла, туман начал рассеиваться. Но как только у Среднего Темпла мы свернули с дороги и начали спускаться к воде по лабиринту мощеных аллей, он окутал нас еще более плотной пеленой. Туман клубился над Темзой зловещим облаком. Проникал в карету. Душил меня кашлем. Стьюкли прижал ко рту платок. Я уловил запах. Запах помады и ароматического зелья против заразы.

— Мы, должно быть, приехали, — прошипел мой кузен, задыхаясь. — По вони чувствую, что это "Эльзас"¹.

Я ничего не ответил. Лошади перешли на медленный шаг. Карета тихо продвигалась вперед в крошечной тьме.

— Сэр Уолтер, — взмолился Стьюкли, — ради всего святого, прикажите кучеру остановиться. Мы грохнемся вниз с лестницы Белых Братьев. Мы утонем в реке...

Я высунулся из окна. Темзы я не увидел. Но услышал плеск воды.

Вдруг по одному слову приказа, прозвучавшему впереди из тумана, карета качнулась и остановилась.

Я ждал.

Послышались торопливые шаги.

Шел один человек.

Дверцу кареты с силой распахнули.

Ко мне протянулись две руки.

Это был Сэм.

*

Добрый Сэм. Верный Сэм. Нас ждали два ялика. Он взял меня за руку. Повел вниз по лестнице Белых Братьев. Собственно говоря, я должен был видеть в темноте немного лучше других. Глаза мои еще не совсем забыли мрак Тауэра. И все же мне было приятно чувствовать руку Сэма. Ее братскую поддержку.

Манури споткнулся о сломанную ступеньку и упал. Индеец поднял его. Я слышал, как мой кузен велел Робину взять его,

¹"Эльзас" — район Лондона, где в XVI—XVII вв. находили себе убежище должники и преступники.

Стьюкли, за руку. На середине спуска Стьюкли завизжал. По его персиковым туфлям пробежала крыса. Мы застыли от ужаса. Но кругом было тихо, как в могильном склепе. Я промочил ноги. Причал заливало водой.

Два ялика. Гребцы ждали, держа весла наготове.

Сэм подтолкнул меня в первый. Затем забрался сам. Стьюкли вскарабкался за нами.

— Джентльмены должны ехать вместе, — объяснил он.

Индец и Робин сели во вторую лодку. Манури пришлось перенести на руках. Он стонал и охал. Жаловался, что подвернул ногу.

— Вперед, — сказал Сэм.

Гребцы налегли на весла.

*

Пока мы плыли, туман постепенно рассеивался. Я сидел на корме. Второго ялика я не видел, но по всплескам весел знал, что он плывет следом за нами. Сэм взгромоздился на нос и смотрел вперед. Мой кузен плюхнулся на сиденье рядом со мной. Послышался звук вылетающей пробки. Он открыл бутылку вина.

— Праздновать, — сказал я вполголоса, — кажется, еще рано.

— Вы так думаете? *Bon voyage*¹, как сказал бы наш друг Манури.

Стьюкли отпил из бутылки.

Потом протянул ее мне.

— Спасибо, не буду.

— Подождете до Грейвзенда?

— Подожду, пока окажусь там, где нет никаких Грейвзендов.

Стьюкли хмыкнул.

— Я забыл. Вы никогда не пьете. — Жадно причмокивая, он сделал еще один глоток. — Вино придает человеку смелость, — заявил он. — Скажите, кузен, неужели вы никогда не испытывали искушения?

— Бедлам, — сказал я.

— Что?

Я показал на левый берег.

— Малый Бедлам. Брайдуэлл. Тюрьма для умалишенных.

Стьюкли присвистнул сквозь зубы.

— Вы видите в темноте! Да вы летучая мышь!

— Летучим мышам помогает слух, обоняние и чувствительные крылья. Уверяю вас, что здания я не вижу. Я просто знаю, что сейчас мы должны проплывать мимо Брайдуэлла. Я определил это по речным водоворотам.

¹ В добрый путь (франц.).

– Вспомнил! – Мой родственник икнул. – Ну конечно, это бывший Брайдуэлльский дворец. Времен короля Гарри.

Видимо, он разговаривал сам с собой. Я решил, что ответа не требуется. Сказать по правде, я не испытывал желания поддерживать с ним беседу. Сэм оглядывался через плечо. Лучше было соблюдать полнейшую тишину.

Когда мы подплыли к монастырю Черных Братьев, туман лежал на тихой воде отдельными клочьями. Гребцы старались держаться ближе к берегу. Я смог разглядеть единственную стену, оставшуюся от монастыря.

Стьюкли отпил еще вина. Я был рад, что он захватил с собой бутылку. Так от него меньше шума.

Я оглянулся. Второй ялик плыл за нами совсем рядом. Светать еще не начало. Но я сумел разглядеть фигуру индейца.

*

У замка Бейнарда три башни. Я надеялся, что не увижу ни одной из них. Но увидел две. Поднимался ветер. Туман редел. Силуэты башен были чернее все еще черного неба.

Грязная пристань.

Пристань Поля.

Набережная Квинхит.

И снова пристани. И снова набережные.

Доугейт.

Сэм приказал грести быстрее. Весла гребцов поднимались, опускались, толкали ялик, опять поднимались и опять опускались. Банксайт и туман исчезли одновременно. Теперь в каплях воды, стекавших с весел, слабо мерцали звезды. Мимо проплыли Медвежий парк, театры "Роза" и "Глобус". Потом Саутуорк с его публичными домами и тюрьмами.

Быстрее. Сэм продолжал подгонять гребцов. *Быстрее.*

Но люди уже не могли грести быстрее.

Один из них смачно выругался. Мой кузен изобразил потрясение. Для такой спешки нет никакой необходимости, сказал он. Потом выпил еще вина. Почмокал губами.

Темнота, казалось, таяла с каждой минутой. На самом деле, конечно же, нет. Стояла глубокая ночь. Но я видел фонари, мерцающие у Эбгейта. Видел. А хотел бы не видеть ничего.

Хорошо хоть Темза текла здесь быстрее.

Она спешила к двадцати узким аркам Лондонского моста.

*

Пройти на лодке под Лондонским мостом все равно что преодолеть пережат. Опоры арок, защищенные деревянной

обшивкой, поставлены настолько близко друг от друга, что вода образует здесь мощные буруны и, теснясь в проходах, устремляется круто вниз. Перепад высоты составляет не меньше шести футов. Даже днем плавать здесь опасно. Ночью под мостом могут пройти только очень искусные гребцы.

У нас были именно такие.

Мы пролетели под мостом без происшествий.

Я посмотрел назад.

Второй ялик нырнул с высоты влед за нами, накренясь вбок — чтобы не врезаться в опору, один из гребцов резко оттолкнулся от нее веслом.

Я думал, они потонут.

Не потонули.

Весла гребцов снова заработали мощно и ритмично. Второй ялик занял свое место за нашей кормой.

Я увидел, что индеец встал. Победно вскинул руки.

— Ну вот и все, — сказал Стьюкли. — Худшее позади.

Думаю, что так оно и было.

Для него.

Для меня худшее только начиналось.

*

Кузен Льюис выпил все вино. Пустую бутылку он выбросил за борт. Схватил меня за рукав. Придвинул ко мне свое лицо.

— Сэр Уолтер, — сказал он, — я думаю, вас удивляет мой столь великолепный наряд?

Мои мысли были очень далеки от этого предмета. И я устался на него в полном недоумении.

— Так я скажу вам, — продолжал он доверительно. — Эта одежда не моя. Нет, сейчас-то она моя. Но шита была не для меня.

В это нетрудно было поверить. На его полной фигуре дублет сидел как корсаж. Его нижняя часть облегла кузена настолько туго, что напоминала пояс целомудрия. В своем наряде Стьюкли был похож на надутую жабу, которая вот-вот лопнет. Это, правда, не касалось его тощих ног. Сморщенные штаны висели на нем мешком.

— Шито лучшим портным в Корнхилле, — сказал он гордо. — Стоило бездну денег, уверяю вас. И это было во времена, когда деньги еще что-то стоили. Тогда вы сами были модником.

— Так чья же это одежда? — спросил я заинтригованно.

— Моя, — ответил Стьюкли.

— Да, но вы сказали...

— Вы что, считаете меня побирушкой? — на мгновение в голосе моего кузена зазвучали истерические нотки. Но тотчас же он успокоился. Вытер лоб шелковым платком. — Простите меня. Но этот костюм — символ моей чести. Я не покупал его. Он достался мне *по наследству*, понимаете?

— Понимаю, — сказал я.

— От отца.

— Понимаю, — сказал я.

Стьюкли натянул и отпустил алую подвязку так, что она стегнула его по ляжке.

— Когда-то ее носил король Гарри!

— А остальное?

Стьюкли нахмурился. Потом улыбнулся. И улыбка больше не сходила с его лица.

— Подвязка — это подарок. На память. Благословение. Король Гарри пожаловал ее моему отцу. И он не снимал ее. Носил как знак, понимаете? Вы знаете, кто был мой отец?

— Капитан Томас Стьюкли, — ответил я вежливо.

Мой кузен продолжал улыбаться.

— Стьюкли, барон Росс, — сказал он. — Виконт Мэрроу. Граф Вексфорд. Маркиз Ленстер. Герцог Ирландский. Вот кто был мой отец.

— Все верно, — сказал я.

Наступило молчание. Я был вынужден отвернуться от улыбки моего родственника. Теперь вокруг нас громоздились тени больших кораблей, стоящих на якоре. Сэму уже не приходилось подгонять гребцов. Они гребли что было сил. Впереди высился белый силуэт Тауэра.

— Когда-то этот костюм носил мой отец, — сказал Стьюкли. Я промолчал.

— Мой отец был сыном короля Гарри, — сказал Стьюкли.

Я повернулся к нему. Глаза его холодно блестели, на губах блуждала все та же безумная улыбка.

— Мой отец был принц Томас, — сказал Стьюкли.

*

Я никогда не встречал этого сумасшедшего — Томаса Стьюкли. Он являлся при дворе Елизаветы во времена моей бедной юности, когда меня еще никто не знал. Позднее я слышал, что его гордыня, его тщеславие и непомерные претензии никого не оскорбляли, а служили лишь поводом для насмешек. Что до его титулов — то все они были фальшивые. Он либо присвоил их себе сам, либо получил от врагов Англии, когда стал предателем. Сама королева при мне упомянула о нем лишь однажды, и то с насмешкой. Стьюкли сказал ей, что решил покинуть Англию, чтобы его

признали принцем еще при жизни. "Я надеюсь, — ответила Елизавета с иронией, — что вы дадите нам знать о себе, когда устроитесь в своих владениях". "Я напишу Вашему Величеству", — сказал Стьюкли. "И как вы обратитесь ко мне?" — спросила Елизавета. "О! Как полагается, — ответил Стьюкли серьезно. — *Нашей дорогой сестре...*"

*

— Так что в этих жилах течет королевская кровь, — вскричал мой кузен, кусая ногти.

— Кровь не скроешь, — сказал я.

Стьюкли вцепился в мой плащ.

— Значит, вы верите в это, сэра Уолтер? Что мой отец был *принцем*? Что мой отец был побочным сыном великого короля Гарри?

Мы проскочили мимо Тауэра.

Мы неслись вниз по реке к Уолпингу.

— Я верю, что ваш отец был ублюдком, — сказал я.

*

Должен заметить, что рыцарское звание сэра Льюиса Стьюкли настоящее. Он заслужил его, одним из первых бросившись на север целовать задницу королю Якову, когда тот отправился в Англию, где еще не остыло тело Елизаветы. По дороге на юг Яков разбрасывал титулы, как конфетти.

*

Лодка, что преследовала нас, должно быть, шла из Тауэра. Видимо, она поджидала нас там, укрывшись в протоке у башни святого Томаса. В темноте я ее не заметил. Столько больших кораблей вокруг. Кроме того, сэра Льюиса Стьюкли хорошо делал свое дело. Он отвлек мое внимание. Вплоть до пристани Шадуэлл он без умолку бахвалился и нес чушь о своем отце. Я оскорбил его семью, сказал он. Я сноб, брюзга и безбожник. И все же он великодушно прощает меня. Будучи на четверть отпрыском короля, он нашел возможным простить мне все. Он мой кузен, мой истинный друг. Разве не пришлось ему страдать от моих незаслуженных насмешек и подозрений? Он все претерпел молча. Я обманул его. Я самым недостойным образом притворился больным. Он, внук великого Гарри, готов простить мне даже это. И теперь я знаю всю глубину его преданности

и любви. Он доказал мне свою честность. Мы больше чем родственники, мы братья. Он обнял меня. Поцеловал в щеку.

Я спросил:

— Откуда вы взяли, что я притворился больным?

Стьюкли ухмыльнулся.

— Мне французик сказал.

— *Что?*

— Доктор Манури. Он мне все рассказал.

У меня начался приступ лихорадки. И еще что-то более страшное, чему я не знаю названия. Меня всего трясло. Руки так жгли борта ялика, что захрустели пальцы.

— Когда? — закричал я. — Когда француз вам "все рассказал"?

— В Хертфордбридже, — дружелюбно ответил кузен.

Мысли мои путались. И вдруг мне все стало ясно. И почему Стьюкли не возражал, чтобы я отправил Сэма в Лондон заблаговременно. И почему он тогда пришел ко мне в прекрасном расположении духа. И почему в Стейнсе усилили охрану. И даже почему он пожал мне руку. Тогда он уже *знал*, что смертью ему это не грозит. Как они с Манури, должно быть, смеялись надо мной! Никаких дополнительных приказов от короля не было. Сторожевые псы в моих покоях — без сомнения, их общая выдумка... Мой кузен и француз сговорились. Чтобы Стьюкли был рядом со мной во время плавания по реке. Зачем?

Ответ очевиден и ужасен.

Чтобы опорочить меня. Поймать в самый момент бегства. Загубить окончательно.

Я оттолкнул от себя кузена. Повернулся и посмотрел назад. Мы плыли мимо Собачьего острова. Второй ялик не отставал от нас. А за вторым яликом я увидел третий.

*

Я знал, что все кончено. Индеец звал меня в темноте, показывая рукой себе за спину. Он тоже заметил преследователей. И теперь подгонял гребцов. Но третья лодка была больше и мощнее наших. Она легко могла догнать нас в любой момент.

— Сколько вы заплатили французам? — спросил я.

Мой кузен изобразил удивление.

— Сэр Уолтер — вы *все еще* не доверяете мне?

Если бы у меня был меч, клянусь (да простит меня бог), я бы проткнул его сердце. Но у меня не было меча. А сердце Стьюкли... Я бы, несомненно, не смог его найти.

— Я ничего ему не платил, — сказал он. — Доктор Манури — достойный джентльмен. Он сам мне все рассказал. Он понимал, что без моей помощи вам не убежать.

Я знал, что он лжет. Вспомнил все вознаграждения, которые

уже получил от меня "достойный джентльмен". В который раз я доверился обманщику, лжецу, хамелеону. Возможно, пообещай я этому гнусному Манури пенсию побольше пятидесяти фунтов, он... Пустая мысль. Предатели любят предавать. Одни рождаются, чтобы предавать, другие — чтоб быть преданными, такова жизнь. Я в компании последних, и вот итог.

*

— Разрешите, я убью его, — сказал Сэм.

Старый друг, конечно, слышал мой разговор со Стьюкли. Он пробрался на корму между гребцами, продолжавшими гнать лодку изо всех сил.

И теперь стоял за спиной моего кузена.

Вытянув руки вперед.

— Позвольте мне удавить его, адмирал, — сказал Сэм.

*

Стьюкли пытался вынуть из ножен меч с черной рукоятью.

— Кузен, ваш человек несправедлив ко мне! Видите этот меч? Это меч моего отца — уверяю вас, я умею им пользоваться! Но вы до сих пор не понимаете... Я с вами, потому что я ваш друг! Перед богом и его ангелами клянусь...

— Не надо, — сказал я.

— Что? — спросили одновременно Сэм и Стьюкли.

— Не трогай его, — сказал я Сэму.

— Не смейте обращаться к богу ложь, которой вы потчуете меня, — рявкнул я Стьюкли.

— Но, кузен...

— Вы мой друг, кузен Льюис, — сказал я. — И я вижу собственными глазами много других моих друзей, которых вы пригласили, чтобы с почетом проводить меня во Францию.

Я указал на третью лодку. Она шла на прежнем расстоянии за яликом, в котором плыли индеец, мой паж и презренный Манури.

— Боже мой! — заголосил Стьюкли. — Да вы, оказывается, трус! Вообразили, что та лодка гонится за нами?

— Я знаю, что она гонится за нами, кузен Льюис.

На лице Стьюкли появилась гримаса притворного презрения.

— Мне стыдно, сэр Уолтер. Стыдно, что я рискую жизнью, честью и состоянием ради человека, который боится собственной тени. Уверяю вас, мы доберемся до Грейвзенда. Мы сядем на ожидающий нас кеч. Мы...

— Сейчас мы повернем обратно, — сказал я.

Я приказал гребцам остановиться. Развернуться. Мы поплыли назад. Сэм не произнес ни слова. Все было и так ясно.

*

Когда мы поравнялись со вторым яликом, я объяснил все в нескольких словах. Индеец хотел раскроить Манури голову веслом. Я сказал, что этого не требуется. Робин плакал. Француз скрючился на сиденье, не отрывая взгляда от своих туфель. Я лишь мельком взглянул на него.

Третья лодка остановилась.

Я приказал гребцам подплыть к ней.

У нас ушло на это пять минут. Два наших ялика плыли по Темзе рядом.

Стьюкли попытался встать рядом со мной на носу лодки. Сэм так его толкнул, что он упал на дно.

— Вы об этом пожалеете, — пообещал Стьюкли.

Потом он начал хихикать.

— Вы дурак, — кричал мой кузен. — Дурак! Дурак! Я одурчил вас!

Он лежал на спине. Дрыгал в воздухе ногами. Он упивался собственной радостью.

— Думаете, я это делал ради денег? Вот и нет! Хотя деньги еще никому не мешали. Но я джентльмен, сэр Уолтер. Я хочу сказать: настоящий джентльмен. Человек чести! Во мне течет кровь короля Гарри! А вы! — Стьюкли плюнул в меня. — Вы, сэр Уолтер Рэли, — *никто*! Что вы из себя представляете? Грязь под ногами, вонючий крестьянин! Дерьмо невежественное! Вы прославились только тем, что спали с дочерью моего деда! Я ненавижу вас. Я презираю вас. Я ненавидел и презирал вас всю мою жизнь. Чем вы пробили себе дорогу наверх? Вашим *рожном*! Больше ничем. Вы воспользовались маленькой слабостью моей тетки Елизаветы! Проклятый Уолтер Рэли! Не волнуйтесь, кузен, я поеду полюбоваться на вас в Мадрид! Когда вас голого вздернут на виселице!

*

Сэм умолял меня разрешить ему дать Стьюкли хорошего пинка. Я попросил его не пачкать свои покрытые грязью башмаки.

*

Начинало светать, когда люди короля с обнаженными мечами и фонарями в руках стали прыгать в наш ялик.

Я оглядел их. Шляпы с высокими тульями и широкими полями. Королевские гвардейцы. Когда-то я был их командиром. Я не узнал никого. Но они расступились. Отдали мне честь. Вложили мечи в ножны.

Они позволили мне самому подняться в их лодку.

Стьюкли вполз следом за мной.

— Сэр Уолтер Рэли, — завопил он. — Именем короля Якова вы арестованы!

Я взглянул на него.

— Сэр Льюис Стьюкли, — сказал я, — такими поступками вы не прославитесь.

*

И вот меня привезли сюда, в Тауэр, через Ворота предателей, выходящие на Темзу. Меня обыскали, составили опись.

Пятьдесят фунтов монетами.

Талисман.

Кольцо с бриллиантом, которое я всегда ношу на руке. Подарок королевы Елизаветы. Губернатор Тауэра разрешил мне оставить его при себе.

Карта Ориноко.

Ухмеляющийся золотой чертенок, полученный от индейца.

Унция серой амбры.

Магнит в красном мешочке.

Кусок бесполезной гвианской породы.

Миниатюрный портрет Бесс.

Вот и все.

51

11 сентября

Прошел месяц. Месяц сугубого заточения. Я имею в виду не Тауэр. Я заточен в самом себе.

А что касается Тауэра... Господин губернатор добр ко мне. Вначале он даже разрешил мне жить в его личных покоях. Бесс, которой позволили навестить меня, унесла в своих юбках последнюю главу, описывающую мой арест. Я не собираюсь открывать нынешнее местонахождение того, что написал ранее. (Ибо знаю, что все написанное мною сейчас не избежит чужих глаз.) Достаточно сказать, что те бумаги были надежно спрятаны еще *до того*, как я уехал с Брод-стрит и стал жертвой предательства сэра Льюиса Стьюкли. И тот несчастный, кто, прочтя это, разберет по кирпичику дом моей жены в поисках рукописи. лишь

потратит зря силы и время. Когда-нибудь Кэрю сможет прочитать те главы. Этого достаточно.

Вместе со мной арестовали Сэма Кинга, Робина и индейца. Сэма и Робина отпустили неделю назад — убедившись, что их не удастся склонить свидетельствовать против меня. Это было грустное расставание. Я знаю, что не увижу их более на этом свете.

По приказу короля меня перевели в Гардеробную башню. Индеец в камере рядом. Вчера — третье перемещение. Я снова в Кирпичной башне, где когда-то все началось. Много лет назад, после моей женитьбы. Та же самая камера. Индеец снова по соседству. Я не знаю цели этих перемещений. А также того, почему держат за решеткой невинного Кристобая. Губернатор (который производит впечатление честного человека) говорит, что, возможно, это делается, дабы ублажить испанского посла. Гондомар, видимо, намеревается взять Кристобая вместе со мной в Мадрид, а затем отослать его в Гвиану как свидетеля моей унижительной казни.

Иногда ему разрешают навещать меня. Наши беседы, разумеется, подслушиваются. Я дурак, но за многие годы, проведенные в Таузере, кое-что усвоил. Что бы я ни говорил, все будет услышано. Чтобы я ни писал, все будет прочитано. Меня это не пугает. Мне нечего скрывать. Я не предатель.

И Кристобаль тоже.

Мне с ним хорошо.

Мы можем говорить свободно, поскольку скрывать нам нечего.

*

Король Яков в очередной раз доказал, что он самый великодушный и заботливый из монархов. Сегодня вечером — без сомнения, принимая во внимание мое одиночество и отсутствие возможности побеседовать с достойными людьми моего звания и положения — он прислал сюда ни много ни мало сэра Томаса Уилсона, хранителя государственных бумаг. Его поселили в соседней камере. И разумеется, не как узника, а только чтобы я не скучал. Дружелюбный и умный человек, этот Томас Уилсон. Человек необычайно острого ума. Его ум и манеры доставляют мне истинное удовольствие.

В течение многих часов мы обменивались новостями. Он любезно сообщил мне, что их светлости, члены Его Величества Тайного Совета, собрали много улик — вполне достаточно, чтобы повесить меня *дважды*, как он остроумно заметил, — но, несмотря на это, Его Величество может даровать мне частичное прощение в обмен на полное признание моих преступлений.

Необыкновенная доброта короля тронула меня до глубины души.

Самые теплые чувства переполняли меня.

Сердце кровью обливалось, когда я вынужден был сообщить сэру Томасу Уилсону, что никогда не смогу отблагодарить Его Августейшее Величество за великодушные, ибо слаб я, убог и немощен и, что самое главное, *мне не в чем "признаваться"*.

*

Сэр Томас Уилсон говорит, что моя жена находится под домашним арестом на Брод-стрит. Я искренне признателен королю Якову за заботу о ее безопасности. Видит бог, нет у короля Якова более верных подданных, чем я и Бесс. Мне приятно сознавать, что Его Величество видит то, что видит бог. (Меня, разумеется, несколько не удивляет близость их взглядов.)

Боже, храни короля!

Боже, храни Англию от ее врагов!

Боже, храни англичанина сэра Уолтера Рэли!

52

19 сентября

Вчера сэр Томас Уилсон, хранитель государственных бумаг, по-товарищески помогающий мне пережить тяготы заключения в Тауэре, внял моим просьбам и самым благородным образом разрешил мне написать несколько строк Бесс.

Шел дождь.

Но он сам отнес записку на Брод-стрит.

О, вымокший благородный рыцарь!

*

Я написал следующее:

Дорогая жена –

Я слаб и болен. Благородный джентльмен сэр Томас Уилсон как мой хранитель принимает во мне живейшее участие. Раздувшийся бок болит и не дает мне покоя ни днем ни ночью. Да поможет нам бог.

Твой У. Р.

*

Сегодня утром тот же самый добрый и внимательный сэр Томас принес мне ответ от нее.

В письме говорится:

Дорогой муш —

Меня огарчает что ко многим другим несчастьям твое здоровье нев порядке. Но думаю что бок твой болит от горестей и печалей а также от несварения. Надеюсь на твое скорое выздоровление и на бога. Рада слышать что ты находишься в обществе такого прекрасного хранителя. Сначала меня тревожило что тебе не разрешили иметь своего слугу но думаю что этот честный рыцарь тебе поможет. Бог да вознаградит его за это и да смилостивится над нами.

Твоя Е. Рэли

*

Как это похоже на Бесс. Один глаз смотрит холодно, другой — тепло. И с правописанием она всегда была не в ладах. И болезни мои никогда всерьез не принимала. Клянусь, распухшую печень я не выдумал. Вот уже двадцать два дня кишечник мой не работает без клистиров... А моя жена отмахивается от моей болезни как мнимой, говоря, что все это просто "несварение", "горести и печали".

Я уважаю ее за хладнокровие.

И в то же время она меня бесит.

*

Я заплакал, читая письмо Бесс.

Потом спросил Уилсона:

— Лекарств она не передавала?

Он покачал головой.

Потом сказал:

— Честно говоря, если бы и передала, я бы вам не позволил выпить.

— Это почему же?

— А вдруг бы леди Рэли прислала вам яд!

Я улыбнулся.

— Сэр Томас, если бы я хотел убить себя, яда бы не потребовалось. Если бы я хотел покончить счеты с жизнью, я бы бился головой вон о ту стену до тех пор, пока по ней не потекли бы мои мозги! Думаете, не смог бы?

У хранителя государственных бумаг (и моей персоны) сдела-

лось испуганное лицо.

— Не беспокойтесь, — сказал я. — Я верю в божье милосердие. И в королевское тоже.

Он с облегчением кивнул.

— Самоубийство — тяжкий грех, — сказал он молитвенным голосом. — Смертный грех, как учит нас пятая заповедь.

Я вспомнил бедного Кеймиса. И промолчал.

Уилсон откашлялся.

— Сэр Уолтер, кое-что ваша жена для вас передала. Думаю, вам это можно отдать. Честно говоря...

— Да-да, вы честный человек...

— Благодарю вас. Аптекарь проверил содержимое. Оно вполне безобидно.

Он протянул мне какую-то коробку.

Я открыл ее.

В коробке находилось маленькое блюдо, до краев наполненное сбитыми сливками с крыжовником.

Когда я пишу, то время от времени опускаю пальцы в блюдо и вылавливаю крыжовину.

Да благословит тебя бог, Бесс Трогмортон.

Да хранит тебя бог, Елизавета Рэли.

Прости своего "муша". Смилуйся над Миссером Воттером, достойным жалости уже за одну только преувеличенную жалость к самому себе. Этот идиот, сидящий в Тауэре, пишет только о болях в животе, а должен был бы послать тебе все, что осталось от его сердца.

53

15 октября

Шпиона отозвали. Я имею в виду, конечно, сэра Томаса Уилсона, хранителя государственных бумаг.

Jacta est alea.

Теперь я могу писать свободнее. Пусть читает кто угодно.

Больше месяца я должен был терпеть его общество, зная, что каждое произнесенное мной слово записывается и отсылается их светлостям. Он от меня ничего не добился. Потому как добиваться было нечего. Если господин губернатор сочтет своим долгом снять копию с этих строк и послать ее Тайному Совету, то хочу заявить, что сочувствую усилиям их светлостей,

потративших столько средств и времени впустую. По правде говоря, бедный Уилсон работал превосходно. Пускался на любые уловки и хитрости. Весьма опытный и приятный агент. Я рекомендую его их светлостям для дальнейшего использования. Он не сумел собрать улики против меня просто потому, что таких улик нет в природе. Не сомневаюсь, что если потребуется добиться признания от настоящих предателей, то тот же Уилсон будет незаменим. Я верю в английское правосудие. Надеюсь, что ваши светлости не накажут незадачливого агента, который из-за похвального отсутствия воображения не смог сочинить ни одной небылицы, когда стало ясно, что он имеет дело с честным человеком.

Однако не могу обойтись и без критической нотки.

Во времена государственного секретаря Сесила первоклассного шпиона всегда можно было узнать по чистым зубам. (Даже Кит Марло — который, правда, никогда не был первоклассным шпионом, ибо был всего-навсего поэт, — время от времени полоскал рот отваром меда, уксуса (по одной кварте) и (полкварты) белого вина.)

И вот — как знать, может, вашим светлостям пригодится мой совет — этот во всех других отношениях превосходный сэра Томас Уилсон в сем важном пункте имеет маленький изъян. Обладай я какими-либо секретами, я едва ли прошептал бы их ему на ухо. Чтобы дышать с ним одним воздухом, требуется куда более стойкий желудок, чем у меня. Камеры в Тауэре плохо проветриваются, и когда человек больше месяца денно и ночью убеждает вас довериться ему, то начинаешь поневоле испытывать к нему предубеждение, ежели изо рта у него пахнет, как из выгребной ямы.

Я прописываю сэру Томасу Уилсону визит к брадобрею, пусть тот прочистит ему зубы с помощью aqua fortis¹.

*

Две новости.

(Обе мне сообщил Уилсон во время долгих бесед, когда он старался убедить меня, что передо мной не волк в овечьей шкуре.)

Первая: сэра Льюиса Стьюкли потребовал возмещения расходов, кои он претерпел, служа своему призванию.

А именно:

965 фунтов 6 шиллингов 3 пенса за доставку из Девоншира сэра Уолтера Рэли, рыцаря.

Сумма не кажется мне чрезмерной.

¹Концентрированная азотная кислота (лат.).

По нынешнему курсу она, вне всякого сомнения, равна тридцати сребреникам.

Шесть шиллингов и три пенса — это, видимо, стоимость порванных струн его скрипки.

Кузен Льюис воистину сын своего отца.

*

Другая новость поинтереснее.

Его Величество, мой властелин король Яков, получил официальное письмо от своего дорогого брата короля Испании Филиппа III, в котором выражено пожелание, чтобы дон Гуаттараль был предан смерти в Англии.

Причины, насколько мне известно, не указаны.

Как знать, возможно, королю Филиппу хватает для казней своих собственных невинных подданных?

Я бы рассмеялся, имей я для этого силы.

Надеюсь, перспектива моей казни в Англии не нарушит сон короля Якова.

54

23 октября

Открытого суда не будет. Не бу-

дет никакого суда.

Уилсон не смог обнаружить новой измены. Их светлости, члены Тайного Совета, допросили тех участников моей экспедиции, кто добровольно вызвался давать показания. Все, вместе взятое, ничего существенного не дало. Меня не за что судить, и они знают это.

Значит, сэр Уолтер Рэли может быть свободен?

И Его Величество позволит ему мирно доживать свои дни с женой и сыном где-нибудь в деревне — ухаживать за садом, заниматься своими скромными делами, своим именем?

Ничего подобного.

Не нашли новой измены?

Эка важность!

А старая измена на что?

*

Все это я узнал сегодня от Аллена Эпли, генерал-губернатора Гауэра. Порядочный человек с понятием о чести, что

нынче не в моде. Кажется, он не в восторге от того, что происходит. И все же выполняет свой долг. Служит королю. Как и я. Честный солдат. Да минует злая судьба его светлость, рассказавшего правду своему бедному пленнику.

*

Правда.

Правда предельно проста. И при этом чудовищна.

Какой-то тонкий знаток судопроизводства напомнил королю Якову, что сэр Уолтер Рэли уже обвинен в государственной измене вполне надежным образом.

А потому нет никакой нужды судить вышеупомянутого изменника и признавать виновным или невиновным в преступлениях, совершенных им после первого приговора.

"Недавние преступления против Испании" сэра Уолтера Рэли можно совсем не рассматривать.

У Его Величества есть все законные основания отменить отсрочку и издать указ о немедленном исполнении приговора о смертной казни, вынесенного сэру Уолтеру Рэли в Винчестере в 1603 году.

Просто.

Сама простота.

Змеиная простота.

Узнаю. Узнаю гений, ум, философию.

Узнаю еще одного старого друга.

Узнаю Бэкона.

*

Эспли говорит, что Гондомар, клопоча от бессильного гнева, уехал в Испанию. Все повернулось не так, как он хотел, и это всем теперь известно. Когда граф ехал по городу, его карету закидали камнями. Да хранит нас господь. В Лондоне, значит, еще не перевелись окончательно опасные сторонники Елизаветы.

*

Запомни это накрепко, сын.

Твой отец, сэр Уолтер Рэли, был приговорен к смерти как друг испанцев. Теперь он лишится жизни как их враг. *И все это по одному приговору.*

Таков этот мир.

Как сказал индеец, он чужой для нас.
Ничто не согревает здесь душу.

*

Эпли говорит, что мне осталась неделя. Возможно, меньше. Почти наверняка — не больше. Будет устроено официальное шутовское представление. Лорд-канцлер огласит волю короля. Господин генеральный прокурор сэр Генри Йелвертон подтвердит ее законность. И все будет сделано, разумеется, келейно и быстро, за закрытыми дверями. Они не хотят дать мне возможность открыть рот раньше, чем его забьют глиной и я умолкну навсегда.

*

Бэкон. Конечно, Фрэнсис Бэкон. Эпли подтверждает: весь Лондон говорит, что именно Бэкон дал совет королю, как избавиться от меня без лишнего шума. Коук хотел судебного разбирательства. Яков сместил его. Это Бэкон шепнул ему, что *по закону я уже мертвец*. Он напомнил королю, что последние пятнадцать лет я существовал только благодаря великодушию и терпимости Его Величества. Что сэр Уолтер Рэли — всего лишь привидение. Что избавление от него будет даже не казнью, а *изгнанием беса*. Эту беседу Букингем пересказал Клэптону, восхищаясь остроумием Бэкона. Теперь об этом судачат все. Впрочем, не все восхищаются. Но красота бэконовского рассуждения производит впечатление.

Он далеко пошел, этот Фрэнсис Бэкон. Но пойдет еще дальше. Его Величество непременно вознаградит этого самого изящного и простого из лорд-канцлеров. Что касается меня, то смею уверить, я всегда ценил его очень высоко. Не менее, чем он ценил себя сам. Однажды он написал прелестное автобиографическое эссе. *Ego sum me ad utilitates humanas natum existimarem* — начиналось оно. "С тех пор, как я понял, что рожден на благо человечества..." (Учись, Кэрю. Всегда облекай в латынь безумные попытки самовосхваления.)

Мой приговор — очередной пример деятельности Бэкона на благо человечества. А я помню и другие. Он начал с того, что всеми силами домогался расположения лорда Эссекса. Поверивший в него Эссекс старался вовсю. Он сказал королеве, что из Бэкона получился бы великий генеральный прокурор. Елизавета отказала. Теперь я могу сказать: Елизавета всегда недолюбливала Бэкона. Ей не нравилась его каркающая речь. Тогда Эссекс попытался сделать Бэкона генеральным стряпчим, но королева,

несмотря на все просьбы и истерики своего "большого мальчика", снова воспротивилась. Эссекс был озадачен. Разочарование Бэкона он смягчал подарками — к примеру, землями около Твикнэма. Потом, когда Эссекс сошел с ума и был судим за измену, его протеже забыл доброту покровителя и вспомнил о человечестве. Эссекс был обречен, но именно Бэкон послал его на плаху. Коук, как всегда, все перепутал в государственном обвинении. За риторическими фигурами он постоянно терял нить улик. И тут вперед выходит Бэкон: он умно и настойчиво доводит дело до конца, т. е. до отсечения головы у бормочущего чушь благодетеля. Его речи впечатляли своей точностью. Никогда не слышал ничего подобного. Ни в смысле логики, ни в смысле предательства. Если кто-либо и убил Эссекса, кроме самого Эссекса, то это был сэр Фрэнсис Бэкон. Он протянул руку попавшему в беду другу и возвел его на эшафот.

О да. Воистину рожденный на благо человечества.

Блестательный философ.

Хоть много в мире есть того, что вашей философии не снилось¹...

*

И все же я склоняю голову перед вашим искусством, лорд-канцлер.

Как умело, мой старый друг, вы справились с моими неловкими, беспокойными вопросами в парке судебного инна Грея!

"Может быть, мне стоит попытаться получить помилование еще до отплытия в Гвиану?"

На что вы отвечали: *"Не вижу необходимости. Помилование — пустая формальность. Король назначил вас адмиралом. Вы вольны плыть куда угодно и распоряжаться жизнью и смертью тех, кто поплывет с вами. Подобное поручение равнозначно помилованию"*.

Хорошо зная вас, все еще беспокоясь, я спросил: *"В частности, отменяет ли оно обвинение в государственной измене и смертный приговор?"*

Когда я задал этот вопрос, вы закрыли свои змеиные глаза, Фрэнсис Бэкон.

Возможно, в вашем каменном сердце и холодном уме все же теллится что-то такое, что заставляет вас отводить взгляд от тех, кого вы намереваетесь предать?

Вот так предположение!

Я несправедлив к вам, милорд Аристотель Младший.

Отправляя Эссекса на тот свет, вы не отводили от него своего холодного взгляда.

¹Шекспир. Гамлет. Акт I, сцена 5. Перевод Б. Пастернака.

Ваши нервы в полном порядке.

В моем случае вам, должно быть, стало скучно или вы просто устали.

Надеюсь, вы простите меня за предположение, что у вас могло быть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее душу или совесть.

Не судите меня строго и за то, что в моей глупой голове до сих пор звучат слова, кои вы произнесли тогда с закрытыми глазами:

"Ваше назначение адмиралом представляется мне высшей формой помилования, на какую способно английское правосудие!"

Как видите, сэр, ваш старый друг неизлечимо болен страшным недугом — памятью.

Уверен, что ваше психическое здоровье несравненно лучше.

*

Эспли разрешил мне поговорить с индейцем. (Его все еще держат в соседней камере. Один бог знает, что с ним будет. В письме я попросил Бесс найти Кристобалью службу у какого-нибудь дворянина, если — смею надеяться — его освободят из Тауэра после моей казни.)

Я рассказал индейцу новости.

Сказал, что он увидит то, ради чего приехал.

Что я должен умереть.

Он спросил:

— Если я скажу королеве-смерти правду о доне Паломеке, это что-нибудь изменит?

— Нет, — ответил я.

Он задумался. Потом сказал:

— Понимаю. — Пристально посмотрел на меня. Наконец продолжил: — А что, если я назову испанцев, которые владели золотыми приисками там, в Гвиане? О которых я говорил тебе, понимаешь? Педро Родриго де Парана... Хермано Фрунтино... Франсиско Фачардо... Ты понимаешь, что я имею в виду?

Я понимал, что он имеет в виду.

С его стороны это было очень благородно.

Я покачал головой.

— Нет, — сказал я. — Теперь меня ничто не спасет.

Воистину так.

Ничто не может спасти меня от королевы-смерти.

Но предложение индейца растрогало меня.

Мы немного помолчали. Я курил трубку. Потом он сказал:

— Я расскажу тебе легенду моего народа. В ней говорится о песне бога-солнца. Еще до того, как на земле чибчей жили люди, там жили птицы, и все птицы знали, что есть песня красивее и звонче любой из тех, что они пеют. Эту песню можно было услышать только в самой высокой вышине неба, в той бескрайней голубизне, где живет бог-солнце. Не было птицы, которая не хотела бы услышать ту песню. Ведь, услышав ее хотя бы раз, она могла бы сама спеть ее. Маленькие птицы даже не пытались долететь до бога-солнца. А большие птицы раз за разом поднимались в вышину, пока хватало сил. Но ни одна не смогла долететь до бога-солнца. Последним попытался кондор. Крылья у кондора широкие, среди птиц он самый сильный и храбрый. И кондор взлетел так высоко, что с земли его уже не было видно. Но даже он, могучий кондор, не долетел до дома бога-солнца, хотя и оставалось ему совсем немного. Но это еще не конец истории. Когда кондор начал свой полет, ему на спину вспрыгнула маленькая коричневая птичка. Она была такой маленькой и легкой, что большой кондор даже не почувствовал ее веса. И когда кондор обессилел и сдался и полетел вниз, маленькая птичка запорхала на собственных крылышках. Кондор подлетел так близко к дому бога-солнца, что даже у маленькой невзрачной птички хватило сил пролететь оставшееся короткое расстояние. Она влетела во дворец бога-солнца и услышала его песню. Спрятавшись в уголке, она пела про себя песню бога-солнца снова и снова, пока не выучила ее наизусть. Потом, растопырив крылышки, она спокойно спустилась на землю. Это нетрудно. Даже самая маленькая и слабая птичка легко спустится с такой высоты, на какую не могут взлететь самые сильные. Снова и снова пела она себе звонкую и красивую песню бога-солнца. Но отныне жила в страхе. Она боялась, что, если кондор, который проделал всю работу и не услышал песню бога-солнца, узнает, как все было, он убьет ее. Боялась она и ревнивой мести других птиц: ведь, чтобы получить песню, она только и сделала, что летела на чужих крыльях. Потому она и спряталась. Спряталась в самом густом кустарнике, какой смогла найти, и до сегодняшнего дня живет отшельником: ее почти не видят, хотя порой и слышат. И поныне песня коричневой птички — самая красивая и звонкая в мире.

— Как ее называют? — спросил я.

Индеец пожал плечами.

— Одни зовут ее птицей-отшельником.

— А другие?

— Пересмешником.

— Я буду называть ее отшельником, — сказал я.

*

Позднее. Партия в шахматы с Эпли. Я думал о легенде Крестобалья. И все же сумел выиграть.

Собирая фигурки из слоновой кости, Эпли заметил:

— Когда игра закончена, король и пешка возвращаются в одну коробку.

Я протянул ему фигурку коня, которую он не заметил.

55

28 октября

Они справились за час. Быстро. Если добавить две минуты, которые ушли у меня на то, чтобы проковылять по Вестминстерскому залу туда, и еще две минуты, чтобы проковылять обратно, то получится шестьдесят четыре.

Одна минута на каждый год моей жизни.

Поэтично.

Я умру завтра в девять часов утра.

*

С вызовом в суд явился Уилсон. Одетый строго и тщательно. Зубы его, когда он улыбался, были, как и прежде, желтыми, но изо рта пахло не так сильно. Эпли, заметив, что я заметил это, смутился и покраснел. Зря. Я прекрасно знаю, что прочитывать эти записки и снять с них копию — обязанность генерал-губернатора Тауэра. Я рад, что оказал государству услугу, обратив внимание на гигиену зубов правительственных шпионов. Кстати — и это куда более важно для меня, — Эпли дал мне слово, что после моей смерти передаст Бесс оригиналы этих, последних, записей. Я выражаю ему признательность. Снова молюсь, чтобы никакая кара не пала на голову этого джентльмена за проявленное ко мне милосердие. Он не сделал ничего такого, чего не сделал бы я сам, поменяйся мы ролями. И изменником от этого он не стал. Если, конечно, христианское милосердие не приравнивается теперь к измене.

*

Слушание моего дела началось в десять часов утра.
В самом большом зале Вестминстера.

Эпли зачитал текст *habeas corpus*¹. Он нашел его в полном порядке. И передал меня судьям.

Присутствовало семь судей. И два наблюдателя.

Судьи:

Генеральный прокурор Его Величества сэра Генри Йелвертон.

Генеральный стряпчий Его Величества сэра Томас Ковентри.

Сэр Генри Монтегю, главный судья суда королевской скамьи.

(Заменивший Коука.)

Судья сэра Роберт Хафтон.

Судья сэра Джон Кроук.

Судья сэра Джон Доудеридж.

Седьмым, конечно, был Фрэнсис Бэкон, лорд-канцлер. Бэкон сидел на беломраморной королевской скамье. Он ни разу не взглянул на меня. Был занят бумагами. Возможно, некоторые из них — как знать? — относились к моему делу. Но, скорее всего, он работал над своей философией.

Двое наблюдателей:

Джордж Эббот, лорд архиепископ Кентерберийский.

Джеймс Хей, виконт Донкастер, шотландец. (Я знал, что он присутствует здесь в качестве личного представителя короля. В молодости он был фаворитом Якова. Сегодня он выполнял роль королевского соглядатая.)

Его Величество, совершенно естественно, отсутствовал. Охотничий сезон. Он был занят преследованием другой дичи.

Я стоял, опираясь на трость, пока в зале не появился Бэкон.

Затем мне дали чудесный черный табурет.

*

Слушание открыл Йелвертон. Он вызвал секретаря королевского суда — кажется, его звали мистер Фэншоу — напомнить всем присутствующим о моем предыдущем обвинении и вынесенном по нему приговоре. А именно: что очень давно в присутствии многих благородных лиц я был судим в Винчестере за государственную измену и там же приговорен к повешению, отсечению головы и четвертованию.

Затем Йелвертон сказал:

— Милорды, сэра Уолтер Рэли, коего вы видите на скамье подсудимых, пятнадцать лет назад был признан виновным в государственной измене. Измене, милорды, Его Величеству и нашему королевству. Он, как вы слышали, был за то приговорен к смертной казни — повешению, отсечению головы и четвер-

¹Судебный приказ о представлении арестованного в суд для надлежащего судебного разбирательства и установления законности его ареста (*лат.*).

тованию. Его Величество в своем великодушии до сего дня проявлял к нему милосердие. Но теперь справедливость требует исполнения того приговора. Сэр Уолтер Рэли, коего мы знали как государственного мужа, совершил ряд поступков, о которых мы можем только сожалеть. Он подобен звезде, которую видит весь мир. Но звезды могут падать... Нет, милорды, звезды *должны* падать, если они потрясут сферу, коей принадлежат!

После окончания сей милой речи меня попросили поклясться на Библии. Я это исполнил. Лорд главный судья Монтегю вежливо спросил меня, не желаю ли я сказать что-либо в свою защиту.

Я встал.

— Милорды, я могу просить вас только об одном — чтобы смертный приговор, вынесенный мне так много лет назад, не служил основанием для лишения меня жизни сейчас. Его Величество пожелал поручить мне плавание в дальние страны. Мне была дарована власть над жизнью и смертью других людей. Такое поручение, я считал, предполагает помилование. В конце концов, мне дали возможность покинуть эту страну и совершить путешествие во славу моего государя и для обогащения золотом его королевства. Преследуя эту благородную цель, я потерял сына и...

Монтегю прервал меня.

— Это не имеет отношения к делу. Мы вас судим не за путешествие.

Ковентри сказал:

— Это королевское поручение не поможет вам никоим образом. Приговор об измене не может быть отменен на основании косвенных данных.

Слово взял Йелвертон:

— Копия королевского поручения лежит у меня перед глазами. Здесь нет ни единого слова, которое можно было бы истолковать в пользу помилования.

Я посмотрел на Бэкона.

Он не смотрел на меня.

— Да будет так, — сказал я.

Наступила тишина.

Затем я продолжал:

— Я вижу, милорды, что все, что бы я ни сказал в свою защиту, будет рассматриваться как не имеющее отношения к делу. Поэтому я отдаю себя на ваш суд. Я вверяю себя милосердию короля.

Бэкон заскрипел пером еще быстрее. Думаю, его удивило, что я так легко уступил в споре о том, подразумевало мое путешествие помилование или нет. Честно говоря, причиной столь быстрой уступчивости были отчаяние и гордость. Отчаяние от уверенности, что он не упустит возможности всадить мне нож в спину, как и многим другим до меня. Гордость от сознания, что мое молчание вопиет о его подлом предательстве.

Йелвертон сказал:

— Сэр Уолтер, я считаю мудрым ваше решение не оспаривать наш отвод.

Я склонил голову в знак признательности за комплимент.

— Я хочу добавить только одно слово.

— Что же это за слово?

— Надежда, — сказал я.

— Надежда на что?

— На сострадание. Разве я не могу надеяться на милостивое сострадание короля? Ведь приговор был вынесен так давно. Среди вас, милорды, есть те, кто могут засвидетельствовать, сколь несправедливо обошлись со мной на том суде.

Монтегю уставился на меня. Потом перевел взгляд на потолок.

— Сэр Уолтер Рэли, — произнес он твердо, — не забываетесь. Вас осудили по всем правилам закона. И приговор был справедлив.

Я молчал.

— Милорд королевский прокурор назвал вас мудрым, ибо вы не стали оспаривать наш отвод тех соображений, которые касаются вашего последнего плавания в Гвиану, — продолжал Монтегю. — Было бы еще мудрее с вашей стороны, если бы вы признали и то, что прошлые обвинения в государственной измене были доказаны и что вынесенный приговор соразмерен вашей вине.

Я снова промолчал.

Монтегю вздохнул. Собрался с духом.

— Сэр Уолтер Рэли, — сказал он, — мой долг обязывает меня принять решение о приведении в исполнение приговора, вынесенного вам пятнадцать лет тому назад. Все это время юридически вы были мертвецом, и, если бы не милосердие короля, ваша голова давно бы скатилась с плеч. — Он откашлялся. — Вы говорите о несправедливости. Конечно, сэр, может показаться несправедливым, что вас собираются хладнокровно казнить после стольких лет отсрочки. Но это не так, и вы это хорошо знаете сами. Вы отлично понимаете, что ваши новые проступки переполнили чашу терпения Его Величества и заставили его вспомнить тот старый приговор.

Для пущего эффекта он сделал паузу. Мне показалось, что он с удовольствием прислушивается к собственному голосу, раскатывавшемуся эхом по громадному залу — самому большому в Англии, — где обычно во время судебных заседаний бывает много народу и где сегодня было так пусто.

— Я знаю, что в прошлом вас отличали доблесть и мудрость, — продолжал Монтегю. — И не сомневаюсь, что эти добродетели вам не изменят и сейчас. Настало время проявить их. В прошлом подвергали сомнению вашу веру, но я убежден, что вы добрый христианин. И доказательством тому служит ваша "История

мира”, которую я нахожу превосходным произведением.

Он бросил взгляд на архиепископа, и тот склонил голову.

Джеймс Хей поджал губы. Это ему не понравилось. В сущности, это, видимо, был самый смелый поступок моих судей. Они знали, что шотландец все доложит королю. И что Яков далек от того, чтобы считать мою “Историю” превосходной. *Чересчур смело ругает королей* — кажется, таким был его приговор. Сначала он запретил книгу, а когда она все же увидела свет, печатник убрал мое имя с титульного листа.

Монтегю продолжал:

— Не должно бояться смерти слишком сильно. Не должно бояться смерти слишком мало. Не должно бояться слишком сильно, дабы не утратить надежду. Не должно бояться слишком мало, дабы не умереть в нечестивой гордыне. Обращая мои молитвы к богу, пастырю душ наших, объявляю решение об исполнении приговора, завтра в девять часов утра вас...

Я закрыл глаза.

Лорд главный судья неожиданно остановился, не закончив предложения.

Открыв глаза, я увидел, что Бэкон, не разгибаясь, приподнялся со своей мраморной скамьи. В этот момент он был похож на павшего архангела. Он протягивал Монтегю пергаментный свиток. Не тот, на котором он что-то писал, а другой. Свиток захрустел в руках Монтегю. Я заметил на нем печать королевства, золотисто-розовую каплю на желтом фоне. Видимо, Бэкон держал его все время где-то в потайном кармане. Подозреваю также, что неожиданное появление сего послания не было сюрпризом для их светлостей. Еще один шотландский трюк, еще одна комедия, еще одна шутка короля Якова.

Монтегю надел очки.

— Получено послание от Его Величества короля. Подписанное и скрепленное печатью. Доставленное его верным и любимым советником Фрэнсисом лордом Верулемом, лорд-канцлером Англии.

Он начал читать вслух:

— *Яков, милостью божией король Англии, Шотландии и Ирландии, Защитник Веры. Сим посланием Мы милуем, прощаем и освобождаем сэра Уолтера Рэли, рыцаря, от казни согласно прошлому приговору в Вестминстере — а именно повесить, отсечь голову и четвертовать. Вместо сего Мы желаем, чтобы в Нашем Вестминстерском дворце вышеназванному сэру Уолтеру Рэли отрубили только голову.*

Следует отдать должное Монтегю: он не корчил из себя шута.

Он прочитал эту бессмыслицу ровным, спокойным голосом, хотя вполне мог бы сделать паузу после слов “милуем, прощаем и освобождаем...”. Чтобы помучить меня несколько мгновений пустой надеждой.

Молчание.

Может, они ожидали, что я захлопаю в ладоши?

Молчание продолжалось.

С улицы доносились крики крысолова. Он пел свою крысоловскую песню. Я приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать:

*Эй, эй,
Сюда, живей!
Кому нет житья от крыс и мышей!
Крыс поморить, кротов да хорьков —
Это нам пара пустяков.*

Давно я не слышал этой песни. А может, она мне только по-чудилась? Больше никто в громадном зале ничем не обнаружил, что слышит ее. И все же я готов поклясться, что песня была и крысолов пел с девонширским акцентом.

Йелвертон ударил жезлом в пол.

— Понимает ли осужденный приговор? — спросил он раздраженно.

Бэкон вернулся к своим бумагам. Он что-то вычеркнул. В другом месте поставил запяточку. Головы он не поднимал. За все время не произнес ни слова и ни разу не посмотрел в мою сторону.

Я встал и выпрямился.

Потом сказал:

— Милорды, прошу занести в ваши бумаги, что вышеназванный сэръ Уолтер Рэли, рыцарь, прекрасно слышал и хорошо понял, чего *желает* Его Величество.

Бэкон прикрыл рот рукой. Если он и улыбнулся, то этого никто не увидел. А видел ли кто-нибудь хоть раз улыбающегося Бэкона? Я — нет.

Остальные досточтимые судьи не улыбались. Мои слова напугали их до смерти.

— Аминь, — выкрикнул наконец лорд главный судья Монтегю, — казнь назначена. Боже, храни короля!

Я поклонился.

Выронил трость, которая с грохотом покатилась по полу. Повернулся.

Заковылял прочь из Вестминстерского зала.

Как я уже говорил, на это ушло две минуты.

Обратно я шел не хуже, чем туда.

Не хуже или не лучше.

Без трости я шел точно так же, как с тростью. Точно так же.

*

Меня поместили в верхних покоях Гейтхауса. Охрану моей персоны несут шерифы Лондона. Когда-то здесь был старинный

Вестминстерский монастырь. Моя комната действительно похожа на келью. Выскобленный пол, стол на козлах, жесткая кровать. Если бы я выглянул в единственное маленькое окно, то увидел бы, как во дворе Старого дворца плотники сбивают для меня эшафот. Но мне не хочется смотреть на них. Идет дождь. Бедняги, надо думать, насквозь промокли. В комнате горит камин. Я слышу стук молотков. Эпли приказал шерифам дать мне перо, чернила и столько бумаги, сколько я попрошу. Не думаю, что мне потребуется вся принесенная ими стопка.

Я хорошо пообедал. Привратник принес мне ростбиф, зеленый горошек, репу и артишоки. За этим последовал айвовый пирог, испеченный (по словам привратника) его женой. Он предложил мне вина. Я отказался.

Три часа. Их только что пробил на часовой башне Большой Том — так называют этот колокол.

Сырой, ветреный, противный день. Вижу, что стемнеет рано. Попрошу зажечь свечи. Я всегда любил писать при свечах. Всегда любил зимний запах воска.

*

Послал записку Бесс. Она знает, где я. Шерифы говорят, что она сможет прийти ко мне сегодня вечером. Я попросил ее не брать с собой Кэрю. Так будет лучше.

*

Вся эта бумага...

Она мешает мне.

Первый раз в жизни мне тяжело — почти невыносимо — писать.

Что я могу сказать такого, чего еще не говорил?

Кому?

Я теряю время. Сижу, курю трубку и смотрю в огонь. Слушаю, как колокол отбивает часы, а дождь барабанит в окно. Неумолимый перестук молотков прекратился. Мне надо заставить себя написать что-то вроде публичного заявления, то, что смогут напечатать мои друзья, если мою речь на эшафоте прервут.

Сразу или чуть погодя, но ее прервут непременно.

Завтра в это время я буду мертв.

Я могу позволить себе не шадить время, ибо скоро время не пощадит меня.

Первый раз в жизни я чувствую себя *свободным*.

Звезды должны падать...

Очень неплохая фраза. Интересно, откуда Йелвертон ее взял? Похоже на цитату. Должно быть, Марло. Или Кид. Слишком хорошо для Кида. Шекспир? Нет, для Шекспира, пожалуй, заурядно.

Мертвы.

Все мертвы.

Марло, Шекспир, Кид.

Бедного кроткого Кида вздернули на дыбу. Меня сие, очевидно, миновало. Миновал меня и удар кинжалом в глаз, каким покончили с бедным Марло. Миновала меня и тихая смерть в собственной постели, что унесла из жизни великого выскочку из Стратфорда. (Он умирал, когда я вышел из Тауэра два года, две жизни тому назад. Уот говорил, будто Бен Джонсон напоил Шекспира, когда гостил в его вульгарном Нью-Плейсе, и что Шекспир проспал ночь в саду под дождем и наутро был уже в горячке. Я не верю в это. Вино только прибавляло мистерию Шекспиру *трезвости*, а бог свидетель, он и без того всегда был достаточно трезв.)

Как бы то ни было, все они умерли.

Все мы.

Настало время сказать, что я прощаю худшего и лучшего из нас, затмившую всех звезду, единственного, кто был достаточно умен или несчастлив, чтобы умереть дома, в собственной постели, без поэзии, без насилия и без драмы.

Я имею в виду мистера У. Ш., которому прощаю даже издевательскую насмешку надо мной, а именно то, что он вывел меня в образе дона Армадо в своей комедии "Тщетные усилия любви". На мой взгляд, пьеса путаная и слабая. Эссексу она нравилась. И королеве тоже — ее играли для нее в рождественские праздники 1597 года. Хорошо хоть то, что Шекспир в своем глупом фарсе последнее слово оставил за фантастическим доном Армадо. *Слова Меркурия режут ухо после песен Аполлона. А теперь разойдемся кто куда*¹. И эти слова оказались одним из лучших мест во всей неудачной комедии. Только теперь мы все идем одним путем. И это уже не комедия.

Интересно, какую конкретную звезду имел в виду генеральный прокурор?

Меркурий?

Если верить доктору Ди, то в астрологии Меркурий обозначает людей умных, изобретательных и непостоянных. Помню, он называл рифмоплетов, поэтов, адвокатов, ораторов, философов, математиков и вообще людей деловитых.

¹Перевод Ю. Корнеева.

Слова Меркурия...

Слова мои кончаются.

В любом случае Йелвертон, видимо, имел в виду *Люцифера*. Горд, как Люцифер, проклятый и загубленный своей гордыней. И все же Люцифер, утренняя звезда, — самая заметная из *павших* звезд... В книге Исаии говорится: *Как упал ты с неба, денница, сын зари!*¹

И Коук называл меня Люцифером. И Хауард тоже.

А в винчестерском фарсе я, пожалуй, пережил свой звездный час!

*

Я пишу чушь. И знаю это.

Брунду о комедиях и бессмыслицу о комедиантах. И все потому, что моя жизнь на сцене этого мира была пьесой, в которой я играл много ролей, но всегда только играл.

Опять то же самое. Все это я уже говорил раньше.

Какая скука.

Однажды я видел на сцене Эдварда Аллейна. Пьяного. Он играл Фауста. И что-то с ним случилось. Должно быть, забыл роль. Он стоял в центре сцены и раз за разом кричал:

Смотри, смотри, вон кровь Христа на небесах!

С каждым разом кричал все громче и громче. Он прокричал эту фразу не менее шести раз, прежде чем ему подсказали продолжение. И это впечатляло. Никто не засмеялся. Когда он проорал ее в пятый раз, все зрители театра "Форчун" воочию увидели, как по небосклону струится кровь Христа.

Где моя великая строка, которую я мог бы повторять бесконечно? У меня ее нет.

Я сижу и повторяю дурацкие банальности.

Привратник принес еще угля. А здесь и так слишком жарко.

Стемнело. Мигают свечи.

Мне следует писать и заучивать мою последнюю речь. Речь, которую мне, возможно, и не дадут произнести. Хотя это и право осужденного на смерть. Освященное веками. Но когда спектакль ставит король Яков, можно ожидать чего угодно.

Надо быть готовым ко всему. Но у меня уже нет сил.

И разве не лучше вообще *промолчать*?

*

Верно. Надо отказаться от последнего слова. Пойти под топор с печатью на устах. Умереть молча.

¹Исаия, 14:12.

Гордыня.

Люциферова гордыня.

Последняя и самая дьявольская гордыня, что мне предстоит побороть.

Я должен что-то сказать. Что угодно. Все, что смогу. И это ничего не изменит. Должно изменить!

Да поможет мне бог.

В чем?

*

Слава богу. Он услышал мои молитвы. Дважды мои размышления прерывались самым счастливым образом. Бог наставил меня, и теперь я знаю, что надо делать и что говорить.

Первый раз мне было наитие свыше в образе священнослужителя. Кругленького, толстенького и деловитого. Он влетел ко мне, держа на вытянутых руках — словно отпугивая злых духов — "Книгу общей молитвы" Кранмера.

Я предполагаю, что злым духом он считал меня.

Молодой священник представился. Доктор Роберт Таунсон, духовник короля, настоятель Вестминстерского аббатства. По его словам, он пришел вселить в меня мужество перед лицом смерти. Это входит в круг его обычных священнических обязанностей — напутствовать уходящего в мир иной.

Я предложил ему стул. Он сел, отряхивая пыль с черных штанов. Я встал спиной к огню. До чего же приятно каминное тепло!

— *Я есмь воскресение и жизнь*, — сказал Таунсон.

— *Говорит Господь*, — продолжил я. — *Верующий в меня, если и умрет, оживет: и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек.* — Я, улыбаясь, раскурил трубку. — Вы видите, сэр, священные тексты я немного знаю... Но не спешим ли мы? Это ведь начало чина погребения мертвых. А я пока еще в этом мире.

— Истинно, истинно, — забормотал нетерпеливо Таунсон. — Я напомнил эти слова Господа, обращенные к его ученику Иоанну, только чтобы затронуть тему.

— Какую тему? — спросил я.

— Тему христианства, сэр. Спасения вашей души.

Я выпустил кольцо дыма.

— Как видите, дорогой настоятель, бывают и более заблудшие овцы.

— Вас называли безбожником...

— Недоразумение. *Верую во единого Бога-Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого...*

— Аминь, — прервал меня Таунсон. — Вы знаете "Верую". В этом я не сомневался. Но люди часто говорят одно, а думают

совсем иное. Какова ваша истинная вера, сэр? Какую религию вы исповедуете?

Колец я больше не пускал.

— Я христианин. Я умру, как и жил, в одной вере, в той, что исповедует англиканская церковь.

Таунсон моргнул.

— Признаюсь, сэр Уолтер, вы меня удивляете. Я так много слышал о вашем скептицизме.

— Сомневаться — еще не значит отрицать. Все честные люди должны признавать право других на сомнение. Завтра в это время все мои сомнения и все иные грехи будут прощены и смыты драгоценной кровью нашего Спасителя Иисуса Христа.

— Аминь, — сказал Таунсон. — И все же мне кажется, вы легкомысленно относитесь к смерти.

— Я никогда не боялся ее.

— Вот оно! В вас говорят гордыня и легкомыслие. Даже любимые слуги господа, сами святые, встречая свою смерть в лучших, чем вы, обстоятельствах, содрогались и трепетали!

— Содрогнуться может моя плоть, — сказал я. — Душа — никогда.

Таунсон подергал себя за воротник.

— Но вы умрете на плахе! Смертью предателя!

Трубка моя погасла. Я раскурил ее снова, вынув щипцами тлеющий уголь из камина.

— Я умру на плахе, сэр. Такая смерть кое-кому кажется постыдной. Я же не нахожу в ней ничего особенно ужасного. Это быстрая и чистая смерть. Я предпочитаю умереть так, чем, например, от медленно сжигающей лихорадки.

— Но ваша измена, сэр Уолтер...

— Господин настоятель, я умру грешником. Я, как и все люди, прожил жизнь во грехе. Я молю бога простить меня. Но изменником я не умру, ибо никакой измены не совершал. Я знаю это. И бог это знает.

Таунсон смутился.

— Вы собираетесь заявить это на эшафоте?

— Я не собираюсь признаваться в том, чего не совершал.

— И, значит, будете отрицать справедливость королевского суда?

— Мне ли сейчас бояться королей? Я уже подданный Смерти. И отец небесный — мой единственный повелитель.

Таунсон вздохнул, качая головой.

— Кажется, я только теряю с вами время, сэр Уолтер...

— Отчего же?

— Но если вы собираетесь умереть...

— Я умру, с божьей помощью, достойно.

— Вы говорите как стоик.

— Значит, вы не так меня поняли. Мы с вами оба христиа-

не, господин настоятель. Вы принесете мне утром святое причастие?

Таунсон застыл с раскрытым ртом. Потом кивнул.

— Благодарю вас, — сказал я.

Таунсон поспешно встал.

— Простите, но у меня много дел. Эта неделя выдалась очень хлопотной.

— Я вам сочувствую.

— Сегодня день святых Симона и Иуды. А завтра праздник лорд-мэра.

— Вот как? А я забыл.

— Да. Ну... — Таунсон прижал молитвенник к груди. — Я буду молиться за вас, сэр Уолтер.

— Благодарю вас, — сказал я. — Я тоже буду молиться за вас, господин настоятель. И прежде всего потому, что, несмотря на свои многочисленные обязанности, вы не забыли, что являетесь слугой господу богу.

Таунсон, нахмурившись, уставился на меня.

— Причастие, — сказал я. — Завтра на рассвете.

*

Время казни советники короля выбрали неудачно. Если иметь в виду, что Его Величество надеялся избавиться от меня тихо.

Завтра праздник лорд-мэра.

Чтобы поглазеть на процессию, весь Лондон будет чуть свет на ногах. Несомненно, в столицу нахлынут и толпы народа из провинции. Казнь сэра Уолтера Рэли будет великолепной прелюдией к празднику. Во всяком случае, я могу рассчитывать на большую аудиторию.

*

День святых Симона и Иуды. Тоже кстати. У нашего Спасителя не было апостолов с более темной судьбой, их обоих умертвили в Персии. Симона прозвали Неистовым. Больше о нем ничего достоверно не известно. Иуда был, конечно, другой Иуда. Иуда, который *не* был Искарриотом. Святой покровитель отчаявшихся, заступник перед Всевышним в безнадежных делах. В недурную я попал компанию.

*

Вторым озарением я обязан Эпли. Не успела закрыться дверь за деловитым настоятелем, как ее отперли снова.

На пороге стоял Крестобаль.

Его выпустили из Тауэра. На сегодняшнюю ночь его поместят где-то здесь, в Гейтхаусе. Завтра ему разрешено присутствовать на моей казни.

Шерифы дали нам только пять минут.

Нам этого хватило.

— Что ты будешь делать после моей казни? — спросил я. — Я пытаюсь найти тебе службу...

Он покачал головой. Рассказал, что все уже устроено. Люди графа Гондомара отвезут его в Мадрид. А оттуда на каком-нибудь испанском судне он отправится в Гвиану.

— Понимаю, — сказал я. — Они используют тебя как свидетеля. Отныне тебе всю жизнь суждено петь одну-единственную песню: о бесславном конце дона Гуаттаралья!

Он улыбнулся.

— Я спрячусь в самом густом кустарнике. В лесу около озера Гуатавита. Где растет лист. А петь я никогда не умел. И кричать тоже не буду. Но не сомневайся, я расскажу твою историю каждому, кто захочет ее услышать.

— Как птица-пересмешник? — спросил я.

— Как птица-отшельник.

Когда пришли шерифы, он протянул мне правую руку.

Я пожал ее.

— Когда-то, очень давно, я сказал тебе, что еду посмотреть, как умрет Гуаттараль. Я буду завтра у эшафота. Но я не увижу смерть Гуаттаралья.

— Ты закроешь глаза?

— Нет.

— Я рад. Ты как-то сказал мне, что жизнь без смерти несовершенна, и это верно. Но что ты имеешь в виду? Ничего изменить уже нельзя. Ты увидишь смерть Гуаттаралья.

Крестобаль медленно покачал головой.

Последние свои слова он произнес по-английски:

— Я увижу больше того, за чем приехал. Я увижу смерть сэра Уолтера Рэли.

*

Визит настоятеля Таунсона убедил меня, что я должен высказаться.

Беседа с Крестобалем подсказала, что я должен говорить просто.

Он научился произносить мое имя.
Мне нельзя отставать от него.

*

Полночь.

Приходила Бесс. Она только что ушла.

Мне очень тяжело писать об этом.

Мы с женой умеем прощаться. Едва ли какой супружеской паре приходилось это делать так часто.

Но последнее прощание получилось тяжелым. Мы сидели рядом на кровати. Я крепко обнял ее. Попросил не приходить завтра к эшафоту.

Она возражала.

— На твою долю выпало достаточно страданий, — сказал я. — Умоляю, Бесс. Не надо смотреть на это. Запомни меня живым.

Она заплакала. Я сушил ее слезы поцелуями. Перевел разговор на крыжовник со сливками и сладкую клубнику. Наконец Бесс дала мне обещание. Она не придет смотреть на мою казнь.

Потом она сказала:

— Уот, ведь все было бы по-другому, правда? Если бы Дамерей был жив...

Теперь заплакал я.

— Я не знаю. Не знаю, Бесс. Может быть, таким, как я, вообще не надо жениться.

— Но Дамерей... Он выпорхнул из моих рук, как птица, Уот. Как птица. Как птенец. Я до сих пор чувствую, как бьется его сердечко. О, бедный мой цыпленочек, мой петушок...

Поцелуй в губы прервал ее причитания.

Я сказал бодрым голосом:

— На то была воля божья, Бесс. Береги Кэрю.

Она пообещала беречь сына. Сказала, что, когда он достаточно повзрослеет, отдаст ему мои бумаги.

— Тогда тебе придется ждать, пока ему исполнится сто лет, — заметил я.

Бесс вымучила улыбку.

Потом сказала смущаясь:

— Уот, я прочитала то, что ты написал. Все до последнего слова. О тебе. О королеве. Обо мне.

— Прости меня, жена. Боюсь, я часто писал не в себе...

— Неважно. Я прочитала все так же, как ты писал — сердцем. И теперь я знаю то, что знала всегда. Что Бесс Трогмортон вышла замуж за настоящего мужчину. Смелого и честного. И, прочитав все, я еще *больше* люблю тебя, Уот.

Я не видел ее лица из-за слез, застилавших глаза.

Я сказал:

— Тогда ты любишь меня так, как я любить не умею. Да благословит тебя бог.

Я сказал:

— Бесс Рэли.

— Миссер Воттер, — сказала она.

— Не забывай его, Бесс.

— Я не забуду его. Я не забуду тебя, муж.

Потом она сказала мне, что получила письмо от Тайного Совета, в котором ей разрешают похоронить мое тело.

Я ответил ей с улыбкой:

— Это хорошо, Бесс, что ты можешь распорядиться им мертвым. Когда оно было живым, тебе удавалось это нечасто.

*

Последние написанные мной слова. Я записал их в моей Библии. Стихотворение. Я начал его сочинять для Бесс вечность тому назад, в ту рождественскую ночь, когда мы познакомились. То самое, что начиналось словами: *Природа, вымыв руки молоком...* Я никак не мог его закончить. Для этого потребовалось закончить собственную жизнь. Теперь получилось. Две дополнительные строки в последней строфе делают ее законченным стихотворением. Думаю, теперь хорошо. Надо поспать — завтра мне потребуются силы.

*

*О Время! Мы тебе сдаем в заклад
Все, что для нас любезно и любимо,
А получаем скорбь взамен отрад.
Ты сводишь нас во прах неумолимо,
И там, во тьме, в обители червей,
Захлопываешь повесть наших дней.
Но в то, что мне дано восстать из праха,
Я верую — и в тьму гляжу без страха¹.*

¹Перевод Г. Кружкова.

КАЗНЬ СЭРА УОЛТЕРА РЭЛИ
И ЕГО РЕЧЬ

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОН БЫЛ ОБЕЗГЛАВЛЕН

(писано его сыном Кэрю по свидетельствам очевидцев)

В четверг, 29 октября 1618 года, приобщившись святых тайн, с удовольствием позавтракав и выкурив трубку — все это так, будто он готовился не к смерти, а к обычному путешествию, — мой отец, сэр Уолтер Рэли, в сопровождении шерифов Лондона взошел на эшафот, установленный во дворе Старого Вестминстерского двора.

Было около девяти часов утра.

Погода была ясной и холодной, подмораживало.

Собрались толпы народа, присутствовало много знатных господ.

На отце были коричневый дублет из тонкого атласа, черный жилет, черные штаны из тафты, шелковые чулки пепельного цвета, длинный черный бархатный плащ и высокая шляпа с павлиньим пером.

На эшафот он поднялся с улыбкой.

После того как распорядитель призвал всех к молчанию, мой отец снял шляпу и обратился к присутствующим со следующей речью:

— Досточтимые лорды, друзья, что пришли посмотреть, как я умру, я благодарю Бога за его бесконечную милость: за то, что он дал мне умереть при свете дня и в присутствии такого почтенного собрания, а не в одиночестве и во мраке.

Потом, заметив, что стоящие у окон, и среди них лорд Арундель, плохо слышат его, поскольку говорил он тихо, отец крикнул:

— Я постараюсь говорить громче, ибо хочу, чтобы меня слышали все ваши светлости.

Но лорд Арундель выкрикнул в ответ:

— Нет, сэр! Мы лучше спустимся к вам на эшафот.

После чего графы Арундель, Оксфорд и Нортгемтон вместе с другими благородными господами с разрешения шерифов встали на эшафоте рядом с моим отцом, сэром Уолтером Рэли. Он поздоровался с каждым из них в отдельности, а потом снова заговорил:

— Я еще раз всем сердцем благодарю Бога за то, что он позволил мне умереть при свете дня, а не во мраке Тауэра. Я благодарю Бога и за то, что сегодня моя лихорадка не мучит меня. Я молил Его об избавлении от нее. Бог услышал мою молитву.

Затем отец отверг все обвинения в измене, выдвинутые против него королем Яковом и Тайным Советом.

Он сказал:

— Призывать Бога в свидетели неправды — тяжкий грех, и на что тогда можно надеяться в день Страшного суда? Призывать Бога в свидетели неправды в минуту смерти — грех еще более тяжкий, и содеявший его не обретет спасения, ибо у него уже нет времени искупить грех и нет никакой надежды. Так вот. Я призываю Бога в свидетели — ибо надеюсь увидеть его на небесах в ближайшие минуты, — что я, сэр Уолтер Рэли, никогда не изменял королю Якову. В измене я не виновен. Ежели я лгу, не дай мне, Боже, войти в Царствие Твое!

Отец склонил голову.

А потом он крикнул:

— Мне ли сейчас бояться короля и льстить ему! Властен ли король в том, о чем я сейчас говорю? Нет, не властен! Мысли мои теперь обращены к Богу, и лгать ради короля было бы грехом пуще тщеславия. Я — подданный смерти, и отныне мой единственный повелитель — наш Отец Небесный, перед чьим вечным престолом я вскоре предстану. Повторяю: *Я никогда не был изменником*. Ежели я лгу, пусть Господь вычеркнет мое имя из Книги жизни!

Отец немного помолчал.

Потом он рассказал, что произошло после его возвращения из Гвианы, и перечислил все обвинения, которые против него выдвигались. Рассказал он и о том, как предали его Манури и Стьюкли. Обо всем этом он говорил с гордо поднятой головой.

— Признаю, — сказал он, — я пытался бежать. Я знал, что со мной обойдутся жестоко. Я хотел спасти свою жизнь. Я также признаю, что в Солсбери притворился больным. Но надеюсь, в том не было греха. Пророк Давид, возлюбленный богом, ради спасения жизни притворился безумным. Чтобы ускользнуть от врагов своих, он пускал слюни и ходил, как зверь, на четвереньках. И это не было сочтено за грех. Поступая подобным образом, я не замышлял ничего дурного против короля Якова. Я только хотел выиграть время до прибытия Его Величества, рассчитывая на монаршее сострадание.

Я прощаю француза и сэра Льюиса Стьюкли. Они предали меня. Я прощаю им это предательство. Сегодня утром из рук господина настоятеля, он здесь, рядом со мной, я получил святое причастие, и, принимая его, я простил всех, кто творил мне зло, моля Бога простить мне и мои прегрешения. И все же, говоря о моем родственнике сэре Льюисе Стьюкли, я считаю своим долгом предостеречь других против него. Он бесчестный человек. Но я молю Всевышнего простить моему кузену его дурные поступки, как молю Его простить мне мои.

Шерифы забеспокоились.

Мой отец сказал:

— Еще немного. Совсем немного, и я закончу.

Затем простым языком он рассказал всю историю своего

последнего путешествия в Гвиану. Его рассказ совпадал в главном с тем, что написано в этой книге, поэтому я не буду повторять его дословно. Достаточно отметить, что для многих собравшихся вокруг эшафота правда открылась только теперь. Одни считали, будто мой отец вернулся в Англию не по доброй воле, другие были уверены, что он с самого начала не хотел возвращаться домой. Но сейчас, слушая отца, люди узнали, как все было на самом деле. Тем более что его слова подтвердил лорд Арундель, к которому он неожиданно обратился:

— Милорд, я рад, что вы здесь. Вы стояли рядом со мной на моем корабле перед его отплытием в Гвиану. И я помню, как вы взяли меня за руку и сказали, что у вас есть ко мне только один вопрос. "Скажите мне честно, сэр Уолтер, — сказали вы. — Вы вернетесь домой? Со щитом или на щите, но вы вернетесь в Англию?" Я протянул вашей светлости руку и ответил: "Что бы ни случилось, даю вам слово, что вернусь". Я дал слово и сдержал его.

— Верно, сдержали, — сказал лорд Арундель. — Прекрасно все помню.

Мой отец поклонился.

Потом он начал говорить о других, менее важных вещах, которые беспокоили его. Он слышал несправедливое мнение, будто, убегая за границу, он взял с собой много денег. Он слышал несправедливое мнение, будто в Гвиане он хотел бросить своих людей, уплывших вверх по реке. Он слышал несправедливое мнение, будто он не давал воды умирающим матросам.

Это все мелочи. Для меня интересно здесь только то, что мой отец, сэр Уолтер Рэли, не считал их мелочами даже перед лицом смерти. Ему было важно опровергнуть даже малейшую ложь. Стоя на краю могилы, он цитировал бухгалтерские книги "Судьбы" — одну за другой, страницу за страницей, фунт за фунтом.

Закончив, он улыбнулся и сказал:

— Мне сейчас предстоит дать отчет на небесах, и клянусь, как перед Создателем, что все сказанное мной — правда.

Шерифы вышли вперед, считая, что его речь закончена.

Но мой отец остановил их взмахом руки.

— Еще одно слово. О лорде Эссексе.

Воцарилась тишина.

Воцарилась гробовая тишина.

Этого никто не ожидал.

Мой отец сказал:

— В свое время обо мне говорили много пустого и ложного, но нет для меня лжи горше, чем эта. Говорят, что я травил лорда Эссекса и возрадовался его смерти. Говорят, что во время его казни я смотрел из окна на его муки и в знак презрения

к нему курил и пускал кольца дыма. Призываю Всевышнего в свидетели — ничего подобного я не делал. Вот из этих самых глаз лились слезы, когда он умер. И, готовясь предстать перед богом, клянусь, что лорд Эссекс не мог видеть меня в свой смертный час. Ибо я смотрел на него из Оружейного зала, а он меня там видеть не мог. Не буду скрывать, мы принадлежали к разным лагерям. Но лорд Эссекс был благородным джентльменом. Зла я ему не желал. И только сочувствовал. С его смертью мое положение ухудшилось. Меня возненавидели многие, кто в мои лучшие дни уверяли, что желают мне добра. Те же, кто ранее настраивали меня против лорда Эссекса, теперь ополчились против меня — и то, и другое они делали ради своей корысти. Они-то, наверное, и есть мои самые страшные враги. Не буду называть имена. Оставшиеся в живых знают, о ком я говорю. А бог знает тайные помыслы и мертвых, и живых. Я всегда жалел, что не был рядом с лордом Эссексом в его последние минуты. Как мне потом сказали, он спросил обо мне на эшафоте и хотел, чтобы мы помирились.

Кое-кто говорит, что в этот момент голос у отца дрогнул. Но большинство считает иначе. Капитан Сэмюэл Кинг, старинный друг моего отца, рассказывал мне, что он не заметил ни малейшего изменения ни в его голосе, ни в манере держаться. И индеец Кристоаль Гуаякунда, тоже близко знавший моего отца, отмечал в разговоре со мной, что, не понимая многого в последней речи отца, он ясно видел, что самообладание не изменило ему ни разу. По словам индейца, мой отец настолько отрешился от смерти, что, казалось, он был не жертвой казни, а ее свидетелем.

Потом мой отец, сэр Уолтер Рэли, сказал:

— А теперь я с чистым сердцем призываю всех помолиться вместе со мной нашему Отцу Небесному, коего я так часто огорчал. Ибо я прожил жизнь, исполненную суетной гордыни, и весь путь мой на этой земле — долгая череда грехов и провинностей. Я прожил грешную жизнь в грешных заботах. Ибо я был солдатом, военачальником, мореплавателем и придворным, а сии занятия — воплощение греха и порока. И соблазны даже наискромнейшего из них способны совратить душу самую чистую. Я прошу вас всех помолиться вместе со мной, чтобы Бог простил меня и даровал мне жизнь вечную. Я прощаюсь со всеми и поручаю себя Всевышнему.

Мой отец преклонил в молитве колени, и многие преклонили колени вместе с ним.

Шерифы попросили всех покинуть эшафот, и мой отец начал готовиться к смерти. Он снял шляпу, потом черную шапочку и раздал деньги тем, кто стоял рядом. А затем, попрощавшись с лордами, рыцарями и другими джентльменами, еще раз обратился к лорду Арунделю со словами благодарности и просьбой

походатайствовать перед королем, чтобы после его казни не публиковали скандальные, позорящие его имя памфлеты. После чего сказал ему:

— Мне предстоит длинная дорога, и поэтому я прощаюсь.

Затем, сняв плащ и дублет, он попросил палача показать ему топор.

Палач нервничал. Колебался.

— Прошу вас, — сказал отец, — дайте мне взглянуть. Я несколько не боюсь.

Тогда палач передал топор в руки сэра Уолтера Рэли. И мой отец провел пальцем по острию.

— Это неприятное лекарство, — сказал он. — Но оно излечивает любую болезнь.

Затем он подошел к одному краю эшафота и попросил всех молиться богу, чтобы он помог ему и укрепил в испытании, а потом подошел к другому краю и сделал то же самое.

Палач стал на колени.

И на коленях просил сэра Уолтера Рэли простить его. Что мой отец охотно сделал, положив обе руки ему на плечи.

Палач снял собственный плащ и расстелил его у плахи, чтобы мой отец не запачкал свою одежду.

Мой отец лег на этот плащ и положил голову на плаху.

Но настоятель Таунсон усмотрел в том ошибку.

— Сэр Уолтер, — сказал он, — ваше лицо обращено на запад. Так не принято. Чтя Господа Нашего Иисуса Христа, вы должны смотреть на восток.

Поднимаясь, мой отец сказал:

— Какая разнища, куда смотрит голова? Было бы сердце праведным.

Но когда он снова положил голову на плаху, лицо его было обращено на восток.

Палач подошел к нему и предложил повязку на глаза.

Мой отец сказал:

— Если уж я не убоюсь самого топора, неужто убоюсь его тени?

Так сэр Уолтер Рэли отказался от повязки и остался лежать с открытыми глазами.

— Сударь, — сказал он палачу. — Дайте мне минуту на молитву и размышления. Когда я буду готов, я раскину руки, и тогда рубите.

Ему разрешили.

Но палач дрожал от страха.

И когда мой отец раскинул руки, ничего не произошло.

Отец заметил, что палач дрожит.

Он дал ему время прийти в себя. Потом еще раз широко раскинул руки.

Но палач все еще не мог или не хотел свершить свое дело.

Тогда мой отец крикнул громким повелительным голосом:
— Руби, дружище, руби!
В лучах солнца сверкнуло лезвие.
Топор опустился.
Первый удар был плюх. Но тело моего отца не шелохнулось.
Топор опустился снова.
И отсек голову.
Палач поднял голову моего отца за седые волосы.
Ему полагалось выкрикнуть:
— Вот голова изменника!
Но он молчал. Молчала и толпа.
И вдруг из толпы раздался крик:
— Этой голове цены не было!

На помост вылилось так много крови, что присутствующие поняли: природа отпустила моему отцу столько сил, что он мог бы жить еще очень долго, хотя возраст его уже приближался к семидесяти.

Сэр Уолтер Рэли в свой последний час проявил такое высокое мужество, что казалось, христианин умирает, как римлянин, или, скорее, римлянин умирает, как христианин. Людям открылось все величие души его, и те, кто обвинял моего отца в безбожии, были посрамлены.

Затем голову сэра Уолтера Рэли положили в красный кожаный мешок, а тело накрыли бархатным плащом; позднее его увезли на черных похоронных дрогах моей матери.

57

Письмо леди Рэли, адресованное
"Моему дорогому брату, сэру Николасу Кэрю, Беддингтон"

*31 октября 1618 года,
канун дня всех святых*

Я хочу, мой дорогой брат, чтобы вы разрешили мне похоронить бесценное тело моего благородного муша, сэра Уолтера Рэли, в вашей церкви в Беддингтоне, где я хочу, чтобы похоронили и меня. Лорды отдали мне его мертвое тело, хотя отняли у меня его самого. Этой ночью двое или трое моих людей привезут его к вам. Дайте ответ немедленно. Да поможет мне бог не лишиться разума.

Е. Р.

29 октября 1660 года

Эпизод Кэрю Рэли

Тело моего отца похоронили перед алтарем церкви святой Маргариты в Вестминстере. Голову отца бальзамировали, и моя мать хранила ее у себя до самой смерти, а умерла она в 1647 году от рождества Христова в возрасте восьмидесяти двух лет. С божьей помощью разум ее оставался ясным все двадцать девять лет вдовства.

Сегодня, в день сорок второй годовщины казни сэра Уолтера Рэли, мне пришлось в голову закончить его историю, кратко обрисовав судьбу других лиц, упомянутых в этих записках.

Сначала о сэре Льюисе Стьюкли. И здесь я должен исправить ошибку моего отца. Дело в том, что он считал его, как и многие, сыном печальной памяти капитана Томаса Стьюкли. Я провел кое-какие изыскания и выяснил, что Льюис Стьюкли — племянник предателя. Это, конечно, не очень важно. Но я люблю точность. Что бы ни придумывал о себе сэр Льюис Стьюкли и в чем бы ни убеждал других, эти два человека не были отцом и сыном, это непреложный факт. Итак, сэр Льюис, получив из казны девятьсот шестьдесят пять фунтов, шесть шиллингов и три пенса, обнаружил, что его чураются и презирают все люди чести. Он прослыл "сэром Иудой". Когда он попытался завладеть отцовской "Судьбой" и пошел с этим притязанием к лорду-адмиралу Хауарду, старый адмирал, говорят, встретил его такими словами: "Ты, низкий человек! Ты, презренная тварь! Как ты осмелился явиться ко мне!" А потом взял палку и выгнал его вон. Стьюкли пожаловался королю Якову, что его осуждает вся Англия. Король Яков, говорят, ответил так: "Что же вы хотите от меня? Я не могу повесить всех, кто плохо говорит о вас. В моем королевстве не хватит деревьев!" Затем, уличенный в подделке монет, Стьюкли был посажен в Тауэр. После освобождения он не решился показаться даже в родном Девоне и нашел убежище на острове Ланди в Английском канале¹. Там он и умер, сойдя с ума, через два года после того, как предал моего отца.

С сэром Фрэнсисом Бэконом судьба обошлась круто полгода спустя. Ему предъявили двадцать восемь обвинений во взяточничестве и коррупции, и он признал свою вину, после чего его лишили печати лорд-канцлера и третьего марта 1621 года по воле короля приговорили к сорока тысячам фунтов штрафа и заключению в Тауэре. Бэкона продержали в Тауэре всего че-

¹ Английский канал — принятое в Великобритании название пролива Ла-Манш.

тыре дня, но его йоркский замок передали Букингему, а парламент вынес решение, которое запрещало ему занимать какие-либо посты или должности в королевстве, заседать в палате лордов и появляться при дворе. Он умер через пять лет совершенно сломленным человеком от простуды, которую подхватил, когда набивал снегом тушку цыпленка, проверяя, является ли снег обеззараживающим средством. Бэкон оставил после себя двадцать тысяч фунтов неоплаченных долгов и философскую книгу под названием "Novum Organum". Я ее не читал. Но король Яков, пытавшийся ее читать, как говорят, заметил, что она подобна миру господню, то есть недоступна пониманию.

Граф Гондомар был отозван из Англии и, когда всякая надежда на испанский брак иссякла, впал в немилость к новому королю Испании Филиппу IV. Он умер в нищете и позоре в тот же год, что и Бэкон.

Сам король Яков умер в воскресенье 27 марта 1625 года, пятидесяти девяти лет от роду, в двадцать третий год своего правления. Он заболел на охоте в Теобальдсе и через две недели скончался. Говорят, что Якова отравил Букингем, его "милый Стини".

Букингем был убит моряком Джоном Фелтоном три года спустя в возрасте тридцати шести лет. Но кинжал Фелтона немалого опередил топор палача. Палата общин уже выдвинула обвинения против Букингема. Он обвинялся в том, что давал дурные советы королю. И в государственной измене. Даже король Карл I не смог спасти его.

О недавних гражданских войнах я умолчу. Скажу только, что сын Якова, король Карл, был казнен перед Уайтхоллом в четверти мили от того места, где за тридцать один год до этого та же участь постигла моего отца.

Говорили, что Кромвель считал моего отца героем.

Сам я Кромвеля не любил.

Думаю, что моему отцу он бы тоже не понравился.

Мне, Кэрю Рэли, сейчас пятьдесят пять лет. Друзья моего отца и родные матери позаботились о моем образовании. Я учился в Уодем-колледже Оксфорда, но ученого из меня не вышло. Вернувшись из Оксфорда, я был представлен ко двору моим родственником, графом Пембруком. Правда, король Яков видел во мне призрак моего отца. Несколько лет я путешествовал за границей и старался жить, выполняя советы из написанных для меня отцом *Наставлений*. Я опубликовал их в виде брошюры в 1632 году. За четыре года книжка выдержала шесть изданий. Я никогда не опубликую остальных бумаг моего отца. Считаю, что добра бы это не принесло. Думаю, что мой отец также не одобрил бы этого.

Я удачно женился. Мою жену зовут Филиппа, она вдова сэра Энтони Эшли. За ней я получил имения. Она богата. Бог послал

нам двух сыновей и трех дочерей.

Много сил я потратил на то, чтобы вернуть Шерборн. Мне это не удалось. Сейчас там живет сэра Джон Дигби, граф Бристоль. Но при Кромвеле мне стали платить с этого имения по пятьсот фунтов в год.

Теперь у Англии снова есть король. Внук Якова Карл II. В феврале нынешнего 1660 года король назначил меня губернатором острова Джерси — когда-то им был и мой отец. Мне предложили и рыцарство, но я отказался.

После смерти моей матери голова сэра Уолтера Рэли перешла ко мне. Я держу ее в том же самом красном кожаном мешке. Иногда — весьма редко — я вынимаю ее оттуда. Мне все труднее узнавать отцовские черты.

И все же я распорядился в завещании, чтобы после моей смерти ее захоронили вместе со мной. Что и говорить, эта голова много лучше моей.

Роберт Най
Странствие "Судьбы"

ИБ № 2319

Редактор Н. Н. Кристалляя
Младший редактор Н. Г. Ангел - Бодареу
Художник В. А. Корольков
Художественный редактор Н. Н. Малкина
Технический редактор Е. Ф. Фонченко
Корректор В. Ф. Пестова
OCR - Давид Титиевский, август 2017 г., Хайфа
Сдано в набор 27.06.85. Подписано в печать 3.12.85
Формат 84x108/32. Бумага офсетная
Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсет Усл. печ. л. 18,48
Усл. кр.-отт. 18,9. Уч.-изд. л. 22,6. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 2196. Цена 2 р. 70 к. Изд. № 2191

Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский
полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Калинин, пр. Ленина, 5